

В
Б

ОТЦЫ
ОСНОВАТЕЛИ

Весь
БРЭДБЕРИ

ВИНО ИЗ
ОДУВАНЧИКОВ

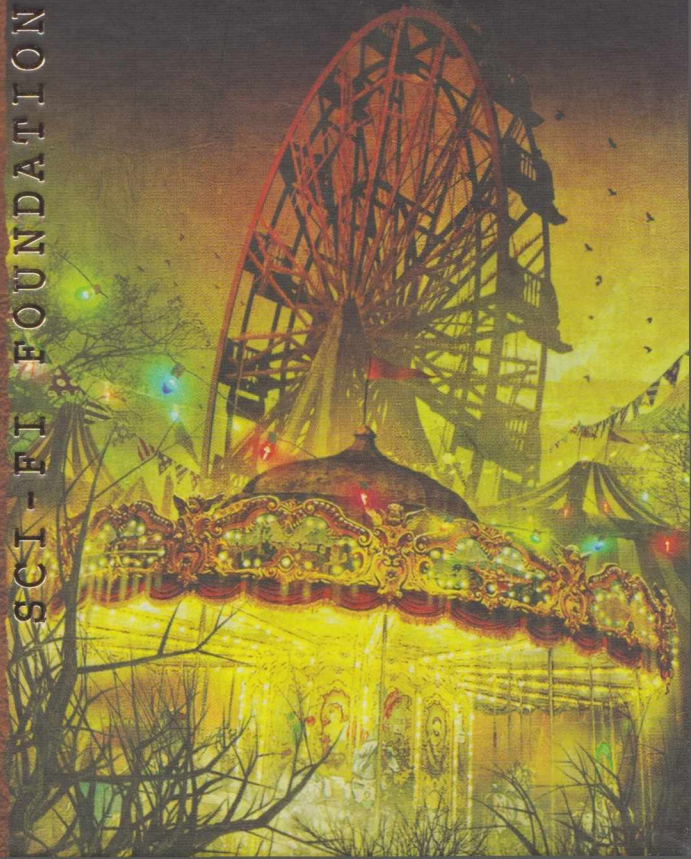


Весь

БРЭДБЕРИ

ВИНО
ИЗ ОДУВАНЧИКОВ

ОТЦЫ - ОСНОВАТЕЛИ
SCI-FI FOUNDATION



Весь
БРЭДБЕРИ

Весь

БРЭДБЕРИ

ВИНО ИЗ ОДУВАНЧИКОВ
ЛЕТО, ПРОЩАЙ
НАДВИГАЕТСЯ БЕДА

ЛЕГЕНДЫ ФАНТАСТИКИ

Рэй

БРЭДБЕРИ

ВИНО

ИЗ ОДУВАНЧИКОВ

Сборник



**Москва
2019**

УДК 821.111-312.9(73)
ББК 84(7Сое)-44
Б89

Ray Bradbury

DANDELION WINE

Copyright © 1957 by Ray Bradbury

FAREWELL SUMMER

Copyright © 2006 by Ray Bradbury

SOMETHING WICKED THIS WAY COMES

Copyright © 1962 by Ray Bradbury

Брэдбери, Рэй.

Б89 Вино из одуванчиков [перевод с английского] / Рэй Брэдбери. — Москва : Эксмо, 2019. — 576 с. (Отцы—основатели).

ISBN 978-5-699-98103-8

Рэй Брэдбери — писатель, чье имя известно миллионам людей во всем мире. Из года в год его книги переиздаются огромными тиражами, читательская любовь, кажется, становится лишь сильнее, а сам он еще при жизни был признан классиком современной литературы.

В очередной том собрания сочинений Рэя Брэдбери в культовой серии «Отцы-основатели» вошли романы «Вино из одуванчиков», «Надвигается беда» и «Лето, прощай», составляющие условный «Грингаундский цикл», посвященный воображаемому миру детства автора.

УДК 821.111-312.9(73)
ББК 84(7Сое)-44

- © Кабалевская Э., Наследники, перевод на русский язык, 2017
- © Григорьева Н., Грушецкий В., перевод на русский язык, 2017
- © Петрова Е., перевод на русский язык, 2017
- © Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2019

ISBN 978-5-699-98103-8



**ВИНО
ИЗ ОДУВАНЧИКОВ**

*Уолтеру А. Брэдбери,
не дядюшке и не двоюродному брату,
но, вне всякого сомнения,
издателю и другу*

Утро было тихое, город, окутанный тьмой, мирно нежил-ся в постели. Пришло лето, и ветер был летний — теплое дыхание мира, неспешное и ленивое. Стоит лишь встать, высунуться в окошко, и тотчас поймешь: вот она начина-ется, настоящая свобода и жизнь, вот оно, первое утро лета.

Дуглас Сполдинг, двенадцати лет от роду, только что от-крыл глаза и, как в теплую речку, погрузился в предрассвет-ную безмятежность. Он лежал в сводчатой комнатке на чет-вертом этаже — во всем городе не было башни выше, — и оттого, что он парил так высоко в воздухе вместе с июньским ветром, в нем рождалась чудодейственная сила. По ночам, когда вязы, дубы и клены сливались в одно беспокойное мо-ре, Дуглас окидывал его взглядом, пронзавшим тьму, точно маяк. И сегодня...

— Вот здорово! — шепнул он.

Впереди целое лето, несчетное множество дней — чуть не полкалендаря. Он уже видел себя многоруким, как божество Шива из книжки про путешествия: только поспевай рвать еще зеленые яблоки, персики, черные как ночь сливы. Его не вытащить из лесу, из кустов, из речки. А как приятно бу-дет померзнуть, забравшись в заиндевелый ледник, как весе-ло жариться в бабушкиной кухне заодно с тысячью цыплят!

А пока — за дело!

(Раз в неделю ему позволяли ночевать не в домике по соседству, где спали его родители и младший братишка Том, а здесь, в дедовской башне; он взбегал по темной винтовой лестнице на самый верх и ложился спать в этой обители кудесника, среди громов и видений, а спозаранку, когда даже молочник еще не звякал бутылками на улицах, он просыпался и приступал к заветному волшебству.)

Стоя в темноте у открытого окна, он набрал полную грудь воздуха и изо всех сил дунул.

Уличные фонари мигом погасли, точно свечки на черном именинном пироге. Дуглас дунул еще и еще, и в небе начали гаснуть звезды.

Дуглас улыбнулся. Ткнул пальцем.

Там и там. Теперь тут и вот тут...

В предутреннем тумане один за другим прорезались прямоугольники — в домах зажигались огни. Далеко-далеко, на рассветной земле вдруг озарилась целая вереница окон.

— Всем зевнуть! Всем вставать!

Огромный дом внизу ожил.

— Дедушка, вынимай зубы из стакана! — Дуглас немного подождал. — Бабушка и прабабушка, жарьте олады!

Сквозняк пронес по всем коридорам теплый дух жареного теста, и во всех комнатах встрепенулись многочисленные теткы, дядья, двоюродные братья и сестры, что съехались сюда погостить.

— Улица Стариков, просыпайся! Мисс Элен Лумис, полковник Фрилей, миссис Бентли! Покашляйте, встаньте, проглотите свои таблетки, пошевеливайтесь! Мистер Джонас, запрягайте лошадь, выводите из сарая фургон, пора ехать за старьем!

По ту сторону оврага открыли свои драконьи глаза угрюмые особняки. Скоро внизу появятся на электрической зеленой машине две старухи и покатают по утренним улицам, приветственно махая каждой встречной собаке.

— Мистер Тридден, бегите в трамвайное депо!

И вскоре по узким руслам мощеных улиц поплывет трамвай, рассылая вокруг жаркие синие искры.

— Джон Хаф, Чарли Вудмен, вы готовы? — шепнул Дуглас улице Детей.

— Готовы? — спросил он у бейсбольных мячей, что мокли на росистых лужайках, у пустых веревочных качелей, что, скучая, свисали с деревьев.

— Мам, пап, Том, проснитесь!

Тихонько прозвенели будильники. Гулко пробили часы на здании суда. Точно сеть, заброшенная рукой Дугласа, с деревьев взметнулись птицы и запели. Дирижируя своим оркестром, Дуглас повелительно протянул руку к востоку.

И взошло солнце.

Дуглас скрестил руки на груди и улыбнулся, как настоящий волшебник. «Вот то-то, — думал он. — Только я приказал — и все повскакали, все забегали. Отличное будет лето!»

И он напоследок оглядел город и щелкнул ему пальцами.

Распахнулись двери домов, люди вышли на улицу.

Лето тысяча девятьсот двадцать восьмого года началось.

* * *

В то утро, проходя по лужайке, Дуглас наткнулся на паутину. Невидимая нить коснулась его лба и неслышно лопнула.

И от этого пустячного случая он насторожился: день будет не такой, как все. Не такой еще и потому, что бывают дни, сотканые из одних запахов, словно весь мир можно втянуть носом, как воздух: вдохнуть и выдохнуть, — так объяснял Дугласу и его десятилетнему брату Тому отец, когда вез их в машине за город. А в другие дни, говорил еще отец, можно услышать каждый гром и каждый шорох Вселенной. Иные дни хорошо пробовать на вкус, а иные — на ошупь. А бывают и такие, когда есть все сразу. Вот, например, сегодня — пахнет так, будто в одну ночь там, за холмами, невесть откуда взялся огромный фруктовый сад, и все до самого горизонта так и благоухает. В воздухе пахнет дождем, но на небе — ни облачка. Того

и гляди кто-то неведомый захохочет в лесу, но пока там тишина...

Дуглас во все глаза смотрел на плывущие мимо поля. Нет, ни садом не пахнет, ни дождем, да и откуда бы, раз ни яблонь нет, ни туч. И кто там может хохотать в лесу?..

А все-таки, Дуглас вздрогнул, день этот какой-то особенный.

Машина остановилась в самом сердце тихого леса.

— А ну, ребята, не баловаться!

(Они подталкивали друг друга локтями.)

— Хорошо, папа.

Мальчики вылезли из машины, захватили синие жестяные ведра и, сойдя с пустынной проселочной дороги, погрузились в запахи земли, влажной от недавнего дождя.

— Ищите пчел, — сказал отец. — Они всегда выются возле винограда, как мальчишки возле кухни. Дуглас!

Дуглас восторженно вскрикнул.

— Опять витаешь в облаках, — сказал отец. — Спустишься на землю, и пойдём с нами.

— Хорошо, папа.

И они гуськом побрели по лесу: впереди отец, рослый и плечистый, за ним Дуглас, а последним семенил коротышка Том. Поднялись на невысокий холм и посмотрели вдаль. Вон там, указал пальцем отец, там обитают огромные, по-летнему тихие ветры и, незримые, плывут в зеленых глыбинах, точно призрачные киты.

Дуглас глянул в ту сторону, ничего не увидел и почувствовал себя обманутым: отец, как и дедушка, вечно говорит загадками. И... и все-таки... Дуглас затаил дыхание и прислушался.

«Что-то должно случиться, — подумал он, — я уж знаю».

— А вот папоротник, называется венерин волос. — Отец неторопливо шагал вперед, синее ведро позвякивало у него в руке. — А это, чувствуете? — И он ковырнул землю носком башмака. — Миллионы лет копился этот перегной, осень за осенью падали листья, пока земля не стала такой мягкой.

— Ух ты, я ступаю как индеец, — сказал Том. — Совсем неслышно!

Дуглас потрогал землю, но ничего не ощутил; он все время настороженно прислушивался. «Мы окружены, — думал он. — Что-то случится! Но что? — Он остановился. — Выходи же! Где ты там? Что ты такое?» — мысленно кричал он.

Том и отец шли дальше по тихой, податливой земле.

— На свете нет кружева тоньше, — негромко сказал отец. И показал рукой вверх, где листва деревьев вплеталась в небо — или, может быть, небо вплеталось в листву? — Все равно, — улыбнулся отец, — все это кружева, зеленые и голубые; всмотритесь хорошенько и увидите — лес плетет их, словно гудящий станок.

Отец стоял уверенно, по-хозяйски и рассказывал им всякую всячину, легко и свободно, не выбирая слов. Часто он и сам смеялся своим рассказам, и от этого они текли еще свободнее.

— Хорошо при случае послушать тишину, — говорил он, — потому что тогда удастся услышать, как носится в воздухе пыльца полевых цветов, а воздух так и гудит пчелами, да-да, так и гудит! А вот — слышите? Там, за деревьями, водопадом льется птичье щебетанье!

«Вот сейчас, — думал Дуглас. — Вот оно. Уже близко! А я еще не вижу... Совсем близко! Рядом!»

— Дикий виноград, — сказал отец. — Нам повезло. Смотрите-ка!

«Не надо!» — ахнул про себя Дуглас.

Но Том и отец наклонились и погрузили руки в шуршащий куст. Чары рассеялись. То пугающее и грозное, что подкрадывалось, близилось, готово было ринуться и потрясти его душу, исчезло!

Опустошенный, растерянный, Дуглас упал на колени. Пальцы его ушли глубоко в зеленую тень и вынырнули, обгоренные алым соком, словно он взрезал лес ножом и сунул руки в открытую рану.

— Мальчики, завтракать!

Ведра чуть не доверху наполнены диким виноградом и лесной земляникой; вокруг гудят пчелы — это вовсе не пчелы, а целый мир тихонько мурлычет свою песенку, говорит отец, а они сидят на замшелом стволе упавшего дерева, жу-ют сэндвичи и пытаются слушать лес, как слушает он. Отец, чуть посмеиваясь, искоса поглядывает на Дугласа. Хотел было что-то сказать, но промолчал, откусил еще кусок сэндвича и задумался.

— Хлеб с ветчиной в лесу — не то что дома. Вкус совсем другой, верно? Острее, что ли... Мятой отдает, смолой. А уж аппетит как разыгрывается!

Дуглас перестал жевать и потрогал языком хлеб и ветчину. Нет, нет... обыкновенный сэндвич.

Том кивнул, продолжая жевать:

— Я понимаю, пап.

«Ведь уже почти случилось, — думает Дуглас. — Не знаю, что это, но оно большущее, прямо громадное. Что-то его спугнуло. Где же оно теперь? Опять ушло в тот куст? Нет, где-то за мной. Нет, нет, здесь... Тут, рядом».

Дуглас исподтишка пощупал свой живот.

Оно еще вернется, надо только немножко подождать. Больно не будет, я уж знаю, не затем оно ко мне придет. Но зачем же? Зачем?

— А ты знаешь, сколько раз мы в этом году играли в бейсбол? А в прошлом? А в позапрошлом? — ни с того ни с сего спросил Том.

Губы его двигались быстро-быстро.

— Я все записал! Тысячу пятьсот шестьдесят восемь раз! А сколько раз я чистил зубы за десять лет жизни? Шесть тысяч раз! А руки мыл пятнадцать тысяч раз, спал четыре с лишним тысячи раз, и это только ночью. И съел шестьсот персиков и восемьсот яблок. А груш — всего двести, я не очень-то люблю груши. Что хочешь спроси, у меня все записано! Если вспомнить и сосчитать, что я делал за все десять лет, прямо тысячи миллионов получаются!

Вот, вот, думал Дуглас. Опять оно ближе. Почему? Потому что Том болтает? Но разве дело в Томе? Он все трещит и трещит с полным ртом, отец сидит молча, насторожился, как рысь, а Том все болтает, никак не утомонится, шипит и пенится, как сифон с содовой.

— Книг я прочел четыреста штук; кино смотрел и того больше: сорок фильмов с участием Бака Джонса, тридцать — с Джеком Хокси, сорок пять — с Томом Миксом, тридцать девять — с Хутом Гибсоном, сто девяносто два мультика про кота Феликса, десять с Дугласом Фербенксом, восемь раз видел «Призрак оперы» с Лоном Чейни, четыре раза смотрел Милтона Силса, даже один про любовь, с Адольфом Менжу, только я тогда просидел целых девяносто часов в киношной уборной, все ждал, чтоб эта ерунда кончилась и пустили «Кошку и канарейку» или «Летучую мышь». А уж тут все цеплялись друг за дружку и визжали два часа без передышки. И съел за это время четыреста леденцов, триста тынучек, семьсот стаканчиков мороженого...

Том болтал еще долго, минут пять, пока отец не прервал его:

— А сколько ягод ты сегодня собрал, Том?

— Ровно двести пятьдесят шесть, — не моргнув глазом ответил Том.

Отец рассмеялся, и на этом окончился завтрак; они вновь двинулись в лесные тени собирать дикий виноград и крошечные ягоды земляники. Все трое наклонялись к самой земле, руки быстро и ловко делали свое дело, ведра все тяжелели, а Дуглас прислушивался и думал: «Вот, вот *оно*, опять близко, прямо у меня за спиной. Не оглядывайся! Работай, собирай ягоды, кидай в ведро. Оглянешься — спугнешь. Нет уж, на этот раз не упущу! Но как бы его заманить поближе, чтобы поглядеть на него, глянуть прямо в глаза? Как?»

— А у меня в спичечном коробке есть снежинка, — сказал Том и улыбнулся, глядя на свою руку, — она была вся красная от ягод, как в перчатке.

«Замолчи!» — чуть не завопил Дуглас, но нет, кричать нельзя: всполошится эхо и все спугнет...

Постой-ка... Том болтает, а *оно* подходит все ближе, значит, *оно* не боится Тома, Том только притягивает *его*, Том тоже немножко *оно*...

— Дело было еще в феврале, валил снег, а я подставил коробок, — Том хихикнул, — поймал одну снежинку побольше и — раз! — захлопнул, скорей побежал домой и сунул в холодильник!

Близко, совсем близко. Том трещал без умолку, а Дуглас не сводил с него глаз. Может, отскочить, ударить — ведь из-за леса накатывается какая-то грозная волна. Вот сейчас обрушится и раздавит...

— Да, сэр, — задумчиво продолжал Том, обрывая куст дикого винограда. — На весь штат Иллинойс у меня у одного летом есть снежинка. Такой клад больше нигде не сыщешь, хоть тресни. Завтра я ее открою, Дуг, ты тоже можешь посмотреть...

В другое время Дуглас бы только презрительно фыркнул — ну да, мол, снежинка, как бы не так. Но сейчас на него мчалось то, огромное, вот-вот обрушится с ясного неба — и он лишь зажмурился и кивнул.

Том до того изумился, что даже перестал собирать ягоды, повернулся и уставился на брата.

Дуглас застыл, сидя на корточках. Ну как тут удержаться? Том испустил воинственный клич, кинулся на него, опрокинул на землю. Они покатались по траве, барахтаясь и тузя друг друга.

Нет, нет! Ни о чем другом не думать! И вдруг... Кажется, все хорошо! Да! Эта стычка, потасовка не спугнула набежавшую волну; вот она захлестнула их, разлилась широко вокруг и несет обоих по густой зелени травы в глубь леса. Кулак Тома угодил Дугласу по губам. Во рту стало горячо и солоно. Дуглас обхватил брата, крепко стиснул его, и они замерли, только сердца колотились да дышали оба со свистом. Наконец Дуглас украдкой приоткрыл один глаз: вдруг опять ничего?

Вот оно, все тут, все как есть!

Точно огромный зрачок исполинского глаза, который тоже только что раскрылся и глядит в изумлении, на него в упор смотрел весь мир.

И он понял: вот что неожиданно пришло к нему, и теперь останется с ним, и уже никогда его не покинет.

«Я ЖИВОЙ», — подумал он.

Пальцы его дрожали, розовея на свету стремительной кровью, точно клочки неведомого флага, прежде невиданного, обретенного впервые... Чей же это флаг? Кому теперь присягать на верность?

Одной рукой он все еще стискивал Тома, но совсем забыл о нем и осторожно потрогал светящиеся алым пальцы, словно хотел снять перчатку, потом поднял их повыше и оглядел со всех сторон. Выпустил Тома, откинулся на спину, все еще воздев руку к небесам, и теперь весь он был — одна голова; глаза, будто часовые сквозь бойницы неведомой крепости, оглядывали мост — вытянутую руку и пальцы, где на свету трепетал кроваво-красный флаг.

— Ты что, Дуг? — спросил Том.

Голос его доносился точно со дна зеленого замшелого колодца, откуда-то из-под воды, далекий и таинственный.

Под Дугласом шептались травы. Он опустил руку и ощутил их пушистые ножны. И где-то далеко, в теннисных туфлях, шевельнул пальцами. В ушах, как в раковинах, вздыхал ветер. Многоцветный мир переливался в зрачках, точно пестрые картинки в хрустальном шаре. Лесистые холмы были усеяны цветами, будто осколками солнца и огненными клочками неба. По огромному опрокинутому озеру небосвода мелькали птицы, точно камушки, брошенные ловкой рукой. Дуглас шумно дышал сквозь зубы, он словно вдыхал лед и выдыхал пламя. Тысячи пчел и стрекоз пронизывали воздух, как электрические разряды. Десять тысяч волосков на голове Дугласа выросли на одну миллионную дюйма. В каждом его ухе стучало по сердцу, третье колотилось в горле, а настоящее гулко ухало в груди. Тело жадно дышало миллионами пор.

«Я и правда живой, — думал Дуглас. — Прежде я этого не знал, а может, и знал, да не помню».

Он выкрикнул это про себя раз, другой, десятый! Надо же! Прожил на свете целых двенадцать лет и ничегошеньки не понимал! И вдруг такая находка: дрался с Томом, и вот тебе — тут, под деревом, сверкающие золотые часы, редкостный хронометр с заводом на семьдесят лет!

— Дуг, да что с тобой?

Дуглас издал дикий вопль, сгрэб Тома в охапку, и они вновь покатались по земле.

— Дуг, ты спятил?

— Спятил!

Они катились по склону холма, солнце горело у них в глазах и во рту, точно осколки лимонно-желтого стекла; они задыхались, как рыбы, выброшенные из воды, и хохотали до слез.

— Дуг, ты не рехнулся?

— Нет, нет, нет, нет!

Дуглас зажмурился: в темноте мягко ступали пятнистые леопарды.

— Том! — И тише: — Том... Как по-твоему, все люди знают... знают, что они... живые?

— Ясно, знают! А ты как думал?

Леопарды неслышно прошли дальше во тьму, и глаза уже не могли за ними уследить.

— Хорошо бы так, — прошептал Дуглас. — Хорошо бы все знали.

Он открыл глаза. Отец, подбоченясь, стоял высоко над ним и смеялся; голова его упиралась в зеленолистый небосвод. Глаза их встретились.

Дуглас встрепенулся. «Папа знает, — понял он. — Все так и было задумано. Он нарочно привез нас сюда, чтобы это со мной случилось! Он тоже в заговоре, он все знает! И теперь он знает, что и я уже знаю».

Большая рука опустилась с высоты и подняла его в воздух. Покачиваясь на нетвердых ногах между отцом и Томом, исцарапанный, встрепанный, все еще ошарашенный, Дуглас

осторожно потрогал свои локти — они были как чужие — и, довольный, облизнул разбитую губу. Потом взглянул на отца и на Тома.

— Я понесу все ведра, — сказал он. — Сегодня я хочу один все тащить.

Они загадочно усмехнулись и отдали ему ведра.

Дуглас стоял, чуть покачиваясь, и его ноша — весь истекающий соком лес — оттягивала ему руки. «Хочу почувствовать все, что только можно, — думал он. — Хочу устать, хочу очень устать. Нельзя забыть ни сегодня, ни завтра, ни после».

Он шел, опьяненный, со своей тяжелой ношей, а за ним плыли пчелы, и запах дикого винограда, и ослепительное лето; на пальцах вспухали блаженные мозоли, руки онемели, и он спотыкался, так что отец даже схватил его за плечо.

— Не надо, — пробормотал Дуглас. — Я ничего, я отлично справлюсь...

Еще добрых полчаса он ощущал руками, ногами, спиной траву и корни, камни и кору, что словно отпечатались на его теле. Понемногу отпечаток этот стирался, таял, ускользал, Дуглас шел и думал об этом, а брат и молчаливый отец шли позади, предоставляя ему одному пролагать путь сквозь лес к неправдоподобной цели — к шоссе, которое приведет их обратно в город...

* * *

И вот — город в тот же день.

И еще одно откровение.

Дедушка стоял на широком парадном крыльце и, точно капитан, оглядывал широкие недвижные просторы: перед ним раскинулось лето. Он вопрошал ветер, и недостижимо высокое небо, и лужайку, где стояли Дуглас и Том и вопрошали только его одного:

— Дедушка, они уже созрели?

Дедушка поскреб подбородок:

— Пятьсот, тысяча, даже две тысячи — наверняка. Да, да, хороший урожай. Сбирать легко, соберите все. Плачу десять центов за каждый мешок, который вы принесете к прессу.

— Ура!

Мальчики заулыбались и с жаром взялись за дело. Они рвали золотистые цветы, цветы, что наводняют весь мир, переплескиваются с лужаек на мощеные улицы, тихонько стучатся в прозрачные окна погребов, не знают угомону и удержу и все вокруг заливают слепящим сверканием расплавленного солнца.

— Каждое лето они точно с цепи срываются, — сказал дедушка. — Пусть их, я не против. Вон их сколько, стоят гордые, как львы. Посмотришь на них подольше — так и прожгут у тебя в глазах дырку. Ведь простой цветок, можно сказать, сорная трава, никто ее и не замечает, а мы уважаем, считаем: одуванчик — благородное растение.

Они набрали полные мешки одуванчиков и унесли вниз, в погреб. Вывалили их из мешков, и во тьме погреба разлилось сияние. Винный пресс дождался их, открытый, холодный. Золотистый поток согрел его. Дедушка передвинул пресс, повернул ручку, завертел — быстрее, быстрее, — и пресс мягко стиснул добычу...

— Ну вот... вот так...

Сперва тонкой струйкой, потом все щедрее, обильнее побежал по желобу в глиняные кувшины сок прекрасного жаркого месяца; ему дали перебродить, сняли пену и разлили в чистые бутылки из-под кетчупа — и они выстроились рядами на полках, поблескивая в сумраке погреба.

Вино из одуванчиков.

Самые эти слова — точно лето на языке. Вино из одуванчиков — пойманное и закупоренное в бутылки лето. И теперь, когда Дуглас знал, по-настоящему знал, что он живой, что он затем и ходит по земле, чтобы видеть и ощущать мир, он понял еще одно: надо частицу всего, что он узнал, частицу этого особенного дня — дня сбора одуванчиков — тоже закупорить и сохранить; а потом настанет такой зим-

ний январский день, когда валит густой снег, и солнца уже давным-давно никто не видел, и, может быть, это чудо позабылось, и хорошо бы его снова вспомнить, — вот тогда он его откупорит! Ведь это лето непременно будет летом неожиданных чудес, и надо все их сберечь и где-то отложить для себя, чтобы после, в любой час, когда вздумаешь, пробраться на цыпочках во влажный сумрак и протянуть руку...

И там, ряд за рядом, будут стоять бутылки с вином из одуванчиков — оно будет мягко мерцать, точно раскрывающиеся на заре цветы, а сквозь тонкий слой пыли будет поблескивать солнце нынешнего июня. Взгляни сквозь это вино на холодный зимний день — и снег растает, из-под него покажется трава, на деревьях оживут птицы, листва и цветы, словно мириады бабочек, затрепещут на ветру. И даже холодное серое небо станет голубым.

Возьми лето в руку, налей лето в бокал — в самый крохотный, конечно, из какого только и сделаешь единственный терпкий глоток, поднеси его к губам — и по жилам твоим вместо лютой зимы побежит жаркое лето...

— Теперь — дождевой воды!

Конечно, здесь годится только чистейшая вода дальних озер, сладостные росы бархатных лугов, что возносятся на заре к распахнувшимся навстречу небесам; там, в прохладных высях, они собирались чисто омытыми гроздьями, ветер мчал их за сотни миль, заряжая по пути электрическими зарядами. Эта вода вобрала в каждую свою каплю еще больше небес, когда падала дождем на землю. Она впитала в себя восточный ветер, и западный, и северный, и южный и обратилась в дождь, а дождь в этот час священнодействия уже становится терпким вином.

Дуглас схватил ковш, выбежал во двор и глубоко погрузил его в бочонок с дождевой водой.

— Вот она!

Вода была точно шелк, прозрачный, голубоватый шелк. Если ее выпить, она коснется губ, горла, сердца мягко, как ласка. Но ковш и полное ведро надо отнести в погреб, что-

бы вода пропитала там весь урожай одуванчиков струями речек и горных ручьев.

Даже бабушка в какой-нибудь февральский день, когда беснуется за окном выюга и сплит весь мир и у людей захватывает дыхание, — даже бабушка тихонько спустится в погреб.

Наверху в большом доме будет кашель, чихание, хриплые голоса и стоны, простуженным детям очень больно будет глотать, а носы у них покраснеют, точно вишни, вынутые из наливки, — всюду в доме притаится коварный микроб.

И тогда из погреба возникнет, точно богиня лета, бабушка, пряча что-то под вязаной шалью; она принесет это «что-то» в комнату каждого болящего и разольет — душистое, прозрачное — в прозрачные стаканы, и стаканы эти осушат одним глотком. Лекарство иных времен, бальзам из солнечных лучей и праздного августовского полудня, едва слышный стук колес тележки с мороженым, что катится по мошеным улицам, шорох серебристого фейерверка, что рассыпается высоко в небе, и шелест срезанной травы, фонтаном бьющей из-под косилки, что движется по лугам, по муравьиному царству, — все это, все — в одном стакане!

Да, даже бабушка, когда спустится в зимний погреб за июнем, наверное, будет стоять там тихонько, совсем одна, в тайном единении со своим сокровенным, со своей душой, как и дедушка, и папа, и дядя Берт, и другие тоже, словно беседуя с тенью давно ушедших дней, с пикниками, с теплым дождем, с запахом пшеничных полей, и жареных кукурузных зерен, и свежескошенного сена. Даже бабушка будет повторять снова и снова те же чудесные, золотящиеся слова, что звучат сейчас, когда цветы кладут под пресс, — как будут их повторять каждую зиму, все белые зимы во все времена. Снова и снова они будут слетать с губ, как улыбка, как неожиданный солнечный зайчик во тьме.

Вино из одуванчиков. Вино из одуванчиков. Вино из одуванчиков.

* * *

Они приходили неслышно. Уходили почти бесшумно. Трава пригибалась и распрямлялась вновь. Они скользили вниз по холмам, точно тени облаков... Это бежали летние мальчишки.

Дуглас отстал и заблудился. Задыхаясь от быстрого бега, он остановился на краю оврага, на самой кромке над пропастью, и оттуда на него дохнуло холодом. Навострив уши, точно олень, он вдруг учуял старую как мир опасность. Город распался здесь на две половины. Здесь кончилась цивилизация. Здесь живет лишь вспухшая земля, ежечасно совершается миллион смертей и рождений.

И здесь проторенные или еще не проторенные тропы твердят: чтобы стать мужчинами, мальчишки должны странствовать, всегда, всю жизнь странствовать.

Дуглас обернулся. Эта тропа огромной пыльной змеей скользит к ледяному дому, где в золотые летние дни прячется зима. А та бежит к раскаленным песчаным берегам июльского озера. А вон та — к деревьям, где мальчишки прячутся меж листьев, точно терпкие, еще незрелые плоды дикой яблони, и там растут и зреют. А вот эта — к персиковому саду, к винограднику, к огородным грядкам, где дремлют на солнце арбузы, полосатые, словно кошки тигровой масти. Эта тропа, заросшая, капризная, извилистая, тянется к школе. А та, прямая как стрела, — к субботним утренникам, где показывают ковбойские фильмы. Вот эта, вдоль ручья, — к дикой лесной чаще...

Дуглас зажмурился.

Кто скажет, где кончается город и начинается лесная глушь? Кто скажет, город врастает в нее или она переходит в город? Издавна и навеки существует некая неуловимая грань, где борются две силы, и одна на время побеждает и завладевает просекой, ложиной, лужайкой, деревом, кустом. Бескрайнее море трав и цветов плещется далеко в полях, вокруг одиноких ферм, а летом зеленый прибой яростно подступает к самому городу. Ночь за ночью чащи, луга,

дальние просторы стекают по оврагу все ближе, захлестывают город запахом воды и трав, и город словно пустеет, мертвеет и вновь уходит в землю. И каждое утро овраг еще глубже вгрызается в город и грозит поглотить гаражи, точно дырявые лодчонки, и пожрать допотопные автомобили, оставленные на милость дождя и разъедаемые ржавчиной.

— Эй! Ау!

Сквозь тайны оврага, и города, и времени мчались Джон Хаф и Чарли Вудмен.

— Эй!

Дуглас медленно двинулся по тропинке. Конечно, если хочешь посмотреть на две самые главные вещи — как живет человек и как живет природа, — надо прийти сюда, к оврагу. Ведь город, в конце концов, всего лишь большой, потрепанный бурями корабль, на нем полно народу, и все хлопочут без устали — вычерпывают воду, обкалывают ржавчину. Порой какая-нибудь шлюпка, хибарка — детище корабля, смытое неслышной бурей времени, — тонет в молчаливых волнах термитов и муравьев, в распахнутой овражной пасти, чтобы ощутить, как мелькают кузнечики и шуршат в жарких травах, точно сухая бумага; чтобы оглохнуть под пеленой тончайшей пыли и наконец рухнуть градом камней и потоком смолы, как рушатся тлеющие угли костра, зажженного громом и синей молнией, на миг озарившей торжество лесных дебрей.

Так вот, значит, что тянуло сюда Дугласа — тайная война человека с природой: из года в год человек похищает что-то у природы, а природа вновь берет свое, и никогда город по-настоящему, до конца, не побеждает, вечно ему грозит безмолвная опасность; он вооружился косилкой и тяпкой, огромными ножницами, он подрезает кусты и опрыскивает ядом вредных букашек и гусениц, он упрямо плывет вперед, пока ему велит цивилизация, но каждый дом того и гляди захлестнут зеленые волны и схоронят навски, а когда-нибудь с лица земли исчезнет последний человек, и его косилки и садовые лопаты, изъеденные ржавчиной, рассыплются в прах.

Город. Чаша. Дома. Овраг. Дуглас озадаченно мигает. Но какая же связь меж человеком и природой, как понять, что значат они друг для друга, когда...

Он опустил глаза.

Первый летний обряд позади — одуванчики собраны и заготовлены впрок. Пора приступать ко второму, но Дуглас застыл и не движется с места.

— Дуг! Пошли, Дуг!

Голоса затихли вдалеке.

— Я живой, — сказал Дуглас. — Но что толку? Они еще больше живые, чем я. Как же это? Как же?

Так он стоял, в одиночестве, глядя на свои ноги, не в силах двинуться с места, — и наконец понял.

* * *

В тот вечер Дуглас возвращался домой из кино вместе с родителями и братом Томом и увидел их в ярко освещенной витрине магазина — теннисные туфли. Дуглас поспешно отвел глаза, но его ноги уже ощутили прикосновение парусины и заскользили по воздуху — быстрее, быстрее! Земля завертелась, захлопали полотняные навесы над витринами — такой он поднял ветер, так он мчался... Родители и Том шагали не торопясь, а между ними, пятясь задом, шел Дуглас и не сводил глаз с теннисных туфель там, позади, в полумночной витрине.

— Хорошая была картина, — сказала мама.

— Ага, — буркнул Дуглас.

Стоял июнь, давно миновало то время, когда на лето покупают такие туфли, легкие и тихие, точно теплый дождь, что шуршит по тротуарам. Уже июнь, и земля полна перевозанной силы, и все вокруг движется и растет. Трава и по сей день переливается сюда из лугов, омывает тротуары, подступает к домам. Кажется, город вот-вот черпнет бортом и покорно пойдет на дно, и в зеленом море трав не останется ни всплеска, ни ряби. Дуглас вдруг застыл, точно врос

в мертвый асфальт и красный кирпич улицы, не в силах тронуться с места.

— Пап, — выпалил он. — Вон там, в окне, теннисные туфли...

Отец даже не обернулся.

— А зачем тебе новые туфли, скажи, пожалуйста? Можешь ты мне объяснить?

— Ну-у...

Да затем, что в них чувствуешь себя так, будто впервые в это лето скинул башмаки и побежал босиком по траве. Точно в зимнюю ночь высунул ноги из-под теплого одеяла и подставил ветру, что дышит холодом в открытое окно, и они стынут, стынут, а потом втягиваешь их обратно под одеяло, и они совсем как сосульки... В теннисных туфлях чувствуешь себя так, будто впервые в это лето бредешь босиком по ленивому ручью и в прозрачной воде видишь, как твои ноги ступают по дну — будто они переломились и движутся чуть впереди тебя, потому что ведь в воде все видится не так...

— Пап, — сказал Дуглас, — это очень трудно объяснить.

Люди, которые мастерили теннисные туфли, откуда-то знают, чего хотят мальчишки и что им нужно. Они кладут в подметки чудо-траву, что делает дыхание легким, а под пятку — тугие пружины, а верх ткут из трав, отбеленных и обожженных солнцем в просторах степей. А где-то глубоко в мягком чреве туфель запрятаны тонкие, твердые мышцы оленя. Люди, которые мастерят эти туфли, верно, видели множество ветров, проносящихся в листве деревьев, и сотни рек, что устремляются в озера. И все это было в туфлях, и все это было — лето.

Дуглас попытался объяснить все отцу.

— Допустим, — сказал отец. — Но чем плохи твои прошлогодние туфли? Поройся в чулане, ты, конечно, найдешь их там.

Дугласу стало вдруг жалко мальчишек, которые живут в Калифорнии и ходят в теннисных туфлях круглый год; они ведь даже не знают, какое это чудо — сбросить с ног зиму,

скинуть тяжеленные кожаные башмаки, полные снега и дождя, и с утра до ночи бегать, бегать босиком, а потом зашнуровать на себе первые в это лето новенькие теннисные туфли, в которых бегать еще лучше, чем босиком. Но туфли непременно должны быть новые — в этом все дело. К первому сентября волшебство, наверное, исчезнет, но сейчас, в конце июня, оно еще действует вовсю, и такие туфли все еще в силах помчать тебя над деревьями, над реками и домами. И если захочешь — они перенесут тебя через заборы, тротуары и упавшие деревья.

— Как же ты не понимаешь? — сказал Дуглас отцу. — Прошлогодние никак не годятся.

Ведь прошлогодние туфли уже мертвые внутри. Они хороши только одно лето, только когда их надеваешь впервые. Но к концу лета всегда оказывается, что на самом деле в них уже нельзя перескочить через реки, деревья или дома, — они уже мертвые. А ведь сейчас опять настало новое лето, и, конечно, в новых туфлях он опять сможет делать все, что только пожелает.

Они поднялись на крыльцо и вошли в дом.

— Копи деньги, — посоветовал отец. — Месяца через полтора...

— Да ведь тогда лето кончится!

Погасили огонь. Том уснул, а Дуглас все смотрел на свои ноги — они белели под лунным светом, далеко, в конце кровати, свободные от тяжеленных башмаков: только теперь с них свалились эти гири — остатки зимы.

— Надо придумать, почему нужны новые. Надо что-то придумать.

Ну, во-первых, всякий знает, что на холмах, за городом, полным-полно друзей — они раслугивают коров, предсказывают перемену погоды, с утра до ночи жарятся на солнце, так что кожа лупится и они обдирают ее ключьями, словно листки календаря, и снова жарятся на солнце. Если хочешь их поймать, придется бегать быстрее всех белок и лисиц. А в городе полным-полно врагов, они злятся из-за жары и потому помнят все зимние споры и обиды. ИЩИ ДРУЗЕЙ,

РАСШВЫРИВАЙ ВРАГОВ! Вот девиз легких как пух волшебных туфель. **МИР БЕЖИТ СЛИШКОМ БЫСТРО? ХОЧЕШЬ ЕГО ДОГНАТЬ? ХОЧЕШЬ ВСЕГДА БЫТЬ ПРОВОРНЕЙ ВСЕХ? ТОГДА ЗАВЕДИ СЕБЕ ВОЛШЕБНЫЕ ТУФЛИ! ТУФЛИ, ЛЕГКИЕ КАК ПУХ!**

Дуглас встряхнул свою копилку — в ней чуть звякнуло. Она была почти пустая.

«Если тебе что-нибудь нужно, добивайся сам, — подумал он. — Ночью постараемся найти ту заветную тропку...»

Огни внизу, в городе, гасли один за другим. В окно дунул ветер. Точно река течет — так бы и пошел с нею...

Во сне он слышал, как в теплой густой траве бежит, бежит, бежит кролик.

Старый мистер Сэндерсон двигался по своей обувной лавке, точно по какому-то питомнику, где в конурках собраны со всего света собаки и кошки всевозможных пород, и на ходу он ласково гладил своих любимцев. Мистер Сэндерсон погладил каждую пару башмаков и туфель, выставленных в витрине, и одни казались ему собаками, другие кошками; он касался их заботливой рукой — где поправит шнурки, где вытянет язычок. Потом остановился на самой середине ковра, покрывавшего пол лавки, огляделся вокруг и удовлетворенно кивнул.

Вдалеке, нарастая, загремел гром.

Миг — и в дверях появился Дуглас Сполдинг. Он смущенно глядел вниз, на свои кожаные башмаки, точно они были такие тяжелые, что их никак не оторвешь от асфальта. Он остановился в дверях — и гром тотчас умолк. И вот, мучительно медленно, держа на ладони все свои сбережения и не решаясь поднять глаза, Дуглас шагнул из яркого полуденного света в лавку. Он осторожно разложил столбиками на прилавке медяки, монетки по десять и двадцать пять центов, словно шахматист, что ждет с тревогой — вознесет ли его следующий ход к вершинам торжества или погрузит в бездну отчаяния.

— Все ясно без слов, — сказал мистер Сэндерсон.

Дуглас замер.

— Во-первых, я знаю, что ты хочешь купить, — продолжал мистер Сэндерсон. — Во-вторых, я каждый день вижу тебя у моей витрины. Ты думаешь, я ничего не замечаю? Ошибаешься. В-третьих, тебе нужны, называя их полным именем, «легкие как пух, мягкие как масло, прохладные как мята» теннисные туфли. В-четвертых, у тебя не хватает денег и тебе нужен кредит.

— Нет! — крикнул Дуглас, тяжело дыша, точно он бежал во сне всю ночь без отдыха. — Не надо мне кредита, я придумал кое-что получше, — выдохнул он наконец. — Сейчас я объясню, только сперва, пожалуйста, скажите мне одно, сэр, мистер Сэндерсон. Вы помните, когда вы сами в последний раз надевали такие туфли?

Старик помрачнел:

— Ну, лет десять назад или двадцать, может быть, даже тридцать... Почему это тебя интересует?

— Знаете что, мистер Сэндерсон, если по-честному, вам надо и самому хоть примерить ваши теннисные туфли. Ведь вы их людям продаете? Вот и примерьте хоть на минутку, сами увидите, каковы они на ноге. Если долго чего-нибудь не пробовать, поневоле забудешь, как оно бывает. Ведь хозяин табачной лавочки курит, правда? И кондитер всегда, конечно, пробует свой товар. Вот я и думаю...

— Ты, верно, заметил, я тоже не босиком хожу, — сказал старик.

— Но не в теннисных туфлях, сэр! Как же вы их продаете, если не можете даже как следует их расхвалить? А как вам их расхваливать, если вы их толком и не знаете?

Дуглас говорил с таким жаром, что Сэндерсон даже попытлся и в раздумье поскреб подбородок:

— Н-да-а, пожалуй...

— Мистер Сэндерсон, — сказал Дуглас, — вы мне продайте одну вещь, а я тоже продам вам кое-что очень полезное.

— Но неужели для этой сделки необходимо, чтобы я надел пару теннисных туфель, дружок?

— Было бы очень хорошо, сэр!

Старик вздохнул. Через минуту он уже сидел на стуле и, тяжело дыша, зашнуровывал на своих узких длинных ногах теннисные туфли. Туфли казались чужими и неуместными рядом с темными обшлагами его пиджака. Наконец он встал.

— Ну, как вы себя в них чувствуете? — спросил мальчик.

— Как я себя чувствую? Отлично. — И он хотел снова сесть на стул.

— Нет, нет! — Дуглас умоляюще протянул руку. — Теперь, пожалуйста, покачайтесь немного с пяток на носки, попрыгайте, поскачите, что ли, а я вам все доскажу. Значит, так: я отдаю вам деньги, вы отдаете мне туфли. Я должен вам еще доллар. Но как только я надену эти туфли, мистер Сэндерсон, как только я их надену, знаете, что случится?

— Что же?

— Хлоп! Я разношу вашим покупателям на дом покупки, таскаю для вас всякие свертки, приношу вам кофе, убираю мусор, бегаю на почту, на телеграф, в библиотеку! Я буду летать взад и вперед, взад и вперед, десять раз в минуту! Вот вы теперь сами чувствуете, какие это туфли, сэр, сами чувствуете, как быстро они будут меня носить! Ведь они на пружинах — чувствуете? Они сами бегут! Охватят ногу и уже не дают никакого покоя, им совсем не нравится стоять на одном месте. Вот я и буду делать для вас все, что вам не захочется делать самому, да знаете, как быстро! Вы сидите спокойно у себя в лавке, в холодке, а я буду носиться за вас по всему городу. Но, ведь если по правде, это буду не я, это все туфли! Возьмут и помчатся по улицам как бешеные, раз-два — за угол, раз-два — обратно! Вот как!

Сэндерсона оглушило это красноречие. Поток слов захватил его и понес; он поглубже засунул ноги в туфли, пошевелил пальцами, повертел ступней, вытянул ногу в подьеме. В открытую дверь задувал ветерок, и мистер Сэндерсон тихонько покачивался, подставляя ноги под его свежее дуновение. Туфли неслышно тонули в мягком ковре, точно

в бархатной траве джунглей, во вспаханном черноземе или в размокшей глине. Старик с серьезным видом привстал на носки, оттолкнулся пятками, словно от пышного теста, от податливой мягкой земли. Все его ощущения отражались у него на лице, как будто быстро переключали разноцветные огни. Рот приоткрылся. Он еще немного покачался на носках — все медленнее, медленнее — и наконец застыл; голос мальчика тоже умолк, и в глубокой, многозначительной тишине они стояли и смотрели в глаза друг другу.

По тротуару под жарким солнцем шли мимо лавки редкие прохожие.

А старик и мальчик все стояли друг против друга, и лицо мальчика сияло, а старик, казалось, обдумывал некое неожиданное открытие.

— Послушай, — сказал он наконец. — Не хочешь ли лет эдак через пять продавать у меня тут ботинки?

— Спасибо, мистер Сэндерсон, только я и сам еще не знаю, что стану делать, когда вырасту.

— Что захочешь, сынок, то и станешь делать, — сказал старик. — Ты своего добьешься. И никто тебя не удержит.

Он легким шагом подошел к стене, где стояло, уж наверное, десять тысяч коробок с обувью, и вернулся к прилавку с туфлями для Дугласа. Потом он писал что-то на листке бумаги, а Дуглас в это время надел туфли, завязал шнурки и теперь стоял и ждал.

Старик кончил писать и протянул ему листок.

— Вот тебе десяток поручений на сегодня. Когда все сделаешь, мы с тобой квиты, и ты получаешь расчет.

— Спасибо, мистер Сэндерсон! — Дуглас кинулся прочь из лавки.

— Постой! — закричал старик.

Дуглас остановился и обернулся к нему.

— Ну как туфли? — с интересом спросил старик.

Дуглас поглядел на свои ноги — они были уже далеко, на берегу реки, среди пшеничных полей, на ветру, что гнал

его из города. Потом вскинул голову и посмотрел на старика; глаза его горели, губы шевелились, но с них не слетело ни звука.

— Антилопы? — Старик перевел взгляд с лица мальчика на туфли. — Газели?

Дуглас подумал, помолчал в нерешительности и торопливо кивнул. И — исчез. Шепнул что-то, круто повернулся и исчез. Дверь — настезь, на пороге — никого. Быстрый шорох теннисных туфель растаял в тропическом зное.

Мистер Сэндерсон стоял в дверях, ослепленный солнцем, и прислушивался. С давних-давних пор, когда его еще одолевали мальчишеские мечты, он помнил этот звук. Под небом мелькали чудесные создания, скользили под деревьями и в кустах, убегали все дальше, и оставалось лишь еле слышное эхо...

— Антилопы, — повторил Сэндерсон. — Газели...

Он нагнулся и поднял с пола брошенные зимние башмаки Дугласа, отяжелевшие от уже забытых дождей и давно растаявших снегов. Потом отошел в тень, подальше от слепящих лучей солнца, и неторопливо, мягко и легко ступая, направился назад, к цивилизации...

* * *

Он вынул пятицентовый блокнот в желтом переплете. Вынул желтый карандаш фирмы Тайкондерога. Открыл блокнот. Лизнул карандаш.

— Знаешь, Том, мне понравилось, как ты все считаешь, — сказал он. — Теперь и я буду так делать, все записывать. Вот ты, верно, про это и не думал, а мы ведь каждое лето опять и опять, снова-здорово делаем то же самое, что делали прошлым летом.

— Например, Дуг?

— Ну, например, делаем вино из одуванчиков, покупаем теннисные туфли, пускаем первый фейерверк, делаем лимонад, вытаскиваем из ног занозы, собираем дикий виноград. Каждый год одно и то же, в точности как раньше, и ника-

ких перемен, никакой разницы. Но это только одна половина лета, Том.

— А другая?

— Другая — то, что мы делаем первый раз в жизни.

— Например, едим оливки?

— Нет уж, кое-что поважнее. Ну как если мы вдруг увидим, что папа и бабушка не все на свете знают.

— Пожалуйста, не выдумывай! Они знают все, что только можно знать!

— Не спорь, Том. Я уже записал это в «Открытия и откровения». Они знают не все. Но тут нет ничего страшного. Я и это открыл.

— Какую еще ерунду ты там записал?

— Что я живой.

— Вот еще, Америку открыл! Давно известно.

— Нет, я про это думаю, я это замечаю — вот что ново.

Сперва живешь, живешь, ходишь, делаешь что-нибудь, а сам даже не замечаешь. И потом вдруг увидишь: ага, я живу, хожу или там дышу, — вот это и есть по-настоящему в первый раз. Теперь я разделю лето на две половины. Первая в моем блокноте называется «Обряды и обыкновности». Первый раз в этом году пил шипучку. Первый раз в этом году бегал босиком по траве. Первый раз в этом году чуть не утонул в озере. Первый арбуз. Первый комар. Первый сбор одуванчиков. Все это бывает из года в год, и мы про это никогда не думаем. А вторая половина блокнота — «Открытия и откровения». Или даже лучше назвать «Озарения» — вот отличное слово, правда? Или, может, «Ощущения»? В общем, когда делаешь что-нибудь старое, давно известное, ну хоть разливаешь в бутылки вино из одуванчиков, это, конечно, надо записать в «Обряды и обыкновности». А потом про это подумаешь — и уж тут все мысли, какие придут в голову, все равно, умные или глупые, надо записать в «Открытия и откровения». Вот, слушай, что я записал про это вино: «Каждый раз, когда мы разольем его по бутылкам, у нас остается в целостности и сохранности кусок лета двадцать восьмого года». Ну, что скажешь?

— Я уже давным-давно не понимаю, что ты такое говоришь, — сказал Том.

— Ну гляди, вот я еще записал. В «Обрядах и обыкновенностях» у меня стоит так: «Первый раз спорил с папой и получил первую трепку летом тысяча девятьсот двадцать восьмого года, утром двадцать четвертого июня». А в «Открытиях и откровениях» у меня про это так: «Взрослые и дети — два разных народа, вот почему они всегда воюют между собой. Смотрите, они совсем не такие, как мы. Смотрите, мы совсем не такие, как они. Разные народы — «и друг друга они не поймут»¹. Вот, мотай себе на ус, Том.

— Верно, Дуг, в самую точку! Ясно, именно так! Поэто-му-то мы никак не можем поладить с папой и мамой. Вечно одни неприятности с утра до ночи! Дуг, ты просто гений!

— Значит, так: увидишь за эти три месяца что-нибудь, что мы делаем опять и опять, — тут же скажи мне. Потом подумай про это — и тоже скажи мне. А в День труда мы все это прочитаем и посмотрим, что у нас получится за лето.

— А я тебе прямо сейчас скажу кое-что. Бери карандаш, Дуг. На свете пять миллиардов деревьев. Я это вычитал в книжке. И под каждым деревом есть тень, верно? Значит, откуда берется ночь? А вот откуда: пять миллиардов деревьев — и из-под каждого дерева выползает тень. Представляешь? Вот бы найти способ удержать их все под деревьями и не выпускать — тогда и спать ложиться незачем, ведь ночи-то и не было бы вовсе! Вот тебе и выходит: немножко старого и немножко нового.

— Все правильно, тут есть и старое и новое. — Дуглас лизнул желтый карандаш Тайкондерога (ему ужасно нравилось это название). — Ну-ка, скажи все это еще разок...

— На свете пять миллиардов деревьев, и под каждым деревом лежит тень...

¹ Из баллады Редьярда Киплинга.

* * *

Да, лето состоит из привычных обрядов, для каждого есть свое привычное время и свое привычное место. Обряд приготовления лимонада или замороженного чая, обряд вина, туфель или босых ног и, наконец, очень скоро, еще один, полный спокойного достоинства обряд: на веранде вешают качели.

На третий день лета, под вечер, дедушка выходит на веранду и принимается невозмутимо разглядывать два пустых кольца, свисающих с потолка. Неторопливо подходит к перилам, уставленным горшками с геранью, точно Ахав, который испытующим взглядом встречает ясный тихий день и ясное небо; потом облизывает палец и подставляет его ветру, снимает пиджак — надо же убедиться, не холодно ли на закате в одной рубашке. Потом издали здороваются с соседями — те тоже выходят на уставленные цветами веранды, чтобы насладиться теплым летним вечером; они даже не слышат, как чирикают за стеной или твякают, точно болонки, их жены.

— Что ж, Дуглас, давай вешать.

Они отыскивают в гараже качели, стирают с них пыль, выносят на веранду, и дедушка подвешивает их к кольцам в потолке, точно водружает парадное седло на слона для торжественного и тихого праздника летних вечеров.

Дуглас легче деда, он первым садится на качели. А потом и солидный дедушка осторожно пристраивается рядом. И они, улыбаясь и кивая друг другу, молча раскачиваются взад и вперед, взад и вперед...

Минут через десять на веранду выходит бабушка с полными ведрами и швабрами, подметает и моет веранду. Из дома выносят легкие стулья, качалки и шезлонги.

— Люблю выбираться на веранду пораньше, — говорит дедушка. — Пока еще не так много moskitov.

Часов в семь раздается легкий скрип — от столов отодвигают стулья, а если постоять под окном столовой, услышишь, как там бренчат на разбитом фортепьяно с пожел-

тевшими от старости клавишами. Чиркают спички, булькает вода — во всех кухнях моют посуду, со звоном ставят тарелки сушить на полку. А потом понемногу на сумеречных улицах под огромными дубами и вязами оживает дом за домом, на тенистые веранды выходят люди, точно фигурки на часах с барометром, предсказывающих погоду.

Вот появляется дядя Берт, а то и дедушка, потом отец и еще кто-нибудь из родных; женщины еще переговариваются в остывающей кухне, мужчины первыми выходят в сладостную тишь вечера, попыхивая сигаретами, и наводят порядок в своем собственном мире. На веранде зазвучат мужские голоса; мужчины расположатся поудобнее, задрав ноги повыше, а мальчишки, точно воробьи, усядутся рядком на стертых ступеньках или на деревянных перилах, и оттуда за вечер уж непременно что-нибудь свалится — либо мальчишка, либо горшок с геранью.

И наконец за дверью на веранде вдруг возникнут, точно привидения, бабушка, прабабушка и мама, и тогда мужчины зашевелиятся, встанут и придвинут им стулья и качалки. Женщины принесут с собой всевозможные веера, сложенные газеты, бамбуковые метелочки или надушенные носовые платки и за разговором будут ими обмахиваться.

Они болтают без умолку целый вечер, а о чем — назавтра никто уже и не вспомнит. Да никому и не важно, о чем говорят взрослые; важно только, что звук их голосов то нарастает, то замирает над тонкими папоротниками, окаймляющими веранду с трех сторон; важно, что город понемногу наполняется тьмой, как будто черная вода льется на дома с неба, и в этой тьме алыми точками мерцают огоньки, и журчат, журчат голоса. Женщины сплетничают и отмахиваются от первых москитов, и те начинают в воздухе свою неистовую пляску. Мужские голоса проникают в старое дерево домов; если закрыть глаза и прижаться головой к доскам пола, слышно, как рокочат голоса мужчин, точно отдаленное землетрясение, оно не прекращается ни на миг, только слышится то чуть тише, то погромче.

Дуглас растянулся на сухих досках веранды, счастливый и умиротворенный, — голоса эти никогда не умолкнут, они будут вечно обволакивать говорливым потоком его тело, его сомкнутые веки, вливаться в сонные уши. Качалки потрескивают, как сверчки, сверчки стрекочут, как качалки, а поросшая мхом бочка для дождевой воды под окном столовой рождает все новые поколения москитов и дает тему для разговора еще на множество лет.

Как хорошо летним вечером сидеть на веранде; как легко и спокойно; вот если бы этот вечер никогда не кончался! Это — вечные, надежные обряды; всегда, до скончания века, будут вспыхивать трубки курильщиков, в полутьме будут мелькать бледные руки и в них — вязальные спицы, будет шуршать серебряная обертка мороженого, кто-нибудь все время будет приходить и уходить. Потому что за вечер непременно кто-нибудь придет — из соседних домов или те, кто живет на другой стороне улицы; проедут на своем маленьком жужжащем автомобильчике мисс Ферн и мисс Роберта, иногда они захватят Тома или Дугласа прокатиться вокруг дома, а возвращаясь, посилят на веранде, обмахивая веером пылающие щеки; или мистер Джонас, старьевщик, поставит свой фургон с лошастью где-нибудь под деревьями и впопыхах поднимется по ступенькам — сразу видно, ему не терпится рассказать что-то новенькое, еще не слышанное, и, как ни странно, это и правда бывает что-нибудь новое. И, наконец, дети — они бегают где-то в темноте, напоследок играют в прятки или в мяч, а потом, когда уже во все ничего не разглядеть, запыхавшись, с разгоревшимися лицами, точно бумеранги, неслышно возвращаются к дому по бархатной лужайке и затихают под мерное журчание на веранде, и голоса журчат, журчат, баюкают их и усыпляют...

Как чудесно лежать в ночи папоротников, трав, в ночи негромких сонных голосов, все они шелестят и сплетаются, и из них соткана тьма. Взрослые давно о нем забыли — ведь он притаился, лежит тихий, как мышонок, слушает, как они строят планы для него и для себя тоже. И голоса их замирают, плывут с освещенным луной табачным дымком, а мо-

тыльки, точно оживший поздний яблоневый цвет, тихонько стучатся в далекие уличные фонари, и голоса уплывают и льются в грядущие годы...

* * *

В тот вечер мужчины собрались перед табачной лавкой и принялись сжигать дирижабли, топить боевые корабли, взрывать пороховые заводы — словом, смаковать хрупкими ртами те самые бактерии, которые в один прекрасный день их убьют. Смертоносные тучи вспухали в дыму их сигар и окутывали взволнованного человека, которого почти нельзя было разглядеть сквозь этот дым; он прислушивался к стуку заступов в их речах, словно различал в них пророческое «ибо прах ты, и в прах возвратишься»¹. Это был Лео Ауфман, городской ювелир; наконец он широко раскрыл блестящие черные глаза, вскинул худые, точно детские, руки и в ужасе закричал:

— Перестаньте! Ради бога, прекратите эти похоронные марши!

— Вы правы, Лео, — сказал ему дедушка Сполдинг; он как раз проходил мимо со своими внуками Дугласом и Томом, возвращаясь с обычной вечерней прогулки. — Они каркают как вороны и вешают недоброе, но кто же заткнет им рты? Изобретите что-нибудь, попробуйте сделать будущее ярче, веселее, отраднее. Ведь вы мастерили велосипеды, чинили автоматы в Галерее, были даже киномехаником, правда?

— Верно! — подхватил Дуглас. — Смастерите для нас Машину счастья!

Все засмеялись.

— Не смейтесь, — сказал Лео Ауфман. — Для чего мы до сих пор пользовались машинами? Только чтоб заставить людей плакать. Всякий раз, когда казалось, что человек и машина вот-вот наконец уживутся друг с другом, — бац! Кто-то где-то смошенничает, приделает какой-нибудь лишней

¹ Бытие, 3:19.

винтик — и вот уже самолеты бросают на нас бомбы и автомобили срываются со скал в пропасть. Отчего же мальчику не попросить Машину счастья? Он совершенно прав!

Лео Ауфман умолк, подошел к краю тротуара и погладил свой велосипед, словно собаку или кошку.

— Что мне терять? — бормотал он. — Наживу еще несколько мозолей на руках, потрачу еще несколько фунтов железа да немного меньше поплю. Решено, я ее сделаю, клянусь, я ее сделаю!

— Лео, — сказал дедушка, — мы вовсе не хотели...

Но Лео Ауфман был уже далеко; изо всех сил нажимая на педали велосипеда, он мчался в теплый летний вечер, и лишь издали донесся его голос:

— Я ее сделаю... сделаю...

— А знаешь, — почтительно сказал Том, — он и правда сделает, вот увидишь.

Посмотришь, как Лео Ауфман катит на своем велосипеде по вечерней каменистой улице, круто сбегаящей с холма, — и сразу понятно, что этому человеку все вокруг по душе: как шуршит в нагретой солнцем траве чертополох, когда ветер пышет жаром в лицо, словно из раскаленной печи, и как звенят под дождем электрические провода. Он был не из тех, для кого бессонная ночь — мучение; напротив, когда не спалось, он лежал и вволю предавался размышлениям: как работает гигантский часовой механизм Вселенной? Кончается ли завод в этих исполинских часах или им предстоит отсчитывать еще долгие, долгие тысячелетия? Кто знает! Но бесконечными ночами, прислушиваясь к темноте, он то решал, что конец близок, то — что это только начало...

Главные потрясения и повороты жизни — в чем они? — думал он сейчас, крутя педали велосипеда. Рождаешься на свет, растешь, стареешь, умираешь. Рождение от тебя не зависит. Но зрелость, старость, смерть — может быть, с этим можно что-нибудь сделать?

В голове у него, сверкая легкими золотыми спицами, вертелись колеса его Машины счастья. Это должна быть машина, которая поможет мальчишкам персиковый пушок

на щеках сменить на мужественную щетину, а девчонкам — превратиться из нескладных гусениц в ярких бабочек. И в зрелые годы, когда счет ударам сердца идет уже на миллиарды, когда лежишь ночью в постели и только тревожный дух твой скитается по земле, эта машина утолит тревогу, и человек сможет мирно дремать вместе с палыми листьями, как засыпают осенью мальчишки, растянувшись на копне душистого сухого сена и безмятежно сливаясь с уходящим на покой миром...

— Папа!

По лужайке ему навстречу бежали дети, все шестеро: Саул, Маршалл, Джозеф, Ребекка, Рут и Ноэми, — младшему пять, старшему пятнадцать; каждому хотелось взять у отца велосипед, каждый спешил коснуться его руки.

— Мы тебя ждали! У нас сегодня мороженое!

Лео двинулся к веранде, чувствуя невидимую в темноте улыбку жены.

Пять минут прошло в блаженном молчании — все рты были заняты; потом Лео поднял вверх ложку серебристого мороженого, точно в нем и заключалась тайна Вселенной и касаться ее следовало очень осторожно, и спросил:

— Лина, что ты скажешь, если я попробую изобрести Машину счастья?

— Что-нибудь случилось? — тотчас спросила жена.

* * *

Дедушка вел Дугласа и Тома домой. На полпути мимо роem метеоров пронеслась орава мальчишек, и среди них Чарли Вудмен и Джон Хаф; сила их притяжения была так велика, что они оторвали Дугласа от Тома и дедушки и увлекли за собой к оврагу.

— Не заблудись, внучек!

— Нет, нет, дедушка, не заблужусь!

И мальчишки скрылись в темноте.

А дедушка с Томом прошли весь остальной путь до дома в молчании, и только когда они уже вошли в калитку, Том сказал:

— Надо же, Машина счастья! Вот здорово!

— Не пыхти, — сказал дедушка.

Часы на здании суда пробили восемь.

Часы на здании суда пробили девять; становилось поздно — в сущности, на этой скромной улочке маленького городка в большом штате огромного континента на планете Земля, мчащейся в пропасть Вселенной, в никуда или куда-нибудь, была уже ночь, и Том ощущал каждую милю этого бесконечного и стремительного падения. Он сидел у двери веранды и сквозь мелкую сетку от moskitov глядел на стремительную тьму, у которой был самый невинный вид, как будто она вовсе и не движется. Только если лечь и закрыть глаза, чувствуешь, как под твоей постелью вертится земной шар и темное море оглушает тебя, подступая и разбиваясь о незримые рифы.

Пахло дождем. В доме мама гладила белье и сквозь пробку брызгала водой из бутылочки на похрустывающее сухое полотно.

А одна лавка за квартал отсюда была еще открыта — лавка миссис Сингер.

И наконец, когда миссис Сингер, верно, совсем уже собралась закрывать, мама сжалась и сказала Тому:

— Сбегай возьми пинту мороженого, да присмотри, чтобы она поплотней его набила.

А можно ее попросить, пускай сверху польет мороженое шоколадом, а то он не любит ванили, спросил Том. И мама позволила. Он зажал деньги в кулаке и как был босиком побежал по теплomu вечернему асфальту тротуара, под яблонями и дубами. Город стоял тихий и далекий, слышно было лишь стрекотанье сверчков где-то за жаркими иссиня-фиолетовыми деревьями, что заслоняют звезды.

Шлепая босыми пятками по асфальту, он перебежал улицу. Миссис Сингер важно расхаживала по своей лавке, напевая еврейскую песенку.

— Пинту мороженого? — переспросила она. — И полить шоколадом? Хорошо!

Том смотрел, как она отвинчивает металлическую крышку мороженицы, как вертит большой круглой ложкой, плотно набивает пинтовую картонку и поливает: «Шоколадом? Хорошо!» Он отдал деньги, взял ледяной пакет, потерся о него лбом и щекой, засмеялся и — шлеп-шлеп босыми ногами — побежал домой. Позади в лавке миссис Сингер мигнул и погас одинокий огонек, теперь мерцал лишь фонарь на углу улицы — казалось, весь город погружается в сон.

Том распахнул затянутую сеткой от москитов дверь веранды: мама еще гладила. Видно, ей было очень жарко и она была чем-то недовольна, но все-таки улыбнулась ему.

— Когда папа вернется со своего собрания? — спросил Том.

— Часов в одиннадцать, а то и позже, — ответила мама, унесла мороженое в кухню и поделила его. Дала Тому побольше шоколада, немного взяла себе, а остальное убрала. — Это Дугласу и отцу, когда вернутся, — пояснила она.

Так они сидели, наслаждаясь мороженым, окутанные глубокой тишиной летнего вечера. Только вдвоем — мама и он, и вокруг них, вокруг их домика и улочки — ночь. Том старательно облизывал ложку, прежде чем набрать следующую; мама отодвинула гладильную доску, отставила утюг, и он понемногу остывал, а она сидела в кресле у патефона, ела мороженое и говорила:

— Ну и денек выдался, вот жарница-то! Земля целый день впитывает в себя зной, а вечером опять его отдает. Душно будет спать!

Они прислушивались к ночи, ощущая, как она подступает ко всем окнам и дверям и как давит тишина, потому что в приемнике сели батареи, а все пластинки играны-переиграны уже тысячу раз и надоели до смерти; и Том просто сидел на деревянном полу и смотрел в черную-черную чер-

ноту, прижимаясь лицом к сетке двери так, что на кончике носа отпечатались маленькие темные квадратики.

— Где же это Дуг? Уже почти половина десятого.

— Придет, — сказал Том.

Уж конечно, Дуглас придет.

Мама пошла мыть посуду, и Том отправился за ней. Каждый звук, звон ложки или тарелки гулко раздавался в знойном вечернем воздухе. Потом они молча пошли в большую комнату, сняли с дивана подушки, вдвоем раскрыли его и разложили — ведь на самом деле это был вовсе не диван, а широченная кровать. Мама постелила им с Дугласом постель, ловко взбила подушки, Том начал было расстегивать рубашку, но она сказала:

— погоди минутку, Том.

— Почему?

— Надо.

— Ты какая-то чудная, мам.

Она опустилась на стул, но сразу же встала, подошла к двери и позвала. Она звала снова и снова: «Дуглас! Дуг! Дуг-уг!» Ее голос уплывал в душную тьму и тонул в ней без всякого отклика. Даже эхо не отвечало.

— Дуглас! Дуглас! Дуглас! Ду-у-у-гла-а-ас!

Том сидел на полу, и его пронизывал холод, но виной тому было не мороженое, и не зима, и не летний зной. Он видел — мама то растерянно озирается, то закрывает глаза, стоит и не знает, что делать, и очень волнуется. Да, сразу видно — растеряна и волнуется.

Она открыла дверь веранды. Шагнула в темноту, спустилась по ступенькам, прошла по дорожке под кусты сирени. Том прислушивался к ее шагам.

Она опять позвала.

Молчание.

Она позвала еще два раза. Том все сидел в комнате. Вот сейчас с длинной-длинной узкой улицы донесется голос Дугласа: «Иду, мам! Не беспокойся, я иду!»

Но Дуглас не отвечал. Том долгие две минуты сидел, глядя на раскрытую постель, на молчащее радио и молчаливый

патефон, на люстру, где как ни в чем не бывало поблескивали стеклянные висяльки, на ковер, расписанный пунцовыми и фиолетовыми завитушками. Потом нарочно стукнул ногой о кровать, чтобы поглядеть, будет ли больно. Оказалось — больно.

Дверь веранды со скрипом отворилась, и мама сказала:

— Пойдем, Том. Пройдемся.

— Куда?

— Просто по улице. Идем.

Он взял ее за руку. Они пошли по Сент-Джеймс-стрит. Асфальт под ногами был все еще теплый, сверчки стрекотали громче прежнего в сгущавшейся тьме. Они дошли до угла, свернули и двинулись по направлению к Западному оврагу.

Где-то проплыл автомобиль, сверкнул вдали фарами. На улицах никаких признаков жизни — ни света, ни движения. Кое-где позади мерцали слабо освещенные квадраты окон — в той стороне, откуда они шли, не все еще легли спать. Но очень, очень многие дома уже стояли без огней и спали, а перед некоторыми, тоже темными, на крылечках сидели их обитатели и вполголоса вели вечернюю беседу. Кое-где на верандах поскрипывали качели.

— Хоть бы отец был дома, — сказала мама. Она сжимала в своей большой руке руку Тома. — Ну постой, дай мне только добраться до этого мальчишки! Душегуб опять вышел на охоту. Он убивает людей. Всем грозит опасность. Никто не знает, где и когда он вдруг появится. Вот клянусь, пусть только Дуг придет домой, я его так отколочу, век будет помнить.

Они прошли еще квартал и теперь стояли перед черным силуэтом немецкой баптистской церкви на углу Чепел-стрит и Глен-Рок. В сотне шагов за церковью начинался овраг. Том уже чуял его: оттуда тянуло канализационной трубой, сгнившими листьями, душным и влажным запахом сплошных зеленых зарослей. Овраг был широкий, извилистый, он перерезал город, и мама всегда говорила, что это и днем-то непроходимые дебри, а уж ночью к нему лучше и близко не подходить.

Оттого что рядом церковь, страхи должны бы рассеяться, но Тому все равно было жутко: в этот час, темная, без единого огонька, она казалась холодной и бесполезной развалиной на краю оврага.

Тому было всего десять лет. Он ничего толком не знал о смерти, страхе, ужасе. Смерть — это восковая кукла в ящике, он видел ее в шесть лет: тогда умер его прадедущка и лежал в гробу, точно огромный упавший ястреб, безмолвный и далекий, — никогда больше он не скажет, что надо быть хорошим мальчиком, никогда больше не будет спорить о политике. Смерть — это его маленькая сестренка: однажды утром (ему было в то время семь лет) он проснулся, заглянул в ее колыбельку, а она смотрит прямо на него застывшими, слепыми синими глазами... а потом пришли люди и унесли ее в маленькой плетеной корзинке. Смерть — это когда он месяц спустя стоял возле ее высокого стульчика и вдруг понял, что она никогда больше не будет тут сидеть, не будет смеяться или плакать и ему уже не будет досадно, что она родилась на свет. Это и была смерть. И еще смерть — это Душегуб, который подкрадывается невидимкой, и прячется за деревьями, и бродит по округе, и выжидает, и раз или два в год приходит сюда, в этот город, на эти улицы, где вечерами всегда темно, чтобы убить женщину; за последние три года он убил трех. Это смерть...

Но сейчас тут не просто смерть. В этой летней ночи под далекими звездами на него разом нахлынуло все, что он испытал, видел и слышал за всю свою жизнь, и он захлебывался и тонул.

Они сошли с тротуара и зашагали по протоптанной, усыпанной щебнем тропинке — по обе стороны густо росла сорная трава, и в ней громко, неумолчно трещали сверчки. Том послушно шел за матерью — большой, храброй, прекрасной, его защитницей от всего света. Так вдвоем они шли и шли — и вот остановились на самом краю цивилизации.

Овраг.

Здесь, в этой пропасти посреди черной чащобы, вдруг сосредоточилось все, чего он никогда не узнает и не поймет;

все, что живет, безымянное, в непроглядной тени деревьев, в удушливом запахе гниения...

А ведь они с матерью здесь совсем одни.

И ее рука дрожит!

Да, дрожит, ему не почудилось... Но отчего? Мама ведь больше, сильнее, умнее его? Неужели и она тоже чувствует эту неуловимую угрозу, то зловещее, что затаилось там, внизу, и сейчас выползет из темноты? Значит, можно вырасти и все равно не стать сильным? Значит, стать взрослым вовсе не утешение? Значит, в жизни нет прибежища? Нет такой надежной цитадели, что устояла бы против надвигающихся ужасов ночи? Сомнения разрывали его. Мороженое вновь обожгло ему холодом горло, все внутри похолодело, по спине пошел мороз, оледенели руки и ноги; ему вдруг стало очень зябко, точно вновь налетел из прошлого декабрьский ветер.

Так вот оно что! Значит, это участь всех людей: каждый человек для себя — один-единственный на свете. Один-единственный, сам по себе среди великого множества других людей, и всегда боится. Вот как сейчас. Ну закричишь, станешь звать на помощь — кому какое дело?

Тьма поглотит в одно мгновение; одно чудовищное, леденящее мгновение — и все кончено. Еще задолго до рассвета, задолго до того, как полицейские начнут прощупывать своими фонариками темную, растревоженную тропинку и на ней зашуршит щебень под ногами людей, которые в смятении кинутся на помощь. И даже если они сейчас только в пятистах шагах от тебя, а уж наверное так оно и есть, темный прибой может захлестнуть за три секунды и отнять у тебя все твои десять лет, и...

Жизнь — это одиночество. Внезапное открытие обрушилось на Тома как сокрушительный удар, и он задрожал. Мама тоже одинока. В эту минуту ей нечего надеяться ни на святость брака, ни на защиту любящей семьи, ни на Конституцию Соединенных Штатов, ни на полицию; ей не к кому обратиться, кроме собственного сердца, а в сердце своем она найдет лишь неодолимое отвращение и страх. В эту ми-

нуту перед каждым стоит своя, только своя задача, и каждый должен сам ее решить. Ты совсем один, пойми это раз и навсегда.

Том проглотил комок, застрявший в горле, и прижался к матери. «Господи, не дай ей умереть, — молил он. — Не делай нам ничего плохого. Папа придет с собрания через час, и если дома никого не будет...»

Мать двинулась по тропинке в дикую чащу.

— Мам, ты за Дуга не бойся, — дрожащим голосом сказал Том. — С ним ничего не случилось. Ты за него не бойся, с ним ничего не случилось.

— Он всегда возвращается этим путем. — Голос матери звенел от напряжения. — Я сто раз говорила ему — ходи другой дорогой, но эти проклятые мальчишки все равно лезут напролом. Когда-нибудь он пойдет туда и больше не вернется.

БОЛЬШЕ НЕ ВЕРНЕТСЯ. Это может означать что угодно. Бродяги. Преступники. Тьма. Несчастный случай. А главное — смерть!

Один во всей Вселенной.

На свете миллион таких городишек. И в каждом так же темно, так же одиноко, каждый так же от всего отрешен, в каждом — свои ужасы и свои тайны. Пронзительные, заунывные звуки скрипки — вот музыка этих городишек без света, но со множеством теней. А какое необъятное, непомерное одиночество! А неведомые овраги, что засасывают, как трясина! Жизнь в этих городишках по ночам оборачивается ледяющим ужасом: разуму, семье, детям, счастью со всех сторон грозит чудище, имя которому — Смерть.

Мать снова громко позвала в темноту:

— Дуглас! Дуг!

И вдруг оба почувствовали — что-то случилось.

Сверчки умолкли.

Стало совсем тихо.

Он и не знал, что бывает такая тишина. Беспредельная, бездыханная тишина. Отчего замолчали сверчки? Отчего?

Какая этому причина? Прежде они никогда не умолкали. Никогда.

Значит... Значит...

Сейчас что-то случится.

Казалось, овраг напрягает свои черные мышцы, вбирает в себя все силы спящих городков и ферм на многие мили вокруг. Великая тишина пропитанных росой лесов, и долин, и накатывающихся, как прибой, холмов, где собаки, задрав морды, воют на луну, вся собиралась, стекалась, стягивалась в одну точку, и в самом сердце тишины были они — мама и Том. Вот сейчас, сию минуту что-то случится, что-то случится. Сверчки все молчат, звезды опустились так низко, что, кажется, протяни руку — и на пальцах останется позолота. Их не счесть, звезд, они жаркие, колючие...

Все растет, разбухает тишина. Все острее, напряженной ожидание. Ох как темно, пустынно, как бесприютно!

И вдруг далеко-далеко за оврагом — голос:

— Я здесь, мам! Иду, мама!

И снова:

— Мам, а мам! Иду!

Шлеп-шлеп-шлеп — мчатся ноги в теннисных туфлях по дну оврага: с хохотом несутся трое мальчишек — брат Дуглас, Чарли Вудмен и Джон Хаф. Бегут, хохочут...

Звезды взвились вверх, точно десять миллионов ужаленных улиток втянули свои рожки.

Сверчки застрекотали.

Темнота отступила, испуганная, ошарашенная, злобная. Отступила, потеряв аппетит, — ведь она совсем уже собралась поживиться, и вдруг ей так грубо помешали. И когда темнота отхлынула, точно волна во время отлива, из нее возникли, смеясь, трое мальчишек.

— Мам! Том! Привет!

И сразу вокруг запахло Дугласом. Ведь от него всегда пахнет потом, травой, деревьями, ветвями и ручьем.

— Вам предстоит порка, молодой человек, — объявила мама.

От ее страхов и следа не осталось. Том знал: она никогда в жизни никому про это не расскажет, никогда. Но страх этот навсегда останется у нее в душе, и в душе Тома тоже.

Темной летней ночью они шли домой спать. Как хорошо, что Дуглас живой! Как хорошо! А на одну секунду там, на краю оврага, ему подумалось...

Где-то далеко, по смутному, озаренному луной лесу, над виадуком, потом внизу, по долине, прогрехотал поезд, он отчаянно свистел, точно безымянный железный зверь заблудился в ночи. Том улегся в постель рядом с братом; весь дрожа, он прислушивался к этому свисту и думал: далеко-далеко, там, где сейчас мчится поезд, жил их двоюродный брат — и умер от воспаления легких много лет назад, вот в такую же ночь... Дуглас лежал рядом, от него пахло потом. И это было как волшебство. Том перестал дрожать.

— Только две вещи я знаю наверняка, Дуг, — прошептал он.

— Какие?

— Одна — что ночью ужасно темно.

— А другая?

— Если мистер Ауфман когда-нибудь в самом деле построит Машину счастья, с оврагом ей все равно не совладать.

Дуглас немного подумал:

— Повтори, что ты сказал.

Они умолкли: на улице внезапно раздался шаг — ближе, ближе, вот они уже под деревьями, возле дома, на тротуаре. Мама со своей кровати негромко сказала:

— Папа идет.

И не ошиблась.

* * *

Поздно вечером на веранде сидел Лео Ауфман и что-то писал в темноте — бумагу и ту толком нельзя было разглядеть. Время от времени он восклицал: «Ага!» или «И это то-

же!» — значит, ему в голову приходило еще что-нибудь подходящее для его списка. Потом дверь чуть стукнула, точно в сетку от москитов ударилась ночная бабочка.

— Лина? — шепнул Ауфман.

Она села рядом с ним на качели, в одной ночной сорочке, не тоненькая, как семнадцатилетняя девочка, которую еще не любят, и не толстая, как пятидесятилетняя женщина, которую уже не любят, но складная и крепкая, именно такая, как надо, — таковы женщины во всяком возрасте, если они любимы.

Она была удивительная. Ее тело, как и его собственное, всегда думало за нее, только по-другому: оно вынашивало детей или входило впереди Лео в каждую комнату, чтобы неуловимо изменить там самый воздух под стать настроению мужа. Казалось, она никогда не задумывается надолго; мысль тотчас передавалась от ее головы плечам, пальцам и претворялась в действие так незаметно и естественно, что Лео не смог бы, да и не хотел изобразить это какими-либо чертежами.

— Эта Машина... — сказала она наконец. — Не нужна она нам.

— Да, — отозвался он, — но иногда нужно позаботиться и о других. Я вот все думаю: что туда вставить? Кинокартины? Радиоприемники? Стереоскопические очки? Если собрать все это вместе, всякий человек пощупает, улыбнется и скажет: «Да, да, это и есть счастье».

Сочинить такую хитрую механику, думал он, что пускай у человека промокли ноги, или ноет язва, или его мучает бессонница, и он ворочается в постели всю ночь напролет, и душу его грызут заботы, а все равно твоя Машина даст ему счастье, как та магическая крупинка соли, что брошена в океан, и вечно рождает соль, и обратила все море в соляной раствор. Кто не расшибся бы в лепешку, лишь бы изобрести такую Машину? Пусть ему ответит на этот вопрос целый мир, пусть ответит весь городок, пусть ответит жена!

Лина смущенно молчала, сидя рядом с ним на качелях, и ее молчание говорило яснее всяких слов.

Лео тоже умолк, запрокинул голову и слушал, как свищет ветер в густой листве могучего вяза.

«Не забывай, — говорил он себе, — и этот шелест листьев тоже нужен для твоей Машины».

Через минуту веранда опустела, пустые качели неподвижно повисли в темноте.

* * *

Дедушка улыбнулся во сне.

Он почувствовал эту улыбку, удивился ей — и проснулся. Полежал немного, прислушался к себе — и понял, откуда она взялась.

Ибо он слышал нечто гораздо более важное, нежели пение птиц или шелест молодой листвы. Каждый год наступал день, когда он вот так просыпался и ждал этого звука, который означал, что теперь-то уж лето началось по-настоящему. Оно начиналось вот в такое утро, когда кто-нибудь из домочадцев или гостей, племянник, сын или внук, выходил на лужайку под его окном, и металлические ножи и спицы, кружа и звеня по душистой летней траве, прилежно обегали ее по краям — на север, на восток, на юг, на запад, описывая все меньшие и меньшие квадраты. Косилка звонко стрекотала, из-под ножей брызгали головки клевера, редкие золотые искры уцелевших после сбора одуванчиков, муравьи, палочки, камешки, остатки прошлогоднего празднования Четвертого июля — обгорелые шутихи и кусочки трута, но главное — за ней стлался прохладный, чистый поток сочной зеленой травы. Дедушке уже представлялось, как она щекочет его ноги, охлаждает разгоряченное лицо, наполняет ноздри извечным ароматом вновь родившегося лета и обещает: да, мы все — ВСЕ! — проживем еще целый год.

«Великое чудо — косилка, — говорил себе дедушка. — Какой это дурак выдумал, что новый год начинается первого января? Надо было поставить дозорных караулить рост травы на миллионах лужаек Иллинойса, Огайо или Айовы, и как заметят, что она созрела для сенокоса, в то самое утро

вместо фейерверков, фанфар и криков пусть начинается великая бурная симфония косилок, срезающих свежие травы на необъятных луговых просторах. В тот единственный день в году, который по-настоящему знаменует собой начало, людям надо бы бросать друг в друга не конфетти и не серпантин, а пригоршни свежескошенной травы».

Дедушка хмыкнул — что-то уж больно долгую философию развел! — встал, подошел к окну и высунулся в ласковый солнечный свет. Так и есть: Форестер, новый жилец, молодой газетчик, как раз заканчивает ряд.

— Доброе утро, мистер Сполдинг!

— Так ее, хорошенько, Билл! — с жаром крикнул дедушка и вскоре уже сидел внизу и уплетал приготовленный бабушкой завтрак; широкое окно было раскрыто, и жужжание косилки словно подпевало завтраку.

— От этой косилки на душе становится спокойнее, — заметил дедушка. — Ты только послушай!

— Теперь уж недолго нам ее слушать, — отозвалась бабушка и поставила на стол горку пшеничных лепешек. — Билл Форестер посеет сегодня новый сорт травы, ее не надо будет косить. Не помню, как там она называется, но она как вырастет, сколько нужно, так сама и остановится и больше не растет.

Дедушка с изумлением уставился на жену.

— Довольно глупая шутка, — сказал он наконец.

— Иди посмотри сам. Билл Форестер говорит, это земле на пользу, — сказала бабушка. — Он уже привез новые семена, они сложены за домом в маленьких корзинках. Нужно в разных местах вырыть ямки и засыпать туда семена. К концу года новая трава убьет всю старую, и тогда можешь продавать свою косилку, она тебе больше не понадобится.

Дедушка сорвался со стула и мигом выскочил во двор.

Билл Форестер остановил косилку и, жмурясь от солнца, с улыбкой подошел к нему.

— Вот так-то, — сказал он. — Вчера купил новые семена. Дай, думаю, засею вам лужайку, пока я свободен.

— А меня почему не спросили? Лужайка-то все-таки моя! — закричал дедушка.

— Я думал, вы будете довольны, мистер Сполдинг.

— Ничего я не доволен. Покажите мне эту чертову траву.

Они стояли возле маленьких четырехугольных корзинок с новомодными семенами. Дедушка подозрительно потыкал одну из них носком башмака.

— По-моему, это самая обыкновенная трава. А вы уверены, что вас не надули?

— Я в Калифорнии видел, как она растет. Вот настолько вырастет — и все. Если только она приживется в здешнем климате, нам уже на будущий год не придется каждую неделю подстригать лужайку.

— В том-то и беда с вашим поколением, — сказал дедушка. — Мне стыдно за вас, Билл, а еще журналист! Вы готовы уничтожить все, что есть на свете хорошего. Только бы тратить поменьше времени, поменьше труда, вот чего вы добиваетесь. — Он непочтительно пнул корзинку ногой. — Вот поживете с мое, тогда поймете, что мелкие радости куда важнее крупных. Рано утром по весне прогуляться пешком не в пример лучше, чем катить восемьдесят миль в самом роскошном автомобиле; а знаете почему? Потому что все вокруг благоухает, все растет и цветет. Когда идешь пешком, есть время оглядеться вокруг, заметить самую малую красоту. Я понимаю, сейчас вам хочется охватить все сразу, и это, наверное, естественно, это свойство молодости. Но газетчику надо уметь видеть и мелкий виноград, а не только огромные арбузы. Вам подавай целый скелет, а с меня довольно и следа пальцев; что ж, тоже понятно. Сейчас мелочи кажутся вам скучными, но, может, вы просто еще не знаете им цены, не умеете находить в них вкус? Дай вам волю, вы бы издали закон об устранении всех мелких дел, всех мелочей. Но тогда вам нечего было бы делать в перерыве между большими делами и пришлось бы до иступления придумывать себе занятие, чтобы не сойти с ума. Так уж лучше учились бы кое-чему у самой природы. Подстригать траву и выпалывать сорняки — тоже одна из радостей жизни, сынок.

Билл Форестер ласково улыбнулся старику.

— Знаю, знаю, — сказал дедушка. — Я становлюсь слишком болтливым.

— В жизни никого не слушал с таким удовольствием.

— Тогда продолжим лекцию. Куст сирени лучше орхидей. И одуванчики тоже, и чертополох. А почему? Да потому, что они хоть ненадолго отвлекают человека, уводят его от людей и города, заставляют попотеть и возвращают с небес на землю. И уж когда ты весь тут и никто тебе не мешает, хоть ненадолго остаешься наедине с самим собой и начинаешь думать — один, без посторонней помощи. Когда копаешься в саду, самое время пофилософствовать. Никто об этом не догадывается, никто тебя не обвиняет, никто и не знает ничего, а ты становишься заправским философом — эдакий Платон среди пионов, Сократ, который сам себе выращивает цикуту. Тот, кто тащит на спине по своей лужайке мешок навоза, сродни Атланту, который на плечах держит небесный свод. Сэмюэл Сполдинг, эсквайр, сказал однажды: «Копая землю, покопайся у себя в душе». Вертите лопасти этой косилки, Билл, и да оросит вас живительная струя Фонтана юности. Лекция окончена. Кроме того, изредка очень пользительно отведать зелени одуванчиков.

— А вы давно ели зелень одуванчиков на ужин, сэр?

— Не будем уточнять.

Билл кивнул и легонько стукнул ближайшую корзинку носком башмака:

— Так вот, насчет этой травы. Я еще не все вам сказал. Она растет так густо, что наверняка заглушит и клевер, и одуванчики.

— Господи помилуй! Значит, уже на будущий год мы останемся без вина из одуванчиков? И ни одной пчелы над лужайкой? Да вы просто с ума сошли! Послушайте, сколько вы заплатили за эти семена?

— Доллар корзинка. Я купил десять штук вам в подарок.

Дедушка полез в карман, вытащил старомодный длинный кошелек, отстегнул серебряную застежку и извлек три бумажки по пять долларов:

— Билл, вы только что совершили невыгодную сделку — заработали пять долларов. Извольте сейчас же отправить всю эту чересчур прозаическую траву в овраг, на помойку, — словом, куда хотите, только, покорнейше прошу, не сейте ее у меня во дворе. Я знаю, у вас самые похвальные намерения, но я все-таки уже достиг весьма почтенного возраста, и с моими желаниями не грех считаться в первую очередь.

— Хорошо, сэр.

Билл нехотя сунул деньги в карман.

— Вот что, Билл: вы просто посеете эту новую траву когда-нибудь в другой раз. Как только я помру, на другой же день можете перекопать эту чертову лужайку. Ну как, хватит у вас терпения подождать еще лет пять-шесть, чтобы старый болтун успел отдать концы?

— Уж будьте уверены, подожду, — сказал Билл.

— Сам не знаю, как вам объяснить, но для меня жужжание этой косилки — самая прекрасная мелодия на свете, в ней вся прелесть лета, без нее я бы ужасно тосковал, и без запаха свежескошенной травы тоже.

Билл нагнулся и поднял с земли корзинку:

— Я пошел к оврагу.

— Вы славный юноша и все понимаете, я уверен, из вас получится блестящий и умный репортер, — сказал дедушка, помогая ему поднять корзинку. — Я вам это предсказываю!

Прошло утро, наступил полдень. После обеда дедушка поднялся к себе, немного почитал Уитгера и крепко уснул. Когда он проснулся, было три часа, в окна вливался яркий и веселый солнечный свет. Дедушка лежал в кровати и вдруг вздрогнул: с лужайки доносилось прежнее, знакомое, незабываемое жужжание.

— Что это? — сказал он. — Кто-то косит траву! Но ведь ее только сегодня утром скосили!

Он еще послушал. Да, конечно, это жужжит косилка — мерно, неутомимо.

Дедушка выглянул в окно и ахнул:

— Да ведь это Билл! Эй, Билл Форестер! Вам что, солнце ударило в голову? Вы косите уже скошенную траву!

Билл поднял голову, простодушно улыбнулся и помахал рукой:

— Знаю. Но, кажется, утром я работал не очень чисто.

Дедушка еще добрых пять минут нежился в кровати, и с лица его не сходила улыбка, а Билл Форестер все шагал с косилкой — на север, на восток, на юг и, наконец, на запад, — и из-под косилки весело бил душистый зеленый фонтан.

* * *

В воскресенье утром Лео Ауфман бродил по своему гаражу, словно ожидая, что какое-нибудь полено, виток проволоки, молоток или гаечный ключ подпрыгнет и закричит: «Начни с меня!» Но ничто не подпрыгивало, ничто не просилось в начало.

«Какая она должна быть, эта Машина счастья? — думал Лео. — Может, она должна уместиться в кармане? Или она должна тебя самого носить в кармане?»

— Одно я знаю твердо, — сказал он вслух. — Она должна быть яркой!

Лео поставил на верстак банку оранжевой краски, взял словарь и побрел в дом.

— Лина! — Он заглянул в толковый словарь. — Ты довольна, спокойна, весела, в восторге? Тебе во всем везет и все удается? По-твоему, все идет разумно, хорошо и успешно?

Лина перестала резать овощи и закрыла глаза.

— Прочитай мне все это еще раз, пожалуйста.

Лео захлопнул словарь.

— За какие это грехи я должен целый час ждать, пока ты придумаешь мне ответ? Скажи только «да» или «нет», больше мне ничего не надо. Ты что же, не довольна, не спокойна, не весела и не в восторге?

— Довольны бывают коровы, а в восторге — младенцы да несчастные старики, которые уже впали в детство, — сказа-

ла Лина. — Ну а насчет того, что весела... Сам видишь, как я весело смеюсь, когда скребу эту раковину.

Лео внимательно поглядел на жену, и лицо его прояснилось:

— Ты права, Лина. Мужчины такой народ — никогда ничего не смыслят. Может быть, мы вырвемся из этого заколдованного круга уже совсем скоро.

— Я вовсе не жалею! — закричала Лина. — Я-то не прихожу к тебе со словарем и не говорю: «Высунь язык!» Лео, ты ведь не спрашиваешь, почему сердце у тебя стучит не только днем, но и ночью? Нет. А можешь ты спросить, что такое брак? Кто это знает? Не задавай вопросов. Есть же такие люди — все им надо знать: как устроен мир, как то, как се да как это... задумается такой — и падает с трапеции в цирке либо задохнется, потому что ему приспичило понять, как у него в горле мускулы работают. Ешь, пей, спи, дыши и перестань смотреть на меня такими глазами, будто в первый раз видишь.

Лина Ауфман вдруг замерла. Потянула носом воздух:

— Вот беда! А все ты виноват.

Она рванула дверцу духовки. Оттуда повалил дым.

— Счастье, счастье! — горестно воскликнула она. — Из-за этого счастья мы с тобой ссоримся, в первый раз за полгода. И в первый раз за двадцать лет на ужин будут уголья вместо хлеба!

Когда дым рассеялся, Лео Ауфмана уже и след простыл.

Грохот, лязг, схватка человека с вдохновением, день за днем в воздухе так и мелькают куски металла, дерева, молоток, гвозди, рейшина, отвертки...

Порой Лео Ауфмана охватывало отчаяние — и он скитался по улицам, всегда беспокойный, всегда начеку; он вздрагивал и оборачивался, услышав где-то вдалеке чей-то смех, прислушивался к забавам детворы, присматривался — что вызывает у детей улыбку? Вечерами он подсаживался к шум-

ной компании на веранде у кого-нибудь из соседей, слушал, как старики вспоминают прошлое и толкуют о жизни, — и при каждом взрыве веселья оживлялся, точно генерал, который видит, что темные вражеские силы разгромлены и что его стратегия оказалась правильной. По дороге домой он торжествовал, пока не входил опять в свой гараж, где лежали мертвые инструменты и неодушевленное дерево. Тогда его сияющее лицо вновь мрачнело, и, пытаясь избыть горечь неудачи, он с ожесточением расшвыривал и колотил части своей машины, словно это были живые яростные противники. Наконец контуры машины начали вырисовываться, и через десять дней и ночей, дрожа от усталости, изможденный, полумертвый от голода, такой высохший и почерневший, точно в него ударила молния, Лео Ауфман, спотыкаясь, побрел в дом.

Дети ссорились и оглушительно кричали друг на друга, но при виде отца тотчас умолкли, как будто пробил урочный час, и в комнату вошла сама смерть.

— Машина счастья готова, — прохрипел Лео Ауфман.

— Лео Ауфман похудел на пятнадцать фунтов, — сказала его жена. — Он уже две недели не разговаривал со своими детьми, они сами не свои, смотрите, они дерутся! Его жена тоже сама не своя, смотрите, она потолстела на десять фунтов, теперь ей понадобятся новые платья! Да, конечно, Машина готова, а стали мы счастливее? Кто скажет? Лео, брось ты мастерить эти часы, в них не влезет ни одна кукушка. Человеку не положено соваться в такие дела. Господу Богу это, наверное, не повредит, а вот Лео Ауфману один вред и никакой пользы. Если так будет продолжаться еще хоть неделю, мы его похороним в его собственной Машине.

Но этих слов Лео Ауфман уже не слышал: он с изумлением смотрел, как на него валится потолок. «Вот так штука», — подумал он, уже лежа на полу. Но тут его обволокла тьма, и он услышал только, как кто-то трижды прокричал что-то насчет Машины счастья.

На другое утро, едва раскрыв глаза, он увидел птиц: они проносились в воздухе, точно разноцветные камешки, брошенные в непостижимо чистый ручей, и, легонько звякнув, опускались на жестяную крышу гаража.

Собаки всевозможных пород тихонько прокрадывались во двор и, повизгивая, заглядывали в гараж; четверо мальчишек, две девочки и несколько мужчин помедлили на дорожке, потом нерешительно подошли поближе и остановились под вишнями.

Лео Ауфман прислушался и понял, что влечет их всех к нему во двор.

Голос Машины счастья.

Такое можно было бы услышать летним днем возле кухни какой-нибудь великанши. Это было разноголосое жужжание — высокое и низкое, то ровное, то прерывистое. Казалось, там вьются роем огромные золотистые пчелы величиной с чашку и стряпают сказочные блюда. Сама великанша удовлетворенно мурлычет себе под нос песенку, лицо у нее — точно розовая луна в полнолуние; вот-вот она, необъятная, как лето, подплывет к дверям и спокойно глянет во двор, на улыбающихся собак, на белобрысых мальчишек и седых стариков.

— Пойдите-ка, — громко сказал Лео. — Я ведь сегодня еще не включал Машину. Саул!

Саул поднял голову — он тоже стоял внизу во дворе.

— Саул, ты ее включил?

— Ты же сам полчаса назад велел мне разогреть ее.

— Ах да. Я совсем забыл. Я еще толком не проснулся.

И он опять откинулся на подушку.

Лина принесла ему завтрак и остановилась у окна, глядя вниз, на гараж.

— Послушай, Лео, — негромко сказала она. — Если эта Машина и вправду такая, как ты говоришь, может быть, она умеет рожать детей? А может она превратить старика снова в юношу? И еще — можно в этой Машине со всем ее счастьем спрятаться от смерти?

— Спрятаться?

— Вот ты работаешь, себя не жалеешь, а в конце концов надорвешься и помрешь — что я тогда буду делать? Влезу в этот большой ящик и стану счастливой? И еще скажи мне, Лео: что у нас теперь за жизнь? Сам знаешь, как у нас ведется дом. В семь утра я поднимаю детей, кормлю их завтраком; к половине девятого вас никого уже нет, и я остаюсь одна со стиркой, одна с готовкой, и носки штопать тоже надо, и огород полоть, и в лавку сбегать, и серебро почистить. Я разве жалуюсь? Я только напоминаю тебе, как ведется наш дом, Лео, как я живу. Так вот, ответь мне: как все это уместится в твою Машину?

— Она устроена совсем иначе.

— Очень жаль. Значит, мне некогда будет даже посмотреть, как она устроена.

Лиана поцеловала его в щеку и вышла из комнаты, а он лежал и принюхивался — ветер снизу доносил сюда запах Машины и жареных каштанов, что продаются осенью на улицах Парижа, которого он никогда не видел...

Между замороженными собаками и мальчишками невидимкой проскользнула кошка и замурлыкала у дверей гаража; а из-за гаража слышался шорох снежно-белой пены, мерное дыхание прибора у далеких-далеких берегов...

«Завтра мы испытаем машину, — думал Лео Ауфман. — Все вместе».

Он проснулся поздно ночью — что-то его разбудило.

Далеко, в другой комнате, кто-то плакал.

— Саул, это ты? — шепнул Лео Ауфман, вылезая из кровати, и пошел к сыну.

Мальчик горько рыдал, уткнувшись в подушку.

— Нет... нет... — всхлипывал он. — Все кончено... кончено...

— Саул, тебе приснилось что-нибудь страшное? Расскажи мне, сынок!

Но мальчик только заливался слезами.

И тут, сидя у него на кровати, Лео Ауфман, сам не зная почему, выглянул в окно. Двери гаража были распахнуты настежь.

Он почувствовал, как волосы у него встали дыбом.

Когда Саул, тихонько всхлипывая, наконец забылся беспокойным сном, отец спустился по лестнице, подошел к гаражу и, затаив дыхание, осторожно вытянул руку.

Ночь была прохладная, но Машина счастья обожгла ему пальцы.

Вот оно что, подумал он: Саул приходил сюда сегодня ночью.

Зачем? Разве он несчастлив и ему нужна Машина? Нет, он счастлив, просто он хочет навсегда сохранить свое счастье. Что же тут плохого, если мальчик умен, и знает цену счастью, и хочет его сохранить? Ничего плохого в этом нет. И все-таки...

Внезапно у Саула в окне колыхнулось что-то белое. Сердце Лео бешено заколотилось. Но он сейчас же понял — это всего лишь ветром подхватило белую занавеску. А ему показалось — что-то нежное, трепетное выпорхнуло в ночь, словно сама душа мальчика вылетела из окна. И Лео Ауфман невольно вскинул руки, словно хотел поймать ее и втолкнуть обратно в спящий дом.

Весь дрожа, он вернулся в комнату Саула, поймал хлопавшую на ветру занавеску и накрепко запер окно, чтобы она не могла больше вырваться наружу. Потом сел на кровать и положил руку на плечо сына.

— «Повесть о двух городах»? Моя. «Лавка древностей»? Ха, уж это-то наверняка Лео Ауфмана. «Большие надежды»? Когда-то это было мое. Но теперь пусть «Большие надежды» остаются ему.

— Что тут происходит? — спросил Лео Ауфман, входя в комнату.

— Тут происходит раздел имущества, — ответила Лина. — Если отец ночью до полусмерти пугает сына, значит,

пора делить все пополам. Прочь с дороги, «Холодный дом» и «Лавка древностей»! Во всех этих книгах, вместе взятых, не найдешь такого сумасшедшего выдумщика, как Лео Ауфман!

— Ты уезжаешь — и даже не испробовала, что такое Машина счастья! — запротестовал он. — Попробуй хоть разок, и, уж конечно, ты сейчас же все распакуешь и останешься!

— «Том Свифт и его электрический истребитель», а это чье? Угадать нетрудно.

И Лина, презрительно фыркнув, протянула книгу мужу.

К вечеру все книги, посуда, белье и одежда были поделены: одна сюда, одна туда; четыре сюда, четыре туда; десять сюда, десять туда. У Лины Ауфман голова пошла кругом от этих счетов, и она присела отдохнуть.

— Ну ладно, — выдохнула она. — Пока я не уехала, Лео, попробуй докажи мне, что это не по твоей вине ни в чем не повинным детям снятся страшные сны.

Лео Ауфман молча повел жену в сумерки. И вот она стоит перед огромным, вышиной в восемь футов, оранжевым ящиком.

— Это и есть счастье? — недоверчиво спросила она. — Какую же кнопку мне нажать, чтобы я стала рада и счастлива, всем довольна и весьма признательна?

А вокруг них уже собрались все дети.

— Мама, не надо, — сказал Саул.

— Должна же я знать, о чем прошу судьбу, Саул, — возразила Лина.

Она влезла в Машину, уселась и, качая головой, посмотрела оттуда на мужа.

— Это нужно вовсе не мне, а тебе, несчастному неврас-тенику, который стал на всех кричать.

— Ну пожалуйста, — сказал он. — Сейчас сама увидишь.

И закрыл дверцу.

— Нажми кнопку! — закричал он.

Раздался щелчок. Машина слегка вздрогнула, как большая собака во сне.

— Папа, — с тревогой позвал Саул.

— Слушай! — ответил Лео Ауфман.

Сперва все было тихо, только Машина подрагивала — где-то в ее глубине таинственно двигались зубцы и колесики.

— С мамой там ничего не случилось? — спросила Ноэми.

— Ничего, ей там хорошо. Вот сейчас... Вот!

Из Машины послышался голос Лины Ауфман:

— Ах!.. О!.. — Голос был изумленный. — Нет, вы только посмотрите! Это Париж! — И через минуту: — Лондон! А это Рим! Пирамиды! Сфинкс!

— Вы слышите, дети: сфинкс! — шепнул Лео Ауфман и засмеялся.

— Духами пахнет! — с удивлением воскликнула Лина Ауфман.

Где-то патефон тихо заиграл «Голубой Дунай» Штрауса.

— Музыка! Я танцую!

— Ей только кажется, что она танцует, — поведал миру Лео Ауфман.

— Чудеса! — сказала в Машине Лина.

Лео Ауфман покраснел:

— Вот что значит жена, которая понимает своего мужа.

И тут Лина Ауфман заплакала в Машине счастья.

Улыбка сбежала с губ изобретателя.

— Она плачет, — сказала Ноэми.

— Не может этого быть!

— Плачет, — подтвердил Саул.

— Да не может она плакать! — И Лео Ауфман, недоуменно моргая, прижался ухом к стенке Машины. — Но... да... плачет, как маленькая...

Он открыл дверцу.

— Постой. — Лина сидела в Машине, и слезы градом катились по ее щекам. — Дай мне доплакать.

И она еще немного поплакала.

Ошеломленный, Лео Ауфман выключил свою Машину.

— Какое же это счастье, одно горе! — всхлипывала его жена. — Ох как тяжело, прямо сердце разрывается... — Она вылезла из Машины. — Сначала там был Париж...

— Что ж тут плохого?

— Я в жизни и не мечтала побывать в Париже. А теперь ты навел меня на эти мысли. Париж! И вдруг мне так захотелось в Париж, а ведь я отлично знаю, мне его вовек не видеть.

— Машина, в общем-то, не хуже.

— Нет, хуже! Я сидела там и знала, что все это обман.

— Не плачь, мама!

Лина посмотрела на мужа большими черными глазами, полными слез:

— Ты заставил меня танцевать. А мы не танцевали уже двадцать лет.

— Завтра же сведу тебя на танцы!

— Нет, нет! Это не важно, и правильно, что не важно. А вот твоя Машина уверяет, будто это важно! И я начинаю ей верить! Ничего, Лео, все пройдет, я только еще немножко поплачу.

— Ну, а еще что плохо?

— Еще? Твоя машина говорит: «Ты молодая». А я уже не молодая. Она все лжет, эта Машина грусти!

— Почему же грусти?

Лина уже немного успокоилась.

— Я тебе скажу, в чем твоя ошибка, Лео: ты забыл главное — рано или поздно всем придется вылезать из этой штуки и опять мыть грязную посуду и стелить постели. Конечно, пока сидишь там внутри, закат длится чуть не целую вечность и воздух такой душистый, так тепло и хорошо. И все, что хотелось бы продлить, в самом деле длится и длится. А дома дети ждут обеда, и у них оборваны пуговицы. И потом, давай говорить честно: сколько времени можно смотреть на закат? И кому нужно, чтобы закат продолжался целую вечность? И кому нужно вечное тепло? Кому нужен вечный аромат? Ведь ко всему этому привыкаешь и уже просто перестаешь замечать. Закатом хорошо любоваться минутой, ну две. А потом хочется чего-нибудь другого. Уж так устроен человек, Лео. Как ты мог про это забыть?

— А разве я забыл?

— Мы потому и любим закат, что он бывает только один раз в день.

— Но это очень грустно, Лина.

— Нет, если бы он длился вечно и до смерти надоел бы нам, вот это было бы по-настоящему грустно. Значит, ты сделал две ошибки. Во-первых, задержал и продлил то, что всегда проходит быстро. Во-вторых, принес сюда, в наш двор, то, чего тут быть не может, и все получается наоборот, начинаешь думать: «Нет, Лина Ауфман, ты никогда не поедешь путешествовать, не видать тебе Парижа. И Рима тоже». Но ведь я и сама это знаю, зачем же мне напоминать? Лучше забыть, тянуть свою лямку и не ворчать.

Лео Ауфман прислонился к Машине, ноги у него подкашивались. И с удивлением отдернул обожженную руку.

— Как же теперь быть, Лина? — спросил он.

— Вот уж этого я не знаю. Но только, пока эта штука стоит здесь, меня все время будет тянуть к ней, и Саула тоже, как прошлой ночью: знаем, что глупо и ни к чему, а все равно захочется сидеть в этом ящике и глядеть на далекие края, где нам вовек не бывать, и всякий раз мы будем плакать, и такая семья тебе вовсе не годится.

— Ничего не понимаю, — сказал Лео Ауфман. — Как же это я так оплошал? Дай-ка я сам посмотрю, верно ли ты говоришь. — Он уселся в Машину. — Ты не уйдешь?

— Мы тебя подождем, — сказала Лина.

Он закрыл дверцу. Чуть помедлил в теплой тьме, потом нажал кнопку, откинулся назад и уже готов был насладиться яркими красками и музыкой, но тут раздался крик:

— Пожар, папа! Машина горит!

Кто-то забарабанил в дверцу. Лео вскочил, ударился головой и упал, но тут дверца поддалась, и сыновья вытащили его наружу. Позади что-то глухо взорвалось. Вся семья кинулась бежать. Лео Ауфман оглянулся и ахнул.

— Саул! — выкрикнул он, задыхаясь. — Вызови пожарную команду!

Саул кинулся было со двора, но Лина схватила его за рукав.

— Подожди, — сказала она.

Из Машины вырвался язык пламени, раздался еще один приглушенный взрыв. Когда Машина разгорелась как следует, Лина Ауфман кивнула:

— Ну вот, Саул, теперь можно звонить в пожарную команду.

Все, соседи и не соседи, сбежались на пожар. Были тут и дедушка Сполдинг, и Дуглас, и Том, и почти все жители их квартала, и несколько стариков из другой части города, что за оврагом, и все ребятишки из шести окрестных кварталов. А дети Лео Ауфмана стояли впереди всех и очень гордились — вот какое отличное пламя вырывается из-под крыши их гаража!

Дедушка Сполдинг пригляделся к высокому — под самое небо — столбу дыма и негромко спросил:

— Лео, это она? Ваша Машина счастья?

— Счастья или несчастья — в этом я когда-нибудь разберусь и тогда отвечу вам, — сказал Лео.

Лина Ауфман стояла в темноте и смотрела, как бегают по двору пожарные; наконец гараж с грохотом рухнул.

— Тебе вовсе незачем долго в этом разбираться, Лео, — сказала она. — Просто оглянись вокруг. Подумай. Помолчи немного. А потом приди и скажи мне. Я буду в доме, надо поставить книги обратно на полки, положить одежду обратно в шкафы, приготовить ужин. Мы и так запоздали с ужином, смотри, как темно на улице. Пойдемте, дети, помогите маме.

Когда пожарные и соседи ушли, Лео Ауфман остался с дедушкой Сполдингом, Дугласом и Томом; все они задумчиво смотрели на догорающие остатки гаража. Лео ткнул ногой в мокрую золу и медленно высказал то, что лежало на душе:

— Первое, что узнаешь в жизни, — это что ты дурак. Последнее, что узнаешь, — это что ты все тот же дурак. Многое передумал я за один только час. И сказал себе: да ведь ты слепой, Лео Ауфман! Хотите увидеть настоящую Машину

счастья? Ее изобрели тысячи лет тому назад, и она все еще работает — не всегда одинаково хорошо, нет, но все-таки работает. И она все время здесь.

— А пожар... — начал было Дуглас.

— Да, конечно, пожар, гараж! Но Лина права, долго раздумывать над этим незачем: то, что сгорело в гараже, не имеет никакого отношения к счастью.

Он поднялся по ступеням крыльца и поманил их за собой.

— Вот, — шепнул Лео Ауфман. — Посмотрите в окно. Тише, сейчас вы все увидите.

Дедушка Сполдинг, Дуглас и Том нерешительно заглянули в большое окно, выходящее на улицу.

И там, в теплом свете лампы, они увидели то, что хотел им показать Лео Ауфман. В столовой за маленьким столиком Саул и Маршалл играли в шахматы. Ребекка накрывала стол к ужину. Ноэми вырезала из бумаги платя для своих кукол. Рут рисовала акварелью. Джозеф пускал по рельсам заводной паровоз. Дверь в кухню была открыта, там, в облаке пара, Лина Ауфман вынимала из духовки дымящуюся кастрюлю с жарким. Все руки, все лица жили и двигались. Из-за стекол чуть слышно доносились голоса. Кто-то звонко распевал песню. Пахло свежим хлебом, и ясно было, что это — самый настоящий хлеб, который сейчас намажут настоящим маслом. Тут было все, что надо, и все это — живое, неподдельное.

Дедушка, Дуглас и Том обернулись и поглядели на Лео Ауфмана, а тот неотрывно смотрел в окно, и розовый отсвет лампы лежал на его лице.

— Ну конечно, — бормотал он. — Это оно самое и есть.

Сперва с тихой грустью, потом с живым удовольствием и, наконец, со спокойным одобрением он следил, как движутся, цепляются друг за друга, останавливаются и вновь уверенно и ровно вертятся все винтики и колесики его домашнего очага.

— Машина счастья, — сказал он. — Машина счастья.

Через минуту его уже не было под окном.

Дедушка, Дуглас и Том видели, как он заклопотал в доме: то поправит что-нибудь, то передвинет, то складку разгладит, то пылинку сдует, — такой же деловитый винтик большой, удивительной, бесконечно тонкой, вечно таинственной, вечно движущейся машины.

А потом, не переставая улыбаться, они спустились с крыльца в прохладную летнюю ночь.

* * *

Два раза в год во двор выносили большие хлопающие ковры и расстилали их на лужайке, где они были совсем не к месту и казались какими-то необитаемыми. Потом из дома выходили мама и бабушка, в руках они несли как будто спинки красивых плетеных кресел, что стоят в парке у павильона с газированной водой. Каждому вручали такой жезл с широкой плетеной верхушкой, и все — Дуглас, Том, бабушка, прабабушка и мама — становились в кружок над пыльными узорами старой Армении, точно сборище ведьм и домовых. Затем по знаку прабабушки — едва она мигнет или подождет губы — все вскидывали цепи и принимались без передышки молотить ковры.

— Вот тебе, вот, — приговаривала прабабушка. — Бейте блох, мальчики, не жалейте и вшей!

— Ну что ты такое говоришь! — укоризненно замечала ей бабушка.

Все смеялись. Вокруг бушевала пыльная буря, и смех переходил в кашель.

Вихри корпии, струи песка, золотистые хлопья трубчатого табака взвивались в воздух и трепетали, подбрасываемые все новыми и новыми ударами. Останавливаясь, чтобы передохнуть, мальчики видели следы своих башмаков и башмаков взрослых, тысячу раз отпечатавшиеся на узорах ковра, — восточный рисунок то исчезал, то появлялся вновь вместе с мерным прибоем ударов, что омывал его берега.

— Вот тут твой муж пролил кофе. — И бабушка ударила по ковру.

— А здесь ты пролила сметану. — И прабабушка выбила из ковра огромный столб пыли.

— Смотрите, тут весь ворс вытопан. Ах, ребята, ребята!

— А вот чернила, прабабушка!

— Глупости! У меня чернила лиловые, а это обыкновенные, синие.

Хлоп!

— Посмотрите, какую дорожку протоптали, — это из прихожей в кухню. Ох уж эта еда! Она даже львов ведет на водопой. Давайте-ка повернем его другим боком.

— А может, просто запереть все двери и никого не впускать?

— Или пусть разуваяются еще в прихожей!

Хлоп, хлоп!

Наконец ковры развешаны на веревках. Том разглядывает узор — хитроумные петли и переплеты, цветы, какие-то загадочные фигуры, разводы и змеящиеся линии.

— Том, ты что стоишь? Выбивай!

— Занятно видеть столько всякого, — говорит Том.

Дуглас подозрительно смотрит на него:

— Что ты там увидел?

— Да весь город, людей, дома, вот и наш дом. — Хлоп! — Наша улица! — Хлоп! — А вон то, черное, — овраг. — Хлоп! — Вот школа. — Хлоп! — А вот эта чудная закорючка — ты, Дуг! — Хлоп! — Вот прабабушка, бабушка, мама... — Хлоп! — Сколько же лет пролежал у нас этот ковер?

— Пятнадцать.

— И целых пятнадцать лет по нему топали! Даже видны отпечатки башмаков! — ахнул Том.

— Силен ты болтать, парень, — сказала прабабушка.

— Тут видно все, что случилось у нас в доме за пятнадцать лет. — Хлоп! — Конечно, это все прошлое, но я могу и будущее увидеть. Вот сейчас зажмурюсь, а потом — р-раз! — погляжу на эти разводы и сразу увижу, где мы завтра будем ходить и бегать.

Дуглас перестал размахивать выбивалкой:

— А что еще ты там видишь?

— Главным образом нитки, — вставила прабабушка. — Тут только и осталась одна основа. Сразу видно, как его ткали.

— Верно, — загадочно сказал Том. — В эту сторону нитки и в ту тоже. Я все вижу. Черти рогатые. Грешники в аду. Хорошая погода и плохая. Прогулки. Праздничные обеды. Земляничные пиры. — Он с важным видом тыкал выбивалкой то в одно, то в другое место ковра.

— Да по-твоему выходит, что я держу тут какой-то пансион, — сказала бабушка, вся красная и запыхавшаяся.

— Тут все видно, хоть и не очень ясно. Дуг, ты нагни голову набок и зажмурь один глаз, только не совсем. Конечно, ночью видно лучше, когда ковер в комнате, и лампа горит, и вообще. Тогда тени бывают самые разные, кривые и косые, светлые и темные, и видно, как нитки разбегаются во все стороны; пощупаешь ворс, погладишь, а он как шкура какого-нибудь зверя. И пахнет как пустыня, правда-правда. Жарой пахнет и песком — наверное, так пахнет каменный гроб, где лежит мумия. Смотри, видишь красное пятно? Это горит Машина счастья!

— Просто кетчуп с какого-то сэндвича, — сказала мама.

— Нет, Машина счастья, — возразил Дуглас, и ему стало грустно, что и тут она горит. Он так надеялся на Лео Ауфмана, уж у него-то все пойдет как надо, он всех заставит улыбаться, и каждый раз, когда Земля, повернувшись от Солнца, накренится к черным безднам Вселенной, маленький гироскоп, который сидит у Дугласа где-то внутри, станет поворачивать к Солнцу. И вот Лео Ауфман что-то там прошляпил — и осталась только кучка золы да пепла.

Хлоп! Хлоп! Дуглас с силой ударил выбивалкой.

— Смотрите, вот Зеленый электрический автомобильчик! Мисс Ферн! Мисс Роберта! — сказал Том. — Би-ип! Би-ип!

Хлоп!

Все рассмеялись.

— А вот твои линии жизни, Дуг, они все в узлах. Слишком много кислых яблок! И соленые огурцы перед сном!

— Которые? Где? — закричал Дуглас, всматриваясь в узор ковра.

— Вот эта — через год, эта — через два, а эта — через три, четыре и пять лет.

Хлоп! Проволочная выбивалка зашипела, точно змея.

— А вот эта — на всю остальную жизнь, — сказал Том.

Он ударил по ковру с такой силой, что вся пыль пяти тысяч столетий рванулась из потрясенной ткани, на мгновение замерла в воздухе, и, пока Дуглас стоял, зажмурясь, и старался хоть что-нибудь разглядеть в переплетающихся нитях и пестрых разводах ковра, лавина армянской пыли беззвучно обрушилась на него и навеки погребла его на глазах у всех родных...

* * *

Старая миссис Бентли и сама не могла бы сказать, как все это началось. Она часто видела детей в бакалейной лавке — точно мошки или обезьянки, мелькали они среди кочанов капусты и связок бананов, и она улыбалась им, и они улыбались в ответ. Миссис Бентли видела, как они бегают зимой по снегу, оставляя на нем следы, как вдыхают осенний дым на улицах, а когда цветут яблони — стряхивают с плеч облака душистых лепестков, но она никогда их не боялась. Дом у нее в образцовом порядке, каждая мелочь на своем привычном месте, полы всегда чисто выметены, провизия аккуратно заготовлена впрок, шляпные булавки воткнуты в подушечки, а ящики комода в спальне доверху набиты всякой всячиной, что накопилась за долгие годы.

Миссис Бентли была женщина бережливая. У нее хранились старые билеты, театральные программы, обрывки кружев, шарфики, железнодорожные пересадочные билеты — словом, все приметы и свидетельства ее долгой жизни.

— У меня куча пластинок, — говорила она. — Вот Карузо — это было в Нью-Йорке, в девятьсот шестнадцатом; мне тогда было шестьдесят, и Джон был еще жив... А вот

Джун Мун — это, кажется, девятьсот двадцать четвертый год, Джон только что умер...

Вот это было, пожалуй, самым большим огорчением в ее жизни: то, что она больше всего любила слушать, видеть и ощущать, ей сохранить не удалось. Джон остался далеко в лугах, он лежит там в ящике, а ящик надежно спрятан под травами, а над ним написано число... и теперь ей ничего от него не осталось, только высокий шелковый цилиндр, трость да выходной костюм, что висит в гардеробе. А все остальное пожрала моль.

Но миссис Бентли сохранила все, что могла. Пять лет назад, когда она переехала в этот город, она привезла с собой огромные черные сундуки — там, пересыпанные шариками нафталина, лежали смятые платья в розовых цветочках и хрустальные вазочки ее детства. Покойный муж владел всякого рода недвижимым имуществом в разных городах, и она передвигалась из одного города в другой, словно пожелтевшая от времени шахматная фигура из слоновой кости, продавая все подряд, пока не очутилась здесь, в чужом, незнакомом городишке, окруженная своими сундуками и темными уродливыми шкапами и креслами, застывшими по углам, будто давно вымершие звери в допотопном зоологическом саду.

Происшествие с детьми случилось в середине лета. Миссис Бентли вышла из дому полить дикий виноград у себя на парадном крыльце и увидела, что на лужайке преспокойно разлеглись две девочки и мальчик, — свежескошенная трава покалывала их голые руки и ноги, и это им явно нравилось.

Миссис Бентли благодушно улыбнулась всем своим желтым морщинистым лицом, и в эту минуту из-за угла появилась тележка с мороженым. Точно оркестр крошечных эльфов, она вызванивала ледяные мелодии, острые и колючие, как звон хрустальных бокалов в умелых руках, созывая и маня к себе всех вокруг. Дети тотчас же сели и все разом, словно подсолнухи к солнцу, повернули головы в сторону тележки.

— Хотите мороженого? — спросила миссис Бентли и крикнула: — Эй, сюда!

Тележка остановилась, звякнули монетки, и в руках у миссис Бентли очутились бруски душистого льда. Дети с полным ртом поблагодарили ее и принялись с любопытством разглядывать — от башмаков на пуговицах до седых волос.

— Дать вам немножко? — спросил мальчик.

— Нет, детка. Я уже старая, и мне ничуть не жарко. Я, наверное, не растаю даже в самый жаркий день, — засмеялась миссис Бентли.

Со сладкими сосульками в руках дети поднялись на теннисное крыльцо и уселись рядышком на ступеньку.

— Меня зовут Элис, это Джейн, а это — Том Сполдинг.

— Очень приятно. А я — миссис Бентли. Когда-то меня звали Элен.

Дети в изумлении уставились на нее.

— Вы не верите, что меня звали Элен? — спросила миссис Бентли.

— А я не знал, что у старух бывает имя, — жмурясь от солнца, ответил Том.

Миссис Бентли сухо засмеялась.

— Он хочет сказать, старух не называют по имени, — пояснила Джейн.

— Когда тебе будет столько лет, сколько мне сейчас, дружок, тебя тоже никто не станет называть Джейн. Стариков всегда величают очень торжественно — только «мистер» или «миссис», не иначе. Люди помоложе не хотят называть старуху Элен. Это звучит очень легкомысленно.

— А сколько вам лет? — спросила Элис.

— Ну, я помню даже птеродактиля, — улыбнулась миссис Бентли.

— Нет, правда, сколько?

— Семьдесят два.

Дети задумчиво пососали свои ледяные лакомства.

— Да-а, уж это старая так старая, — сказал Том.

— А ведь я чувствую себя так же, как тогда, когда была в вашем возрасте, — сказала миссис Бентли.

— В нашем?

— Конечно. Когда-то я была такой же хорошенькой девчуркой, как ты, Джейн, и ты, Элис.

Дети молчали.

— В чем дело?

— Ни в чем.

Джейн поднялась на ноги.

— Как, неужели вы уже уходите? Даже не доели мороженое... Что-нибудь случилось?

— Мама всегда говорит, что врать нехорошо, — заметила Джейн.

— Конечно, нехорошо. Очень плохо, — подтвердила миссис Бентли.

— И слушать, когда врут, — тоже нехорошо.

— Кто же тебе соврал, Джейн?

Джейн взглянула на миссис Бентли и смущенно отвела глаза:

— Вы.

— Я? — Миссис Бентли засмеялась и приложила сморщенную руку к тощей груди. — Про что же?

— Про себя. Что вы были девочкой.

Миссис Бентли выпрямилась и застыла.

— Но я и правда была девочкой, такой же, как ты, только много лет назад.

— Пойдем, Элис. Том, пошли.

— Пойдите, — сказала миссис Бентли. — Вы что, не верите мне?

— Не знаю, — сказала Джейн. — Нет, не верим.

— Но это просто смешно! Ведь ясно же: все когда-то были молодыми!

— Только не вы, — потупив глаза, чуть слышно шепнула Джейн, словно про себя.

Ее палочка от мороженого упала в лужицу ванили на крыльце.

— Ну конечно, мне было и восемь, и девять, и десять лет, так же как всем вам.

Девочки хихикнули, но, спохватившись, тотчас умолкли.

Глаза миссис Бентли сверкнули.

— Ладно, не могу я целое утро спорить без толку с маленькими глупышами. Ясное дело, мне тоже когда-то было десять лет и я была такая же глупая.

Девочки засмеялись. Том смущенно поежился.

— Вы просто шутите, — все еще смеясь, сказала Джейн. — По правде, вам никогда не было десяти лет, да?

— Ступайте домой! — вдруг крикнула миссис Бентли, ей стало невтерпех под их взглядами. — Нечего тут смеяться!

— И вас вовсе не зовут Элен?

— Разумеется, меня зовут Элен!

— До свиданья! — сквозь смех крикнули девочки, убегая по лужайке; Том поплелся за ними. — Спасибо за мороженое!

— Я и в классы играла! — крикнула им вдогонку миссис Бентли, но их уже не было.

Весь день после этого миссис Бентли яростно громыхла чайниками и кастрюлями, с шумом готовила свой скудный обед и то и дело подходила к двери в надежде поймать этих дерзких дьяволят — уж наверное они бродят где-нибудь поблизости и смеются. Впрочем... если она и увидит их снова, что им сказать? Да и с какой стати они занимают ее мысли?

— Подумать только, — сказала миссис Бентли, обращаясь к изящной фарфоровой чашечке, расписанной букетиками роз. — В жизни еще никто не сомневался, что и я когда-то была девочкой. Это глупо и жестоко. Я ничуть не горюю, что я уже старая... почти не горюю. Но отнять у меня детство — ну уж нет!

Ей казалось — дети бегут прочь под дуслистыми деревьями, унося в холодных пальцах ее юность, незримую, как воздух.

После ужина миссис Бентли, сама не зная зачем, с бессмысленным упорством наблюдала, как ее руки, точно пара призрачных перчаток на спиритическом сеансе, собирают в надушенный носовой платок некие необходимые предме-

ты. Потом она вышла на крыльцо и простояла там, не шевелясь, добрых полчаса.

Наконец внезапно, точно спугнутые ночные птицы, мимо пронеслись дети, но оклик миссис Бентли остановил их на лету.

— Что, миссис Бентли?

— Поднимитесь ко мне на крыльцо, — приказала она. Девочки повиновались, следом поднялся и Том.

— Что, миссис Бентли?

Они старательно нажимали на слово «миссис», как будто это и было ее настоящее имя.

— Я хочу показать вам несколько очень дорогих мне вещей.

Миссис Бентли развернула надушенный узелок и сперва заглянула в него сама, точно ожидала найти там нечто удивительное и для себя. Потом вынула маленькую круглую гребенку, на ней поблескивали фальшивые бриллиантики.

— Я носила ее в волосах, когда мне было девять лет, — объяснила она.

Джейн повертела гребенку в руке:

— Очень мило.

— Покажи-ка! — закричала Элис.

— А вот крохотное колечко, я носила его, когда мне было восемь лет, — продолжала миссис Бентли. — Видите, теперь оно не лезет мне на палец. Если посмотреть на свет, видна Пизанская башня, кажется, что она вот-вот упадет.

— Ну покажи мне, Джейн!

Девочки передавали колечко друг другу, и наконец оно очутилось на пальце у Джейн.

— Смотрите, оно мне как раз! — воскликнула она.

— А мне — гребенка! — изумилась Элис.

Миссис Бентли вынула из платка несколько камешков.

— Вот, — сказала она. — Я в них играла, когда была маленькая.

Она подбросила камешки, и они упали на крыльцо причудливым созвездием.

— А теперь взгляните.

И старуха торжествующе подняла вверх раскрашенную фотографию, свой главный козырь. Фотография изображала миссис Бентли семи лет от роду, в желтом, пышном, как бабочка, платье, с золотистыми кудрями, синими-пресиними глазами и пухлым ротиком херувима.

— Что это за девочка? — спросила Джейн.

— Это я!

Элис и Джейн впились глазами в фотографию.

— Ни капельки не похоже, — просто сказала Джейн. — Кто хочешь может раздобыть себе такую карточку.

Они подняли головы и долго вглядывались в морщинистое лицо.

— А у вас есть еще карточки, миссис Бентли? — спросила Элис. — Какие-нибудь попозже? Когда вам было пятнадцать лет, и двадцать, и сорок, и пятьдесят?

И девочки торжествующе захихикали.

— Я вовсе не обязана ничего вам показывать, — сказала миссис Бентли.

— А мы вовсе не обязаны вам верить, — возразила Джейн.

— Но ведь эта фотография доказывает, что и я была девочкой!

— На ней какая-то другая девочка вроде нас. Вы ее у кого-нибудь взяли.

— Я и замужем была!

— А где же мистер Бентли?

— Он давно умер. Если бы он был сейчас здесь, он бы рассказал вам, какая я была молоденькая и хорошенькая в двадцать два года.

— Но его здесь нету, и ничего он не может рассказать, и ничего это не доказывает.

— У меня есть брачное свидетельство.

— А может, вы его тоже у кого-нибудь взяли. Нет, вы найдите такого человека, чтоб сказал, что видел вас много-много лет назад и вам было десять лет, — вот тогда я поверю, что вы в самом деле были молодая. — И Джейн даже зажмурилась, уверенная в своей правоте.

— Тысячи людей видели меня в то время, но они уже умерли, дурочка, или больны, или живут в других городах. А в вашем городе я не знаю ни души, я ведь совсем недавно тут поселилась, и никто здесь не видел меня молодой.

— Ага, то-то! — И Джейн подмигнула Тому и Элис. — Никто не видел!

— Да погоди же! — Миссис Бентли схватила девочку за руку. — Таким вещам верят без всяких доказательств. Когда-нибудь вы будете такие же старые, как я. И вам тоже люди не станут верить. Они скажут: «Нет, эти старые вороны никогда не были ласточками, эти совы не могли быть иволгами, эти попугаи не были певчими дроздами». Да-да, придет день — и вы станете такими же, как я!

— Ну нет, — ответили девочки. — Ведь правда, этого не может быть? — спрашивали они друг друга.

— Вот увидите, — сказала миссис Бентли.

А про себя думала: «Господи боже, дети есть дети, а старухи есть старухи, и между ними пропасть. Они не могут представить себе, как меняется человек, если не видели этого собственными глазами».

— Вот ты, — обратилась она к Джейн, — неужели ты не замечала, что твоя мама с годами меняется?

— Нет, — ответила Джейн. — Она всегда была такая, как теперь.

И это правда. Когда живешь все время рядом с людьми, они не меняются ни на йоту. Вы изумляетесь происшедшим в них переменам, только если расстанетесь надолго, на годы. И миссис Бентли вдруг показалось, что она целых семьдесят два года мчалась в грохочущем черном поезде, и вот наконец поезд остановился у вокзала и все кричат: «Ты ли это, Элен Бентли?!»

— Теперь мы, пожалуй, пойдем домой, — сказала Джейн. — Спасибо за колечко, оно мне в самый раз.

— Спасибо за гребенку, она очень красивая.

— Спасибо за карточку той девочки.

— Погодите! — закричала миссис Бентли им вслед (они уже сбежали по ступенькам). — Отдайте! Это все мое!

— Не надо, — попросил Том, догоняя девочек. — Отдайте.

— Нет, она все это украла. Это все вещи какой-то девочки, а она их просто украла. Спасибо! — еще раз крикнула Элис.

Миссис Бентли кричала, звала, но они исчезли, точно мотыльки в ночи.

— Простите, — сказал Том.

Он снова стоял на лужайке и глядел на миссис Бентли. Потом и он ушел.

«Они унесли мое колечко, и мою гребенку, и фотографию, — думала миссис Бентли, она стояла на крыльце и вся дрожала. — И ничего не осталось, совсем ничего! Ведь это была часть моей жизни!»

Ночью, лежа среди своих сундуков и безделушек, она долгие часы не смыкала глаз. Она обводила взглядом тщательно сложенные в стопки лоскуты, игрушки и страусовые перья и говорила вслух:

— Да полно, мое ли все это?

Может быть, просто старуха пытается уверить себя, что и у нее было прошлое? В конце концов, что минуло, того больше нет и никогда не будет. Человек живет сегодня. Может, она и была когда-то девочкой, но теперь это уже все равно. Детство миновало, и его больше не вернуть.

В комнату дохнул ночной ветер. Белая занавеска трепетала на темной трости, что стояла у стены рядом со всякой всячиной, копившейся долгие годы. Порыв ветра качнул трость, и она с негромким стуком упала прямо в пятно лунного света на полу. Сверкнул золотой набалдашник. Это была парадная трость ее покойного мужа. Казалось, он указывает ею сейчас на миссис Бентли, как это бывало, когда они — очень редко! — ссорились и он увещевал ее своим мягким, печальным и рассудительным голосом.

— Дети правы, — сказал бы он ей. — Они у тебя ничего не украли, дорогая. Все это уже не принадлежит тебе. Оно принадлежало той, другой тебе, и это было так давно.

Господи, подумала миссис Бентли. И тут, словно зашипел валик старинного фонографа под стальной иглой, она ясно услышала свой разговор с мужем. Мистер Бентли, такой подтянутый, даже немного чопорный, с розовой гвоздикой на безукоризненном лацкане, говорил ей:

— Дорогая, ты никак не можешь понять, что время не стоит на месте. Ты всегда хочешь оставаться такой, какой была прежде, а это невозможно: ведь сегодня ты уже не та. Ну зачем ты бережешь эти старые билеты и театральные программы? Ты потом будешь только огорчаться, глядя на них. Выкинь-ка их лучше вон.

Но миссис Бентли упрямо хранила все билеты и программы.

— Это не поможет, — говорил мистер Бентли, попивая свой чай. — Как бы ты ни старалась оставаться прежней, ты все равно будешь только такой, какая ты сейчас, сегодня. Время гипнотизирует людей. В девять лет человеку кажется, что ему всегда было девять и всегда так и будет девять. В тридцать он уверен, что всю жизнь оставался на этой прекрасной грани зрелости. А когда ему минет семьдесят — ему всегда и навсегда семьдесят. Человек живет в настоящем, будь то молодое настоящее или старое настоящее; но иного он никогда не увидит и не узнает.

Это был один из немногих и очень дружеских споров в их мирной семейной жизни. Джон никогда не одобрял ее склонности собирать памятки о прошлом.

— Будь тем, что ты есть, поставь крест на том, чем ты была, — говорил он. — Старые билеты — обман. Беречь всякое старье — только пытаться обмануть себя.

Был бы он жив сегодня, что бы он сказал?

— Ты бережешь коконы, из которых уже вылетела бабочка, — сказал бы он. — Старые корсеты, в которые ты уже никогда не влезешь. Зачем же их беречь? Доказать, что ты была когда-то молода, невозможно. Фотографии? Нет, они лгут. Ведь ты уже не та, что на фотографиях.

— А письменные показания под присягой?

— Нет, дорогая, ведь ты не число, не чернила, не бумага. Ты — не эти сундуки с тряпьем и пылью. Ты — только та, что здесь, сейчас, сегодня, сегодняшняя ты.

Миссис Бентли кивнула. Ей стало легче дышать.

— Да, я понимаю... Понимаю.

Трость с золотым набалдашником поблескивала в лунных бликах на ковре.

— Утром я со всем этим покончу, — сказала миссис Бентли, обращаясь к трости. — Отныне я буду только тем, что я есть сегодня. Да, решено, так и будет.

И она уснула.

Утро настало зеленое, солнечное, в дверь уже осторожно стучались обе девочки.

— У вас есть еще что-нибудь для нас, миссис Бентли? Еще какие-нибудь вещи той девочки?

Миссис Бентли повела их из прихожей в библиотеку.

— Возьми вот это. — И она протянула Джейн платье, в котором когда-то, в пятнадцать лет, играла дочь мандарина. — И это, и вот это. — Она отдала калейдоскоп и увеличительное стекло. — Берите все, что хотите, — говорила миссис Бентли. — Книжки, коньки, куклы, все... Все это ваше.

— Наше?!

— Только ваше. И вот что: помогите мне в одном деле, я собираюсь развести на заднем дворе большой костер. Нужно вынуть все из сундуков и выбросить всякий хлам, пусть его забирает старьевщик. Все это уже не мое. Ничего нельзя сохранить навеки.

— Мы поможем, — сказали девочки.

Миссис Бентли повела их на задний двор. Она захватила коробку спичек, девочки несли по охапке всякой всячины.

И потом все лето обе девочки и Том часто сидели в ожидании на ступеньках крыльца миссис Бентли, как птицы на жердочке. А когда слышались серебряные колокольчики мороженщика, дверь отворялась и из дома выплывала миссис Бентли, погрузив руку в кошелек с серебряной застежкой, и целых полчаса они оставались на крыльце вместе, стару-

ха и дети, и смеялись, и лед таял, и таяли шоколадные сосульки во рту. Теперь наконец они стали добрыми друзьями.

— Сколько вам лет, миссис Бентли?

— Семьдесят два.

— А сколько вам было пятьдесят лет назад?

— Семьдесят два.

— И вы никогда не были молодая и никогда не носили лент и вот таких платьев?

— Никогда.

— А как вас зовут?

— Миссис Бентли.

— И вы всю жизнь прожили в этом доме?

— Всю жизнь.

— И никогда не были хорошенькой?

— Никогда.

— Никогда-никогда за тысячу миллионов лет?

В душной тишине летнего полудня девочки пытливо склонялись к старой женщине и ждали ответа.

— Никогда, — отвечала миссис Бентли. — Никогда-никогда за тысячу миллионов лет.

* * *

— Ты приготовил блокнот, Дуг?

— Конечно!

И Дуглас хорошенько полизал карандаш.

— Что у тебя там уже записано?

— Все обряды.

— Четвертое июля, и как делают вино из одуванчиков, и еще всякая чепуха вроде того, как на веранду вешают качели, да?

— Вот тут сказано, когда я в это лето первый раз ел эскимо — первого июня тысяча девятьсот двадцать восьмого года.

— Какое же это лето, это еще весна.

— Все равно это было в первый раз, потому я и записал. Купил новые теннисные туфли — двадцать пятого июня. В первый раз ходил босиком по траве — двадцать шесто-

го июня. Бим-бом, би-ри-бом — побежали босиком! А про тебя что записать, Том? Еще что-нибудь «в первый раз»? Какой-нибудь чудной обряд, может, про каникулы, вроде того, что ловили крабов в ручье или поймали водяного паука-скорохода?

— Еще никто на свете не поймал водяного скорохода. Знаешь ты такого человека, который его поймал? Ну-ка, подумай!

— Думаю.

— И что?

— Правильно. Никто не поймал. И не поймает, наверное. Они уж очень быстрые.

— Да не в том дело. Их просто не бывает, — сказал Том. Еще чуть подумал и убежденно кивнул головой. — Вот то-то и оно, их просто нет на свете и никогда не было. А запиши вот что...

Он наклонился и пошептал брату на ухо.

Дуглас все записал.

Потом они оба это перечитали.

— Чтоб мне провалиться! — воскликнул Дуглас. — А я и не додумался! Вот это да! Ясно как апельсин: старики никогда не были детьми.

— А правда, это как-то грустно? — задумчиво сказал Том. — И уж тут ничем не поможешь.

* * *

— Похоже, в городе полно машин, — сказал на бегу Дуглас. — У мистера Ауфмана — Машина счастья, у мисс Ферн и мисс Роберты — Зеленая машина. А у тебя что, Чарли?

— Машина времени, — пропыхтел Чарли Вудмен и обогнал Дугласа. — Вот честное-пречестное.

— И на ней можно съездить в прошлое и в будущее? — спросил Джон Хаф, легко обходя их обоих.

— Только в прошлое, нельзя же все сразу. Стоп, приехали.

Чарли Вудмен остановился у живой изгороди.

Дуглас всмотрелся в старый дом:

— Да ведь тут живет полковник Фрилей! Ну уж нет, тут не будет никаких машин. Он, во-первых, никакой не изобретатель, а потом, если бы он и изобрел, да не что-нибудь, а Машину времени, мы бы давным-давно про это узнали.

Чарли и Джон на цыпочках поднялись по ступенькам крыльца. Дуглас только презрительно фыркнул и покачал головой, но с места не двинулся.

— Ну и не ходи, раз ты такой упрямый осел, — сказал Чарли. — Правильно, полковник Фрилей не изобрел Машину времени, а только он тоже ее хозяин, и она всегда здесь. Мы просто дураки, что раньше ее не разглядели. Будь здоров, Дуглас Сполдинг, оставайся тут, тебе же хуже.

Чарли взял Джона под руку, точно вел даму, открыл затянутую сеткой дверь веранды и вошел. Дверь не хлопнула.

Дуглас придержал ее и молча последовал за друзьями.

Чарли прошел через всю веранду, постучал и отворил дверь в дом. Все трое, вытянув шеи, заглянули через длинную темную переднюю в комнату, где свет был зеленоватый, тусклый и какой-то водянистый, точно в подводной пещере.

— Полковник Фрилей!

Молчание.

— Он не очень-то хорошо слышит, — шепнул Чарли. — Он говорил: «Прямо входи и покричи погромче». Полковник!

Ничего. Только откуда-то сверху, крутясь, сыпалась пыль и оседала на винтовой лестнице. Потом из той подводной комнаты-пещеры донесся легкий шорох.

Мальчики осторожно прошли через прихожую и заглянули в комнату — там только и было что старик да кресло. И чем-то они походили друг на друга — оба такие тощие и костлявые, что, кажется, сразу видны все суставы и сочленения, видно, где прикрепляются мышцы и сухожилия, а где планки и шарниры. А еще в комнате были грубый дощатый пол, голые стены и потолок и очень много тишины.

— Он совсем как мертвый, — прошептал Дуглас.

— Нет, это он придумывает, куда бы еще съездить попутешествовать, — негромко и очень гордо сказал Чарли. — Полковник!

Один из двух темных предметов в комнате шевельнулся — это и был полковник; он подслеповато поморгал, взгляделся и расплылся в широчайшей беззубой улыбке.

— Чарли!

— Полковник, это Дуглас и Джон, они пришли, чтобы...

— Рад вам, ребята. Садитесь, садитесь.

Мальчики неловко уселись на пол.

— Но где же... — начал было Дуглас.

Чарли поспешно ткнул его локтем в бок.

— Ты о чем? — спросил полковник Фрилей.

— Он хотел сказать, где же толк, если мы сами будем говорить. — Чарли украдкой подмигнул Дугласу, потом улыбнулся полковнику. — Нам совсем нечего сказать, полковник. Лучше вы расскажите нам что-нибудь.

— Берегись, Чарли. Мы, старики, только и ждем случая поговорить. Только попроси — и пойдем трещать, будто старый ржавый лифт: закрихтел да и пополз вверх с этажа на этаж.

— Чин Линсу, — словно невзначай сказал Чарли.

— Как? — переспросил полковник.

— Бостон, — подсказал Чарли, — девятьсот десятый год.

— Бостон, девятьсот десятый... — Полковник нахмурился. — Ну да, конечно. Чин Линсу!

— Да, сэр, полковник Фрилей.

— Дайте-ка мне вспомнить... — Старик невнятно забормотал, голос его словно уносился вдаль, над безмятежными водами тихого озера... — Дайте-ка мне вспомнить...

Мальчики ждали.

Полковник глубоко вздохнул, еще помедлил...

— Первое октября десятого года, тихий прохладный осенний вечер, театр варьете в Бостоне... Да, так оно и было. Народу — битком, и все ждут. Оркестр, трубы, занавес! Чин Линсу, великий восточный маг и чародей! Вот он, на сцене. А вот я, в середине первого ряда. Он кричит: «Фокус

с пульей! Кто хочет попробовать?» Мой сосед встает и идет к сцене. «Осмотрите ружье, — говорит Чин Линсу. — Теперь пометьте пулю. Вот так. Теперь стреляйте меченой пульей из этого самого ружья прямо мне в лицо, а я буду стоять на другом конце сцены и поймаю пулю зубами!»

Полковник Фрилей перевел дух и умолк.

Дуглас глядел на него во все глаза, изумленный и зачарованный. Джон Хаф и Чарли совсем оцепенели. Старик снова заговорил, он сидел неподвижно, точно каменный, только губы шевелились.

— «Готовься, целься, пли!» — кричит Чин Линсу. Трах! Гремит ружье. Трах! Чин Линсу вскрикивает, шатается, падает, лицо залито кровью. Шум, гам, ад кромешный, все вскакивают на ноги. Что-то неладно с ружьем. Кто-то говорит: «Мертв». И верно. Мертв. Ужасно, ужасно... Никогда не забуду... Лицо точно алая маска, занавес быстро опускается, женщины плачут... Девятьсот десятый год... Бостон... Театр варьете... Бедняга... Бедняга...

Полковник Фрилей медленно открывает глаза.

— Бог ты мой, полковник, — говорит Чарли. — Вот уж здорово так здорово. А теперь хорошо бы про Поуни Билла.

— Про Поуни Билла?

— Вы тогда еще были в прериях, давно, в восемьсот семьдесят пятом...

— Поуни Билл... — Полковник ощупью двигался во тьме. — Тысяча восемьсот семьдесят пятый... Да, мы с Поуни Биллом ждем на пригорке, в самом сердце прерии... «Ш-ш-ш, — говорит Поуни Билл. — Слушай!» Прерия — как огромная сцена, все готово, пора начинаться грозе. Раскат грома. Сначала глухой. Еще раскат. На этот раз ближе, громче. И во всю ширь прерии, насколько хватает глаз, надвигается зловещая бурая туча, полная черных молний, — стелется низко-низко, миль пятьдесят в ширину, миль пятьдесят в длину, миля в высоту и всего на дюйм от земли. А я стою на пригорке и кричу: «Господи, помилуй!» Земля бьется, точно обезумевшее сердце, ребятки, точно сердце, охваченное ужасом. Я трясусь как осиновый лист. Земля дрожит. Трах-

тара-рах, грохочет гром. Так и громыхает. Ох, как она гремела, эта гроза, и все надвигалась, наступала, и весь мир закрыла эта туча. «Это они!» — кричит Поуни Билл. И туча эта была не туча, а песок! Не пар, не дождь, нет, а песок, его взмело со всей прерии, с высохшей жухлой травы, он был как мука самого тонкого помола, как цветочная пыльца и так и сверкал на солнце, потому что теперь и солнце появилось в небе. Я опять как закричу... Отчего? Да оттого, что эту пыль будто адское пламя пронизало, будто занавес отдернули на свету, — и тут я их увидел, клянусь вам, увидел своими глазами! То было великое войско древних прерий — бизоны!

Полковник умолк; когда тишина стала невыносимой, он продолжал:

— Головы — точно кулаки великана негра, туловища — как паровозы. Будто на западе выстрелили двадцать, пятьдесят, двести тысяч пушек и снаряды сбились с пути и мчатся, рассыпая огненные искры, глаза у них как горящие угли, и вот сейчас они с грохотом канут в пустоту... Пыль взметнулась к небу, смотрю — развеваются гривы, проносятся горбатые спины — целое море, черные косматые волны вздымаются и опадают... «Стреляй! — кричит Поуни Билл. — Стреляй!» А я стою и думаю — я ж сейчас как Божья кара... и гляжу, а мимо бешеным потоком мчится яростная силища, точно полночь среди дня, точно нескончаемая похоронная процессия, черная и сверкающая, горестная и невозвратимая, а разве можно стрелять в похоронную процессию, как вы скажете, ребята? Разве это можно? В тот час я хотел только одного — чтобы песок снова скрыл от меня эти черные, грозные силуэты судьбы, как они сталкиваются и бьются друг о друга в диком смятении. И представьте, ребята, пыль и правда осела и скрыла миллион копыт, которые подняли весь этот гром, вихрь и бурю. Поуни Билл вырутался да как стукнет меня по руке! Но я был рад, что не тронул эту тучу или силу, которая скрывалась в ней, ни единой крупинкой свинца. Так бы все и стоял и смотрел, как само время катит мимо на громадных колесах, под покро-

вом бури, что подняли бизоны, и уносится вместе с ними в вечность. Час, три, шесть часов прошло, пока буря не унеслась за горизонт к людям, не таким добрым, как я. Поуни Билл куда-то исчез, я остался один, я совсем оглох и словно окаменел. Потом пошел, сто миль на юг шел до ближайшего города, и не слышал человеческих голосов, и рад был, что не слышу. Хотелось, чтоб в ушах еще звучал этот гром. Я и сейчас его слышу, особенно летом, вот в такие дни, как нынче, когда над озером стеной стоит дождь... устрашающий, ни на что не похожий грохот... Вот бы и вам когда-нибудь его услышать...

В полумраке большой нос полковника Фрилея чуть просвечивал, словно белая фарфоровая чашка, в которую налили очень слабого и чуть теплого апельсинового чая.

— Он заснул? — спросил наконец Дуглас.

— Нет, — ответил Чарли. — Просто перезаряжает свои батареи.

Полковник дышал часто и неглубоко, как будто запыхался от долгого бега. Потом он открыл глаза.

— Да, сэр? — восторженно сказал Чарли.

— Здравствуй, Чарли! — И полковник недоуменно улыбнулся остальным ребятам.

— Это Дуглас, а вот это — Джон, — сказал Чарли.

— Рад познакомиться, мальчики.

Мальчики поздоровались.

— Но где же... — начал снова Дуглас.

— Ох и дурак же ты! — Чарли ткнул Дугласа в бок, потом повернулся к полковнику: — Вы говорили, сэр...

— Я что-то говорил? — пробормотал старик.

— Про войну Севера и Юга, — вполголоса подсказал Джон Хаф. — Он ее помнит?

— Помню ли я Гражданскую войну? — встрепенулся полковник. — Ну еще бы! — Голос его задрожал, и он снова закрыл глаза. — Все, все помню, вот только... на чьей же стороне я сражался?

— А какого цвета у вас был мундир?.. — спросил Чарли.

— Цвета начинают путаться, — прошептал полковник. — Они тускнеют. Я вижу рядом солдат, но уже давно не помню, какие на них шинели и кепи — серые или синие. Я родился в штате Иллинойс, учился в Виргинии, женился в Нью-Йорке, дом построил в Теннесси, а теперь, под конец жизни, слава богу, опять здесь, в Гринтауне. Теперь вы понимаете, почему у меня все цвета перепутались?

— Но ведь вы помните, по какую сторону гор дрались? — Чарли говорил совсем тихо. — Солнце вставало справа от вас или слева? Вы шли к Канаде или к Мексике?

— Иногда солнце вроде бы вставало со стороны моей здоровой руки, правой, а иногда — из-за левого плеча. И шли мы то туда, то сюда. Тому теперь уж лет семьдесят. За такой долгий срок немудрено и позабыть, с какой стороны всходило солнце.

— Ну а победы вы какие-нибудь помните? Выиграли же вы хоть какое-нибудь сражение?

— Нет, не припомню, — словно откуда-то издалека прозвучал голос старого полковника. — Никто никогда ничего не выигрывает. В войне вообще не выигрывают, Чарли. Все только и делают, что проигрывают, и кто проиграет последним, просит мира. Я помню лишь вечные проигрыши, поражение и горечь, а хорошо было только одно — когда все кончилось. Вот конец — это, можно сказать, выигрыш, Чарльз, но тут уж пушки ни при чем. Хотя вы-то, конечно, не про такие победы хотели услышать, правда?

— Антиетам, — сказал Джон Хаф. — Спроси его про Антиетам.

— Я там был.

У мальчиков заблестели глаза.

— Бул-Ран, спроси его про Бул-Ран...

— Я там был, — очень тихо сказал полковник.

— А как насчет Шайло?

— Я всю жизнь его вспоминаю и говорю себе: стыд и срам, что такое красивое название сохранилось только в старой военной хронике.

— Ну, значит, про Шайло. А форт Самтер?

— Я видел там первые клубы порохового дыма, — мечтательно сказал полковник. — Многое приходит на память, очень многое... Помню песни: «На Потوماке нынче тихо, солдаты мирно спят; под осеннею луною палатки их блестят...» Помню, помню и дальше: «На Потوماке нынче тихо, лишь плещет волна; часовым убитым не встать ото сна...» А когда они капитулировали, мистер Линкольн вышел на балкон Белого дома и попросил оркестр сыграть «Будьте на страже...». А потом одна леди из Бостона как-то ночью сочинила песню, которая будет жить тысячу лет: «Видели мы воочию — Господь наш нисходит с неба; Он попирает лозы, где зреют гроздья гнева...» По ночам я, сам не знаю отчего, начинаю шевелить губами и пою про себя: «Слава вам, слава, войны Дикси! Стойте на страже родных побережий...» и «Когда герои наши с победой возвратятся, их увенчают лавры, их встретит гром оваций...» Сколько песен! Их пели обе стороны, ночной ветер относил их то на юг, то на север... «Мы идем, отец наш Авраам, триста тысяч воинов идут...», «Станем лагерем, ребята, разобьем палатки...», «Ура, ура, несем свободы знамя...».

Голос старого вояки постепенно затих.

Мальчики долго не шевелились. Потом Чарли повернулся к Дугласу и спросил:

— Ну что, да или нет?

Дуглас два раза шумно вздохнул и ответил:

— Конечно, да.

Полковник открыл глаза.

— Что — да? — спросил он.

— Конечно, вы — Машина времени, — пробормотал Дуглас.

Полковник долго смотрел на мальчиков. Потом спросил почти со страхом:

— Так вот как вы меня называете?

— Да, так, сэр.

— Да, сэр.

Полковник медленно откинулся на спинку кресла, посмотрел на мальчиков, потом на свои руки, потом уставился поверх мальчишечьих голов на пустую стену.

Чарли встал:

— Пожалуй, нам пора. Всего хорошего, полковник, спасибо вам.

— Что? Да, всего хорошего, ребята.

Дуглас, Джон и Чарли на цыпочках направились к двери.

Они прошли мимо полковника, прямо перед ним, но он их словно и не видел.

Когда они вышли на улицу, из окна второго этажа раздалось:

— Эй!

Все трое вздрогнули и задрали головы.

— Да, сэр.

Полковник высунулся из окна и помахал им рукой:

— Я думал о том, что вы мне сказали, ребята.

— Да, сэр.

— Вы совершенно правы! Как это мне самому не пришло в голову? Машина времени, право слово, ну конечно, Машина времени!

— Да, сэр.

— Всего доброго, мальчики. Приходите когда вздумается, в любой час.

В конце улицы они обернулись — полковник все еще махал им рукой из окна. Они помахали ему в ответ, всем троим стало как-то тепло и приятно. Потом пошли дальше.

— Пфф, пфф, — запыхтел Джон. — Сейчас уеду в прошлое, за двенадцать лет. Ду-у-у-у-у! Пфф, пфф.

— Ага, верно, — сказал Чарли, оглядываясь на тихий дом. — А вот за сто лет не уедешь.

— Да, за сто не могу, — задумчиво согласился Джон. — Вот это было бы путешествие! Вот это Машина!

С минуту они шагали в молчании, глядя себе под ноги. Потом перед ними оказался забор.

— Кто перепрыгнет последний, тот девчонка, — сказал Дуглас.

И всю остальную дорогу домой они называли Дугласа Дорой.

* * *

Том проснулся далеко за полночь и увидел, что Дуглас поспешно пишет что-то в своем блокноте при свете карманного фонарика.

— Дуг, что случилось?

— Как — что? Все случилось! Я подсчитываю свои удачи, Том. Вот смотри: Машина счастья не получилась, так? Но мне наплевать, у меня все равно целый год уже расписан. Если надо побегать по главным улицам Гринтауна, чтобы поглядеть вокруг и подсмотреть, что делается в мире, у меня есть трамвай. А если надо покрутиться где-нибудь по окраинам — стучусь к мисс Роберте и мисс Ферн, они заряжают батареи своего электрического автомобильчика — и поехали! Надо побегать по проулкам или перепрыгнуть через забор и посмотреть, что там делается, за заборами, за домами, за садами, — пожалуйста, на то есть новехонькие теннисные туфли. Значит, так: туфли, Зеленый автомобильчик и трамвай. Чего мне еще надо? Но и это не все, Том. Слушай: я хочу пробраться в такое место, куда никому другому не пробраться, никто до этого и не додумается. Если я отправлюсь в тысяча восемьсот девяностый год, потом перескочу в тысяча восемьсот семьдесят пятый, а потом — в тысяча восемьсот шестидесятый, я как раз успею на экспресс полковника Фрилея! Вот слушай, что я про это пишу: «Может быть, старики никогда не были детьми, хоть миссис Бенгли и спорит; но маленькие они были или большие, а кто-нибудь из них наверняка стоял у Аппоматокса весной тысяча восемьсот шестьдесят пятого года». И у таких зрение — как у индейцев, и они видят назад много дальше, чем мы с тобой когда-нибудь увидим вперед.

— Звучит здорово, Дуг. А что это значит?

Дуглас продолжал писать.

— Это значит, что они — настоящие путешественники, нам с тобой нипочем с ними не сравниться. Если уж очень повезет, мы сможем путешествовать лет сорок, ну пятьде-

сят, а для них это пустяки. Вот кто ездит девяносто лет, девяносто пять, сотню, тот самый настоящий путешественник.

Фонарик мигнул и погас.

Братья тихо лежали в лунном свете.

— Том, — шепнул Дуглас. — Мне непременно надо испробовать все эти пути. Увидеть все, что только можно. Но главное — мне надо навещать полковника Фрилея хоть раз в неделю, а может, и два, и три раза. Он лучше всех других Машин. Он говорит, а ты знай слушай. И чем больше он говорит, тем больше хочется присмотреться ко всему, что есть вокруг, и все-все разглядеть, все, что можно. Он говорит — ты, мол, едешь в таком особенном, необыкновенном поезде, — и верно, так оно и есть! Он и сам в нем ездил и все знает. А теперь мы с тобой едем по той же дороге, только еще дальше, и надо столько всего увидеть, и понюхать, и потрогать! Вот и нужно, чтобы полковник Фрилей нас подтолкнул и сказал: мол, глядите в оба, запоминайте все-все, каждую секунду! Помнить надо все, что только есть на свете. А потом когда-нибудь сам будешь старый-старый, и к тебе придут ребята, и ты им тоже поможешь, как полковник нам помогает. Вот как оно получается, Том, и мне надо побольше его слушать и почаще пускаться с ним в самые дальние путешествия.

Том помолчал. В темноте он старался разглядеть лицо брата. Потом спросил:

— Дальние путешествия. Ты это сам придумал?

— Может, да, а может, и нет.

— Дальние путешествия, — прошептал Том.

— Одно я точно знаю, — сказал Дуглас, закрывая глаза. — От этого почему-то тоска берет, как-то одиноко становится.

* * *

Бац!

Хлопнула дверь. На чердаке со старых письменных столов и книжных шкафов взметнулась пыль. Две старушки навалились на дверь чердака, стараясь запереть ее покрепче.

Казалось, у них над головами взмыла вверх тысяча голубей. Старушки согнулись, точно под тяжелой ношей, чтобы их не задела громко хлопающие крылья. Потом выпрямились, удивленно раскрыли рты. Нет, это не голуби, это от страха оглушительно стучат их собственные сердца... Стараясь перекричать этот гром, они заговорили:

— Что мы наделали! Бедный мистер Квотермейн!

— Мы, наверное, его убили! И, наверное, кто-нибудь это видел и погнался за нами. Давай посмотрим.

Мисс Ферн и мисс Роберта выглянули в затянутое паутиной чердачное окошко. Внизу, озаренные солнцем, по-прежнему росли дубы и вязы, точно и не случилось страшного несчастья. Мальчишка прошел мимо по тротуару, вернулся, еще раз прошел мимо и, задрвав голову, посмотрел вверх.

На чердаке старушки взглянули друг на друга, будто пытались разглядеть свои лица в быстром ручье.

— Полиция!

Но внизу никто не барабанил во входную дверь, никто не кричал: «Именем закона!»

— Что это за мальчишка?

— Дуглас, Дуглас Сполдинг! Батюшки мои, это он пришел попросить нас прокатить его на Зеленой машине! Он ничего не знает. Наша собственная гордыня нас погубила. Гордыня и эта электрическая штуковина!

И тот ужасный коммивояжер из Гампорт-Фолса. Это он во всем виноват со своими уговорами.

Уговоры, разговоры, точно теплый дождик стучит по крыше.

Им вдруг вспомнился другой день, другой полдень. Они сидят на своей увитой плющом веранде, обмахиваются белыми веерами, а перед ними полные тарелки прохладного, вздрагивающего лимонного желе.

И вот из слепящего солнечного блеска, сверкающая, великолепная, точно карета сказочного принца, возникла...

ЗЕЛЕНАЯ МАШИНА!

Она скользила. Она что-то нашептывала, ласково, точно морской ветерок. Изящная, словно кленовый лист, свежая,

словно ключевая вода, она мурлыкала как кошка, величаво выступая в знойных полуденных лучах. А в машине — коммивояжер из Гампорт-Фолса, его напомаженную голову осеняет панاما. Машина на резиновом ходу, она мягко и ловко скользит по выжженному солнцем добела тротуару; вот она, жужжа, подлетает прямо к нижней ступеньке крыльца, вихрем разворачивается и замирает. Выскочил коммивояжер, поскорей надвинул панаму на лоб, спасаясь от солнца. В тени широких ее полей блеснула улыбка.

— Меня зовут Уильям Тара! А это... — он нажал грушу, раздался отрывистый лай, — это сигнал. — Он приподнял черные, блестящие, как шелк, подушки. — Здесь — аккумуляторные батареи! — (Пахнуло свежестью, как после грозы.) — Вот — стартер. Сюда ставят ноги. Это — тент, защита от солнца. А все вместе — Зеленая машина!

Старушки на темном чердаке вздрогнули, вспоминая все это. Глаза у них были закрыты.

— И почему мы не закололи его вязальными спицами?!

— Ш-ш! Слышишь?

Внизу кто-то стучался в дверь. Потом стук прекратился. Через двор прошла женщина и скрылась в соседнем доме.

— Да это Лавиния Неббс, и в руках у нее пустая чашка. Наверное, хотела занять у нас сахару.

— Обними меня, мне страшно.

Они опять зажмурились. И вновь замелькали воспоминания. Старая соломенная шляпа на кованом сундуке вдруг шевельнулась, точно ею помахал тот коммивояжер из Гампорт-Фолса.

— Чайку прямо с ледника? Спасибо, с удовольствием выпью.

В тишине слышно было, как он глотал прохладительное питье. Потом уставился на старушек, точно доктор, который с помощью своего круглого зеркала заглядывает вам в глаза, в нос и в горло.

— Уважаемые дамы, обе вы — весьма энергичные особы. Это сразу видно. Восемьдесят лет для вас — чистые пустяки! — Он пренебрежительно щелкнул пальцами. — Но имей-

те в виду: настанут трудные времена, вам будет некогда, ужасно некогда, и вам понадобится друг, друг в беде — истинный друг, не так ли? И этим другом станет для вас двухместная Зеленая машина!

И он устремил сверкающий взор на свой удивительный товар — глаза у него тоже были зеленые, стеклянные, точно у чучела лисы. Машина блестела на солнце, новенькая, еще пахнувшая краской, и ждала их — удобная, уютная, точно козетка из гостиной, поставленная на колеса.

— В ней спокойно, как на пуховой перине. — Его дыхание мягко касалось их лиц. — Послушайте. Ни звука, ни шороха! Все электрическое. Надо только каждый вечер перезаряжать батареи у себя в гараже.

— А вдруг она... то есть... — Младшая сестра отпила глоток ледяного чая. — А не может она убить нас током?

— Совершенно исключено!

Он кинулся в машину, улыбаясь во весь рот, зубы его сверкали; когда поздно вечером возвращаешься домой, так улыбается навстречу реклама зубного порошка.

— В гости, на чашку чая! — Машина описала грациозный круг, точно тур вальса. — В клуб, поиграть в бридж. Провести вечер с друзьями. На праздник. На званый обед. На день рождения. На завтрак «Дочерей американской революции». — Машина упорхнула, с мягким рокотом покатила прочь, точно готовая скрыться навсегда, но тут же неслышно развернулась на своих резиновых шинах и подкатила к крыльцу. Коммивояжер сидел гордый тем, что так прекрасно понимает женскую натуру. — Управлять ею легко. Трогается с места и тормозит изящно и бесшумно. Не требует водительских прав. В жаркие дни ее продувает ветерком. Да что говорить — не машина, а мечта!

Машина скользила мимо крыльца, взад и вперед, а он сидел, закинув голову, самозабвенно закрыв глаза, напомаженные волосы его развевались по ветру.

Потом он устало и почтительно взошел по ступеням на веранду, держа панаму в руке, оглянулся и посмотрел на ма-

шину, блистательно выдержавшую все испытания, как смотрит верующий на алтарь с детства знакомой церкви.

— Сударыни, — сказал он вкрадчиво. — Двадцать пять долларов единовременно и потом, на протяжении двух лет, по десять долларов в месяц.

Ферн первой сошла с крыльца и села в машину. Конечно, ей было страшновато. Но у нее чесались руки. Наконец она подняла руку и отважилась нажать резиновую грушу сигнала.

Раздался отрывистый лай.

Роберта восторженно взвизгнула и перегнулась через перила крыльца.

Коммивояжер ликовал вместе с ними. Он свел старшую сестру с крыльца, шумно восторгался машиной и в то же время доставал перо и шарил в своей панаме в поисках какого-нибудь клочка бумаги.

— Вот так мы ее и купили, — вспоминала теперь на чердаке мисс Роберта, сама ужасаясь столь дерзкому поступку. — Все это надо было предвидеть! Да я-то всегда считала, что в этой машине есть что-то сумасбродное, как в карусели, которую привозит с собой бродячий цирк.

— Но ты же знаешь, у меня уже столько лет болит нога, — точно оправдываясь, возразила Ферн. — Да и ты всегда устаешь, когда ходишь пешком. И мне казалось, что ездить в машине — это так утонченно, так величественно. Будто в старину, когда женщины носили кринолины. Они словно плыли по воздуху! И наша Зеленая машина тоже плыла, так ровно и величаво!

Точь-в-точь маленькая лодочка, управлять на диво легко — знай себе поворачивай рукоятку, только и всего.

Ах, какая это была чудесная, упоительная неделя — волшебные дни, полные золотого света: машина, жужжа, проплывает по тенистому городу, словно лодка по сонной, недвижимой реке, а ты сидишь, гордо выпрямившись, улыбаешься встречным знакомым, невозмутимо выбрасываешь

морщинистую руку при каждом повороте, а на перекрестках выжимаешь из резиновой груши хриплый лай; порой берешь прокатиться Дугласа или Тома Сполдинга или еще какого-нибудь мальчишку из тех, что, весело болтая, бегут рядом с машиной. Предельная скорость — пятнадцать неспешных и приятнейших миль в час. Так они катили сквозь летнее солнце и сквозь тени, а мимо проплывали деревья, бросая на их лица мимолетные пятна и блики, и вновь машина появлялась, и вновь исчезала, точно древний призрак на колесах.

— И надо же, чтобы сегодня... — прошептала Ферн. — Ах, надо же!

— Это был несчастный случай.

— Да, но мы удрали, а это уже преступление.

Это случилось сегодня. Пахло кожаными подушками сиденья и еще их собственными привычными старыми духами, которыми за десятки лет пропахло все их белье и платье, — этот запах струился вслед, когда Зеленая машина бесшумно двигалась по маленькому, оглушенному зноем городку.

Все произошло очень быстро. Улицы накалил зной, поэтому в полдень, когда укрыться от палящего солнца можно было только в тени деревьев, что нависали из соседних садов, машина мягко вкатилась на тротуар и дошла до угла, сигнала изо всех сил. И вдруг, точно чертик из коробочки, перед ней неизвестно откуда вырос мистер Квотермейн.

— Осторожно! — взвизгнула мисс Ферн.

— Осторожно! — взвизгнула мисс Роберта.

— Осторожно! — взвизгнул мистер Квотермейн.

Старушки в ужасе ухватились друг за друга, хотя хвататься нужно было, конечно, за тормоза.

Устрашающий глухой удар. Зеленая машина покатила дальше в ярком солнечном свете, под тенистыми каштанами, мимо яблонь, на которых уже наливались яблоки. Один только раз старушки оглянулись — и то, что они увидели, наполнило их души несказанным ужасом.

Квотермейн лежал на тротуаре, немой и неподвижный.

— Дожили! — горестно говорила теперь мисс Ферн, сидя на чердаке, где сгущалась тьма. — Ох, почему мы не оставились! Зачем мы удрали!

— Ш-ш! — Обе прислушались.

Внизу опять кто-то стучался в дверь. Потом стук прекратился, и в тусклом свете сумерек по лужайке прошел мальчик.

— Это только Дуглас Сполдинг — наверное, хотел еще разок прокатиться.

И обе тяжело вздохнули. Проходили часы. Солнце клонилось к закату.

— Мы торчим здесь целый день, — устало сказала наконец Роберта. — Но не можем же мы просидеть на чердаке три недели, пока все забудут, что случилось.

— Мы просто умрем с голоду.

— Что же нам делать? Как ты думаешь, кто-нибудь видел и выследил нас?

Они поглядели друг на друга.

— Нет. Никто не видел.

Город затихал, во всех домишках зажигались огни. Снизу доносился запах политой травы и стряпни — всюду готовили ужин.

— Пора ставить мясо на плиту, — сказала мисс Ферн. — Через десять минут вернется Фрэнк.

— Очень страшно идти вниз.

— Если Фрэнк увидит, что нас нет, он позвонит в полицию. Тогда будет еще хуже.

За окном быстро темнело. Теперь они уже и друг друга не могли разглядеть в туманной мгле.

— Как ты думаешь, он умер? — спросила мисс Ферн.

— Мистер Квотермейн?

Молчание.

— Кто же еще...

Роберта ответила не сразу:

— Посмотрим в вечерней газете.

Они открыли дверь чердака и опасливо оглядели лестницу.

— Если Фрэнк узнает, он отнимет у нас Зеленую машину... А в ней так приятно ездить... видишь весь город, и прохладный ветерок обдувает лицо...

— А мы ему не скажем.

— Не скажем?

Поддерживая друг дружку, они спустились по скрипучим ступеням, то и дело останавливаясь, чтобы прислушаться. Добрались до кухни, заглянули в кладовую, испуганными глазами посмотрели во все окна и наконец принялись поджаривать бифштекс. Минут пять прошло в молчании, потом Ферн грустно подняла глаза на Роберту:

— Я вот все думаю. Мы старые и немощные, а признаваться в этом не хочется даже самим себе. Мы стали опасны для общества. И виноваты, что удрали...

— Как же быть?

И вновь воцарилось молчание; забыв о шипящей сковороде, сестры глядели друг на друга.

— Мне кажется... — Ферн долго не отрывала глаз от стены, — нельзя нам больше ездить на Зеленой машине.

Высохшей рукой Роберта взяла со стола тарелку да так и застыла:

— Никогда?

— Никогда.

— Но разве... разве мы должны... совсем от нее отказаться? Может, хотя бы оставим ее у себя?

Ферн подумала:

— Это, наверное, можно.

— Все-таки утешение. Пойду выключу батареи.

В дверях Роберта столкнулась с Фрэнком, их младшим братом, всего пятидесяти шести лет от роду.

— Добрый вечер, сестрички! — крикнул он.

Роберта молча протиснулась мимо него в дверь и вышла в теплый сумрак. Брат принес газету, Ферн тотчас выхватила ее у него из рук. Вся дрожа, она лихорадочно шарила глазами по страницам и наконец со вздохом отдала газету Фрэнку.

— Сейчас видел на улице Дугласа Сполдинга. Он просил передать вам обеим, чтобы вы не беспокоились: он все видел и все в порядке. Что это, собственно, значит?

— Понятия не имею.

Ферн отвернулась и принялась искать в кармане носовой платок.

— Ох уж эти мне мальчишки!

Фрэнк долго смотрел в спину сестре, потом пожал плечами.

— Похоже, что скоро ужинать? — спросил он добродушно.

— Да, сейчас.

Ферн накрыла на стол.

Во дворе рывкнул автомобильный рожок. Раз, другой, третий — глухо, словно издалека.

— Это еще что такое? — Фрэнк выглянул из окна кухни в темноту. — Что там делает Роберта? Смотри-ка, она сидит в Зеленой машине и тычет пальцем в резиновую грушу.

В темноте негромко и жалобно, точно крик раненого звереныша, раздался сигнал машины, потом еще и еще.

— Что это с ней стряслось? — строго спросил Фрэнк.

— Оставь ее в покое! — закричала Ферн.

Фрэнк удивленно поднял брови. Через минуту в кухню тихонько, ни на кого не глядя, вошла Роберта, и все трое сели ужинать.

* * *

Раннее-раннее утро, первые отсветы зари на крыше за окном. Все листья на деревьях вздрагивают, отзываясь на малейшее дуновение предрассветного ветерка. И вот где-то далеко, из-за поворота, на серебряных рельсах появляется трамвай, покачиваясь на четырех маленьких серо-голубых колесах, ярко-оранжевый, как мандарин. На нем эполеты мерцающей меди и золотой кант проводов, и желтый звонок громко звякает, едва допотопный вожатый стукнет по нему ногой в стоптанном башмаке. Цифры на боках трамвая и спереди ярко-золотые, как лимон. Сиденья точно по-

росли прохладным зеленым мхом. На крыше словно занесен огромный кучерский бич, на бегу он скользит по серебряной паутине, протянутой высоко среди деревьев. Из всех окон, будто ладаном, пахнет всепроникающим голубым и загадочным запахом летних гроз и молний.

Трамвай звенит вдоль окаймленных вязами улиц, и обтянутая серой перчаткой рука водителя опять и опять легко касается рукояток.

В полдень водитель остановил вагон посреди квартала и высунулся в окошко.

— Эй!

И, увидев призывный взмах серой перчатки, Дуглас, Чарли, Том, все мальчишки и девчонки всего квартала кубарем скатились с деревьев, побросали в траву скакалки (они так и остались лежать, словно белые змеи) и побежали к трамваю; они расселись по зеленым плюшевым сиденьям, и никто с них не спросил никакой платы. Мистер Тридден, водитель, положил перчатку на щель кассы и повел трамвай дальше по тенистым улицам, громко звякая звонком.

— Эй, — сказал Чарли, — куда это мы едем?

— Последний рейс, — ответил Тридден, глядя вперед на бегущие высоко над вагоном провода. — Больше трамвая не будет. Завтра пойдет автобус. А меня отправляют на пенсию, вот как. И потому покатайтесь напоследок, всем бесплатно! Осторожно!

Он рывком повернул медную рукоятку, трамвай заскрипел и круто свернул, описывая бесконечную зеленую петлю, и само время на всем белом свете замерло, только Тридден и дети плыли в его удивительной машине куда-то далеко по нескончаемой реке...

— Напоследок? — переспросил удивленный Дуглас. — Да как же так? И без того все плохо. Зеленой машины больше нет, ее заперли в гараже, и никак ее оттуда не вызволишь! И мои новые теннисные туфли уже становятся совсем старыми и бегут все медленнее и медленнее! Как же я теперь

буду? Нет, нет... Не могут они убрать трамвай! Что ни говори, автобус — это не трамвай! Он и шумит не так, рельсов у него нет, проводов нет, он и искры не разбрасывает, и рельсы песком не посыпает, да и цвет у него не такой, и звонка нет, и подножку он не спускает!

— А ведь верно, — подхватил Чарли. — Страх люблю смотреть, когда трамвай спускает подножку: прямо гармоника!

— То-то и оно, — сказал Дуглас.

Тут они приехали на конечную остановку; впрочем, серебряные рельсы, заброшенные восемнадцать лет назад, бежали среди холмов дальше. В тысяча девятьсот десятом году трамваем ездили на загородные прогулки в Чесмен-парк, прихватив огромные корзины с провизией. С тех пор рельсы так и остались ржаветь среди холмов.

— Тут-то мы и поворачиваем назад, — сказал Чарли.

— Тут-то ты и ошибся! — И мистер Тридден шелкнул выключателем аварийного генератора. — Поехали!

Трамвай дернулся, скользнул по рельсам и, оставив позади городские окраины, покатился вниз, в долину; он то вылетал на душистые, залитые солнцем лужайки, то нырял под тенистые деревья, где пахло грибами. Там и сям колею пересекали ручейки, солнце просвечивало сквозь листву деревьев, точно сквозь зеленое стекло. Вагон, тихонько бормоча что-то про себя, скользил по лугам, усеянным дикими подсолнухами, мимо давно заброшенных станций, усыпанных, словно конфетти, старыми трамвайными билетами, и вслед за лесным ручьем устремлялся в летние леса.

— Трамвай — он даже пахнет по-особенному, — говорил Дуглас. — Ездил я в Чикаго на автобусах, у тех какой-то чудной запах.

— Трамвай чересчур медленно ходит, — сказал мистер Тридден. — Вот они и хотят пустить по городу автобусы. И ребят в школу тоже станут возить в автобусах.

Трамвай взвизгнул и остановился. Тридден достал сверху корзину с провизией. Ребята восторженно завопили и вместе с ним потащили корзину на траву, туда, где ручей впа-

дал в молчаливое озеро; здесь некогда поставили эстраду для оркестра, но теперь она совсем рассыпается в прах.

Они сидели на траве, уплетали сэндвичи с ветчиной, свежую клубнику и яркие, блестящие, точно восковые, апельсины, и Тридден рассказывал, как много лет назад тут по вечерам на разукрашенной эстраде играл оркестр: музыканты из всех сил трубили в медные трубы, толстенький дирижер, обливаясь потом, усердно размахивал палочкой; в высокой траве гонялись друг за другом ребяташки и мелькали светлячки, а по дощатым мосткам, постукивая каблуками, будто играя на ксилофоне, расхаживали дамы в длинных платьях с высокими стоячими воротниками и мужчины в таких тесных накрахмаленных воротничках, что того и гляди задохнутся. Вот они, остатки этих мостков, только за долгие годы доски сгнили и превратились в какое-то деревянное месиво... Озеро лежало молчаливое, голубое и безмятежное, рыба медленно плескалась в блестящих камышах, а вагоновожатый все говорил и говорил, и детям казалось, что они перенеслись в какое-то иное время и мистер Тридден стал вдруг на диво молодой, а глаза у него горят, как голубые электрические лампочки. День проплывал сонно и бестревожно, никто никуда не спешил, со всех сторон их обступал лес, и даже солнце словно остановилось на одном месте, а голос Триддена поднимался и падал, и стрекозы сновали в воздухе, рисуя золотые невидимые узоры. Пчела забралась в цветок и жужжит, жужжит... Трамвай стоял молчаливый, точно заколдованный орган, поблескивая в солнечных лучах. Ребята ели спелые вишни, а на руках у них все еще держался медный запах трамвая. И когда теплый ветерок шевелил на них одежду, от нее тоже остро пахло трамваем.

В небе с криком пролетела дикая утка.

Кто-то вздрогнул.

— Ну, пора домой. Отцы да матери, чего доброго, подумают, что я вас украл.

В темном трамвае было тихо и прохладно, совсем как в аптеке, где торгуют мороженым. Присмирившие ребята повернули зашуршавшие плюшевые сиденья и уселись спиной

к тихому озеру, к заброшенной эстраде и дощатым мосткам, которые выстукивают под ногами звонкую деревянную песенку, если идти по ним вдоль берега в иные страны.

Дзинь! Под башмаком Триддена звякнул звонок, и трамвай помчался назад, через луг с увядшими цветами, откуда уже ушло солнце, через лес и город, и тут кирпич, асфальт и дерево словно стиснули его со всех сторон; Тридден затормозил и выпустил детей на тенистую улицу.

Чарли и Дуглас последними остановились у открытой двери перед тем, как ступить на складную подножку; они жадно втягивали ноздрями воздух, пронизанный электричеством, и не сводили глаз с перчаток Триддена на медной рукоятке.

Дуглас погладил зеленый бархатный мох сиденья, еще раз оглядел серебро, медь, темно-красный, как вишня, потолок.

- Что ж... До свиданья, мистер Тридден!
- Всего вам доброго, ребята.
- Еще увидимся, мистер Тридден.
- Еще увидимся.

Раздался негромкий вздох — это закрылась дверь. Подобрав длинный рубчатый язык складной подножки, трамвай медленно поплыл в послеполуденной зной, ярче солнца, весь оранжевый, как мандарин, сверкающий золотом рукояток и цифр на боках, свернул за дальний угол и скрылся, пропал из глаз.

— Развозить школьников в автобусах! — презрительно фыркнул Чарли, шагая к обочине тротуара. — Тут уж в школу никак не удастся опоздать. Придет за тобой прямо к твоему крыльцу. В жизни никуда теперь не опоздаешь! Вот жуть. Дуг, ты только подумай!

Но Дуглас стоял на лужайке и ясно видел, что будет завтра: рабочие зальют рельсы горячим варом, и потом никто даже не догадается, что когда-то здесь шел трамвай. Но нет, теперь и ему; и этим ребятам еще много-много лет не забыть этой серебряной дорожки, сколько ни заливай рельсы варом. Настанет такое утро, осенью ли, зимой или весной: проснешься — и, если не подойти к окну, а остаться в те-

плой, уютной постели, непременно услышишь, как где-то далеко чуть слышно бежит и звенит трамвай.

И в изгибе утренней улицы, на широком проезде между ровными рядами платанов, вязов и кленов, в тишине, перед тем как начнется дневная жизнь, услышишь за домом знакомые звуки. Словно затикают часы, словно покатится с грохотом десяток железных бочонков, словно затрещит крыльями на заре большущая-пребольшущая стрекоза. Словно карусель, словно маленькая электрическая буря, словно голубая молния, мелькнет и исчезнет, зазвенит звонком трамвай! И зашипит, точно сифон с содовой, опуская и вновь поднимая подножку, — и вновь начнется сон, вагон поплывет своим путем, все дальше и дальше по своим потаенным, давно схороненным рельсам к какой-то своей потаенной, давно схороненной цели...

— После ужина погоняем мяч? — спросил Чарли.

— Ясно, — ответил Дуглас. — Ясно, погоняем.

* * *

Сведения о Джоне Хафе, двенадцати лет, очень просты и умещаются всего в нескольких строках. Он умел отыскивать следы не хуже любого следопыта из племени чокто или чероки, умел прыгнуть прямо с неба, как шимпанзе с лианы, оставался под водой целых две минуты и успевал за это время проплыть вниз по течению пятьдесят ярдов. Мячи, которые ему подавали, он отбивал прямо в яблони, и весь урожай градом сыпался на землю. Он перескакивал через шестифутовые заборы фруктовых садов, взлетал вверх по ветвям и, наевшись досыта персиков, спускался вниз быстрее всех мальчишек. Он умел смеяться на бегу. Свободно держался на лошади. Не задира. Добрая душа. Волосы у него были темные и кудрявые, а зубы — белые как сахар. Он помнил наизусть слова всех ковбойских песен и охотно учил им всякого, кто об этом попросит. Знал названия всех

полевых цветов, знал, когда взойдет и зайдет луна, когда будет прилив и когда отлив. Словом, для Дугласа Сполдинга Джон Хаф был единственным божеством, которое обитало в Гринтауне, штат Иллинойс, в двадцатом веке.

И вот они с Дугласом бродят за городом, день снова теплый и круглый, точно камешек, высоко над головой небо, точно голубая опрокинутая чаша, ручьи сверкающими прозрачными струями разбегаются по белым камням. Да, славный день, ясный и чистый, как огонек свечи.

Дуглас шел сквозь этот день и думал, что так будет вечно. Все вокруг такое отчетливое, законченное. И запах травы летит прямо перед тобой со скоростью света. Рядом — друг, свистит, как скворец, подбрасывает ногой комья земли, а ты скачешь, точно верхом на лихом скакуне, по пыльной тропинке и звенишь в кармане ключами, и все необыкновенно хорошо, все можно потрогать рукой; все в мире близко и понятно, и так будет всегда.

Такой чудесный был этот день, и вдруг облако поползло по небу, закрыло солнце — и все вокруг потемнело.

Джон Хаф уже несколько минут негромко что-то говорил. И вот Дуглас остановился на тропинке как вкопанный и посмотрел на него:

— Погоди-ка, что ты сказал?

— Ты же слышал, Дуг.

— Ты и вправду... ты уезжаешь?

— У меня уж и билет есть на поезд, вот он, в кармане. Ду-ду-у! Пф-пф-пф, чух-чух-чух... Ду-ду-ду-у-у-у!

Голос его постепенно замер.

Джон торжественно вынул из кармана железнодорожный билет, и оба посмотрели на желто-зеленый кусочек картона.

— Сегодня! — сказал Дуглас. — Вот так раз! Мы ж сегодня собирались играть в светофор и в статуи? Как же это так вдруг? Весь век ты тут был, в Гринтауне. А теперь вдруг сорвешься и уедешь? Да как же это?!

— Понимаешь, — сказал Джон, — папа нашел работу в Милуоки. Но до сегодняшнего дня мы еще толком не знали...

— Вот так раз! Да ведь на той неделе баптисты устраивают пикник, а потом в День труда будет большой карнавал, а там канун Дня всех святых... Неужели твой папа не может подождать?

Джон покачал головой.

— Вот беда, — сказал Дуглас. — Дай-ка я сяду.

Они уселись под старым дубом, на той стороне холма, откуда виден был город, и стали глядеть вниз, а солнце разбрасывало вокруг них широкие дрожащие тени, и под деревом было прохладно, как в пещере. Вдали, внизу, лежал город, окутанный дымкой зноя, все окна в домах были распахнуты настежь. Дугласу хотелось кинуться туда, в город, — может, он всей тяжестью, всей громадой, всеми домами замкнет Джона в кольцо и не даст ему вырваться и удрать.

— Но мы же друзья, — беспомощно сказал он.

— И всегда останемся друзьями.

— Ты сможешь приезжать хоть разок в неделю, а?

— Папа говорит, только раза два в год. Все-таки восемьдесят миль.

— Восемьдесят миль — это совсем недалеко! — закричал Дуглас.

— Конечно, совсем недалеко, — подтвердил Джон Хаф.

— У моей бабушки есть телефон. Я буду тебе звонить. Или, может, мы соберемся в твой край. Вот будет здорово!

Джон долго молчал.

— Давай поговорим про что-нибудь, — предложил Дуглас.

— Про что?

— Тьфу, пропасть! Да ведь раз ты уезжаешь, нужно поговорить про миллион всяких вещей. Про что мы бы говорили через месяц и еще позже. Про богомоллов, про цеппелины, про акробатов и шпагоглотателей! Давай, как будто ты уже опять приехал — ну хоть про то, как кузнечики плюются табаком.

— Знаешь, это чудно, но мне что-то не хочется говорить про кузнечиков.

— А раньше хотелось!

— Да. — Джон упорно смотрел вдаль. — Наверное, сейчас просто не время.

— Джон, что с тобой? Ты какой-то странный...

Джон сидел с закрытыми глазами, лицо его искривилось.

— Дуг, ты знаешь дом Терлов? Помнишь, какой у него верх?

— Конечно.

— Там маленькие круглые окошки, и в них разноцветные стекла — они всегда были такие?

— Конечно.

— Ты уверен?

— Старые-престарые окошки, они всегда были такие, еще когда нас с тобой на свете не было.

— А я их никогда не замечал, — сказал Джон. — А сегодня шел мимо, поднял голову, смотрю — стекла цветные! Дуг, да как же я их столько лет не замечал?

— У тебя были другие дела.

— Ты думаешь? — Джон повернулся и со страхом посмотрел на Дугласа. — Тьфу, пропасть, Дуг, с чего эти ока-янные окошки меня так напугали? Тут и пугаться нечего, правда? Наверное, это потому, что... — Он говорил медленно, запинался и путался. — Наверное, уж если я не замечал этих окошек до самого сегодняшнего дня, значит, я, наверное, еще много чего не замечал... А с тем, что я видел, как теперь будет? Вдруг я уеду из города и потом не смогу ничего вспомнить?

— Что хочешь помнить, то всегда помнишь. Вот я два года назад ездил летом в лагерь. И там я все-все помнил.

— А вот и нет. Ты мне сам говорил. Ты просыпался ночью и никак не мог вспомнить, какое лицо у твоей мамы.

— Неправда!

— Со мной ночью так бывает, даже дома, — знаешь, как это страшно! Я другой раз ночью встану и иду в спальню к своим: они спят, а я гляжу на них, проверяю, какие у них лица. А потом прихожу назад в свою комнату — и опять не помню! Черт возьми, Дуг, ах, черт возьми! — Джон крепко обхватил руками колени. — Обещай мне одну вещь, Дуг.

Обещай, что ты всегда будешь меня помнить, обещай, что будешь помнить мое лицо и вообще все. Обещаешь?

— Ну, это проще простого. У меня в голове есть киноаппарат. Ночью, в постели, я могу повернуть выключатель — раз! — и готово, на стенке все видно, как на экране, и ты оттуда кричишь мне и машешь рукой.

— Дуг, закрой глаза. Теперь скажи: какого цвета у меня глаза? Нет, ты не подсматривай! Ну? Какого цвета?

Дуглас бросило в пот. Веки его вздрагивали.

— Ну, знаешь, Джон, это нечестно.

— Говори!

— Карие.

Джон отвернулся:

— Вот и нет.

— Как же нет?

— А вот так. Даже не похоже.

Джон зажмурился.

— А ну-ка, повернись, — сказал Дуглас. — Открой глаза, я посмотрю.

— Что толку, — ответил Джон. — Ты уже забыл. Я ж говорю, со мной тоже так бывает.

— Да повернись ты! — Дуглас схватил друга за волосы и медленно повернул его голову к себе. — Ну ладно.

Джон открыл глаза.

— Зеленые... — Дуглас в унынии опустил руки. — У тебя глаза зеленые... Ну и что же? Это очень похоже на карие. Почти светло-карие.

— Дуг, не ври мне.

— Ладно, — тихонько сказал Дуглас. — Не буду.

Они еще долго сидели и молчали, а другие ребята бегали по холму, и кричали, и звали их.

Они мчались наперегонки вдоль железной дороги, потом открыли пакеты из оберточной бумаги и с наслаждением понюхали свой завтрак — сэндвичи с поджаренной ветчиной, маринованные огурцы и разноцветные мятные кон-

феты. Потом опять побежали. Потом Дуглас приник ухом к горячим стальным рельсам и услышал, как далеко-далеко, в иных землях, идут невидимые поезда и посылают ему азбукой Морзе вести сюда, под это палящее солнце. Дуглас распрямился, оглушенный.

— Джон!

Потому что Джон все еще бежал, и это было ужасно. Ведь если бежишь, время точно бежит с тобой. Кричишь, визжишь, бегаешь наперегонки, катаешься по земле, кувыр-каешься, и вдруг — хват! — солнце уже зашло, гудит гудок вечернего поезда, и ты плетешься домой ужинать. Чуть отвернулся — и солнце уже зашло тебе за спину! Нет, есть только один-единственный способ хоть немного задержать время: надо смотреть на все вокруг, а самому ничего не делать! Таким способом можно день растянуть на три дня. Ясно: только смотри и ничего сам не делай.

— Джон!

Теперь уж от него помощи не дождешься, разве только если как-нибудь схитрить.

— Джон, сворачивай, петляй! Собьем их со следа!

И они с криком кинулись наутек под горку, обгоняя ветер, заставляя земное притяжение помогать им, и дальше — по лугам, за амбары, и наконец голоса гнавшихся за ними мальчишек замерли далеко позади.

Тогда они забрались в стог сена, оно потрескивало под ними, точно хворост костра.

— Давай ничего не делать, — сказал Джон.

— Вот и я хотел это сказать, — отозвался Дуглас.

Они сидели не шевелясь и пытались отдышаться.

Что-то тихонько тикало, словно в сене шуршало какое-то насекомое.

Оба услышали это тиканье, но не посмотрели, откуда оно доносится. Дуглас двинул рукой — теперь тикало в другом месте. Дуглас положил руку себе на колено — и вот уже тикает на колене. Он на мгновение опустил глаза. Три часа.

Дуглас украдкой прикрыл часы другой рукой и незаметно отвел стрелки назад.

Теперь у них будет вдоволь времени как следует поглядеть на мир, почувствовать, как солнце мчится по небу, точно огненный ветер.

Но настала минута, и Джон всем телом ощутил, как переместился бесплотный груз их теней.

— Дуг, который час?

— Половина третьего.

Джон взглянул на небо.

«Не надо», — подумал Дуглас.

— Похоже, что не третьего, а четвертого, а может, и все четыре, — сказал Джон. — Бойскаутов учат распознавать такие вещи.

Дуглас вздохнул и снова перевел стрелки.

Джон молча следил за его движениями. Дуглас поднял голову, и Джон легонько стукнул его по плечу.

Вдруг откуда-то вынырнул поезд и промчался так быстро, что Дуглас, Джон и все остальные мальчишки едва успели отскочить в сторону и заорали, грозя ему вслед кулаками. Поезд с грохотом покатил дальше по рельсам, унося в себе две сотни пассажиров, и исчез. Вихри пыли немного проводили его к югу, потом улеглись в золотистом безмолвии меж голубых рельсов.

Ребята возвращались домой.

— Когда мне будет семнадцать, я поеду в Цинциннати и поступлю пожарным на железную дорогу, — объявил Чарли Вудмен.

— А у меня есть дядя в Нью-Йорке, — сказал Джим. — Я поеду в Нью-Йорк, буду печатником.

Дуглас не стал спрашивать, что задумали другие. Он уже слышал, как поют свою песнь поезда, видел лица друзей — они прижались к окнам, уплывают на вагонных площадках. Они ускользают, одно за другим. И остаются пустые пути, летнее небо, и сам он, в другом поезде, едет совсем не туда.

Земля повернулась у него под ногами, тени ребят соскользнули с травы, и вокруг потемнело.

Он проглотил ком, застрявший в горле, издал дикий вопль, замахнулся кулаком и с силой послал в небо воображаемый мяч.

— Кто прибежит домой последним, тот носорожий хвост!

С сохотом, размахивая руками, они кинулись по шпалам. Джон Хаф бежал легко, совсем не касаясь земли. А Дуглас все время чувствовал под ногами землю.

В семь часов, после ужина, мальчишки стали собираться вместе; один за другим они выходили на улицу, слышав, как хлопают двери соседних домов, а отцы и матери сердито кричали вслед, чтоб не хлопали так дверями. Дуглас, Том, Чарли и Джон стояли среди десятка других, пора было играть в прятки и в статуи.

— Во что-нибудь одно, — сказал Джон. — Потом мне надо домой. В девять уходит поезд. Кто будет водить?

— Я, — сказал Дуглас.

— В жизни не слышал, чтобы кто сам вызвался водить, — сказал Том.

Дуглас пристально посмотрел на Джона.

— Разбегайтесь, — сказал он.

Мальчики с криком кинулись врассыпную. Джон попятился, потом повернулся и побежал вприпрыжку. Дуглас медленно считал до десяти. Дал им отбежать подальше, разделить кто куда, замкнуться каждому в своем собственном мирке. Когда они разогнались вовсю, так что ноги уже сами несли их, и почти скрылись из виду, он набрал полную грудь воздуха и крикнул:

— Замри!

Все окаменели.

Медленно-медленно Дуглас двинулся по лужайке туда, где в сумерках, точно железный олень, замер Джон Хаф.

Вдалеке стояли как статуи другие мальчики, руки у них подняты, на лицах застыли гримасы, одни глаза горят, точно у чучела белки.

А Джон — вот он, один, недвижимый, — и никто не может прибежать или заорать вдруг и все испортить.

Дуглас обошел статую с одного боку, потом с другого. Статуя не шелохнулась. Не вымолвила ни слова. Глядела куда-то вдаль, и на губах ее застыла легкая улыбка.

Дугласу вспомнилось: несколько лет назад они ездили в Чикаго, там был большой дом, а в доме всюду стояли безмолвные мраморные фигуры, и он бродил среди них в этом безмолвии. И вот стоит Джон Хаф, и коленки и штаны у него зеленые от травы, пальцы исцарапаны, и на локтях корки от подсохших ссадин. Ноги — в теннисных туфлях, которые сейчас угомонились, словно он обут в тишину. Этот рот сжевал за лето многое множество абрикосовых пирожков и говорил спокойные раздумчивые слова про то, что такое жизнь и как все в мире устроено. И глаза эти вовсе не слепы, как глаза статуй, а полны расплавленного зеленого золота. Темными волосами играет ветерок — то вправо отбросит, то влево... А на руках, кажется, оставил след весь город — на них пыль дорог и чешуйки древесной коры, пальцы пахнут коноплей, и виноградом, и недозрелыми яблоками, и старыми монетами, и зелеными лягушками. Уши просвечивают на солнце, они теплые и розовые, точно восковые персики, и, невидимое в воздухе, пахнет мятой его дыхание.

— Ну, Джон, — сказал Дуглас, — смотри не шевелись. Не смей даже глазом моргнуть. Приказываю: стой тут и не сходи с места ровным счетом три часа.

Губы Джона шевельнулись:

— Дуг...

— Замри, — приказал Дуглас.

Джон снова устремил взгляд на дальний край неба, но теперь он уже не улыбался.

— Мне надо идти, — шепнул он.

— Не шелохнись! Правил, что ли, не знаешь?

— Никак не могу, мне пора домой, — сказал Джон.

Статуя ожила, опустила руки и повернула голову, чтобы посмотреть на Дугласа. Они стояли и глядели друг на дру-

га. Остальные мальчишки тоже зашевелились и опустили затекшие руки.

— Сыграем еще разок, — сказал Джон. — Только теперь водить буду я. Разбегайтесь!

Ребята побежали.

— Замри!

Все замерли. Дуглас тоже.

— Не шевелись. Ни на волос.

Он подошел к Дугласу и остановился рядом.

— Понимаешь, иначе никак ничего не получится, — сказал он.

Дуглас глядел вдаль, в предвечернее небо.

— Еще на три минуты всем застыть как истуканам! — сказал Джон.

Дуглас чувствовал, что Джон обходит его кругом, как только что он сам обходил Джона. Потом Джон сзади легонько стукнул его по плечу.

— Ну, пока, — сказал он.

Что-то зашуршало, и Дуглас, не оборачиваясь, понял, что позади уже никого нет.

Где-то вдалеке прогудел паровоз.

Еще долгую минуту Дуглас стоял не шевелясь и ждал, чтобы утих топот бегущих ног, а он все не утихал. Джон бежит прочь, а его слышно так громко, словно он топчется на одном месте. Почему же он не удаляется?

И тут Дуглас понял — да ведь это стучит его собственное сердце!

«Стой! — Он прижал руку к груди. — Перестань! Не хочу я это слышать!»

А потом он шел по лужайке среди остальных статуй и не знал, ожили ли и они тоже. Казалось, они все еще не двигаются. Впрочем, он и сам только еле передвигал ноги, а тело его совсем застыло и было холодное, как камень.

Он уже поднялся на свое крыльцо, но вдруг обернулся и поглядел на лужайку.

На ней никого не было.

Бац, бац, бац! — точно затрещали выстрелы. Это хлопали одна за другой входные двери по всей улице — последний закатный залп.

«Самое лучшее — статуи, — подумал Дуглас. — Только их и можно удержать у себя на лужайке. Никогда не позволяй им двигаться. Стоит только раз позволить — и тогда с ними уже не совладаешь».

И вдруг он вскинул сжатый кулак и яростно погрозил лужайкам, улице, сгущающимся сумеркам. Он весь покраснел, глаза сверкали.

— Джон! — крикнул он. — Эй, Джон! Ты мой враг, слышишь? Ты мне не друг! Не приезжай, никогда не приезжай! Убирайся! Ты мне враг, слышишь? Вот ты кто! Между нами все кончено, ты дрянь, вот и все, просто дрянь! Джон, ты меня слышишь? Джон!

Точно фитиль привернули еще немного в огромной, яркой лампе за городом, и небо еще чуть потемнело. Дуглас стоял на крыльце, рот его судорожно дергался, лицо кривилось. Кулак все еще грозил дому напротив. Дуглас поглядел на свою руку — она растаяла во тьме, и весь мир тоже растаял.

Дуглас поднимался в свою комнату в полнейшей темноте; он лишь чувствовал свое лицо, но не видел ничего, даже собственных кулаков, и опять и опять твердил себе: «Я зол как черт, я взбешен, я его ненавижу, я зол как черт, я его ненавижу!»

Через десять минут он медленно дошел в темноте до верхней площадки лестницы.

* * *

— Том, — сказал Дуглас. — Обещай мне одну вещь, ладно?

— Обещаю. А что это?

— Конечно, ты мой брат, и, может, я другой раз на тебя злюсь, но ты меня не оставляй, будь где-нибудь рядом, ладно?

— Это как? Значит, мне можно ходить с тобой и с большими ребятами гулять?

— Ну... ясно... и это тоже. Я что хочу сказать: ты не уходи, не исчезай, понял? Гляди, чтоб никакая машина тебя не переехала, и с какой-нибудь скалы не свалилась.

— Вот еще! Дурак я, что ли?

— Тогда, на самый худой конец, если уж дело будет совсем плохо и оба мы совсем состаримся — ну, если когда-нибудь нам будет лет сорок или даже сорок пять, — мы можем владеть золотыми приисками где-нибудь на Западе. Будем сидеть там, покуривать маисовый табак и отращивать бороды.

— Бороды! Ух ты!

— Вот я и говорю, болтайся где-нибудь рядом, и чтоб с тобой ничего не стряслось.

— Уж будь спокоен, — ответил Том.

— Да я, в общем, не за тебя беспокоюсь, — пояснил Дуглас. — Я больше насчет того, как Бог управляет миром.

Том задумался.

— Ничего, Дуг, — сказал он наконец. — Он все-таки старается.

* * *

Она вышла из ванной, смазывая йодом палец, — она его сильно порезала, когда отрезала себе кусок кокосового торта. В эту минуту по ступенькам поднялся почтальон, открыл дверь и вошел на веранду. Хлопнула дверь. Эльмира Браун так и подскочила.

— Сэм! — закричала она, отчаянно махая коричневым от йода пальцем, чтобы не так жгло. — Я все никак не привыкну, что у меня муж — почтальон. Каждый раз, когда ты вот такходишь в дом, я пугаюсь до смерти.

Сэм Браун сконфуженно почесал в затылке; его почтовая сумка уже наполовину опустела. Он оглянулся, как будто в это славное ясное летнее утро ворвался густой туман.

— Ты что-то рано сегодня, Сэм, — заметила жена.

— Я еще пойду, — сказал он, видимо думая о другом.

— Ну, выкладывай, что случилось? — Она подошла поближе и заглянула ему в лицо.

— Кто его знает, может — ничего, а может — очень много. Я сейчас доставил почту Кларе Гудуотер, на нашей улице...

— Кларе Гудуотер?!

— Ну, ну, не кипятись. Это были книги от фирмы «Джонсон — Смит», город Расин, штат Висконсин. И одна называлась... дай-ка вспомнить... — Он весь сморщился, потом морщинки разошлись. — «Альбертус Магнус», вот как. «Одобренные, проверенные, загадочные и естественные ЕГИПЕТСКИЕ ТАЙНЫ, или... — он задрал голову к потолку, словно пытаясь разобрать там слова, — Белая и черная магия для человека и животного, раскрывающая запретные знания и секреты древних философов»!

— И все это для Клары Гудуотер?

— Пока я к ней шел, я успел заглянуть в первые страницы — вроде ничего худого там нет. «Скрытые тайны жизни, разгаданные знаменитым ученым, философом, химиком, натуралистом, психологом, астрологом, алхимиком, металлургом, волшебником, толкователем тайн всех магов и чародеев, а также разъяснены темные суждения всевозможных наук и искусств — простых, сложных, практических и т. д. и т. п.». Уф! Ей-богу, голова у меня — как у папы римского! Все слова помню, хоть ни черта в них не понял.

Эльмира внимательно разглядывала свой почерневший от йода палец, словно пыталась понять — чей же это он.

— Клара Гудуотер, — бормотала она.

— Я ей отдал книгу, а она поглядела мне прямо в глаза и говорит: «Ну, теперь-то я стану заправской колдуньей. В два счета получу диплом и открою дело. Буду ворожить молодым и старым, большим и малым, оптом и в розницу». Тут она вроде засмеялась, уткнулась носом в книгу да так и ушла в дом.

Эльмира оглядела царапину на локте, опасно потрогала языком расшатавшийся зуб.

Хлопнула дверь. Том Сполдинг, который в это время стоял на коленях на лужайке перед домом Эльмиры Браун, поднял голову. Он долго бродил по соседству, смотрел, как поживают в разных кучах муравьи, и вдруг наткнулся на отличный, просто редкостный муравейник с широченным входом; здесь так и сновали всевозможные огненно-рыжие муравьи, одни мчались во весь дух, другие выбивались из сил, волоча свою ношу — клочок мертвого кузнечика или крошку какой-нибудь пичуги. И вдруг — хлоп! — на крыльцо выскочила миссис Браун; стоит, и вид у нее такой, будто она вот-вот упадет, — похоже, она только сейчас обнаружила, что земля мчится в космическом пространстве со скоростью шестьдесят триллионов миль в секунду. А позади нее стоит мистер Браун, уж этот-то не знает никаких миль в секунду, а хоть бы и знал, так ему наверняка на них наплевать.

— Эй, Том, — позвала миссис Браун, — мне нужна моральная поддержка, и ты будешь мне вместо жертвенного агнца. Пойдем.

И, не разбирая дороги, кинулась на улицу; по пути она давила муравьев, сбивала головки с одуванчиков, и ее острые каблуки прокалывали глубокие ямки на цветочных клумбах.

Том еще минуту постоял на коленях, разглядывая позвоночник и лопатки убегающей миссис Браун. Эти лопатки с позвоночником сказали ему красноречивее всяких слов, что тут предстоит приключение и мелодрама, — ничего такого Том от женщин не ожидал, хоть у миссис Браун и торчали над верхней губой усики, немножко похожие на усы какого-нибудь пирата. Еще через минуту он ее нагнал.

— Вы какая-то ужасно сердитая, миссис Браун, прямо бешеная!

— Ты еще не знаешь, что такое бешенство, мальчик.

— Осторожно! — вскричал Том.

Эльмира Браун упала прямо на спящего железного пса, который украшал зеленую лужайку.

— Миссис Браун!

— Вот видишь? — Миссис Браун села. — Это все Клара Гудуотер. Колдовство!

— Колдовство?

— Ничего, ничего, мальчик. Вот и крыльцо. Иди первым и раскидай с дороги все невидимые веревки. Позвони в этот звонок, только сейчас же отдерни руку, а не то палец у тебя почернеет как головешка.

Том не дотронулся до звонка.

— Клара Гудуотер!

Миссис Браун нажала пуговку звонка пальцем, который был смазан йодом.

Где-то далеко в прохладных, сумрачных пустых комнатах звякнул и умолк серебряный колокольчик.

Том прислушался. Где-то еще дальше — шорох, точно пробежала мышь. В далекой гостиной шевельнулась тень — может быть, развеивается от ветра занавеска.

— Здравствуйте, — произнес спокойный голос.

И вдруг за сеткой от москитов появилась миссис Гудуотер, свежая, как мятная конфетка.

— Да это вы, Эльмира! И Том... Какими судьбами?..

— Не торопите меня! Вы, говорят, надумали выучиться на самую заправскую колдунью?

Миссис Гудуотер улыбнулась:

— Ваш муж не только почтальон, но и блюститель закона. Он и сюда сунул нос.

— Мой муж не суется в чужую почту!

— Он от одного дома до другого идет целых десять минут, потому что читает все открытки и смеется. Он даже примеряет ботинки, которые присылают почтой.

— И ничего он не видел, а вы ему сказали про эти ваши книжки, что он принес.

— Да я просто пошутила! «Стану колдуньей», — сказала я ему. И хлоп! Сэм удирает со всех ног, точно я стрельнула в него молнией. Говорю вам, у этого человека нет ни единой извилины в мозгу!

— Вы вчера толковали про свое колдовство и в других местах.

— Наверное, вы имеете в виду Сэндвич-клуб?

— А меня туда нарочно не пригласили!

— Так ведь вы всегда навещаете в этот день свою бабушку, сударыня.

— Ну уж если б меня пригласили, я всегда могла бы уговориться с бабушкой насчет другого дня.

— Да там и не было ничего особенного, просто я сидела за столом, ела сэндвич с ветчиной и маринованным огурцом и как-то между прочим сказала: «Наконец-то я получу свой диплом! Ведь я уже сколько лет учусь на колдунью!» Сказала громко, все слышали.

— И мне сразу же передали по телефону.

— Эти новомодные изобретения — просто чудо! — сказала миссис Гудуотер.

— Вот вы — председательница нашего клуба «Жимолость» чуть ли не со времен Гражданской войны, так уж скажите честно: может, мы не по доброй воле вас столько раз выбирали, а вы нас колдовством принудили?

— А разве вы в этом хоть сколько-нибудь сомневаетесь, сударыня?

— Завтра опять выборы, и мне очень интересно узнать: неужели вы опять выставили свою кандидатуру и неужели вам ни капельки не совестно?

— Да, выставила, и ничуть мне не совестно. Послушайте, сударыня, я купила эти книги для моего двоюродного брата Рауля. Ему всего десять лет, и он в каждой шляпе ищет кролика. Я давно твержу ему, что искать кроликов в шляпах — гиблое дело, все равно как искать хоть каплю здравого смысла в голове у некоторых людей (у кого именно — называть не стану), но он все не унимается; вот я и решила подарить ему эти книжки.

— Хоть сто раз присягнете, все равно не поверю!

— А все-таки это чистая правда. Обожаю шутить насчет всяческого колдовства. Наши дамы так и завизжали, когда я рассказала им про свое тайное могущество. Жаль, вас там не было!

— Зато я буду там завтра, буду бороться с вами золотым крестом и поведу на вас все добрые силы, — сказала Эль-

мира. — А теперь скажите-ка мне, какие еще колдовские штуки есть у вас в доме?

Миссис Гудуотер указала на столик, что стоял в комнате у самой двери.

— Я покупаю разные волшебные травы. Они очень странно пахнут, и Рауль от них в восторге. Трава вот в этом мешочке называется рута душистая, а вот эта — копытень, а та — сарсапарель. Здесь — черная сера, а тут, говорят, мука из молотых костей.

— Из костей!

Эльмира отпрянула назад и стукнула Тома по щиколотке. Том взвыл.

— А тут — горькая полынь и листья папоротника; полынью можно замораживать пули в ружьях, а если пожевать листья папоротника, можно летать во сне, точно летучая мышь, — так сказано в десятой главе вот этой книжечки. По-моему, для воспитания мальчиков очень полезно забивать им голову подобными вещами. Но, судя по вашему лицу, вы не верите, что у меня есть двоюродный братишка Рауль. Постоите, я дам вам его адрес, он живет в Спрингфилде.

— Ну конечно, — фыркнула Эльмира, — и как только я ему напишу, вы сядете в спрингфилдский автобус, доедете до почтамта, получите мое письмо и напишете мне каракулями ответ. Знаю я вас!

— Миссис Браун, скажите откровенно: вы хотите стать председателем нашего клуба, да? Вот уже десять лет подряд вы этого добиваетесь. Сами выставляете свою кандидатуру. И неизменно получаете один-единственный голос — ваш собственный. Поймите же, если бы наши дамы хотели вас выбрать, они бы давным-давно за вас проголосовали. Но я же вижу, вы так и остаетесь одна, сама за себя, и ваш голос — глас вопиющего в пустыне. Знаете что? Давайте я завтра выдвину вашу кандидатуру и сама буду за вас голосовать, хотите?

— Ну тогда уж наверняка ничего не выйдет, — сказала Эльмира. — В прошлом году, как раз в самые выборы, я ужасно простудилась; надо было проводить свою предвыборную

компанию, а я, как назло, не могу выйти на улицу! А в позапрошлом году об эту пору я сломала ногу. Очень, знаете, странно. — Она с ненавистью глянула на хозяйку дома через москитную сетку. — И это еще не все. В прошлом месяце я шесть раз порезала палец, десять раз расшибала коленку, два раза падала с заднего крыльца, слышите? — два раза! Еще я разбила окно, уронила четыре тарелки и вазу — я заплатила за нее целый доллар и сорок девять центов! И теперь я буду предъявлять вам счет за каждую разбитую тарелку — все равно, разобьется она у меня в доме или в его окрестностях!

— Ай-я-яй, к Рождеству я совсем разорюсь, — сказала миссис Гудуотер. Она вдруг распахнула дверь и вышла на веранду. Дверь хлопнула. — Эльмира Браун, сколько вам лет?

— У вас это наверняка записано в какой-нибудь черной книге. Тридцать пять.

— А-а, как подумаешь, что вы прожили тридцать пять лет... — Миссис Гудуотер поджала губы и заморгала, погружаясь в вычисления. — Это получается примерно двенадцать тысяч семьсот семьдесят пять дней... стало быть, если считать по три в день, двенадцать с лишним тысяч суматох, двенадцать тысяч шумов из ничего и двенадцать тысяч бедствий! Что и говорить, жизнь ваша полна и богата событиями, Эльмира Браун. Вашу руку!

— Да ну вас, — отмахнулась Эльмира.

— Нет, сударыня, вы не самая неуклюжая женщина в Грингауне, штат Иллинойс, вы всего лишь вторая. Вы толком и сесть-то не можете — непременно наступите на кошку. Пойдете по лужайке — непременно свалитесь в колодец. Всю жизнь вы катитесь по наклонной плоскости, Эльмира Элис Браун. Почему бы вам честно в этом не признаться?

— Все мои несчастья происходят вовсе не оттого, что я неуклюжая, а только из-за вас! Как вы подойдете к моему дому ближе чем на милю, так у меня сразу кастрюля с бобами из рук валится или мне палец дернет током.

— Сударыня, в таком маленьком городишке мудрено от всех держаться за милю, хоть раз в день поневоле к каждому подойдешь поближе.

— Так вы признаетесь, что были поблизости?

— Признаюсь, что я здесь родилась, это да, но дорого бы дала, чтоб родиться в Кеноше или Зайоне. Мой вам совет, Эльмира: пойдите к зубному врачу, может, он сумеет что-нибудь сделать с вашим змеиным жалом.

— Ой! — вскрикнула Эльмира. — Ой-ой-ой!

— Вы окончательно вывели меня из терпения. Прежде я ничуть не интересовалась чародейством, но теперь, пожалуй, займусь. Слушайте! Вот вы уже и невидимы! Пока вы тут стояли, я вас заколдовала. Вы совсем пропали из глаз.

— Не может этого быть!

— По совести говоря, я и раньше никак не могла вас разглядеть, — призналась колдунья.

Эльмира выхватила из кармана зеркальце.

— Да вот же я!

Присмотрелась внимательней и ахнула. Потом подняла руку над головой, точно настраивая арфу, осторожно выдернула волосок и выставила его напоказ, словно вещественное доказательство на суде.

— Ну вот! До этой самой секунды у меня в жизни не было ни единого седого волоска!

Ведьма прелюбезно улыбнулась:

— Суньте его в кувшин со стоячей водой, и наутро он обернется червяком. Нет, вы только поглядите на себя, Эльмира! Всю жизнь вы обвиняете других в том, что ноги у вас спотыкливые, а руки — крюки! Вы когда-нибудь читали Шекспира? Там есть указания для актеров: «Волнение, движение и шум». Вот это вы и есть. Волнение, движение и шум. А теперь ступайте-ка домой, не то я насажаю шишек вам на голову и прикажу всю ночь вертеться с боку на бок. Брысь отсюда!

И она замахала руками перед носом Эльмиры, точно отгоняя стаю птиц.

— Ну и мух нынче летом! — сказала она.

Вошла в дом и заперла дверь на крюк.

Эльмира скрестила руки на груди.

— Лопнуло мое терпение, миссис Гудуотер, — сказала она. — В последний раз вам говорю: снимите свою канди-

датуру и выходите завтра на честный бой. Я вас одолею, в председательницы выберут меня! Я приведу с собой Тома. Он хороший, добрый мальчик, чистая душа. А доброта и чистота завтра победят.

— Вы не очень-то надейтесь, что я такой уж хороший, миссис Браун, — вмешался Том. — Моя мама говорит...

— Замолчи, Том! Хороший — значит, хороший. Ты будешь там по правую руку от меня, мальчик.

— Хорошо, мэм, — сказал Том.

— Если, конечно, я переживу эту ночь, — продолжала Эльмира. — Я ведь знаю, эта особа станет лепить из воска мои изображения и протыкать им сердца ржавыми иголками. Том, если ты на рассвете найдешь у меня в постели одну только огромную фигу, всю сморщенную и увядшую, ты уж поймешь, кто сорвал этот фрукт в винограднике. И тогда миссис Гудуотер будет председательницей клуба до ста девяноста пяти лет, вот увидишь!

— Что вы, что вы, сударыня! Мне уже сегодня триста пять, — сказала из-за москитной сетки миссис Гудуотер. — Меня еще в старину называли «ОНА»! — И она ткнула пальцем в сторону улицы. — Абракадабра-зиммити-зэм! Ну как?

Эльмира бросилась бежать.

— Завтра увидимся! — крикнула она через плечо.

— До завтра, сударыня, — сказала миссис Гудуотер.

Том пожал плечами и двинулся следом за Эльмирой, на ходу скидывая с тротуара муравьев.

Эльмира бежала через улицу и вдруг взвизгнула.

— Миссис Браун! — в тревоге воскликнул Том.

Из гаража ближайшего дома задом выезжала машина и проехала прямо по большому пальцу правой ноги Эльмиры.

Среди ночи Эльмира Браун поднялась: очень болела нога; она пошла в кухню, съела кусок холодного цыпленка, потом старательно составила точный список всех своих бед и несчастий.

Во-первых, болезни за прошлый год. Простуда — три раза, легкое несварение желудка — четыре, раздуло щеку — один раз; да еще приступ артрита, прострел (она принимала его за подагру), сильный бронхит, астма в начальной стадии, какие-то пятна на руке, нарыв в ухе, из-за которого она несколько дней ходила шатаясь, как пьяная, да еще ломило спину, болела голова и тошнило. Лекарства стоили ей **ДЕВЯНОСТО ВОСЕМЬ ДОЛЛАРОВ СЕМЬДЕСЯТ ВОСЕМЬ ЦЕНТОВ**.

Во-вторых, вещи, сломанные и разбитые в доме за последний год: две лампы, шесть ваз, десять тарелок, суповая миска, два окна, шесть стаканов и один хрустальный тюльпан на люстре; кроме того, сломан стул и порвана диванная подушка. Всего на сумму **ДВЕНАДЦАТЬ ДОЛЛАРОВ ДЕСЯТЬ ЦЕНТОВ**.

В-третьих, сегодняшние страдания. Палец, на который наехала машина, очень болит. Желудок расстроен. Спина затекла, ноги гудят, точно не свои. В глазах багровый туман и жжение. На языке мерзкий вкус какой-то пыльной тряпки. В ушах шум и звон. Какая всему этому цена? Высчитывая и прикидывая, она пошла обратно в спальню.

За все страдания — десять тысяч долларов.

— Вот и получи их без суда, — сказала она вполголоса.

— А? — отозвался спросонок муж.

Эльмира улеглась в постель.

— Я умирать не желаю.

— Как ты сказала? — переспросил муж.

— Ни за что не умру, — сказала она, глядя в потолок.

— Я всегда это говорил, — ответил муж и снова захрапел.

На другое утро Эльмира Браун встала пораньше и отправилась в библиотеку, а оттуда — в аптеку и обратно домой, так что, когда ее муж Сэм разнес всю почту по адресам и пришел в полдень домой, Эльмира уже смешивала всевозможные снадобья.

— Обед в холодильнике, — сказала она ему, помещивая в большом стакане какую-то зеленоватую кашичу.

— Господи, это еще что такое? — спросил муж. — С виду — прямо молочный коктейль, который лет сорок простоял на солнце. Тут уж вроде и плесень сверху пошла.

— Против колдовства нужно бороться колдовством.

— Уж не собираешься ли ты это пить?!

— И выпью! Выпью и пойду в клуб «Жимолость» на великие дела.

Сэмюэль Браун понюхал снадобье.

— Мой тебе совет — сперва взойди на крыльцо, а уж потом пей, не то и двух ступенек не одолеешь. Что тут намешано?

— Снег с крыльев ангелов (вообще-то это ментол), чтобы остудить сжигающий человека адский огонь, — так сказано вот в этой книге, она из библиотеки. Сок свежего винограда, только-только с лозы, чтобы наперекор темным видениям мысли все равно были чистые и светлые, — это тоже сказано в книге. Еще тут есть ревень, винный камень, белый сахар, яичный белок, ключевая вода и почки клевера, в них таится добрая сила земли. И еще много всякого, не перечить. Вот тут все записано, добро против зла, белое против черного. Уж теперь-то я ее одолею!

— Одолеешь, одолеешь! — сказал муж. — Вот только как ты узнаешь, что твоя взяла?

— Стану думать чистые, светлые мысли. И по пути захвачу Тома, он будет мне вроде как талисман.

— Бедняга он, — заметил муж. — Сама говоришь — чистая он душа, а на выборах в вашей этой «Жимолости» не сносить ему головы!

— Ничего с ним не случится, — возразила Эльмира.

Она вылила булькающее зелье в банку из-под овсяных хлопьев и закрыла крышкой; потом вышла на улицу, причем — небывалый случай! — ни разу не зацепилась платьем за гвоздь и не порвала новенькие девяностовосьмицентовые чулки. Очень этим гордая и довольная, Эльмира проследо-

вала без всяких происшествий к дому Сполдинггов, где ее ждал Том, одетый, как она велела, во все белое.

— Фу! — воскликнул Том. — Что это у вас в банке?

— Судьба, — сказала Эльмира.

— Ну разве что судьба, — ответил Том, держась шага на два впереди.

Клуб «Жимолость» был полон; дамы гляделись в зеркальца, взятые у приятельниц, оправляли юбки и спрашивали друг друга, не виднеется ли из-под платья комбинация.

В час дня по ступенькам поднялась миссис Эльмира Браун в сопровождении мальчика в белом. Он заткнул себе нос и зажмурил один глаз, так что плохо видел, куда идет. Миссис Браун поглядела на собравшихся, потом на свою банку и, открыв крышку, заглянула внутрь, но тут у нее захватило дух, и она закрыла банку, так и не выпив ни капли. Потом она двинулась в зал, а вслед плыл шорох, точно шелк шелестел, — это члены клуба шептались у нее за спиной.

Миссис Браун уселась вместе с Томом в заднем ряду, и вид у Тома был самый несчастный. Одним глазом он оглядел это дамское сборище и тотчас зажмурился окончательно. Эльмира открыла банку и медленно выпила ее содержимое.

В половине второго председательница — миссис Гудуотер — стукнула молотком о стол, и все дамы умолкли; разговоривать продолжали всего лишь десятка два.

— Сударыни, — прозвучал голос миссис Гудуотер над морем шелков и кружев, на волнах которого там и сям мелькали белые и серые гребенки, — настало время перевыборов. Но прежде, мне кажется, миссис Эльмира Браун, супруга нашего известного графолога...

Слушательницы захихикали. Эльмира толкнула Тома локтем в бок.

— Что такое «графолог»? — шепнула она.

— Не знаю, — прошипел Том; глаза у него были закрыты, и толчок локтем обрушился на него из темноты.

— ...супруга, как я уже сказала, нашего известного специалиста по почеркам, Сэмюэля Брауна (в зале опять смех)... служащего почтового ведомства Соединенных Штатов, миссис Браун желает высказаться, — продолжала миссис Гудуотер. — Прошу вас, миссис Браун!

Эльмира встала. Складной стул опрокинулся и, громко щелкнув, захлопнулся, точно медвежий капкан. От неожиданности Эльмира подскочила, зашаталась, выбивая каблучками по полу частую дробь, и еле устояла на ногах.

— Да, мне есть о чем порассказать, — провозгласила она.

Держа в одной руке пустую банку из-под овсяных хлопьев вместе с Библией, она другой рукой схватила Тома за локоть и рванулась вперед; по дороге она задевала сидящих локтями и то и дело кричала: «Поосторожнее, вы! Дайте пройти! Не мешайте!»

Наконец она добралась до помоста, повернулась и опрокинула стакан с водой — вода потекла по всему столу и закапала на пол. Эльмира злобно покосилась на миссис Гудуотер и предоставила ей вытирать воду крошечным носовым платком. Потом она торжествующе подняла пустую банку, чтобы миссис Гудуотер хорошенько ее разглядела.

— Знаете, что тут было? — шепнула она. — Теперь все это у меня внутри, сударыня. Теперь меня защищает магический круг. Ни один нож, ни один топор сквозь него не прорвется.

В зале все говорили разом, и никто ее не слышал.

Миссис Гудуотер кивнула и подняла обе руки, призывая к молчанию. Воцарилась тишина.

Эльмира еще крепче стиснула руку Тома. Он морщился, не открывая глаз.

— Сударыни, — сказала Эльмира, — я вам сочувствую. Я-то знаю, чего вы натерпелись за последние десять лет. Я-то знаю, почему вы голосовали за эту миссис Гудуотер. Вам надо кормить мужей, дочерей, сыновей. Вам надо укладываться в свой бюджет. Вы не можете допустить, чтобы молоко скисло, чтобы хлеб не взошел, чтобы пироги не пропеклись. Вам вовсе не хочется, чтобы ваши дети переболели подряд свинкой, ветрянкой, оспой и коклюшем. Вы не хо-

тите, чтобы ваш муж разбил машину или налетел за городом на провод высокого напряжения и его ударило током. Но теперь всему этому пришел конец. Теперь вы можете ничего не опасаться. Не будет больше ни изжоги, ни ломоты в пояснице, потому что я принесла с собой магическое слово, и сейчас мы его испробуем — изгоним бесов из этой ведьмы, которая затесалась в наш клуб.

Все стали оглядываться вокруг, но никто не заметил никакой ведьмы.

— Да ведь это ваша председательница! — закричала Эльмира.

— Это я! — И миссис Гудуотер помахала залу рукой.

— Сегодня я пошла в библиотеку, — задыхаясь, продолжала Эльмира и схватилась за стол, чтобы не упасть. — Я хотела найти хоть какое-нибудь средство, чтобы защититься от нее. Ну, узнать, как избавиться от людей, которые обманывают других, как изгнать ведьму. И я нашла способ бороться за наши права. Я чувствую, как сила моя растет. Во мне сейчас волшебство разных добрых корней и всякой химии. Во мне... — Она умолкла. Пошатнулась. Потом мигнула. — Во мне винный камень, и... во мне желтые цветы травы-ястребинки, и молоко, заквашенное при свете луны, и...

Она снова замолчала и с минуту подумала. Потом закрыла рот и издала какой-то странный звук, словно чревоущательница. И опять на мгновение зажмурилась, прислушиваясь к своей силе.

— Вы плохо себя чувствуете, миссис Браун? — спросила миссис Гудуотер.

— Я отлично себя чувствую, — медленно выговорила Эльмира Браун. — Я положила несколько тертых морковок, и тонко нарезанную петрушку, и еще ягоды можжевельника, и...

Она снова умолкла, точно некий внутренний голос приказал ей замолчать, и посмотрела в зал.

Все вокруг медленно закачалось: слева направо, потом справа налево.

— Корень розмарина и цвет лютика... — глухо сказала Эльмира. Потом выпустила руку Тома.

Том открыл один глаз и поглядел на нее.

— Лавровый лист, лепестки настурции... — говорила она.

— Вы бы лучше сели, — посоветовала миссис Гудуотер.

Одна из дам встала и открыла окно.

— ...сушеный лист бетеля, лаванду и семечки дикого яблока, — сказала миссис Браун и умолкла. — Давайте скорей начинать выборы. Мне нужны голоса. Я буду считать.

— Не спешите, Эльмира, — сказала миссис Гудуотер.

— Нет, надо спешить. — Миссис Браун глубоко, судорожно вздохнула. — Помните, сударыни, больше бояться нечего. Можете смело высказать вслух все, что хотите. Голосуйте за меня, ведь вы всегда этого хотели. Голосуйте и... — Комната опять закачалась, на этот раз вверх и вниз. — Правление будет честным. Все, кто за миссис Гудуотер, скажите «да».

— Да, — сказал весь зал.

— Все, кто за миссис Эльмиру Браун? — спросила Эльмира слабым голосом.

Она проглотила ком, подкатившийся к горлу. Потом сказала одна:

— Да.

И, ошеломленная, осталась стоять на трибуне.

В зале воцарилась тишина. И в этой тишине вдруг раздалось какое-то карканье. Эльмира Браун схватилась рукой за горло. Потом повернулась и мутными глазами посмотрела на миссис Гудуотер, а та преспокойно вынула из сумочки восковую куколку, утыканную ржавыми чертежными кнопками.

— Том, — сказала Эльмира, — проводи меня в дамскую комнату.

— Хорошо, мэм.

Они тронулись в путь, потом ускорили шаг и наконец пустились бежать. Эльмира бежала впереди, сквозь толпу, по проходу... Добралась до дверей и повернула налево.

— Нет, нет, Эльмира, направо, направо! — закричала миссис Гудуотер.

Эльмира свернула налево и исчезла из виду. Раздался грохот, точно по скату сыпался крупный уголь.

— Эльмира!

Все дамы забегали кругами, натываясь друг на друга, — точь-в-точь женская баскетбольная команда.

Одна миссис Гудуотер напрямиком кинулась к двери.

На площадке лестницы стоял Том и, вцепившись руками в перила, глядел вниз.

— Сорок ступенек! — простонал он. — До низу целых сорок ступенек!

И после, многие месяцы и годы спустя, люди рассказывали, как Эльмира Браун, словно отпетый пьяница, катилась по этим ступенькам и ни одной не пропустила на своем долгом пути вниз. Говорили, что она, видимо, в первый же миг потеряла сознание, и потому все ее мышцы были расслаблены, и она не ударялась, а катилась по ступеням мягко, как мешок. Наконец она шлепнулась у подножия лестницы, растерянно хлопая глазами и чувствуя себя гораздо лучше, ибо все, от чего ей было не по себе, осталось позади, по всей лестнице. Правда, теперь ее, точно татуировкой, сплошь покрывали ссадины и кровоподтеки. Но ни одна косточка не была сломана, руки и ноги не вывихнуты, даже сухожилия не растянуты. Два-три дня она как-то странно неподвижно держала голову и, если надо было поглядеть по сторонам, лишь косилась краешком глаза. Но вот что главное: у подножия лестницы мигом очутилась миссис Гудуотер, и голова Эльмиры уже покоилась у нее на коленях, и она кропила эту буйную голову слезами, а вокруг, охая, ахая, рыдая и заламывая руки, собирались остальные дамы.

— Эльмира, я обещаю, я клянусь, Эльмира, если только вы останетесь живы, если вы не умрете... Эльмира, вы слышите меня? Слушайте же! С этой минуты я буду ворожить только ради добрых дел. Больше никакой черной магии, одна только белая! Если это будет зависеть от меня, вы никогда больше не упадете с лестницы, не порежете себе палец,

не споткнетесь о порог. Блаженство, Эльмира, обещаю вам блаженство! Только не умирайте! Смотрите, не умирайте! Смотрите, я вынимаю из куклы все кнопки. Эльмира, скажите же мне хоть слово! Ну скажите что-нибудь и сядьте! И пойдемте наверх, проголосуем все снова! Обещаю, вы будете председательницей, мы вас выбираем, даже без всякого голосования, мы все единодушно одобряем вашу кандидатуру, ведь правда, сударыни?

При этих словах все члены клуба «Жимолость» зарыдали в голос, и им пришлось ухватиться друг за друга, чтобы не упасть.

Том, все еще стоявший наверху, решил, что так плакать можно только над покойницей и миссис Браун наверняка умерла.

Он побежал вниз, но на середине лестницы столкнулся с процессией дам — вид у них был такой, точно они вырвались из самого центра динамитного взрыва.

— С дороги, мальчик!

Первой шла миссис Гудуотер, плача и смеясь.

За ней следовала миссис Эльмира Браун, смеясь и плача.

А уж за ними шествовали все сто двадцать три члена клуба «Жимолость», сами не понимая, возвращаются ли они с похорон или отправляются на бал.

Том проводил их глазами и покачал головой.

— Теперь я им ни к чему, — сказал он. — Вовсе ни к чему.

И пока его не хватились, стал на цыпочках спускаться с лестницы и все время, до самого низа, крепко держался за перила.

* * *

— Что ж уж тут расписывать, — сказал Том. — Коротко и ясно: все они там просто с ума посходили. Стоят в кружок и сморкаются. А Эльмира Браун сидит на полу под лестницей, и ничего у нее не сломано — я так думаю, у нее кости сделаны из желе, — и ведьма плачет у нее на плече, и вдруг

все поднимаются вверх по лестнице и уже смеются! Видал ты когда-нибудь такое? Ну, я скорее дал деру.

Том расстегнул рубашку и снял галстук.

— Так ты говоришь, колдовство? — спросил Дуглас.

— Колдовство как пить дать!

— И ты в это веришь?

— Середка на половинку.

— Ну и ну, чего только в нашем городе не увидишь! —

И Дуглас уставился вдаль: на горизонте громоздились облака самых причудливых очертаний — воины, древние боги и духи. — Так, говоришь, чары, и восковые куклы, и иголки, и снадобья разные?

— Да снадобье-то неважноецкое, но здорово подействовало как рвотное. Э-э-э! Йок! — Том схватился за живот и высунул язык.

— Ведьмы... — пробормотал Дуглас и загадочно скосил глаза.

* * *

А потом наступает день, когда слышишь, как всюду вокруг яблонь одно за другим падают яблоки. Сначала одно, потом где-то невдалеке другое, а потом сразу три, потом четыре, девять, двадцать, и, наконец, яблоки начинают сыпаться как дождь, мягко стучат по влажной, темнеющей траве, точно конские копыта, и ты — последнее яблоко на яблоне, и ждешь, чтобы ветер медленно раскачал тебя и оторвал от твоей опоры в небе, и падаешь все вниз, вниз... И задолго до того, как упадешь в траву, уже забудешь, что было на свете дерево, другие яблоки, лето и зеленая трава под яблоней. Будешь падать во тьму...

— Нет!

Полковник Фрилей быстро открыл глаза и выпрямился в своем кресле на колесах. Вскинул застывшую руку — да, телефон все еще здесь! Полковник на секунду прижал его к груди и растерянно мигнул.

— Не нравится мне этот сон, — сообщил он пустой комнате.

Наконец дрожащими пальцами он поднял трубку, вызвал междугородную и назвал номер, а потом ждал, не сводя глаз с двери своей спальни, точно опасаясь, что вот-вот ворвется орда сыновей, дочерей, внуков, сиделок и докторов и отнимет у него последнюю радость, которую он позволял своему угасающему сердцу. Много дней — или, может быть, лет? — назад, когда оно пронзило острой болью его мышцы и ребра, он услышал этих мальчуганов внизу... как их зовут?.. Чарли, Чарли, Чак, да! И Дуглас! И Том! Он помнит! Они позвали его оттуда, издалека, из прихожей, но у них перед самым носом захлопнули дверь, и они ушли. Доктор сказал, ему нельзя волноваться. Никаких посетителей, ни в коем случае! И он слышал, как мальчики переходили улицу, он их видел, даже помахал им рукой. И они помахали ему в ответ. «Полковник... Полковник...» И теперь он сидит совсем один, и сердце его, как маленький серый лягушонок, вяло шлепает лапками у него в груди, то тут, то там.

— Полковник Фрилей, — раздалось в трубке. — Говорите, я вас соединила. Мехико, Эриксон, номер тридцать восемь девяносто девять.

И далекий, но удивительно ясный голос:

— Вуено...

— Хорхе! — закричал старый полковник.

— Сеньор Фрилей! Опять! Но ведь это же очень дорого!

— Ну и пусть. Ты знаешь, что надо делать.

— Si. Окно?

— Окно, Хорхе. Пожалуйста.

— Минутку, — сказал голос.

И за тысячи миль от Грингауна, в южной стране, в огромном многоэтажном здании, в кабинете раздался шаг — кто-то отошел от телефона. Старый полковник весь подался вперед и, крепко прижимая трубку к сморщенному уху, напряженно, до боли, вслушивался и ждал, что будет дальше.

Там открыли окно.

Полковник вздохнул.

Сквозь открытое окно в трубку ворвались шумы Мехико, шумы знойного золотого полудня, и полковник так ясно увидел Хорхе — вот он стоит у окна, а телефонную трубку выставил на улицу, под яркое солнце.

— Сеньор...

— Нет, нет, пожалуйста! Дай мне послушать!

Он слышал: ревут гудки автомобилей, скрипят тормоза, кричат разносчики, на все лады расхваливая свой товар — связки красноватых бананов и дикие апельсины.

Ноги полковника, свисавшие с кресла, невольно начали подергиваться, точно и он шагал по той улице. Веки его были плотно сомкнуты. Он шумно втягивал ноздрями воздух, словно надеясь учуять запах мясных туш, что висят на огромных железных крюках, залитые солнцем и сплошь облепленные мухами, и запах мощенных камнем переулков, еще не просохших после утреннего дождя. Он ощущал на своих колючих, давно не бритых щеках жгучее солнце — ему снова двадцать пять лет, и он идет и смотрит вокруг, и улыбается, и счастлив тем, что живет, что так остро чувствует, впитывает в себя цвета и запахи...

Стук в дверь. Он поспешно накрыл телефон на коленях полкой халата.

Вошла сиделка.

— Ну как, мы хорошо себя вели? — спросила она бодро.

— Да, — машинально ответил полковник.

Перед глазами у него стоял туман. Он еще не опомнился от потрясения, стук в дверь застал его врасплох; часть его существа еще оставалась там, в другом, далеком городе. Он подождал — пусть все вернется на место, ведь нужно отвечать на вопросы, вести себя разумно, быть вежливым.

— Я пришла проверить ваш пульс.

— Не сейчас, — сказал полковник.

— Уж не собираетесь ли вы куда-нибудь пойти? — улыбнулась сиделка.

Он пристально посмотрел на нее. Он не выходил из дому уже десять лет.

— Дайте-ка руку.

Ее жесткие, уверенные пальцы нащупывали болезнь в его пульсе, измеряли ее, точно кронциркуль.

— Сердце очень возбуждено. Чем это вы его растревожили?

— Ничем.

Она обвела комнату взглядом и увидела пустой телефонный столик. В эту минуту за две тысячи миль раздался приглушенный автомобильный гудок.

Сиделка вынула телефон из-под халата полковника и поднесла к самому его лицу.

— Зачем вы себя губите? Ведь вы обещали больше этого не делать. Поймите, вам же это вредно. Волнуетесь, слишком много разговариваете. И еще эти мальчишки скачут вокруг вас...

— Они сидели очень спокойно и слушали, — сказал полковник. — А я рассказывал о разных разностях, о которых они еще не слыхивали. О бизонах. Ради этого стоило поволноваться. Мне все равно. Я был как в лихорадке и чувствовал, что живу. И если жить полной жизнью — значит умереть скорее, пусть так: предпочитаю умереть быстро, но сперва вкусить еще от жизни. А теперь дайте мне телефон. Раз вы не позволяете мальчикам приходить и тихонько сидеть около меня, я хоть поговорю с кем-нибудь издали.

— Извините, полковник. Мне придется рассказать об этом вашему внуку. Он еще на прошлой неделе хотел убрать отсюда телефон, но я его отговорила. А теперь, видно, придется так и сделать.

— Это мой дом и мой телефон. И я плачу вам жалованье, — сказал старик.

— За то, чтобы я помогала вам поправиться, а не волноваться. — Она откатила кресло в другой конец комнаты. — А теперь, молодой человек, в постель!

Но и с постели он не отрываясь глядел на телефон.

— Я сбегаяю на минутку в магазин, — сказала сиделка. — А кресло ваше я увезу в прихожую. Так мне спокойно, я уж буду знать, что вы не станете опять звонить по телефону.

И она выкатила пустое кресло за дверь. Потом он услышал, что она снизу звонит на междугородную станцию.

Неужели в Мехико-Сити? Нет, не посмеет.

Хлопнула парадная дверь.

Всю минувшую неделю он провел здесь один, в четырех стенах, и какое это было наслаждение — тайные звонки через моря и океаны, тонкая ниточка, протянутая сквозь дебри омытых дождем девственных лесов, среди озер и горных вершин... разговоры... разговоры... Буэнос-Айрес... и Лима... и Рио-де-Жанейро... разговоры...

Он приподнялся на локте в своей холодной постели. Завтра телефона уже не будет! Каким же он был жадным дураком! Полковник спустил с кровати хрупкие, желтые, как слоновая кость, ноги и изумился — они совсем тонкие! Кажалось, эти сухие палки прикрепили к его телу однажды ночью, пока он спал, а другие ноги, помоложе, сняли и сожгли в печи. За долгие годы все его тело разрушили, отняли руки и ноги и оставили взамен нечто жалкое и беспомощное, как шахматные фигурки. А теперь хотят добраться до самого неуловимого — до его памяти: пытаются обрезать провода, которые ведут назад, в прошлое.

Спотыкаясь, полковник кое-как пересек комнату. Схватил телефон и прижал к себе; ноги уже не держали его, и он сполз по стене на пол. Потом позвонил на междугородную, а сердце поминутно взрывалось у него в груди — чаще, чаще... В глазах потемнело. Скорей, скорей!

Он ждал.

— Виено.

— Хорхе, нас разъединили.

— Вам нельзя звонить, сеньор, — сказал далекий голос. — Ваша сиделка меня просила. Она говорит, вы очень больны. Я должен повесить трубку.

— Нет, Хорхе, пожалуйста! — взмолился старик. — В последний раз прошу тебя. Завтра у меня отберут телефон. Я уже никогда больше не смогу тебе позвонить.

Хорхе молчал.

— Заклинаю тебя, Хорхе, — продолжал старый полковник. — Ради нашей дружбы, ради прошлых дней! Ты не знаешь, как это для меня важно. Мы с тобой однолетки, но ведь ты можешь ДВИГАТЬСЯ! А я не двигаюсь с места уже десять лет!

Он уронил телефон и с большим трудом вновь поднял его, боль в груди разрасталась, не давала дышать.

— Хорхе! Ты меня слышишь?

— И это правда будет последний раз? — спросил Хорхе.

— Да, обещаю тебе!

За тысячи миль от Гринтауна телефонную трубку положили на стол. Снова отчетливо, знакомо звучат шаги, тишина, и наконец открывается окно.

— Слушай же, — шепнул себе старый полковник.

И он услышал тысячу людей под иным солнцем и слабое отрывистое треньканье: шарманка играет «Ла Маримба» — такой прелестный танец!

Старик крепко зажмурился, поднял руку, точно собрался сфотографировать старый собор, и тело его словно налилось, помолодело, и он ощутил под ногами раскаленные камни мостовой.

Ему хотелось сказать:

— Вы все еще здесь, да? Вы, жители далекого города, сейчас у вас время ранней сиесты, лавки закрываются, а мальчишки выкрикивают: «Loteria Nacional para hoy»¹ — и суют прохожим лотерейные билеты. Вы все здесь, люди далекого города. Мне просто не верится, что и я был когда-то среди вас. Из такой дали кажется, что его и нет вовсе, этого города, что он мне только приснился. Всякий город — Нью-Йорк, Чикаго — со всеми своими обитателями издали кажется просто выдумкой. И не верится, что и я существую здесь, в штате Иллинойс, в маленьком городишке у тихого озера. Всем нам трудно поверить, каждому трудно поверить, что все остальные существуют, потому что мы слишком далеко друг от друга. И как же отрадно слышать голоса и шум

¹ Сегодня розыгрыш национальной лотереи (исп.).

и знать, что Мехико-Сити все еще стоит на своем месте и люди там все так же ходят по улицам и живут...

Он сидел на полу, крепко прижимая к уху телефонную трубку.

И наконец ясно услышал самый неправдоподобный звук: на повороте заскрежетал зеленый трамвай, полный чужих смуглых и красивых людей, и еще люди бежали вдогонку, и доносились торжествующие возгласы — кому-то удалось вскочить на ходу, трамвай заворачивал за угол, и рельсы звенели, и он уносил людей в знойные летние просторы, и оставалось лишь шипение кукурузных лепешек на рыночных жаровнях, — а быть может, лишь непрерывное, то угасавшее, то вновь нарастающее гудение медных проводов, что тянулись за две тысячи миль...

Старый полковник сидел на полу.

Время шло.

Внизу медленно отворилась дверь. Легкие шаги в прихожей, потом кто-то помедлил в нерешительности и вот, осмелев, поднимается по лестнице. Приглушенные голоса:

— Не надо нам было приходить!

— А я тебе говорю, он мне позвонил. Ему одному не втерпел. Что ж мы, предатели, что ли, — возьмем да и бросим его?

— Так ведь он болен?

— Ясно, болен. Но он велел приходить, когда сиделки нет дома. Мы только на минутку войдем, поздороваемся, и...

Дверь спальни раскрылась настежь. И трое мальчишек увидели: старый полковник сидит на полу у стены.

— Полковник Фрилей, — негромко позвал Дуглас.

Тишина была какая-то странная, они тоже не решались больше заговорить.

Потом подошли поближе, тихонько, чуть ли не на цыпочках.

Дуглас наклонился и вынул телефон из совсем уже застывших пальцев старика. Поднес трубку к уху, прислушался. И сквозь гудение проводов и треск разрядов услышал странный, далекий, последний звук. Где-то за две тысячи миль закрылось окно.

* * *

— Бумм! — крикнул Том. — Бумм, бумм, бумм!

Он сидел во дворе суда верхом на пушке времен Гражданской войны.

Перед пушкой стоял Дуглас, он схватился за сердце и рухнул на траву. И не вскочил, а остался лежать и, видно, о чем-то задумался.

— У тебя такое лицо, точно ты вот-вот выгатишь карандаш и возьмешься писать.

— Не мешай мне думать, — ответил Дуглас, глядя на пушку. Потом перекатился на спину и уставился на небо и на макушки деревьев. — Том, до меня только сейчас дошло.

— Что?

— Вчера умер Чин Линсу. Вчера, прямо здесь, в нашем городе, навсегда кончилась Гражданская война. Вчера, прямо здесь, умер президент Линкольн, и генерал Ли, и генерал Грант, и сто тысяч других, кто лицом к югу, а кто — к северу. И вчера днем в доме полковника Фрилея ухнуло со скалы в самую что ни на есть бездонную пропасть целое стадо бизонов, огромное, как весь Гринтаун, штат Иллинойс. Вчера целые тучи пыли улеглись навеки. А я-то сначала ничего и не понял! Ужасно, Том, просто ужасно! Как же нам теперь быть? Что будем делать? Больше не будет никаких бизонов... И никаких не будет солдат, и генерала Гранта, и генерала Ли, и Честного Эйба, и Чин Линсу не будет! Вот уж не думал, что сразу может умереть столько народу! А ведь они все умерли, Том, это уж точно.

Том сидел верхом на пушке и глядел сверху вниз на брата, пока тот не умолк.

— Блокнот у тебя тут?

Дуглас покачал головой.

— Тогда сбегай-ка за ним и запиши все, пока не забыл. Не каждый день у тебя на глазах помирает половина земного шара.

Дуглас сел на траве, потом встал. И медленно побрел по двору суда, покусывая нижнюю губу.

— Бумм, — негромко сказал Том. — Бумм, бумм.

Потом закричал вслед брату:

— Дуг! Пока ты шел по двору, я тебя три раза убил! Слышишь? Эй, Дуг! Ну ладно. — Он улегся на пушке и, прищурясь, поглядел вдоль корявого ствола. — Бумм, — прошептал он в спину удалявшемуся Дугласу. — Бумм!

* * *

— Двадцать девятая!

— Есть!

— Тридцатая!

— Есть!

— Тридцать первая!

Рычаг нырнул вниз. Жестяные колпачки на закупоренных бутылках блестели как золото. Дедушка подал Дугласу последнюю бутылку.

— Второй летний урожай. Июньский уже в погребе, а вот готов и июльский. Теперь остается только август.

Дуглас поднял бутылку теплого вина из одуванчиков, но на полку ее не поставил. Там уже стояло много перенумерованных бутылок, все совершенно одинаковые, как близнецы: все яркие, аккуратные, все доверху заполненные и плотно закупоренные.

«Эта — с того дня, когда я открыл, что живу, — подумал он. — Почему же она ни капельки не ярче других?»

А эта — с того дня, когда Джон Хаф упал с края земли и исчез. Почему же она не темнее остальных?»

Где же, где веселые собаки, что все лето прыгали и резвились, точно дельфины, в волнах переливающейся на ветру пшеницы? Где грозовой запах Зеленой машины и трамвая, запах молний? Осталось ли все это в вине? Нет! Или, по крайней мере, кажется, что нет».

В какой-то книге он вычитал однажды: все слова, что говорили люди с начала времен, все песни, какие они когда-либо пели, и поныне звучат в межзвездных далах, и, если бы долететь до созвездия Центавра, можно было бы ус-

лышать, что говорил во сне Джордж Вашингтон или как вскрикнул Юлий Цезарь, когда в спину ему вонзили нож. Насчет звуков все ясно. А как насчет света? Ведь если кто-то хоть раз что-то увидел, оно уже не может просто исчезнуть без следа! Значит, где-то, если хорошенько поискать, — быть может, в истекающих медом пчелиных сотах, где свет прячется в янтарном соке, что собрали обремененные пылью пчелы, или в тридцати тысячах линз, которыми увенчана голова полуденной стрекозы, — удастся найти все цвета и зрелища мира. Или положить под микроскоп одну-единственную каплю вот этого вина из одуванчиков — и, может, запольхает извержение Везувия, точно все фейерверки всех дней Четвертого июля. Этому придется поверить.

И все же... вот смотришь на эту бутылку — по номеру ясно, что она налита в тот самый день, когда полковник Фрилей споткнулся и упал на шесть футов под землю, — и, однако, в ней не разглядишь ни грана темного осадка, ни пятнышка пыли, летящей из-под копыт огромных бизонов, ни крошки серы из ружей, что палили в битве при Шайло...

— Да, остается еще август, — сказал Дуглас. — Это верно. Только если и дальше так пойдет, в последнем урожае не соберешь никаких друзей, никаких машин, и одуванчиков кот наплакал.

— Бом! Бом! Ты словно не говоришь, а звонишь в похоронный колокол, — сказал дедушка. — Такие речи хуже всякой ругани. Впрочем, я не стану промывать тебе рот мылом. Тут лучшее лекарство — глоток вина из одуванчиков. А ну-ка! Одним духом! Каково?

— Уф! Будто огонь проглотил!

— Теперь — наверх! Обеги три раза вокруг квартала, пять раз перекувыркнись, шесть раз проделай зарядку, взберись на два дерева — и живо из главного плакальщика станешь дирижером веселого оркестра. ДУЙ!

«Четыре раза зарядку, взберусь на одно дерево и два раза перекувыркнусь — и хватит», — подумал Дуглас на бегу.

* * *

А первого августа в полдень Билл Форестер уселся в свою машину и закричал, что едет в город за каким-то необыкновенным мороженым и не составит ли ему кто-нибудь компанию. Не прошло и пяти минут, как повеселевший Дуглас шагнул с раскаленной мостовой в прохладную, точно пещера, пахнущую лимонадом и ванилью аптеку и уселся с Биллом Форестером у снежно-белой мраморной стойки. Они потребовали, чтобы им перечислили все самые необыкновенные сорта мороженого, и, когда официант дошел до лимонного мороженого с ванилью, «какое едали в старину», Билл Форестер его прервал:

— Вот его-то нам и давайте.

— Да, сэр, — подтвердил Дуглас.

В ожидании мороженого они медленно поворачивались на своих вертящихся табуретах. Перед глазами у них проплывали серебряные краны, сверкающие зеркала, приглушенно жужжащие вентиляторы, что мелькали под потолком, зеленые шторы на окнах, плетеные стулья... Потом они перестали вертеться. Их взгляды уперлись в мисс Элен Лумис — ей было девяносто пять лет, и она с удовольствием уплетала мороженое.

— Молодой человек, — сказала она Биллу Форестеру. — Вы, я вижу, наделены и вкусом, и воображением. И силы воли у вас, конечно, хватит на десятерых, иначе вы бы не посмели отказаться от обычных сортов, перечисленных в меню, и преспокойно, без малейшего колебания и угрызенный совести заказать такую неслыханную редкость, как лимонное мороженое с ванилью.

Билл Форестер почтительно склонил голову.

— Подите сюда, вы оба, — продолжала старуха. — Садитесь за мой столик. Поговорим о необычных сортах мороженого и еще о всякой всячине — похоже, у нас найдутся общие слабости и пристрастия. Не бойтесь, я за вас заплачу.

Они заулыбались и, прихватив свои тарелочки, пересели к ней.

— Ты, видно, из Сполдинггов, — сказала она Дугласу. — Голова у тебя точь-в-точь как у твоего дедушки. А вы — вы Уильям Форестер. Вы пишете в «Кроникл», и совсем неплохо. Я о вас очень наслышана, все даже и пересказывать неохота.

— Я тоже вас знаю, — ответил Билл Форестер. — Вы — Элен Лумис. — Он чуть замялся и прибавил: — Когда-то я был в вас влюблен.

— Недурно для начала. — Старуха спокойно набрала ложечку мороженого. — Значит, не миновать следующей встречи. Нет, не говорите мне, где, когда и как случилось, что вы влюбились в меня. Отложим до другого раза. Вы своей болтовней испортите мне аппетит. Смотри ты какой! Впрочем, сейчас мне пора домой. Раз вы репортер, приходите завтра от трех до четырех пить чай; может случиться, что я расскажу вам историю этого города с тех далеких времен, когда он был просто факторией. И оба мы немножко удовлетворим свое любопытство. А знаете, мистер Форестер, вы напоминаете мне одного джентльмена, с которым я дружила семьдесят... да, семьдесят лет тому назад.

Она сидела перед ними, и им казалось, будто они разговаривают с серой дрожащей заблудившейся молью. Голос ее доносился откуда-то издалека, из недр старости и увядания, из-под праха засушенных цветов и давным-давно умерших бабочек.

— Ну что ж. — Она поднялась. — Так вы завтра придете?

— Разумеется, приду, — сказал Билл Форестер.

И она отправилась в город по своим делам, а мальчик и молодой человек неторопливо доедали свое мороженое и смотрели ей вслед.

На другое утро Уильям Форестер проверял кое-какие местные сообщения для своей газеты, после обеда съездил за город, на рыбалку, но только и поймал несколько мелких рыбешек и сразу же беспечно швырнул их обратно в реку; а в три часа, сам не заметив, как это вышло — ведь он как будто об этом и не думал вовсе, — очутился в своей машине на некоей улице. Он с удивлением смотрел, как руки его

сами собой поворачивают руль, и машина, описав широкий полукруг, подъезжает к увитому плющом крыльцу. Он вылез, захлопнул дверцу, и тут оказалось, что машина у него мятая и обшарпанная, совсем как его изжеванная и выдавшая виды трубка, — в огромном зеленом саду перед свежеразкрашенным трехэтажным домом в викторианском стиле это особенно бросалось в глаза. В дальнем конце сада что-то колыхнулось, донесся чуть слышный оклик, и он увидел мисс Лумис — там, вдалеке, в ином времени и пространстве, она сидела одна и ждала его; перед ней мягко поблескивало серебро чайного сервиза.

— В первый раз вижу женщину, которая вовремя готова и ждет, — сказал он, подходя к ней. — Правда, я и сам первый раз в жизни прихожу на свидание вовремя.

— А почему? — спросила она и выпрямилась в плетеном кресле.

— Право, не знаю, — признался он.

— Ладно. — Она стала разливать чай. — Для начала: что вы думаете о нашем подлунном мире?

— Я ничего о нем не знаю.

— Говорят, с этого начинается мудрость. Когда человеку семнадцать, он знает все. Если ему двадцать семь и он по-прежнему знает все — значит, ему все еще семнадцать.

— Вы, видно, многому научились за свою жизнь.

— Хорошо все-таки старикам — у них всегда такой вид, будто они все на свете знают. Но это лишь притворство и маска, как всякое другое притворство и всякая другая маска. Когда мы, старики, остаемся одни, мы подмигиваем друг другу и улыбаемся: дескать, как тебе нравится моя маска, мое притворство, моя уверенность? Разве жизнь — не игра? И ведь я недурно играю?

Они оба посмеялись. Билл откинулся на стуле, и впервые за много месяцев смех его звучал естественно. Потом мисс Лумис обеими руками взяла свою чашку и заглянула в нее.

— А знаете, хорошо, что мы встретились так поздно. Не хотела бы я встретить вас, когда мне был двадцать один год и я была совсем глупенькая.

— Для хорошеньких девушек в двадцать один год существуют особые законы.

— Так вы думаете, я была хорошенькая?

Он добродушно кивнул.

— Да с чего вы это взяли? — спросила она. — Вот вы увидели дракона, он только что съел лебедя; можно ли судить о лебеде по нескольким перышкам, которые прилипли к пасти дракона? А ведь только это и осталось — дракон, весь в складках и морщинах, который сожрал бедную лебедушку. Я не вижу ее уже много-много лет. И даже не помню, как она выглядела. Но я ее чувствую. Внутри она все та же, все еще жива, ни одно перышко не слиняло. Знаете, в иное утро, весной или осенью, я просыпаюсь и думаю: вот сейчас побегу через дуга в лес и наберу земляники! Или поплаваю в озере, или стану танцевать всю ночь напролет, до самой зари! И вдруг спохватываюсь. Ах ты, пропади все пропадом! Да ведь он меня не выпустит, этот дряхлый развалина-дракон. Я как принцесса в рухнувшей башне — выйти невозможно, знай себе сиди да жди Прекрасного принца.

— Вам бы книги писать.

— Дорогой мой мальчик, я и писала. Что еще оставалось делать старой деве? До тридцати лет я была легкомысленной душой, только и думала, что о забавах, развлечениях да танцульках. А потом — единственному человеку, которого я по-настоящему полюбила, надоело меня ждать, и он женился на другой. И тут назло самой себе я решила: раз не вышла замуж, когда улыбнулось счастье, — поделом тебе, сиди в девках! И принялась путешествовать. На моих чемоданах запестрели разноцветные наклейки. Побывала я в Париже, в Вене, в Лондоне — и всюду одна да одна, и тут оказалось: быть одной в Париже ничуть не лучше, чем в Грингауне, штат Иллинойс. Все равно где — важно, что ты одна. Конечно, остается вдоволь времени размышлять, шлифовать свои манеры, оттачивать остроумие. Но иной раз я думаю: с радостью отдала бы острое словцо или изящный реверанс за друга, который остался бы со мной на субботу и воскресенье лет эдак на тридцать.

Они молча допили чай.

— Вот какой приступ жалости к самой себе, — добродушно сказала мисс Лумис. — Давайте поговорим о вас. Вам тридцать один, и вы все еще не женаты?

— Я бы объяснил это так: женщины, которые живут, думают и говорят, как вы, — большая редкость, — сказал Билл.

— Бог ты мой, — серьезно промолвила она. — Да неужто молодые женщины станут говорить, как я! Это придет позднее. Во-первых, они для этого слишком молоды. И во-вторых, большинство молодых людей до смерти пугаются, если видят, что у женщины в голове есть хоть какие-нибудь мысли. Наверное, вам не раз встречались очень умные женщины, которые весьма успешно скрывали от вас свой ум. Если хотите найти для коллекции редкостного жучка, нужно хорошенько поискать и не лениться пошарить по разным укромным уголкам.

Они снова посмеялись.

— Из меня, верно, выйдет ужасно дотошный старый холостяк, — сказал Билл.

— Нет, нет, так нельзя. Это будет неправильно. Вам и сегодня не надо бы сюда приходить. Эта улица упирается в египетскую пирамиду — и только. Конечно, пирамиды — это очень мило, но мумии вовсе не подходящая для вас компания. Куда бы вам хотелось поехать? Что бы вы хотели делать, чего добиться в жизни?

— Хотел бы повидать Стамбул, Порт-Саид, Найроби, Будапешт. Написать книгу. Очень много курить. Упасть со скалы, но на полдороге зацепиться за дерево. Хочу, чтобы где-нибудь в Марокко в меня раза три выстрелили в полночь в темном переулке. Хочу любить прекрасную женщину.

— Ну, я не во всем смогу вам помочь, — сказала мисс Лумис. — Но я много путешествовала и могу вам порассказать о разных местах. И если угодно, пробегите сегодня вечером, часов в одиннадцать, по лужайке перед моим домом, и я, так и быть, выпалю в вас из мушкета времен Гражданской войны, конечно, если еще не лягу спать. Ну как, насытит ли это вашу мужественную страсть к приключениям?

— Это будет просто великолепно!

— Куда же вы хотите отправиться для начала? Могу увезти вас в любое место. Могу вас заколдовать. Только пожелайте. Лондон? Каир? Ага, вы так и просияли! Ладно, значит, едем в Каир. Не думайте ни о чем. Набейте свою трубку этим душистым табаком и устраивайтесь поудобнее.

Билл Форестер откинулся в кресле, закурил трубку и, чуть улыбаясь, приготовился слушать.

— Каир... — начала она.

Прошел час, наполненный драгоценными камнями, глухими закоулками и ветрами египетской пустыни. Солнце источало золотые лучи, Нил катил свои мутно-желтые воды, а на вершине пирамиды стояла совсем юная, порывистая и очень жизнерадостная девушка, и смеялась, и звала его из тени наверх, на солнце, и он спешил подняться к ней, и вот она протянула руку и помогает ему одолеть последнюю ступеньку... а потом они, смеясь, качаются на спине у верблюда, а навстречу вздымается громада Сфинкса... а поздно ночью в туземном квартале звенят молоточки по бронзе и серебру, и кто-то наигрывает на незнакомых струнных инструментах, и незнакомая мелодия звучит все тише и наконец замирает вдали...

Уильям Форестер открыл глаза. Мисс Элен Лумис умолкла, и оба они опять были в Гринтауне, в саду, с таким чувством, точно целый век знают друг друга, и чай в серебряном чайнике уже остыл, и печенье подсохло в лучах заходящего солнца. Билл вздохнул, потянулся и снова вздохнул:

— Никогда в жизни мне не было так хорошо!

— И мне тоже.

— Я вас очень утомил. Мне надо было уйти уже час назад.

— Вы и сами знаете, что я отлично провела этот час. Но вот вам-то что за радость сидеть с глупой старухой...

Билл Форестер вновь откинулся на спинку кресла и смотрел на нее из-под полуопущенных век. Потом зажмурился

так, что в глаза проникла лишь тонюсенькая полоска света. Осторожно наклонил голову на один бок, потом на другой.

— Что это вы? — недоуменно спросила мисс Лумис.

Билл не ответил и продолжал ее разглядывать.

— Если найти точку, — бормотал он, — важно приспособиться, отбросить лишнее... — а про себя думал: можно не замечать морщины, скинуть со счетов годы, повернуть время вспять.

И вдруг встрепенулся.

— Что случилось? — спросила мисс Лумис.

Но все уже пропало. Он открыл глаза, чтобы снова поймать тот призрак. Ошибка, этого делать не следовало. Надо было откинуться назад, забыть обо всем и смотреть словно бы лениво, не спеша, полузакрыв глаза.

— На какую-то секунду я это увидел, — сказал он.

— Что увидели?

«Лебедушку, конечно», — подумал он, и, наверное, она прочла это слово по его губам.

Старуха порывисто выпрямилась в своем кресле. Руки застыли на коленях. Глаза, устремленные на него, медленно наполнялись слезами. Билл растерялся.

— Простите меня, — сказал он наконец. — Ради бога, простите.

— Ничего. — Она по-прежнему сидела выпрямившись, стиснув руки на коленях, и не смахивала слез. — Теперь вам лучше уйти. Да, завтра можете прийти опять, а сейчас, пожалуйста, уходите, и ничего больше не надо говорить.

Он пошел прочь через сад, оставив ее в тени за столом. Оглянуться он не посмел.

Прошло четыре дня, восемь, двенадцать; его приглашали то к чаю, то на ужин, то на обед. В долгие зеленые послеполуденные часы они сидели и разговаривали — об искусстве, о литературе, о жизни, обществе и политике. Ели мороженое, жареных голубей, пили хорошие вина.

— Меня никогда не интересовало, что болтают люди, — сказала она однажды. — А они болтают, да?

Билл смущенно поерзал на стуле.

— Так я и знала. Про женщину всегда сплетничают, даже если ей уже стукнуло девяносто пять.

— Я могу больше не приходиться.

— Что вы! — воскликнула она и тотчас опомнилась. — Это невозможно, вы и сами знаете, — продолжала она спокойнее. — Да ведь и вам все равно, что они там подумают и что скажут, правда? Мы-то с вами знаем — ничего худого тут нет.

— Конечно, мне все равно, — подтвердил он.

— Тогда мы еще поиграем в нашу игру. — Мисс Лумис откинулась в кресле. — Куда на этот раз? В Париж? Давайте в Париж.

— В Париж. — Билл согласно кивнул.

— Итак, — начала она, — на дворе год тысяча восемьсот восемьдесят пятый, и мы садимся на пароход в нью-йоркской гавани. Вот наш багаж, вот билеты, там — линия горизонта. И мы уже в открытом море. Подходим к Марселю...

Она стоит на мосту и глядит вниз, в прозрачные воды Сены, и вдруг он оказывается рядом с ней и тоже глядит вниз, на волны лета, бегущие мимо. Вот в белых пальцах у нее рюмка с аперитивом, и снова он тут как тут, наклоняется к ней, чокается, звенят рюмки. Он видит себя в зеркалах Версаля, над дымящимися доками Стокгольма, они вместе считают вывески цирюльников вдоль каналов Венеции. Все, что она видела одна, они видят теперь снова, вместе.

Как-то в середине августа они под вечер сидели вдвоем и глядели друг на друга.

— А знаете, ведь я бываю у вас почти каждый день вот уже две с половиной недели, — сказал Билл.

— Не может быть!

— Для меня это огромное удовольствие.

— Да ведь на свете столько молодых девушек...

— В вас есть все, чего недостает им, — доброта, ум, остроумие...

— Какой вздор! Доброта и ум — свойства старости. В двадцать лет женщине куда интересней быть бессердечной и легкомысленной. — Она умолкла и перевела дух. — Теперь я хочу вас смутить. Помните, когда мы встретились в первый раз в аптеке, вы сказали, что у вас одно время была... ну, скажем, симпатия ко мне. Потом вы старались, чтобы я об этом забыла, ни разу больше об этом не упомянули. Вот мне и приходится самой просить вас объяснить мне, что это была за нелепость.

Билл замаялся:

— Вы и правда меня смутили.

— Ну, выкладывайте!

— Много лет назад я случайно увидел вашу фотографию.

— Я никогда не разрешаю себя фотографировать.

— Это была очень старая карточка, вам на ней лет двадцать.

— Ах, вот оно что. Это просто курам на смех! Всякий раз, когда я жертвую деньги на благотворительные цели или еду на бал, они выкапывают эту карточку и опять ее перепечатывают. И весь город смеется. Даже я сама.

— Со стороны газеты это жестоко.

— Ничуть. Я им сказала: если вам нужна моя фотография, берите ту, где я снята в тысяча восемьсот пятьдесят третьем году. Пусть запомнят меня такой. И, уж пожалуйста, во время панихиды не открывайте крышки гроба.

— Я расскажу вам, как все это было.

Билл Форестер скрестил руки на груди, опустил глаза и немного помолчал. Он так ясно представил себе эту фотографию. Здесь, в этом саду, было вдоволь времени вспомнить каждую черточку, и перед ним встала Элен Лумис — та, с фотографии, совсем еще юная и прекрасная, когда она впервые в жизни одна позировала перед фотоаппаратом. Ясное лицо, тихая, застенчивая улыбка.

Это было лицо весны, лицо лета, теплое дыхание душистого клевера. На губах рдели гранаты, в глазах голубело полуденное небо. Коснуться этого лица — все равно что ранним декабрьским утром распахнуть окно и, задохнувшись от

ощущения новизны, подставить руку под первые легчайшие пушинки снега, что падают с ночи, неслышные и неожиданные. И все это — теплота дыхания и персиковая нежность — навсегда запечатлелось в чуде, именуемом фотографией, над ним не властен ветер времени, его не изменит бег часовой стрелки, оно никогда ни на секунду не постареет; этот легчайший первый снежок никогда не растает, он переживет тысячи жарких июлей.

Вот какова была та фотография, и вот как он узнал мисс Лумис. Он вспомнил все это, знакомый облик встал перед его мысленным взором, и теперь он вновь заговорил:

— Когда я в первый раз увидел эту простую карточку — девушку со скромной, без затей, прической, — я не знал, что снимок сделан так давно. В газетной заметке говорилось, что Элен Лумис откроет в этот вечер бал в ратуше. Я вырезал фотографию из газеты. Весь день я всюду таскал ее с собой. Я твердо решил пойти на этот бал. А потом, уже к вечеру, кто-то увидел, как я гляжу на эту фотографию, и мне открыли истину. Рассказали, что снимок очаровательной девушки сделан давным-давно и газета из года в год его перепечатывает. И еще мне сказали, что не стоит идти на бал и искать вас там по этой фотографии.

Долгую минуту они сидели молча. Потом Билл исподтишка глянул на мисс Лумис. Она смотрела в дальний конец сада, на ограду, увитую розами. На лице ее ничего не отразилось. Она немного покачалась в своем кресле и мягко сказала:

— Ну вот и все. Не выпить ли нам еще чаю?

Они молча потягивали чай. Потом она наклонилась вперед и похлопала его по плечу:

— Спасибо.

— За что?

— За то, что вы хотели пойти на бал искать меня, за то, что вырезали фотографию из газеты, — за все. Большое вам спасибо.

Они побродили по тропинкам сада.

— А теперь моя очередь, — сказала мисс Лумис. — Помните, я как-то обмолвилась об одном молодом человеке, который ухаживал за мной семьдесят лет тому назад? Он уже лет пятьдесят как умер, но в то время он был совсем молодой и очень красивый, целые дни проводил в седле и даже летними ночами скакал на лихом коне по окрестным лугам. От него так и веяло здоровьем и сумасбродством, лицо всегда было покрыто загаром, руки вечно исцарапаны; и все-то он бурлил и кипятился, а ходил так стремительно, что казалось, его вот-вот разорвет на части. То и дело менял работу — бросит все и перейдет на новое место, а однажды сбежал и от меня, потому что я была сумасбродней его и ни за что не соглашалась стать степенной мужней женой. Вот так все и кончилось. И я никак не ждала, что в один прекрасный день вновь увижу его живым. Но вы живой, и нрав у вас тоже горячий и неумный, и вы такой же неуклюжий и вместе с тем изящный. И я заранее знаю, как вы поступите, когда вы и сами еще об этом не догадываетесь, и, однако, всякий раз вам поражаюсь. Я всю жизнь считала, что перевоплощение — бабьи сказки, а вот на днях вдруг подумала: а что, если взять и крикнуть на улице: «Роберт! Роберт!» — не обернется ли на этот зов Уильям Форестер?

— Не знаю, — сказал он.

— И я не знаю. Потому-то жизнь так интересна.

Август почти кончился. По городу медленно плыло первое прохладное дыхание осени, яркая зелень листвы потускнела, а потом деревья вспыхнули буйным пламенем, горы и холмы зарумянились, заиграли всеми красками, а пшеничные поля побурели. Дни потекли знакомой однообразной чередой, точно писарь выводил ровным круглым почерком букву за буквой, строку за строкой.

Как-то раз Уильям Форестер шагал по хорошо знакомому саду и еще издали увидел, что Элен Лумис сидит за чайным столом и старательно что-то пишет. Когда Билл подошел, она отодвинула перо и чернила.

— Я вам писала, — сказала она.

— Не стоит трудиться — я здесь.

— Нет, это письмо особенное. Посмотрите. — Она показала Биллу голубой конверт, только что заклеенный и аккуратно разглаженный ладонью. — Запомните, как оно выглядит. Когда почтальон принесет вам его, это будет означать, что меня уже нет в живых.

— Ну что это вы такое говорите!

— Садитесь и слушайте.

Он сел.

— Дорогой мой Уильям, — начала она, укрывшись под тенью летнего зонтика. — Через несколько дней я умру. Нет, не перебивайте меня. — Она предостерегающе подняла руку. — Я не боюсь. Когда живешь так долго, теряешь многое, в том числе и чувство страха. Никогда в жизни не любила омаров — может, потому, что не пробовала. А в день, когда мне исполнилось восемьдесят, решила — дай-ка отведаю. Не скажу, чтобы я их так сразу и полюбила, но теперь я хоть знаю, каковы они на вкус, и не боюсь больше. Так вот, думаю, и смерть вроде омара, и уж как-нибудь я с ней примирюсь. — Мисс Лумис махнула рукой. — Ну, хватит об этом. Главное, что я вас больше не увижу. Отпевать меня не будут. Я полагаю, у женщины, которая прошла в эту дверь, такое же право на уединение, как у женщины, что удалилась на ночь к себе в спальню.

— Смерть предсказать невозможно, — выговорил наконец Билл.

— Вот что, Уильям. Полвека я наблюдаю за дедовскими часами в прихожей. Когда их заводят, я могу точно сказать наперед, в котором часу они остановятся. Так и со старыми людьми. Они чувствуют, как слабеет завод и маятник раскачивается все медленнее. Ох, пожалуйста, не смотрите на меня так.

— Простите, я не хотел... — ответил он.

— Мы ведь славно провели время, правда? Это было так необыкновенно хорошо — наши с вами беседы каждый день. Есть такая ходячая, избитая фраза — родство душ; так вот,

мы с вами и есть родные души. — Она повертела в руках голубой конверт. — Я всегда считала, что истинную любовь определяет дух, хотя тело порой отказывается этому верить. Тело живет только для себя. Только для того, чтобы пить, есть и ждать ночи. В сущности, это ночная птица. А дух ведь рожден от солнца, Уильям, и его удел — за нашу долгую жизнь тысячи и тысячи часов бодрствовать и впитывать все, что нас окружает. Разве можно сравнить тело, это жалкое и себялюбивое порождение ночи, со всем тем, что за целую жизнь дают нам солнце и разум? Не знаю. Знаю только, что все последние дни мой дух соприкасался с вашим и дни эти были лучшими в моей жизни. Еще о многом надо бы поговорить, да придется отложить до новой встречи.

— У нас не так уж много времени.

— Да, но вдруг будет еще одна встреча! Время — странная штука, а жизнь — и еще того удивительней. Как-то там не так повернулись колесики или винтики, и вот жизни человеческие переплелись слишком рано или слишком поздно. Я чересчур зажилась на свете, это ясно. А вы родились то ли слишком рано, то ли слишком поздно. Ужасно досадное несовпадение. А может, это мне в наказание — уж очень я была легкомысленной девчонкой. Но на следующем обороте колесики могут опять повернуться так, как надо. А покуда непременно найдите себе славную девушку, женитесь и будьте счастливы. Но прежде вы должны мне кое-что обещать.

— Все, что угодно.

— Обещайте не дожить до глубокой старости, Уильям. Если удастся, постарайтесь умереть, пока вам не исполнилось пятьдесят. Я знаю, это не так просто. Но я вам очень советую — ведь кто знает, когда еще появится на свет вторая Элен Лумис. А вы только представьте: вот вы уже дряхлый старик, и в один прекрасный день в тысяча девятьсот девяносто девятом году плететесь по Главной улице и вдруг видите меня, а мне только двадцать один, и все опять полетело вверх тормашками — ведь правда, это было бы ужасно? Мне кажется, как ни приятно нам было встречаться

в эти последние недели, мы все равно больше не могли бы так жить. Тысяча галлонов чая и пятьсот печений — вполне достаточно для одной дружбы. Так что непременно устройте себе, лет эдак через двадцать, воспаление легких. Ведь я не знаю, сколько вас там продержат, на том свете, — а вдруг сразу отпустят обратно? Но я сделаю все, что смогу, Уильям, обещаю вам. И если все пойдет как надо, без ошибок и опозданий, знаете, что может случиться?

— Скажите мне.

— Как-нибудь, году так в тысяча девятьсот восемьдесят пятом или девяностом, молодой человек по имени Том Смит или, скажем, Джон Грин, гуляя по улицам, заглянет мимоходом в аптеку и, как полагается, спросит там какого-нибудь редкостного мороженого. А по соседству окажется молодая девушка, его сверстница, и, когда она услышит, какое мороженое он заказывает, что-то произойдет. Не знаю, что именно и как именно. А уж она-то и подавно не будет знать, как и что. И он тоже. Просто от одного названия этого мороженого у обоих станет необыкновенно хорошо на душе. Они разговариваются. А потом познакомятся и уйдут из аптеки вместе.

И она улыбнулась Уильяму.

— Вот как гладко получается, но вы уж извините старуху, люблю все разбирать и по полочкам раскладывать. Это просто так, пустячок вам на память. А теперь поговорим о чем-нибудь другом. О чем же? Осталось ли на свете хоть одно местечко, куда мы еще не съездили? А в Стокгольме мы были?

— Да, прекрасный город.

— А в Глазго? Куда же нам теперь?

— Почему бы не съездить в Гринтаун, штат Иллинойс? — предложил Билл. — Сюда. Мы ведь, собственно, не побывали вместе в нашем родном городе.

Мисс Лумис откинулась в кресле. Билл последовал ее примеру, и она начала:

— Я расскажу вам, каким был наш город давным-давно, когда мне едва минуло девятнадцать...

Зимний вечер, она легко скользит на коньках по замерзшему пруду, лед под луной белый-белый, а под ногами скользит ее отражение и словно шепчет ей что-то. А вот летний вечер — летом здесь, в этом городе, зноем опалены и улицы, и щеки, и в сердце знойно, и, куда ни глянь, мерцают — то вспыхнут, то погаснут — светлячки. Октябрьский вечер, ветер шумит за окном, а она забежала на кухню полакомиться тянучкой и беззаботно напевает песенку; а вот она бегаёт по мшистому берегу реки, вот весенним вечером плавает в гранитном бассейне за городом, в глубокой и теплой воде; а теперь Четвертое июля, в небе рассыпаются разноцветные огни фейерверка — и алым, синим, белым светом озаряются лица зрителей на каждом крыльце, и, когда гаснет в небе последняя ракета, одно девичье лицо сияет ярче всех.

— Вы видите все это? — спрашивает Элен Лумис. — Видите меня там, с ними?

— Да, — отвечает Уильям Форестер, не открывая глаз. — Я вас вижу.

— А потом, — говорит она, — потом...

Голос ее все не смолкает, день на исходе, и сгущаются сумерки, а голос все звучит в саду, и всякий, кто пройдет мимо за оградой, даже издали может его услышать — слабый, тихий, словно шелест крыльев мотылька...

Два дня спустя Уильям Форестер сидел за столом у себя в редакции, и тут пришло письмо. Его принес Дуглас, отдал Уильяму, и лицо у него было такое, словно он знал, что там написано.

Уильям Форестер сразу узнал голубой конверт, но не вскрыл его. Просто положил в карман рубашки, минуту молча смотрел на мальчика, потом сказал:

— Пойдем, Дуг. Я угощаю.

Они шли по улицам и почти всю дорогу молчали; Дуглас и не пытался заговорить — чутье подсказывало ему, что так надо. Надвинувшаяся было осень отступила. Вновь сияло

лето, вспенивая облака и начищая голубой металл неба. Они вошли в аптеку и уселись у снежно-белой стойки. Уильям Форестер вынул из нагрудного кармана письмо и положил перед собой, но все не распечатывал конверт.

Он смотрел в окно: желтый солнечный свет на асфальте, зеленые полотняные навесы над витринами, сияющие золотом буквы вывесок через дорогу... потом взглянул на календарь на стене. Двадцать седьмое августа тысяча девятьсот двадцать восьмого года. Он взглянул на свои наручные часы; сердце билось медленно и тяжело, а минутная стрелка на циферблате совсем не двигалась, и календарь навеки застыл на этом двадцать седьмом августа, и даже солнце, казалось, пригвождено к небу и никогда уже не закатится. Вентиляторы над головой, вздыхая, разгоняли теплый воздух. Мимо распахнутых дверей аптеки, чему-то смеясь, проходили женщины, но он их не видел, он смотрел сквозь них и видел дальние улицы и часы на высокой башне здания суда. Наконец распечатал письмо и стал читать.

Потом медленно повернулся на вертящемся табурете. Опять и опять беззвучно повторял эти слова про себя и наконец выговорил их вслух и снова повторил.

— Лимонного мороженого с ванилью, — сказал он. — Лимонного мороженого с ванилью.

* * *

Дуглас, Том и Чарли, тяжело дыша, бежали по залитой солнцем улице.

— Том, скажи честно.

— Чего тебе?

— Бывает так, что все хорошо кончается?

— Бывает — в пьесках, которые показывают на утренниках по субботам.

— Ну, это понятно, а в жизни так бывает?

— Я тебе одно скажу, Дуг: ужасно люблю вечером ложиться спать! Так что уж один-то раз в день непременно бывает счастливый конец. Наутро встаешь, и, может, все

пойдет хуже некуда. Но тогда я сразу вспомню, что вечером опять лягу спать и, как полежу немножко, все опять станет хорошо.

— Да нет, я про мистера Форестера и про старую мисс Лумис.

— Так ведь она умерла, что ж тут поделаешь.

— Я знаю. Только тут все равно что-то не так, верно?

— А, ты вон про что! Ему-то кажется, что она все молоденькая, совсем как на той карточке, а на самом деле ей уже целый миллион лет — про это, да? Ну а по-моему, это просто здорово!

— Как так здорово?

— За последнее время мистер Форестер мне понемножку про все это рассказывал, и я под конец сообразил, что к чему, и давай реветь — прямо как девчонка! Даже сам не знаю, с чего это я. Только мне вовсе не хочется, чтобы было по-другому. Ведь будь оно по-другому, нам с тобой и говорить бы не о чем. И потом, мне нравится плакать. Как поплачешь хорошенько, сразу кажется, будто опять утро и начинается новый день.

— Вот теперь понятно!

— Да ты и сам любишь поплакать, только не признаешься. Поплачешь всласть, и потом все хорошо. Вот тебе и счастливый конец. И опять охота бежать на улицу играть с ребятами. И тут, глядишь, начинается самое неожиданное! Вот и мистер Форестер вдруг подумает-подумает и поймет, что тут уж все равно ничего не поделаешь, да как заплачет, потом поглядит, а уже опять утро, хоть бы на самом деле было пять часов дня.

— Что-то непохоже это на счастливый конец.

— Надо только хорошенько выспаться, или поревеет минут десять, или съесть целую пинту шоколадного мороженого, а то и все это вместе, — лучшего лекарства не придумаешь. Это тебе говорит Том Сполдинг, доктор медицины.

— Да замолчите вы, — сказал Чарли. — Мы уже почти пришли.

Они завернули за угол.

Среди зимы они, бывало, искали следы и признаки лета и находили их в топках печей, в подвалах или в вечерних кострах на краю пруда, превращенного в каток. Теперь, летом, они искали хоть малейшего отзвука, хоть напоминания о забытой зиме.

За углом в их разгоряченные лица дохнуло свежестью, словно легкий морозящий дождик брызнул навстречу огромному кирпичному зданию; прямо перед ними была вывеска, которую они давно знали наизусть:

ЛЕТНИЙ ЛЕД

Того-то им и надо было. «Летний лед» в летний день! Они смеялись и повторяли эти слова и подошли поближе, чтобы заглянуть в громадную пещеру, где в аммиачных парах и хрустальных каплях дремали большущие, по пятьдесят, сто и двести фунтов, куски ледников и айсбергов — давно выпавший, но незабытый январский снег.

— Чувствуешь? — вздохнул Чарли Вудмен. — Чего еще надо человеку?

Над ними вовсю светило солнце, а лица опять и опять оведало холодное дыхание зимы, и они втягивали ноздрями запах влажной деревянной платформы, где всеми цветами радуги переливался постоянный туман; он исходил от механизмов, которые там, наверху, вырабатывали лед.

Ребята грызли сосульки, пальцы у них заоченели — пришлось завернуть сосульки в носовые платки и сосать плотно.

— «Ледяные дуновенья, леденящие туманы», — шепнул Том. — Помните «Снежную королеву»? Понятно, теперь мы уже не верим в такую ерунду. А может, она как раз тут и прячется, потому что никто больше в нее не верит? Очень просто!

Они стояли и смотрели, как над холодильником поднимаются испарения и углывают длинными лентами холодного дыма.

— Нет, — сказал Чарли. — Знаете, кто тут живет? Только он один. Про кого как подумаешь, враз мурашки по спине забегают. — Чарли понизил голос почти до шепота: — ДУШЕГУБ!

— Душегуб?

— Ну да, тут он родился, вырос и весь свой век тут живет. Вы поймите, ребята: тут всегда зима, всегда холод, а ведь из-за Душегуба мы и летом дрожим, в самую жару, в самые душные ночи. Откуда же ему еще взяться? Тут даже пахнет им. Верно вам говорю, да вы и сами знаете. Душегуб... Душегуб...

Туман и испарения клубились в темноте.

Том взвизгнул.

— Ничего, ничего, Дуг! — широко ухмыльнулся Чарли. — Это я просто запустил ему за шиворот сосульку.

* * *

Часы на здании суда пробили семь раз. Отзвучало и замерло эхо.

Маленький городишко в штате Иллинойс, затерянный в глуши, отгороженный от мира рекой, лесом, лугом и озером, окутанный теплыми летними сумерками. От тротуаров еще пышет жаром. Закрываются магазины, на улицы ложится тень. И над городом — две луны: на все четыре стороны смотрят четыре циферблата часов над торжественным черным зданием суда, а на востоке в темном небе, светясь молочной белизной, восходит настоящая луна.

В аптеке высоко под потолком шепчутся вентиляторы. В тени вычурных крылечек сидят несколько человек, в темноте их не разглядеть. Порою разгорится розовый огонек сигары. Затянутые москитной сеткой двери веранд скрипят и хлопают. По лиловым в поздних летних сумерках камням мостовой бежит Дуглас Сполдинг, следом мчатся собаки и мальчишки.

— Привет, мисс Лавиния!

Мальчишки пронеслись мимо. Лавиния Неббс лениво помахала им вдогонку. Она сидела совсем одна, изредка белыми пальцами подносила к губам высокий фужер с прохладным лимонадом, отпивала глоток, ждала.

— Вот и я!

Лавиния обернулась — у крыльца стояла Франсина, вся в белом, от нее веяло цветущими цинниями и гибискусом.

Лавиния Неббс заперла парадную дверь, оставила недопитый лимонад на веранде.

— Самый подходящий вечер для хорошего фильма.

Они вышли на улицу.

— Куда вы, девочки? — окликнули их мисс Роберта и мисс Ферн, завидев подруг со своей веранды.

— В кино «Элита», посмотреть Чарли Чаплина, — через мягкий океан тьмы отозвалась Лавиния.

— Нет уж, в такую ночь нас из дому не выманишь! — крикнула мисс Ферн. — Вот в такие ночи Душегуб и душит женщин. Мы сегодня возьмем пистолет и запремся в чулане.

— Вот еще глупости! — сказала Лавиния.

За обеими старушками громко захлопнулась дверь, в замке щелкнул ключ, а девушки пошли дальше. Славно было ощущать теплое дыхание летней ночи над раскаленными тротуарами. Будто идешь по твердой корочке свежее испеченного хлеба. Жаркие струи вкрадчиво обвивают ноги, забираются под платье, охватывают все тело... Приятно!

— Лавиния, а ты веришь всем этим разговорам насчет Душегуба?

— Уж очень наши дамы любят поболтать, язык-то без костей.

— А что ни говори, два месяца назад убили Хетти Мак-Доллис, а месяц назад — Роберту Ферри, а теперь вот исчезла Элизабет Рэмсел...

— Хетти Мак-Доллис была просто дурочка. Ручаюсь, она сбежала с каким-нибудь коммивояжером.

— А как же остальные? Говорят, их всех нашли удушенными, и язык прикушен.

Они стояли на краю оврага, который делил город надвое. Позади остались освещенные дома и музыка, впереди — провал, сырость, светлячки и тьма.

— Может, зря мы сегодня пошли в кино, — заметила Франсина. — Вдруг Душегуб нас выследит и убьет! Не люблю я этот овраг. Посмотри-ка на него.

Лавиния посмотрела, и овраг показался ей динамо-машиной, которая ни днем, ни ночью не знает покоя; там непрестанно что-то ворчит, шуршит и ворочается — идет жизнь растений, насекомых и какого-то зверья. Из глубины оврага тянет, словно из теплицы, какими-то неведомыми приторными испарениями, древними, насквозь промытыми сланцами, сыпучими песками. А черная динамо-машина все гудит и гудит, и летающие светлячки разрывают тьму, точно электрические искры.

— Мне-то уж не надо будет сегодня в такую поздноту возвращаться домой через этот мерзкий овраг, — сказала Франсина. — А вот тебе придется идти домой этой дорогой, Лавиния. По этим ступенькам и через мост... а вдруг тебе встретится Душегуб?

— Глупости! — сказала Лавиния Неббс.

— Я-то не пойду, а вот ты пойдешь по тропинке одна и станешь прислушиваться к собственным шагам. Всю дорогу до дому тебе придется идти одной. Послушай, Лавиния, неужели тебе не жутко совсем одной в твоём доме?

— Старые девы любят жить одни. — Лавиния указала на тропку среди кустов, уходящую во тьму; там было жарко, словно в теплице. — Давай пойдем напрямик.

— Я боюсь!

— Еще рано. Душегуб выходит на охоту гораздо позже.

Лавиния взяла Франсину под руку и повела по извилистой тропинке, все ниже, ниже, в теплоту сверчков, кваканья лягушек и напоенную тонким пением москитов тишину. Они пробирались сквозь сожженную солнцем траву, сухие стебли кололи их голые щиколотки.

— Побежим! — задыхаясь, попросила Франсина.

— Нет!

Тропинка вильнула в сторону — и тут они увидели...

В певучей тишине ночи под сенью нагретых солнцем деревьев лежала Элизабет Рэмсел — казалось, она прилегла здесь, чтобы насладиться ласковыми звездами и беспечным ветерком, руки свободно лежали вдоль тела, как весла легкокрылого суденышка.

Франсина вскрикнула.

— Не кричи! — Лавиния протянула руки и ухватилась за Франсину, а та всхлипывала и давилась слезами. — Не кричи, не смей кричать!

Элизабет лежала, точно ее вынесло сюда волнами: лицо залито лунным светом, глаза широко раскрыты и тускло отсвечивают, как речная галька, кончик языка прикушен.

— Она мертвая, — сказала Франсина. — Ой, она мертвая, мертвая!

Лавиния словно окаменела, а вокруг темнели теплые тени, стрекотали сверчки, громко квакали лягушки.

— Надо сообщить в полицию, — сказала она наконец.

— Обними меня, Лавиния, мне холодно, ужасно холодно, в жизни не было так холодно!

Лавиния обняла Франсину; а между тем по сухой до хруста траве шагали полицейские, под ногами металась пятна света от карманных фонариков, звучали приглушенные голоса; время близилось к половине девятого.

— Прямо как в декабре. Свитер бы надеть! — не открывая глаз, сказала Франсина и прижалась к подруге.

— Теперь вы обе можете идти, уважаемые, — сказал полицейский. — А завтра прошу зайти к нам в участок, у нас, наверное, будут к вам еще кое-какие вопросы.

И Лавиния с Франсиной пошли прочь от полиции и от белой простыни, которая прикрывала теперь нечто неподвижное, простертое на траве.

Сердце Лавинии отчаянно колотилось, ее тоже насквозь, до самых костей пробирал холод; в лунном свете ее тонкие пальцы белели как льдинки; и ей запомнилось, что она всю

дорогу что-то говорила, а Франсина только всхлипывала и жалась к ней.

Внезапно вдогонку послышался голос:

— Может, вас проводить?

— Нет, мы пройдем одни, — ответила в темноту Лавиния, и они пошли дальше.

Они шли по оврагу, тут все шуршало и словно бы насто-роженно принюхивалось к ним, перешептывалось, стрекотало и потрескивало, а крошечный островок, где оставались огни и голоса, где люди искали следы убийцы, затерялся далеко позади.

— Я никогда раньше не видела мертвых, — сказала Франсина.

Лавиния взгляделась в свои часы, словно они были бог-весть в какой дали, словно собственное запястье оказалось за тысячу миль от нее.

— Сейчас только половина девятого. Захватим по дороге Элен и пойдем в кино.

— В кино?! — Франсина отшатнулась.

— Непременно. Нужно забыть все это. Нужно выкинуть это из головы. Если сейчас вернуться домой, мы все время будем об этом думать. Нет, пойдем в кино, как будто ничего не случилось.

— Лавиния, неужели ты серьезно?

— Еще как серьезно. Нужно забыть, нужно смеяться.

— Но ведь там Элизабет... твоя подруга... и моя!..

— Ей мы уже ничем не можем помочь, значит, надо думать о себе. Пойдем.

В темноте они стали взбираться каменистой тропинкой по склону оврага. И вдруг перед ними, загораживая им дорогу, не видя их, потому что он смотрел вниз, на движущиеся огоньки и на мертвое тело, и прислушивался к голосам полицейских, вырос Дуглас Сполдинг.

Он стоял, беспомощно опустив руки, белый как мел от лунного света, и не отрываясь глядел вниз, в овраг.

— Иди домой! — крикнула Франсина.

Он не слышал.

— Эй, ты! — завопила Франсина. — Иди домой, уходи отсюда сейчас же, слышишь? Иди домой, домой, ДОМОЙ!

Дуглас вскинул голову и уставился на них невидящими глазами. Губы его подергивались. Он промычал что-то невнятное. Потом молча повернулся и бросился бежать. Молча бежал он к дальним холмам, в теплую тьму.

Франсина снова всхлипнула и заплакала и пошла дальше с Лавинией Неббс.

— Ну наконец-то. Я уж думала, вы совсем не придете! — Элен Грир стояла на крылечке и нетерпеливо притоптывала ногой. — Вы опоздали всего лишь на какой-нибудь час. Что случилось?

— Мы... — начала было Франсина.

Но Лавиния крепко стиснула ее руку.

— Там ужасный переполох. Кто-то нашел в овраге Элизабет Рэмсел.

— Мертвую? Она... умерла?

Лавиния кивнула. Элен ахнула и схватилась рукой за горло.

— Кто же ее нашел?

Лавиния крепко сжимала руку Франсины.

— Мы не знаем.

Три девушки стояли в сумерках летнего вечера и смотрели друг на друга.

— Мне почему-то хочется войти в дом и запереть все двери, — сказала наконец Элен.

Но в конце концов она пошла только надеть свитер; было еще тепло, но и она вдруг почувствовала, что зябнет. Едва она скрылась за дверью, Франсина зашептала, как в лихорадке:

— Почему ты ей не сказала?

— Зачем ее расстраивать? — ответила Лавиния. — Успеется. Завтра скажу.

Три подружки пошли по улице под чернильно-черными деревьями мимо внезапно замкнувшихся домов. Как быстро разнеслась страшная весть — из оврага, от дома к дому, от

крыльца к крыльцу, от телефона к телефону! И вот они идут, и слышат, как защелкиваются дверные замки, и чувствуют на себе взгляды тех, кто прячется за спущенными шторами. Как странно: был обычный вечер, с трещотками, хлопучками и мороженым, руки пахли ванильным кремом от москитов — и вдруг детей точно вымело с улицы, они побросали все свои игры и разбежались по домам, их упрятали в четырех стенах, за плотно занавешенными окнами, и только брошенные хлопучки валяются в лимонных и земляничных лужицах растаявшего мороженого. Странно: душные комнаты, там, за бронзовыми дверными молотками и ручками, битком набиты, люди задыхаются, все в испарине. Бейсбольные мячи и биты валяются на пустынных лужайках. На раскалившемся за день тротуаре, от которого идет пар, не дорисованы белым мелом «классы»... Точно секунду назад кто-то объявил, что сейчас грянет трескучий мороз.

— Мы просто сумасшедшие! Надо же — в такой вечер бродить по улицам! — заметила Элен.

— Душегуб не убьет сразу трех, — ответила Лавиния. — Втроем не опасно. И потом, бояться еще рано. Он убивает не чаще одного раза в месяц.

На их перепуганные лица упала тень. За деревом кто-то стоял. И словно кулак обрушился на клавиши органа — все три пронзительно вскрикнули на разные голоса.

— Ага, поймал! — зарычал густой бас.

И вот перед ними человек. Стремительно выскочил на свет и хохочет. Прислонился спиной к дереву, за которым только что прятался, указывает на девушек пальцем и знай себе хохочет!

— Эй, вы! Это я и есть Душегуб!

— Фрэнк Диллон!

— Фрэнк!

— Фрэнк!

— Фрэнк, — сказала Лавиния. — Если вы еще когда-нибудь выкинете такую дурацкую шутку, пусть вас изрешетят пулями.

— Как не стыдно! — И Франсина истерически зарыдала.

Улыбка сбежала с губ Фрэнка.

— Прошу прощения, я никак не думал...

— Уходите! — сказала Лавиния. — Разве вы не слышали про Элизабет? Ее нашли мертвую в овраге. А вы бегаете по ночам и пугаете женщин. Молчите, мы не хотим больше слышать ни слова.

— Послушайте, погодите...

Они пошли прочь. Он двинулся было за ними.

— Оставайтесь здесь, мистер Душегуб, пугайте самого себя. Пойдите посмотрите на лицо Элизабет Рэмсел — увидите, как все это забавно!

И Лавиния повела подруг дальше по улице, осененной деревьями и звездами. Франсина не отнимала от глаз платок.

— Франсина, ведь он пошутил, — сказала Элен. — Лавиния, почему она так плачет?

— После расскажем, когда придем в город. И что бы там ни было, мы идем в кино! А теперь — хватит! Доставайте-ка деньги, мы уже почти пришли.

В аптеке застоялся теплый воздух; большие деревянные вентиляторы разгоняли его, и на улицу вырывались волны запахов — тянуло то арникой, то спиртом, то содой.

— Дайте мне на пять центов зеленых мятных конфеток, — сказала Лавиния хозяину. Как и у всех, кого они видели в этот вечер на полупустых улицах, лицо у него было бледное и репительное. — Надо же что-нибудь жевать в кино.

Он отвесил на пять центов зеленых конфет, насыпав их в кулек серебряным совком.

— Какие вы все нынче хорошенькие, — сказал он. — А днем, когда вы зашли выпить содовой с шоколадом, мисс Лавиния, вы были такая хорошенькая и серьезная, что один человек даже стал про вас спрашивать.

— Вот как?

— Да, мужчина, что сидел вот тут, у стойки. Вы вышли, а он долго так глядел вам вслед и спрашивает: «Это кто та-

кая?» — «Да это ж Лавиния Неббс, — говорю. — Самая хорошенькая девушка в городе». — «И вправду хороша, — говорит он. — А где она живет?»

Тут хозяин смутился и прикусил язык.

— Не может быть! — сказала Франсина. — Неужели вы дали ему адрес? Поверить не могу!

— Видите ли, я как-то не подумал... «Да на Парк-стрит, — говорю, — знаете, у самого оврага». Так просто, не подумавши. А вот сейчас как услышал, что Элизабет нашли убитую, так и спохватился. Бог ты мой, думаю, что же это я наделал!

И он подал Лавинии кулек, в котором конфет было куда больше, чем на пять центов.

— Какой дурак! — закричала Франсина, и глаза ее снова наполнились слезами.

— Извините меня. Да ведь, может, тут еще и нет ничего худого.

Все как замороженные смотрели на Лавинию. А она была совсем спокойна. Только чуть дрожало что-то внутри, будто перед прыжком в холодную воду. Машинально она протянула деньги за конфеты.

— Нет, ничего я с вас не возьму, — сказал хозяин, отвернулся и стал перебирать какие-то бумаги.

— Ну вот что. — Элен вскинула голову и решительным шагом пошла прочь из аптеки. — Сейчас я возьму такси, и мы все отправимся по домам. Я вовсе не намерена потом разыскивать по всей округе твой труп, Лавиния. Тот человек замышляет недоброе. С какой это стати он про тебя расспрашивал? Может, ты хочешь, чтобы в следующий раз там, в овраге, нашли тебя?

— Это был самый обыкновенный человек, — возразила Лавиния, медленно повернулась и обвела взглядом вечерний город.

— Фрэнк Диллон тоже человек, но, может быть, как раз он-то и есть Душегуб.

Тут они заметили, что Франсина не вышла из аптеки вместе с ними, оглянулись и увидели ее в дверях.

— Я заставила хозяина описать мне того человека, — сказала она. — Расспросила, какой он с виду. Говорит — нездешний, в темном костюме. Какой-то бледный и худой.

— Все мы с перепугу невесть чего навывдумывали, — сказала Лавиния. — Не поеду я ни в каком такси, и не уговаривайте меня. Если уж мне суждено стать следующей жертвой — что ж, так тому и быть. Жизнь вообще слишком скучна и однообразна, особенно для девицы тридцати трех лет от роду, так что уж не мешайте мне хоть на этот раз поволноваться. Да и вообще это глупо. Я вовсе не красивая.

— Ты очень красивая, Лавиния. Ты красивей всех в городе, да еще теперь, когда Элизабет... — Франсина запнулась. — Просто ты чересчур гордая. Будь ты хоть немножко поговорчивей, ты бы уже давным-давно вышла замуж!

— Перестань хныкать, Франсина! Вот и касса. Я плачу сорок один цент и иду смотреть Чарли Чаплина. Если вам нужно такси — пожалуйста, поезжайте. Я посмотрю фильм и отлично дойду одна.

— Лавиния, ты с ума сошла! Мы не оставим тебя тут делать глупости.

Они вошли в кинотеатр.

Первый сеанс уже окончился, в тускло освещенном зале народу было немного. Три подруги уселись в среднем ряду, вокруг пахло лаком — должно быть, недавно протирали медные дверные ручки; и тут из-за выцветшей красной бархатной портьеры вышел хозяин и объявил:

— Полиция просила нас закончить сегодня пораньше, чтобы все могли прийти домой не слишком поздно. Поэтому мы не будем показывать хронику и сейчас же пускаем фильм. Сеанс окончится в одиннадцать часов. Всем советуют — идите прямо домой, не задерживайтесь на улицах.

— Это он говорит специально для нас, Лавиния, — прошептала Франсина.

Свет погас. Ожил экран.

— Лавиния, — шепнула Элен.

— Что?

— Когда мы сюда входили, улицу переходил мужчина в темном костюме. Он только что вошел в зал и сидит сейчас за нами.

— Ох, Элен!

— Прямо за нами?

Одна за другой все три оглянулись.

Они увидели незнакомое лицо, совсем белое в жутком неверном отсвете серебристого экрана. Казалось, в темноте над ними нависли лица всех мужчин на свете.

— Я позову управляющего! — И Элен пошла к выходу. — Остановите фильм! Зажгите свет!

— Элен, вернись! — крикнула Лавиния и встала.

Они поставили на столик пустые стаканы из-под содовой и, смеясь, слизнули ванильные усыки от мороженого.

— Вот видите, как глупо получилось, — сказала Лавиния. — Подняли такой шум из ничего. Ужасно неудобно!

— Ну, я виновата, — тихонько отозвалась Элен.

Часы показывали уже половину двенадцатого. Три подруги вышли из темного кинотеатра, смеясь над Элен, с ними высыпали остальные зрители и зрительницы и заспешили кто куда, в неизвестность. Элен тоже пыталась смеяться над собой.

— Ты только представь себе, Элен, бежишь по проходу и кричишь: «Свет! Дайте свет!» Я подумала — сейчас умру. А каково тому бедняге!

— Он — брат управляющего, приехал из Расина.

— Я же извинилась, — возразила Элен, глядя на потолок, где все вертелся, вертелся и разгонял теплый ночной воздух огромный вентилятор, вновь и вновь обдавая их запахом ванили, мяты и креозота.

— Не надо нам было задерживаться тут, пить эту содовую. Ведь полиция предупреждала.

— Да ну ее, полицию! — засмеялась Лавиния. — Ничего я не боюсь. Душегуб уже, наверное, за тысячи миль отсюда. Он теперь не скоро вернется, а как явится снова, полиция его тут же спаает, вот увидите. Правда, фильм чудесный?

Улицы были пусты: легковые машины и фургоны, грузовики и людей словно метлой вымело. В витринах небольшого универсального магазина еще горели огни, а согретым ярким светом восковые манекены протягивали розовые восковые руки, выставляя напоказ пальцы, униженные перстнями с голубовато-белыми бриллиантами, или задирали оранжевые восковые ноги, привлекая взгляд прохожего к чулкам и подвязкам. Жаркие, синего стекла, глаза манекенов провожали девушек, а они шли по улице, пустой, как русло высохшей реки, и их отражения мерцали в окнах, точно водоросли, расцветающие в темных волнах.

— Как вы думаете, если мы закричим, они прибегут к нам на помощь?

— Кто?

— Ну публика эта, из витрин...

— Ох, Франсина!

— Не знаю...

В витринах стояла тысяча мужчин и женщин, застывших и молчаливых, а на улице они были только троим, и стук их каблучков по спекшемуся асфальту пробуждал резкое эхо, точно вдогонку трещали выстрелы.

Красная неоновая вывеска тускло мигала в темноте и, когда они проходили мимо, зажужжала, как умирающее насекомое.

Впереди лежали улицы — белые, спекшиеся. Справа и слева над тремя хрупкими женщинами вставали высокие деревья, и ветер шевелил густую листву лишь на самых макушках. С остроконечной башни здания суда показалось бы — летят по улице три пушинки одуванчика.

— Сперва мы проводим тебя, Франсина.

— Нет, я провожу вас.

— Не глупи, — возразила Лавиния. — Твой Электрик-парк — это такая даль. Проводишь меня, а потом тебе придется возвращаться домой через овраг. Да ведь если на тебя с дерева упадет хоть один листочек, у тебя будет разрыв сердца.

— Что ж, тогда я останусь ночевать у тебя, Лавиния, — сказала Франсина. — Ведь из всех нас ты самая хорошенькая.

Так они шли, двигаясь, будто три стройных и нарядных манекена, по залитому лунным светом морю зеленых лужаек и асфальта, и Лавиния приглядывалась к черным деревьям, что проплывали по обе стороны от них, прислушивалась к голосам подруг — они негромко болтали и пытались даже смеяться; и ночь словно ускоряла шаг, потом помчалась бегом — и все-таки еле плелась, и все стремительно несло куда-то, и все казалось раскаленным добела и жгучим, как снег.

— Давайте петь, — предложила Лавиния.

И они запели «Свети, свети, осенняя луна...». Они шли, взявшись под руки, не оглядываясь назад, и задумчиво, вполголоса пели. И чувствовали, как раскаленный за день асфальт понемногу остывает у них под ногами.

— Слушайте! — сказала Лавиния.

Они прислушались к летней ночи. Стрекотали сверчки, вдалеке часы на здании суда пробили без четверти двенадцать.

— Слушайте!

Она и сама прислушивалась. В темноте скрипнул гамак — это мистер Терн вышел на веранду выкурить перед сном последнюю сигару и молча одиноко сидел в гамаке. Розовый кончик сигары медленно качался взад и вперед.

«Огни постепенно гасли, гасли — и погасли совсем. Погасли огни в маленьких домишках и в больших домах, желтые огни и зеленые, фонари и фонарики, свечи, керосиновые лампы и лампочки на верандах — и все живое спряталось за медными, железными, стальными замками, засовами и запорами, — думала Лавиния, — все живое забило в тесные, темные каморки, завернулось и укрылось с головой. Люди лежат в кроватях, на них светит луна. Там, у себя в спальнях, они ничего не боятся, дышат ровно и спокойно, потому что они не одни. А мы идем по улице, по остывающему ночному асфальту. И над нами светят редкие уличные фонари, отбрасывая неверные, пьяные тени».

— Вот и твой дом, Франсина. Спокойной ночи!

— Лавиния, Элен, переночуйте у меня. Уже очень поздно, почти полночь. Я уложу вас в гостиной. Сварю горячего шоколада... будет так весело! — Франсина обняла их обеих.

— Нет, спасибо, — сказала Лавиния.

И Франсина заплакала.

— Ох, сделай милость, не начинай все сначала, — сказала Лавиния.

— Я не хочу, чтобы ты умерла, — всхлипывала Франсина, и слезы градом катились по ее щекам. — Ты такая красивая и милая, я хочу, чтобы ты осталась жива. Ну пожалуйста, пожалуйста, не уходи!

— Вот уж не думала, что ты из-за этого так разволнуешься. Я приду домой и сразу тебе позвоню.

— Обещаешь?

— Ну конечно, и скажу, что все в порядке. А завтра мы устроим в Электрик-парке пикник, я сама приготовлю сэндвичи с ветчиной. Ладно? Видишь, я вовсе не собираюсь умирать.

— Значит, ты позвонишь?

— Я же обещала!

— Ну тогда спокойной ночи, спокойной ночи!

Франсина одним духом взбежала на крыльцо и юркнула в дверь, которая тотчас же захлопнулась за ней, и следом загремел засов.

— Теперь я отведу домой тебя, Элен, — сказала Лавиния.

Часы на здании суда пробили полночь. Звуки летели над пустынным городом — никогда еще не был он таким пустынным. И замерли над пустынными улицами, над пустынями палисадниками и опустелыми лужайками.

— Девять, десять, одиннадцать, двенадцать, — считала Лавиния, держа Элен под руку.

— Правда, чувствуешь себя как-то странно? — спросила Элен.

— Ты о чем?

— Как подумаешь, что мы сейчас идем по улице, а все люди преспокойно лежат в постели за запертыми дверями. Ведь сейчас, наверное, на тысячу миль вокруг только мы одни остались под открытым небом.

До них донесся смутный шум, идущий из теплой и темной глубины: овраг был уже недалеко.

Через минуту они стояли у дома Элен и долгим взглядом смотрели друг на друга. Ветер дохнул запахом прозрачной свежести. По небу потянулись облака, и луна померкла.

— Может быть, все-таки останешься у меня, Лавиния?

— Нет, я пойду домой.

— Иногда...

— Что иногда?

— Иногда мне начинает казаться, что люди сами ищут смерти. Сегодня вечером ты ведешь себя престранно.

— Просто я ничуть не боюсь, — ответила Лавиния. — И мне, наверное, немножко любопытно. И я не теряю головы. Если рассуждать трезво, Душегуб никак не может сейчас быть где-нибудь поблизости. Такой переполох, и вся полиция на ногах.

— Твоя полиция давно уже дома и спит сладким сном.

— Ну, скажем так: я развлекаюсь, хоть и чуть рискованно, но, в общем, не опасно. Если бы это было и в самом деле опасно, я бы, конечно, осталась у тебя.

— А вдруг в глубине души тебе и правда не хочется жить?

— Глупости! И что вы с Франсиной такое выдумываете?

— Мне так совестно! Ты только еще доберешься до дна оврага и пойдешь по мосту, а я уже буду пить горячее какао!

— Выпей чашку за мое здоровье. Спокойной ночи!

Лавиния Неббс вышла одна на спящую улицу, в безмолвие августовской ночи. Дома стояли темные, ни одно окно не светило, где-то лаяла собака. «Через пять минут я буду уже дома и в безопасности, — думала Лавиния. — Через пять минут я позвоню этой глупышке Франсине. Я...»

И тут она услышала голос.

Вдалеке, меж деревьев, мужской голос пел: «Под июньской луной жду свиданья с тобой...»

Лавиния прибавила шагу.

Голос пел: «Я тебя обниму... и своей назову...»

В тусклом лунном свете по улице ленивой, беспечной походкой шел человек.

«Если уж придется, побегу и постучусь в любую дверь», — думала Лавиния.

— «Под июньской луной жду свиданья с тобой», — пел незнакомец, помахивая длинной дубинкой. — Ба, кто это тут бродит? Нашли время для прогулок, мисс Неббс, нечего сказать!

— Сержант Кеннеди?

Разумеется, это был он.

— Давайте-ка я провожу вас до дому.

— Спасибо, я и одна дойду.

— Но ведь придется идти через овраг...

«Да, — думала Лавиния, — но с мужчиной я через овраг не пойду, даже если он полицейский. Откуда мне знать, кто из вас Душегуб?»

— Ничего, — сказала она. — Я пойду быстро.

— Тогда я подожду здесь, — предложил он. — Если вам понадобится помощь, только крикните. Я услышу и тотчас прибегу.

— Спасибо.

И она пошла дальше, а он остался один под фонарем и опять замурлыкал свою песенку. «Ну вот», — сказала она себе. Овраг.

Лавиния стояла на верхней из ста тринадцати ступенек, которые вели вниз по крутому склону; потом надо было пройти семьдесят ярдов по мосту и снова подняться наверх, к Парк-стрит. И на всем этом пути — только один фонарь. «Через три минуты я поверну ключ, и отопру дверь моего дома, и войду, — думала она. — Ничего со мной не случится за каких-нибудь сто восемьдесят секунд».

Она начала спускаться по бесконечным, позеленевшим от плесени ступенькам в овраг.

— Одна, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, — считала она их шепотом.

Лавиния шла медленно, но задыхалась, точно от быстрого бега.

— Пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать ступенек, — задыхаясь, шептала она. — Это уже пятая часть пути, — объявила она себе.

Овраг был глубокий и черный, черный, непроглядно-черный! И весь мир остался позади, мир тех, кто спокойно спит в своей постели; запертые двери, город, аптека, кинотеатр, огни — все осталось позади. А здесь — один овраг, только он вокруг — черный и огромный.

— Ведь ничего не случилось, правда? И никого здесь нет. Двадцать четыре ступеньки, двадцать пять. А помнишь, в детстве мы пугали друг друга сказками о привидениях?

Она прислушалась к собственным шагам — они отсчитывали ступеньку за ступенькой.

— Помнишь сказочку про то, как в дом к тебе приходит черный человек, а ты уже лежишь в постели? И вот он уже на первой ступеньке лестницы, которая ведет к тебе в спальню. Вот он уже на второй ступеньке. Вот уже на третьей, на четвертой, на пятой! Помнишь, как вы все визжали и смеялись, слушая эту сказочку? И вот ужасный черный человек уже на двенадцатой ступеньке, вот он открывает дверь в твою комнату, вот стоит у твоей кровати. «АГА, ПОПАЛАСЬ!»

Лавиния вскрикнула. Никогда в жизни она не слыхала такого отчаянного вопля. И сама никогда в жизни не кричала так громко. Она остановилась, замерла на месте и ухватилась за деревянные перила. Сердце в груди разрывалось. Его неистовый стук, казалось, заполнил Вселенную.

«Вот, вот оно! — кричало что-то у нее внутри. — Там, внизу, под фонарем, кто-то стоит! Нет, уже скрылся. Но он меня ждал!»

Лавиния прислушалась.

Тишина.

На мосту — никого.

«Ничего там нет, — думала она, держась за сердце. — Ничего. Дура я! Зачем было вспоминать эту сказку? До чего глупо! И что мне теперь делать?»

Сердце понемногу успокоилось.

«Позвать сержанта Кеннеди? Может, он слышал, как я завопила?»

Она снова прислушалась. Ничего. Ничего.

— Пойду дальше. Это все та глупая сказка виновата.

Она опять начала считать ступеньки:

— Тридцать пять, тридцать шесть, осторожно, не упасть бы. Я просто дура. Тридцать семь, тридцать восемь... девять, сорок и еще две, значит, сорок две, уже почти полпути.

Она снова замерла.

— Погоди, — сказала она себе.

Сделала шаг. Раздалось эхо.

Еще шаг.

Снова эхо. Чужой шаг, на долю секунды позже.

— Кто-то идет за мной, — шепнула она оврагу, черным сверчкам, и затаившимся зеленым лягушкам, и черной речке. — Кто-то идет сзади по лестнице. Я боюсь обернуться.

Еще шаг, снова эхо.

— Как только я шагну, он тоже шагает.

Шаг и эхо.

— Сержант Кеннеди, это вы? — нерешительно спросила она у оврага.

Сверчки молчали.

Сверчки прислушивались. Ночь прислушивалась к ней и к ее шагам. Все дальние ночные луга и все ближние ночные деревья вокруг против обыкновения застыли и не шевелились; листья, кусты, звезды и трава в лугах — все вдруг замерло и слушало, как бьется сердце Лавинии Неббс. И может быть, где-то за тысячу миль, на глухом полустанке, где от поезда до поезда — целая вечность, одинокий путник читает сейчас газету при тусклом свете единственной лампочки — и вдруг поднимет голову, прислушается и спросит себя: что это? И подумает: наверное, просто дятел стучит по дуплистому стволу. Но нет, это не дятел, это Лавиния Неббс, это ее сердце стучит так громко.

Тишина. Тишина летней ночи, что раскинулась на тысячу миль, затопила землю, точно белое море, полное теней.

Скорей, скорей!

Все ниже по ступенькам.

Беги!

Она услышала музыку. Безумие, глупость, но на нее обрушилась мощная волна музыки, и тут оказалось — она бежит, бежит в страхе и ужасе, а в каком-то уголке сознания, еще усиливая и нагнетая страх, звучит грозная, тревожная музыка и толкает ее все дальше, дальше, скорее, скорее, и она летит и падает все ниже, ниже, на самое дно оврага.

— Еще немножко! — молила Лавиния. — Сто восемь, девять, сто десять ступенек! Наконец-то дно! Теперь бегом! Через мост!

Она торопила руки, ноги, все тело, весь свой страх, она приказывала всем фибрам своего существа в эту ослепительную и страшную минуту, когда она бежала над шумной и быстрой речкой по пустынным, гулким, качающимся и упругим, чуть ли не живым доскам, а за ней по мосту гнались шаги и настигали, настигали, и музыка тоже гналась следом, пронзительная и бессвязная...

«Он догоняет, не оборачивайся, не смотри, если увидишь его — перепугаешься насмерть и уже не сможешь двинуться с места. Беги, беги!»

Она бежала по мосту.

«Господи Боже, прошу Тебя, молю, дай мне взбежать наверх! Вот и подъем, тропинка, теперь между холмов, ох как темно, и все так далеко! Если я даже закричу, теперь это уже не поможет; да я и не в силах кричать. Ну вот конец тропки, вот и улица; Господи, хоть бы добраться, если только я доберусь домой, больше никогда в жизни никуда не пойду одна. Я была дура, ну да, я была дура, я не знала, что такое страх, но только бы добраться сегодня домой — клянусь, я уже никогда никуда не пойду без Элен или Франсины! Вот и улица. Теперь через дорогу!»

Она перебежала дорогу и кинулась дальше по тротуару.

«Ну вот крыльцо! Мой дом! Господи, дай мне еще минутку, я войду и запру дверь — и я спасена!»

И тут — как глупо, некогда сейчас замечать такие пустяки, скорей, скорей, не терять ни секунды, и все-таки она заметила: он блестит в темноте — недопитый стакан лимонада, она оставила его тут, на веранде, давным-давно, год назад, целых полвечера тому назад... Стакан с лимонадом стоит тут преспокойно как ни в чем не бывало... и...

Непослушные ноги поднялись по ступенькам крыльца, руки тряслись и никак не попадали в замок ключом. Сердце стучало на весь свет. И что-то внутри отчаянно кричало от страха.

Наконец-то ключ в замке.

«Открывай же, скорей, скорей!»

Дверь распахнулась.

«Скорей туда. Захлопывай!»

Она захлопнула дверь.

— Теперь на ключ, на засов, на все запоры! — задыхаясь, прошептала Лавиния. — Крепче, крепче, надежнее!

Дверь заперта крепко, надежно.

Музыка умолкла. Она вновь прислушалась к стуку сердца — он понемногу стихал.

«Дома! Наконец-то! Дома и в безопасности! Спасена, спасена, дома! — Она в изнеможении прислонилась спиной к двери. — Спасена, спасена! Слушай! Ни звука. Спасена, слава богу, спасена, в безопасности, дома. Никогда, никогда больше не выйду вечером на улицу. Буду сидеть дома. Никогда в жизни больше не пойду через этот овраг! Дома, дома, спасена, все хорошо, как все хорошо! Дверь заперта, все хорошо. Стоп! Выгляни в окно».

Она выглянула.

«Да ведь там никого нет! Никого! И никто вовсе за мной и не шел. Никто меня не догонял. — Лавиния вздохнула и чуть было не засмеялась над собой. — Ну ясно же! Если бы кто-то за мной гнался, он бы, конечно, меня поймал! Не так уж я быстро бегаю... И на веранде никого нет, и во дворе тоже... Какая я глупая! Ни от чего я не убегала. В этом овраге так же безопасно, как в любом другом месте.

И все-таки как хорошо дома! Так тепло, уютно, нет лучше места на земле!»

Она протянула руку к выключателю и замерла.

— Что? — сказала она. — Что? Что такое?!

У нее за спиной кто-то откашлялся.

* * *

— А, чтоб им пусто было, все-то они портят!

— Да ты не расстраивайся, Чарли!

— Ну ладно, а про что мы теперь будем говорить? Какой толк говорить про Душегуба, если его даже нет больше в живых? Это теперь ни капельки не страшно.

— Не знаю, как ты, Чарли, — сказал Том, — а я опять пойду к «Летнему льду». Сяду там у двери и стану воображать, будто он живой, и опять у меня мороз пойдет по коже.

— Ну, это обман.

— А как же быть, если кругом нет ничего страшного? Приходится что-то придумывать.

Дуглас не слушал, что говорят Том с Чарли. Он глядел на дом Лавинии Неббс и бормотал:

— Вчера вечером я был в овраге. Я это видел. Я все видел. А по дороге домой проходил тут. И видел этот самый стакан с лимонадом на веранде, там еще оставался лимонад. Мне даже захотелось его допить. Вот бы, думаю, допить его. Я был в овраге и тут тоже. Я был в самой-самой гуще всего.

Том и Чарли, в свою очередь, не обращали никакого внимания на Дугласа.

— Если хочешь знать, — говорил Том, — я и не верю во все, что Душегуб умер.

— Да ты ж сам был тут утром, когда «Скорая помощь» вынесла этого человека на носилках.

— Ясно, был, — сказал Том.

— Ну вот, это он самый и есть — Душегуб, дурень ты! Читай газеты! Целых десять лет он увертывался и не попадался — и вот старушка Лавиния Неббс берет и протыкает

его самыми обыкновенными ножницами! Вечно суются не в свое дело.

— Что же ей, по-твоему, сложить руки, и пускай он ее спокойненько душит?

— Нет, зачем же, но хоть выскочила бы из дому, побежала бы, что ли, по улице, заорала бы: «Душегуб! Душегуб!» А он бы тем временем улизнул. Да-а, до вчерашней полночи у нас в городе было хоть что-то хорошее. А теперь такая тишь да гладь, что даже тошно!

— В последний раз говорю тебе, Чарли: Душегуб не умер. Я видел его лицо, и ты тоже видел. И Дуг видел его, верно, Дуг?

— Что? Да, кажется. Да.

— Все его видели. Так вот, вы мне скажите: похож он, по-вашему, на Душегуба?

— Я... — начал Дуглас и умолк.

Прошло секунд пять.

— Бог ты мой, — прошептал наконец Чарли.

Том ждал и улыбался.

— Он ни капельки не похож на Душегуба, — ахнул Чарли. — Он похож просто на человека!

— Вот то-то и оно! Сразу видно — самый обыкновенный человек, который даже мухи не обидит! Уж если ты Душегуб, так должен быть и похож на Душегуба, верно? А этот похож на лоточника — знаешь, который вечером перед кином торгует конфетами.

— Что ж, по-твоему, это был просто какой-нибудь бродяга? Шел по городу, увидал пустой дом и забрался туда, а мисс Неббс взяла да там его и убила?

— Ясно.

— Постой-ка! Мы ведь не знаем, какой Душегуб с виду. Никаких его карточек мы не видали. А кто его видел, те ничего сказать не могут, потому что они уже мертвые.

— Ты отлично знаешь, какой Душегуб с виду, и я знаю, и Дуг тоже. Он обязательно высокий, да?

— Ясно...

— И обязательно бледный, да?

— Правильно, бледный.

— И костлявый, как скелет, и волосы длинные, черные, да?

— Ну да, я всегда так и говорил.

— И глазищи вылупленные и зеленые, как у кошки?

— Правильно, весь тут, тютельница в тютельница.

— Ну вот. — Том фыркнул. — Вы же видели этого беднягу, которого выволокли из дома мисс Неббс. Какой он, по-вашему?

— Маленький, лицо красное и даже вроде толстый, волос — кот наплакал, и те какие-то рыжеватые... Ай да Том, попал в самую точку! Пошли! Зови ребят! Ты им тоже все растолкуешь. Ясно, Душегуб живой! Он сегодня ночью опять будет всюду рыскать и искать себе жертву.

— Угу, — сказал Том и вдруг задумался.

— Ты молодчина, Том, здорово соображаешь. Никто бы из нас не сумел вот так поправить все дело. Целое лето чуть не полетело вверх тормашками, спасибо, ты вовремя выручил. Август будет не вовсе пропащий! Эй, ребята!

И Чарли умчался прочь, крича во все горло и размахивая руками.

А Том все стоял на тротуаре перед домом Лавинии Неббс. Он был бледен.

— Бог ты мой, — шептал он. — Что же я такое натворил?

И повернулся к Дугласу:

— Послушай, Дуг, что же это я натворил?

Дуглас не сводил глаз с дома. Губы его шевелились.

— Вчера вечером я был в овраге. Я видел Элизабет Рэмсел. И я проходил здесь по дороге домой. И видел стакан с лимонадом там, на веранде. Только вчера вечером. Я даже мог его выпить... Я его чуть не выпил...

Она была из тех женщин, у кого в руках всегда увидишь метлу, или пыльную тряпку, или мочалку, или поварешку. Утром она, что-то мурлыча себе под нос, срезала с пирога подгоревшую корочку, днем ставила пироги в духовку, а в

сумерки вынимала их. Когда она несла в буфет фарфоровые чашки, они звенели, точно колокольчики. Она неумоимо сновала по комнатам, словно пылесос, выискивая малейшие пылинки, наводя везде чистоту и порядок. В каждом окне стекла сверкали, как зеркала, вбирая в себя солнечные лучи. Дважды в день она обходила весь сад с лопаткой в руках — и всюду, где она проходила, тотчас распрямлялись и вспыхивали ярче трепетные огоньки цветов. Спала она спокойным сном, за всю ночь переворачивалась с боку на бок раза три, не больше, — она вся отдыхала, точно белая перчатка, которую на рассвете вновь заполнит неумоимая рука. А проснувшись, легко касалась людей и поправляла их, как покосившиеся картины.

Но теперь...

— Бабушка, — говорили все в доме. — Прабабушка.

Казалось, надо было сложить длинный-длинный столбик чисел — и вот теперь наконец под чертой выводишь самую последнюю, окончательную. Она начинала индеек, цыплят, голубей, взрослых людей и мальчишек. Она мыла потолки, стены, больных и детей. Она настилала на полы линолеум, чинила велосипеды, разводила огонь в печах, мазала йодом тысячи царапин и порезов. Неугомонные руки ее не знали устали — весь день они утоляли чью-то боль, что-то разглаживали, что-то придерживали, кидали бейсбольные мячи, размахивали яркими крокетными молотками, сажали семена в черную землю, укрывали то яблоки, запеченные в тесте, то жаркое, то детей, разметавшихся во сне. Она опускала шторы, гасила свечи, поворачивала выключатели и... старела. Если оглянуться назад, видно: она переделала на своем веку тысячи миллионов самых разных дел, и вот все сложено и подсчитано, выведена последняя цифра, последний ноль медленно становится на место. И теперь, с мелом в руке, она отступила от доски жизни, и молчит, и смотрит на нее, и сейчас возьмет тряпку и все сотрет.

— Что-то я еще хотела... — сказала прабабушка. — Что-то я хотела...

Без всякого шума и суматохи она обошла весь дом, добралась наконец до лестницы и, никому ничего не сказав, одна поднялась на три пролета, вошла в свою комнату и молча легла, как старинная мумия, под прохладные белоснежные простыни и начала умирать.

И опять голоса:

— Бабушка! Прабабушка!

Слухи о том, чем она там занимается, скатились вниз по лестнице, ударились о самое дно и расплескались по комнатам, за двери и окна, по улице вязов до края зеленого оврага.

— Сюда, сюда!

Вся семья собралась у ее постели.

— Не мешайте мне лежать спокойно, — шепнула она.

Ее недуг не разглядеть было ни в какой микроскоп; тихо, но неодолимо нарастала усталость, все тяжело маленькое и хрупкое, как у воробышка, тело, и сон затягивал — глубоко, все глубже и глубже.

А ее детям и детям ее детей никак не верилось: ведь то, что происходит, так просто и естественно, и ничего неожиданного тут нет, откуда же у них такая тревога?

— Послушай, бабушка, это просто нечестно. Ты же знаешь, без тебя развалится весь дом. Нам надо приготовиться, дай нам хоть год сроку!

Прабабушка открыла один глаз. Все ее девяносто лет спокойно глядели на врачей, как призрак из чердачного окна пустующего дома.

— Том...

Мальчика прислали одного; он подошел к самой кровати, чтобы расслышать шепот.

— Том, — слабо, издалека шептала прабабушка. — В южных морях наступает в жизни каждого мужчины такой день, когда он понимает: пора распрощаться со всеми друзьями и уплыть прочь, и он так и делает, и так оно и должно быть, потому что настал его час. Вот так и сегодня. Мы с тобой очень похожи — ты тоже иногда засиживаешься на субботних утренниках до девяти вечера, пока мы не пошлем за тобой отца. Но помни, Том, когда те же ковбой начинают

стрелять в тех же индейцев на тех же горных вершинах, самое лучшее — тихонько встать со стула и пойти напрямик к выходу, и не стоит оглядываться, и ни о чем не надо жалеть. Вот я и ухожу, пока я все еще счастлива и жизнь мне еще не наскучила.

Следующим к ней привели Дугласа.

— Бабушка, кто же весной будет крыть крышу?

Каждую весну, в апреле — так повелось с незапамятных времен, — на крыше поднимался перестук, точно ее долбили дятлы. Но это были не птицы: туда невесть каким образом забиралась прабабушка и под самым небом, весело напевая, забивала гвозди и меняла черепицы.

— Дуглас, — прошептала она. — Никогда не позволяй никому крыть крышу, если это не доставляет ему удовольствия.

— Хорошо, бабушка.

— Как придет апрель, оглянись вокруг и спроси: «Кто хочет чинить крышу?» И если кто-нибудь обрадуется, заулыбается, он-то тебе и нужен. Потому что с этой крыши виден весь город, и он тянется к полям, а поля тянутся за край земли, и река блестит, и утреннее озеро, и птицы поют на деревьях под тобой, и тебя овеивает самый лучший весенний ветер. Даже чего-нибудь одного довольно, чтобы весной на заре человек с радостью забрался хоть на флюгер. Это — час великих свершений, дай только случай...

Ее голос постепенно затих.

Дуглас плакал.

Она вновь встрепелулась.

— Отчего же ты плачешь?

— Оттого, что завтра тебя здесь не будет.

Старуха поглядела в маленькое ручное зеркальце, потом повернула его к мальчику. Он посмотрел на ее отражение, потом на свое, потом снова на нее.

— Завтра утром я встану в семь часов и хорошенько вымою уши и шею, — сказала она. — Потом побегу с Чарли Вудменом в церковь, потом на пикник в Электрик-парк. Я буду плавать, бегать босиком, падать с деревьев, жевать

мятную жевательную резинку... Дуглас, Дуглас, ну как тебе не стыдно? Ногти ты себе стрижешь?

— Да, бабушка.

— И не плачешь, когда твое тело возрождается каждые семь лет или вроде этого — когда у тебя на пальцах и в сердце отмирают старые клетки и рождаются новые? Ведь это тебя не огорчает?

— Нет, бабушка.

— Ну вот, подумай, мальчик. Только дурак станет хранить обрезки ногтей. Ты когда-нибудь видал, чтобы змея старалась сохранить свою старую кожу? А ведь в этой кровати сейчас только и осталось что обрезки ногтей да старая, облезлая кожа. Стоит один лишь разок вздохнуть поглубже — и я рассыплюсь в прах. Главное — не та я, что тут лежит, а та, что сидит на краю кровати и смотрит на меня, и та, что сейчас внизу готовит ужин, и та, что возится в гараже с машиной или читает книгу в библиотеке. Все это — частицы меня, они-то и есть самые главные. И я сегодня вовсе не умираю. Никто никогда не умирает, если у него есть дети и внуки. Я еще очень долго буду жить. И через тысячу лет будут жить на свете мои потомки — полный город! И они будут грызть кислые яблоки в тени эвкалиптов. Вот мой ответ всем, кто задает мудреные вопросы. А теперь быстро пришли сюда всех остальных!

И наконец вся семья собралась в спальне — стоят, точно на вокзале провожают кого-то в дальний путь.

— Ну вот, — говорит прабабушка, — вот и все. Скажу честно: мне приятно видеть всех вас вокруг. На будущей неделе принимайтесь за работы в саду и за уборку в чуланах, и пора закупить детям одежду на зиму. И раз уж здесь не будет той частицы меня, которую для удобства называют прабабушкой, разные другие частицы, которые называются дядя Берт, и Лео, и Том, и Дуглас, и все остальные, должны меня заменить, и всякий пусть делает что сможет.

— Хорошо, бабушка.

— И, пожалуйста, не устраивайте здесь завтра никакого шума и толчеи. Не желаю, чтобы про меня говорили всякие

лестные слова: я сама все их с гордостью сказала в свое время. Я на своем веку отведала каждого блюда и станцевала каждый танец — только один пирог еще надо попробовать, только одну мелодию остается спеть. Но я не боюсь. По правде говоря, мне даже интересно. Я ничего не собираюсь упустить, надо вкусить и от смерти. И пожалуйста, не волнуйтесь за меня. А теперь уходите все и дайте мне уснуть...

Где-то тихонько закрылась дверь.

— Вот так-то лучше.

Она уютно свернулась в теплом сугробе полотна и шерсти, простынь и одеял, и лоскутное покрывало горело всеми цветами радуги, точно цирковые флажки в старину. Так она лежала, маленькая, затихшая, и ждала — чего же? — совсем как восемьдесят с лишком лет назад, когда, просыпаясь по утрам, она нежилась в постели, расправляя еще не окрепшие косточки.

«Когда-то очень давно, — думала она, — мне снился сон, и он был такой хороший, и вдруг меня разбудили — это было в тот день, когда я родилась. А теперь? Постой-ка, дай сообразить... — Она унеслась мыслями в прошлое. — Да, так о чем бишь я?... — думала она. — Девяносто лет... Как теперь подхватить ту ниточку и воскресить тот давний сон? — Она высунула из-под одеяла высохшую руку. — А, вот... Да, вот оно». Она улыбнулась. Повернула голову на подушке, погружаясь глубже в теплый, пушистый снег. Вот так-то лучше. Да, теперь он снова возникал в ее памяти, спокойно и безмятежно, как тихое море, что плещет о бесконечный, вечнозеленый берег. И вот давний сон теплой волной коснулся ее, и поднял из снежного сугроба, и бережно понес над забытой уже постелью.

Внизу они чистят серебро, думала она, прибирают в погребу и подметают комнаты и коридоры. Слышно, как по всему дому идет неутомная жизнь.

— Все хорошо, — прошептала прабабушка, и сон подхватил ее. — Как и все в жизни, это правильно, все так и должно быть.

И волны повлекли ее в открытое море.

* * *

— Привидение! — закричал Том.

— Нет, — ответил голос. — Это я.

В темную спальню, наполненную ароматом яблок, ворвался призрачный свет. Баночка размером в четверть литра, точно повисшая в воздухе, переливалась множеством мерцающих огоньков. В этом мертвенно-бледном сиянии торжественно светились глаза Дугласа. Он так загорел, что его лицо и руки совсем растворились в темноте, а ночная сорочка казалась бесплотным видением.

— Ух ты! — выдохнул Том. — Двадцать, тридцать светлячков!

— Ш-ш, не ори!

— Зачем они тебе?

— Когда мы читали по вечерам с фонариками под одеялом, нам попало, да? Ну вот, а если тут будет стоять банка со светлячками, все подумают, что это просто коллекция.

— Дуг, ты гений!

Но Дуглас не ответил. Он с важностью водрузил мерцающую и подмигивающую банку на ночной столик, взял карандаш и стал усердно писать что-то в своем блокноте. Светлячки горели, умирали, снова горели и снова умирали, в глазах мальчика вспыхивали и гасли три десятка переменчивых зеленых огоньков, а он все писал — десять минут, двадцать, черкал, исправлял строчку за строчкой, записывал и вновь переписывал сведения, которые так жадно, второпях копил все лето. Том лежал и как замороженный не сводил глаз с крохотного живого костра, что вздрагивал, полыхал и замирал в банке, и наконец так и уснул, опершись на локоть, а Дуглас все писал и писал. На последней странице он подвел итог всему.

НЕЛЬЗЯ ПОЛАГАТЬСЯ НА ВЕЩИ, ПОТОМУ ЧТО:

...взять, например, машины: они разваливаются, или ржавеют, или гниют, или даже остаются недоделанными... или кончают свою жизнь в гараже...

...или взять теннисные туфли: в них можно пробежать всего лишь столько-то миль и с такой-то быстротой, а потом земля опять тянет тебя вниз...

...или трамвай. Уж на что он большой, а всегда доходит до конца, там уж и рельсов нет, и дальше ему идти некуда...

НЕЛЬЗЯ ПОЛАГАТЬСЯ НА ЛЮДЕЙ, ПОТОМУ ЧТО:

...они уезжают...

...чужие люди умирают...

...знакомые тоже умирают...

...друзья умирают...

...люди убивают других людей, как в книгах...

...твои родные тоже могут умереть...

ЗНАЧИТ...

Дуглас глубоко вздохнул и медленно, шумно выдохнул, опять набрал полную грудь воздуха и опять, стиснув зубы, выдохнул его.

ЗНАЧИТ, он дописал огромными, жирными буквами:

ЗНАЧИТ, ЕСЛИ ТРАМВАИ, И БРОДЯГИ, И ПРИЯТЕЛИ, И САМЫЕ ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ МОГУТ УЙТИ НА ВРЕМЯ ИЛИ НАВСЕГДА, ИЛИ ЗАРЖАВЕТЬ, ИЛИ РАЗВАЛИТЬСЯ, ИЛИ УМЕРЕТЬ, И ЕСЛИ ЛЮДЕЙ МОГУТ УБИТЬ, И ЕСЛИ ТАКИЕ ЛЮДИ, КАК ПРАБАБУШКА, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ЖИТЬ ВЕЧНО, ТОЖЕ МОГУТ УМЕРЕТЬ... ЕСЛИ ВСЕ ЭТО ПРАВДА... ЗНАЧИТ, Я, ДУГЛАС СПОЛДИНГ, КОГДА-НИБУДЬ... ДОЛЖЕН...

Вот тут светлячки, точно придавленные его мрачными мыслями, мигнули в последний раз и погасли.

«Все равно я сейчас больше не могу писать, — подумал Дуглас. — Больше я сегодня писать не стану. Не стану, не хочу кончать про это сегодня».

Он оглянулся на Тома — тот спал, опершись на локоть. Дуглас тронул его за руку, и Том со вздохом повалился на подушку.

Дуглас поднял банку с угасшими темными комочками, и, точно его рука их оживила, в банке снова засветились холодные огоньки. Он поднял ее так, чтоб мерцающий свет

падал на его блокнот. Надо было дописать самые окончательные, последние слова. Но он не стал их писать, а подошел к окну и распахнул раму с москитной сеткой. Потом отвинтил крышку банки и каскадом бледных искр высыпал светлячков в безветренную ночь. Они расправили крылышки и улетели.

Дуглас проводил их глазами. Они исчезли, точно бледные обрывки последних сумерек в истории умирающего мира. Они выскользнули у него из рук, как последние обрывки теплившейся надежды. Темнота окутала его лицо и все тело, темнота хлынула внутрь. Он остался опустошенный, как банка из-под светлячков, которую он, сам того не замечая, положил с собой в кровать, когда пытался заснуть...

* * *

Ночь за ночью она сидела в своем стеклянном гробу и ждала; тело ее таяло в карнавальном блеске лета, зябло в призрачных ветрах зимы, уголки губ приподнялись в улыбке, крючковатый восковой нос навис над бледно-розовыми, морщинистыми, восковыми руками, навсегда застывшими над раскинувшейся веером колодой старинных карт. Колдунья Таро! Восхитительное имя! Колдунья Таро. Сунешь в серебряную щель монетку, и где-то далеко внизу, в самой глубине, внутри хитроумного механизма что-то застонет, заскрипит, повернутся какие-то рычажки, завертятся колесики. И колдунья в стеклянном ящике поднимет голову и ослепит тебя одним острым, как игла, взглядом. Неумолимая левая рука опустится и скользнет по картам, словно перебирая таинственные квадратики — черепа, чертей, висельников, пустынников, кардиналов и клоунов, и голова склонится низко-низко, точно вглядываясь: что они тебе сулят, карты, — горе, убийство, надежду или здоровье, возрождение по утрам и новую смерть каждый вечер? Потом она тонким паутинным почерком выведет что-то на одной из карт и выпустит ее, и карта порхнет по крутому желобу прямо тебе в руки. И тут колдунья

сверкнет в тебя на прощание уже тускнеющими глазами и вновь застынет в своей неизменной стеклянной скорлупе на долгие месяцы и годы, пока новая медная монетка не возродит ее, всеми забытую, снова к жизни. Сейчас, мертвая и восковая, она, казалось, неохотно ждала приближения двух братьев.

Дуглас приложил пятерню к стеклу.

— Вот она.

— Обыкновенная восковая кукла, — сказал Том. — И зачем ты привел меня глядеть на нее?

— Вечно ты допытываешься — зачем да почему! — завопил Дуглас. — Потому что «потому» кончается на «у».

Потому что... огни Галереи затуманились... потому что...

Однажды вдруг оказывается, что ты живой.

Взрыв! Потрясение! Озарение! Восторг!

Ты хохочешь, пляшешь, кричишь.

Но очень скоро солнце заходит за тучи. В жаркий августовский полдень сыплет снег, только никто его не видит.

В ковбойском фильме в прошлую субботу на раскаленном экране человек упал мертвым. Дуглас вскрикнул. За несколько лет у него на глазах застрелили, повесили, сожгли, уничтожили миллион ковбоев. Но сейчас, когда убили этого человека...

Никогда больше он не будет ходить, бегать, сидеть, смеяться, плакать, никогда не будет ничего делать, думал Дуглас. Сейчас он уже холодеет. Зубы Дугласа выбивали дробь, сердце стучало медленно и трудно. Он изо всех сил зажмурился, его трясло от беззвучных подавленных рыданий.

Пришлось удрать от остальных ребят — ведь они не думали о смерти, они смеялись и улюлюкали мертвецу, как будто он был еще живой. Дуглас и мертвец отплыли в лодке, а ярко освещенный берег остался позади, и там бегали, прыгали и бесновались остальные, не зная, что лодка с Дугласом и мертвецом плывет, плывет все дальше, уже уплыла в темноту. Дуглас с плачем побежал в пахнувшую известью муж-

скую комнату, и там его вырвало — точно огненные струи трижды обожгли ему горло.

Он ждал, когда пройдет тошнота, и думал: «Сколько людей, которых я знал, умерли этим летом... Полковник Фрилей умер! А я этого раньше толком и не понял. Почему? И прабабушка тоже умерла. По-настоящему умерла — и кончено. И это еще не все... (Он запнулся.) А я? Нет, они не могут убить меня!» — «Да, — сказал голос внутри, — да, могут, стоит им только захотеть, как ни брыкайся, как ни кричи, тебя просто придавят огромной ручищей, и ты затихнешь...» — «Я не хочу умирать», — беззвучно закричал Дуглас. «Все равно придется, — сказал голос внутри, — хочешь не хочешь, а придется».

Солнце за окнами кинотеатра освещало какую-то ненастоящую улицу, ненастоящие дома, и люди двигались так медленно, словно затонули в ослепительных тяжелых волнах чистого горящего газа, и Дуглас думал: «Никуда не денешься, пора, надо идти домой и дописать в блокноте последнюю строчку: КОГДА-НИБУДЬ Я, ДУГЛАС СПОЛДИНГ, ТОЖЕ ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ...»

Минут десять он все никак не мог решиться пересечь улицу; потом сердце его стало биться спокойнее, и он увидел Галерею и на обычном месте, в прохладной пыльной тени, странную восковую колдунью, и под пальцами у нее — людские судьбы. Проезжавшая машина бросила на Галерею снопы лучей, метнулись тени, и Дугласу показалось, что восковая кукла быстрым кивком позвала его.

И он повиновался и через пять минут вышел оттуда, уверенный, что теперь-то уж с ним ничего не может случиться. И, конечно, надо показать ее Тому.

— Она совсем как живая, — сказал Том.

— Она и есть живая. Вот смотри.

Он сунул в щель монетку.

Ничего не произошло.

Дуглас окликнул через всю Галерею ее владельца, мистера Мрака; тот сидел на ящике, в каких развозят бутылки с

содовой, и, запрокинув голову, тянул из полупустой бутылки золотисто-коричневую жидкость.

— Эй! — закричал Дуглас. — С колдуньей что-то неладно!

Мистер Мрак подошел, шаркая ногами; глаза его были полузакрыты, он шумно, прерывисто дышал.

— И с тираном неладно, и с панорамой, и «Электрический стул за грош» тоже разладился, — пожаловался он и стукнул кулаком по стеклянному ящику. — Эй, ты! Давай работай!

Колдунья не шелохнулась.

— Мне один ремонт каждый месяц стоит больше, чем на ней выручишь.

Мистер Мрак сунул руку за ящик, вытащил объявление «Не работает» и повесил его прямо на лицо гадалки.

— Что ж, не с одной с ней неладно. И со мной неладно, и с вами, и с городом неладно, и во всей стране, и во всем мире. К черту тебя! — Он погрозил колдунье кулаком. — На свалку тебя, слышишь? На свалку! На лом!

Тяжело волоча ноги, он побрел прочь, грузно опустился на свой ящик и принялся ощупывать монетки в кармане фартука, точно у него болел живот.

— Неужели она испортилась... Этого просто не может быть, — прошептал потрясенный Дуглас.

— Она уже старая, — сказал Том. — Дедушка говорит, она стояла тут, когда он был еще мальчишкой, и даже раньше. Надо же ей когда-нибудь окочуриться...

— Ну пожалуйста, — молил Дуглас. — Пожалуйста, погадай еще один только разочек, пускай Том посмотрит!

Он потихоньку сунул в щель монетку.

— Пожалуйста!

Мальчики прижались к стеклу, от их дыхания оно затуманилось.

Где-то в самой глубине ящика зашуршало, зажужжало...

Колдунья медленно подняла голову, поглядела на мальчиков так, что у них кровь застыла в жилах, и рука ее заметалась над картами, то вдруг повисая над одной из них, то вновь срываясь — вправо, влево. Вот она наклонила голову,

одна рука дернулась и замерла, а другая судорожно задвигалась, чертя что-то на карте; она писала, останавливалась и вновь писала, а машину трясло как в лихорадке. Наконец машина содрогнулась так, что задрезжал стеклянный ящик, и вторая рука тоже застыла. Колдунья низко опустила голову, неживые черты ее словно исказила странная горестная гримаса. Потом механизм точно ахнул, скользнуло какое-то колесико, и в подставленные ладони Дугласа скатилась крошечная гадальная карта.

— Она ожила! Она опять действует!

— Дуг, а что там, на карте?

— То же самое, что она написала мне в субботу. Слушай!
И Дуглас прочитал:

Гоп-ля-ля! Тру-ля-ля!
Только дурак хочет умереть!
То ли дело плясать и петь!
Когда звучит погребальный звон,
Пой и пляши, дурные мысли — вон!

Пусть воеет буря,
Дрожит земля,
Пляши и пой,
Тру-ля-ля, гоп-ля-ля!

— И больше ничего? — спросил Том.

— Еще в конце есть: «Предсказание: долгая и веселая жизнь».

— Вот это уже похоже на дело! А мне она погадает?

И Том сунул в щель монетку. Колдунья содрогнулась. В ладони мальчика упала карта.

— Кто добежит последним, тот колдунья хвост, — спокойно заявил Том.

Они вихрем помчались прочь — мистер Мрак только ахнул и стиснул в одном кулаке сорок пять медных монеток, в другом — тридцать шесть.

На улице при неверном свете фонаря они сделали ужасное открытие.

Карта была пуста.

— Этого не может быть!

— Да ты не волнуйся, Дуг. Ну обыкновенная пустая карта, мы потеряли всего один пенни — подумаешь, беда какая!

— Это вовсе не обыкновенная пустая карта, и мне не денег жалко, не в том дело: тут вопрос жизни и смерти.

Под дрожащими лучами фонаря Дуглас разглядывал карту, вертел ее и так и этак, будто надеясь, что на ней появится хоть одно словечко; он был очень бледен.

— У нее кончились чернила.

— У нее никогда не кончаются чернила!

Дуглас посмотрел через окно на мистера Мрака — тот допивал свою бутылку и отчаянно ругался, даже не подозревая, какой он счастливый, что живет здесь, в этой Галерее. Только бы теперь Галерея тоже не развалилась, думал Дуглас. И без того в жизни все плохо: друзья исчезают, людей убивают и хоронят, так уж пусть хоть волшебная Галерея останется!.. Только бы она осталась как есть!

Теперь Дуглас понял, почему его так упорно тянуло сюда всю неделю и сегодня тоже. Здесь все прочно, неизбежно, установлено раз и навсегда, все заранее известно, ясно и непоколебимо, всегда неизменно сверкают серебряные щели автоматов, восковой герой неизменно поражает кинжалом ужасную гориллу, спасая совсем уж восковую героиню; стоит опустить в щелку пенни — и за маленьким окошком, под одинокой голой электрической лампочкой неизменно начинается разматываться узкая пленка и начинается погоня: отчаянно мчатся отчаянные бандиты, только чудом не попадая то под автомобиль, то под трамвай, то под поезд, вечно кидаются с волнолома в океан, но, конечно, не тонут, потому что опять и опять им надо мчаться навстречу автомобилю, трамваю, поезду, снова и снова нырять все с того же знакомого-перезнакового волнолома. Вечные и неизменные замкнутые мирки, грошовой аттракционы, которые пускаешь в ход, чтобы повторились те же неизменные, привычные заклинания и обряды. Только пожелай — и песчаный ветер подхватит братьев Райт, и вот они парят на крыльях «Китти

Хоук»; только пожелай — и Тедди Рузвельт выставит напоказ все свои зубы в ослепительной улыбке; отстраняется и горит, горит и отстраняется Сан-Франциско — до тех пор, пока в ненасытную глотку автоматов летят жаркие от потных ладоней медяки.

Дуглас огляделся — как знать, что тебя ждет в этом ночном городе, что может случиться через минуту? Днем ли, ночью ли, здесь слишком мало шелей, куда можно сунуть монетку, слишком мало попадает тебе в руки карт, по которым можно прочесть свою судьбу, и даже в тех, которые читаешь, почти никогда нет никакого смысла. Здесь, в мире людей, можно отдать время, деньги, молитву — и ничего не получить взамен.

А там, в Галерее, можно подержать в руках молнию — на то есть электрическая машина «Попробуй вытерпи!»: если раздвинуть ее хромированные рукоятки, электрический ток ужалит как оса, обожжет и прошьет, точно иглой, твои содрогающиеся пальцы. А вот силомер: стукни кулаком по мешку с опилками изо всех сил — и сразу увидишь, сколько сотен фунтов найдется у тебя в мускулах, чтобы ударить, если понадобится, по всему миру. Или еще: стисни руку робота и попробуй — кто кого, чья рука скорей опустится; тогда зажгутся лампочки хотя бы посередине кривой черты, взлетающей на доске с цифрами, а если вспыхнет фейерверк на самом верху — значит, ты даже сильнее робота.

Словом, в Галерее всегда знаешь, что получится из каждого твоего шага, чего ждать от каждого автомата. И уходишь оттуда успокоенный, как из какого-то вновь обретенного храма.

А теперь? Как же теперь?

Колдунья еще двигается, но молчит и, пожалуй, скоро совсем умрет в своем прозрачном гробу. Дуглас взглянул на мистера Мрака — тот дремал, словно бросая вызов всем мирам, даже своему собственному. Когда-нибудь все эти прекрасные механизмы заржавеют, потому что некому за ними заботливо ухаживать; бандиты и сыщики раз и навсегда за-

стынут на бегу, наполовину погрузившись в озеро или наполовину увернувшись от колес паровоза, братья Райт так и не поднимут в воздух свой летательный аппарат...

— Том, — сказал Дуглас, — надо посидеть в библиотеке и все как следует обдумать.

Они пошли по улице, опять и опять передавая друг другу белую пустую карту.

Они посидели в библиотеке, в притененном свете ламп под зелеными абажурами; потом вышли, уселись верхом на каменного льва и долго сидели, хмурясь и болтая ногами.

— Старик Мрак только и делает, что кричит на нее да грозитя убить.

— Как же ее убить, Дуг? Она ж никогда и не была живая.

— Он-то с ней обращается так, будто она живая или когда-то была живая. Орет на нее, вот ей и надоело. Или, может, не совсем надоело, а просто она подает нам тайный знак, что ее жизнь в опасности. Может, тут невидимые чернила или лимонный сок! Наверняка тут что-то написано, только она не хотела, чтобы мистер Мрак увидел, — вдруг бы он вздумал посмотреть, пока мы еще не ушли? Постой-ка! У меня есть спички!

— С чего бы это она стала нам писать, Дуг?

— Держи карту! Ну-ка...

Дуглас чиркнул спичкой и быстро провел ею под картой.

— Ой! Не жги мне пальцы, Дуг, на них-то ничего не написано!

— Вот видишь! — с торжеством закричал Дуглас.

И в самом деле, на белом квадратике проступили тонкие, чуть заметные линии, как будто невероятно перепутанные письма... слово, два, три...

— Она горит! — взвыл Том и уронил карту.

— Наступи ногой!

Но пока они вскочили и начали топтать каменную спину старого льва, карта успела превратиться в горстку пепла.

— Дуг! Теперь мы никогда не узнаем, что там было!

Дуглас задумчиво глядел на свою ладонь, на теплые черные хлопья.

— Нет, я видел. Я помню все слова.

Пепел с еле слышным шелестом разлетелся с его руки.

— Помнишь, мы весной видели в кино комедию про Быстроногого Чарли? Там тонул француз и все время кричал одно слово по-французски, а Чарли никак не мог его понять: «Secours! Secours!»¹ А потом кто-то сказал Чарли, что это значит, и он прыгнул в воду и спас француза. Ну вот, я своими глазами видел на карте это слово — «Secours!».

— Зачем же ей писать по-французски?

— Чтобы мистер Мрак не понял, дурень!

— Дуг, это был просто водяной знак, он только стал виднее, когда карта нагрелась... — Тут Том увидел лицо Дугласа и загнулся. — Ладно, не злись. Там было что-то вроде «секу», верно. Но ведь были и другие слова...

— Там еще стояло... «Мадам Таро». Том, я все понял! Когда-то, очень давно, и правда жила такая мадам Таро, она была гадалка-предсказательница. Я один раз видел ее портрет в энциклопедии. К ней со всей Европы съезжались люди, и она предсказывала им судьбу. Том, ну неужели ты еще ничего не понял? Ты думай, думай хорошенько!

Том снова оседлал льва и поглядел вдоль улицы туда, где мерцали огни Галереи.

— Что ж, по-твоему, это и есть самая настоящая мадам Таро?

— Ну ясно! Снаружи стеклянный ящик, а в нем пропасть красного и голубого шелка, а там — воск, уж такой-то старый, наполовину растопился, а внутри — она! Может, ее когда-то кто-то приревновал или возненавидел, вот и залил ее всю воском и навсегда засадил в этот ящик, и она сотни лет переходила от одного злодея к другому и наконец очутилась здесь, у нас, в Грингауне, штат Иллинойс, и чем бы гадать королям всей Европы, работает теперь тут за медные гроши!

— А разве мистер Мрак — злодей?

¹ Спасите, на помощь! (фр.)

— Конечно! Имя — Мрак, рубашка черная, штаны черные и галстук черный. В кино злодеи всегда одеты во все черное, разве нет?

— Но почему же она не звала на помощь в прошлом году или в позапрошлом?

— Почему ты знаешь? Может, она уже сто лет каждый вечер пишет на картах лимонным соком, а все читают только то, что написано чернилами, и никто не додумался, как мы, подогреть карту и поглядеть, что там написано на самом деле. Хорошо, что я вспомнил это самое «Secours».

— Ну ладно, она просит помощи. А дальше что?

— Ясно, мы ее спасем.

— Украдем прямо из-под носа у мистера Мрака, да? А потом он нас засадит в стеклянные ящики вместо колдуньи, зальет лицо воском, и будем мы там сидеть десять тысяч лет?

— Том, вот она, библиотека. Давай вооружимся чарами и магическими зельями и одолеем мистера Мрака.

— Мистера Мрака может одолеть одно-единственное зелье на свете, — сказал Том. — Каждый вечер, как только у него наберется достаточно монеток, он... постой-ка. — Том вытащил из кармана несколько монеток. — Ага, этого, наверное, хватит. Дуг, ты иди, читай книги. А я побегу обратно и пятнадцать раз погляжу «Бандитов и сыщиков» — это мне никогда не надоедает. А потом приходи, встретимся у Галереи, тогда зелье уже, верно, будет работать на нас.

— Том, а ты понимаешь, чем это пахнет?

— А ты хочешь выручить эту принцессу или нет?

Дуглас круто повернулся и побежал во весь дух.

Том подождал, пока двери библиотеки не захлопнулись за братом. Потом перепрыгнул через льва и канул в ночь. Ветер сдунул со ступеней библиотеки пепел колдуньиной карты.

В Галерее было темно: лабиринты «китайского бильярда» лежали смутные и загадочные, словно кто-то чертил палкой в пыли на полу пещеры великана. В окошках панорамы игриво усмехался Тедди Рузвельт, а братья Райт запускали деревянный

пропеллер. Колдунья сидела в своем ящике, ее восковые глаза были совсем тусклые. И вдруг один глаз блеснул. Луч карманного фонарика пробился снаружи сквозь запыленные окна. Грузная фигура, пошатываясь, прислонилась к запертой двери, в замке заскрипел ключ. Дверь с грохотом распахнулась да так и осталась открытой. Донеслось тяжелое дыхание.

— Это я, старушка, — сказал, покачиваясь, мистер Мрак.

В это время к Галерее, уткнувшись в книгу, подошел Дуглас, огляделся и увидел Тома, который притаился в соседнем подъезде.

— Тсс! — шепнул Том. — Все прошло как по маслу. Я пятнадцать раз подряд запустил «Бандитов и сыщиков». Мистер Мрак, как услышал, что я накидал в машину пятнадцать монет, прямо глаза вытарашил, в два счета открыл автомат, вытащил все деньги, выгнал меня вон и скорей пошел в забегаловку через дорогу за магическим зельем.

Дуглас подкрался к окну и заглянул внутрь: в темноте смутно виднелись две гориллы — одна застыла неподвижно с восковой красавицей на руках, другая стояла посреди комнаты и слегка покачивалась.

— Ух, Том, ты просто гений! — прошептал Дуглас. — Он совсем упился этим своим зельем.

— Вот то-то и оно. А ты что-нибудь узнал?

Дуглас похлопал ладонью по книге и сказал вполголоса:

— Я правильно говорил, эта мадам Таро предсказывала судьбу, смерть и еще всякую всячину разным богачам, но она сделала одну ошибку: предсказала Наполеону поражение и смерть прямо ему в глаза! Ну и конечно...

Он умолк и снова поглядел через пыльное стекло на неясную фигуру, что спокойно сидела в своем стеклянном ящике.

— «Secours», — пробормотал Дуглас. — Ясно, Наполеон вспомнил про Музей мадам Тюссо и велел мастерам бросить колдунью Таро живьем в кипящий воск... и вот теперь... вот она и...

— Смотри, смотри, Дуг! Что это затеял мистер Мрак? У него там какая-то дубинка или палка, что ли...

И в самом деле, грузная фигура мистера Мрака угрожающе качнулась к ящику. С отвратительной руганью он замахал перед самым носом колдуньи огромным ножом.

— Он прицепился к ней потому, что во всем этом окаянном сборище только она одна и похожа на человека, — сказал Том. — Он не сделает ей ничего плохого. Сейчас свалится на пол и захрапит.

— Ну уж нет, — сказал Дуглас. — Он знает, что она нас предупредила и мы придем ей на выручку. Он боится, как бы мы не раскрыли его преступную тайну... может, он задумал сегодня же уничтожить ее раз и навсегда?

— Откуда ему знать, что она нас предупредила? Мы и сами этого не знали, пока не ушли отсюда.

— Он бросал монетки в машину и заставил ее сознаться, ведь на этих картах с черепами и костями она соврать не может. Она поневоле говорит правду, вот она и выдала ему карту, на которой изображены два рыцаря — маленькие, вроде мальчишек, понимаешь? Это и есть мы, с дубинками в руках, идем по улице прямо сюда.

— Бросаю монету в последний раз! — донесся, словно из пещеры дикаря, вопль мистера Мрака. — В последний раз, черт бы тебя побрал, я требую: говори! Заработаю я хоть что-нибудь на этой распроклятой Галерее или мне сразу объявить себя банкротом? Все вы, бабы, такие: сидит тут, холодная, как рыба, а человек помирает с голоду! Ну, давай карту! Так. Сейчас поглядим.

И он поднес карту к свету.

— Ух ты, что сейчас будет! — шепнул Дуглас. — Ну, приготовиться!

— Нет! — завопил мистер Мрак. — Лгунья, лгунья! Вот тебе!

И грохнул кулаком по ящику. Взметнулся фонтан стеклянных брызг, точно тысячи звезд сверкнули и угасти в темноте. Колдунья сидела теперь беззащитная и спокойно, с достоинством ждала следующего удара.

— Нет! — Дуглас ворвался в Галерею. — Мистер Мрак!

— Дуг! — закричал Том.

Мистер Мрак круто обернулся. Наобум занес нож. Дуглас оцепенел. Но мистер Мрак только мигнул, вытаращил глаза, повернулся вокруг собственной оси и медленно повалился на пол — он падал целую тысячу лет! Фонарик выпал из его правой руки, нож серебряной рыбкой выскользнул из левой.

Том с опаской вошел в полутемную Галерею и взгляделся в распростертое тело.

— Дуг, по-твоему, он умер?

— Нет, это его потрясло предсказание мадам Таро. Смотри: он какой-то прямо как ошпаренный. Наверное, на карте было написано что-то ужасное.

Мистер Мрак громко храпел на полу.

Дуглас подобрал разбросанные гадальные карты и дрожавшими руками засунул их в карман.

— Том, давай унесем ее отсюда, пока не поздно.

— Да ты что, спятил? Это ж воровство!

— А ты хочешь, чтоб тебя обвинили в содействии и соучастии, а то и похуже? В убийстве, например?

— Тыфу ты! Как можно убить несчастную старую куклу?

Но Дуглас не слушал. Стеклопреграды уже не было, он протянул руки, и восковая колдунья Таро с шорохом, подобным вздоху, медленно склонилась вперед и упала в его объятия, точно она ждала этой минуты долгие-долгие годы.

Часы на здании суда пробили без четверти десять. Луна поднялась уже высоко и наполняла все небо ярким, хоть и неприветливым, светом. По тротуару, словно отлитому из серебра, двигались черные тени. Дуглас шел один, медленно и осторожно, неся в руках куклу из бархата и воска; он минутно отступал в сторону и прятался в скользящей тени деревьев. И прислушивался и оглядывался. Но вот легкий шорох, точно бегут мыши. Из-за угла пулей вылетел Том и мигом догнал брата.

— Дуг, я застрял потому, что боялся — вдруг он... ну, в общем... а потом он ожил и стал ругаться... Ох, Дуг, если

он тебя поймает с этой куклой! Что подумают наши? Это же воровство!

— Тише ты!

Они прислушались, оглянулись: улица расстилалась позади, словно лунная река.

— Вот что, Том: ты можешь помочь мне спасти ее, но тогда не называй ее куклой, и не кричи так, и не тащись, точно куль с мукой.

— Ясно, я помогу! — Том тоже взялся за колдунью. — Ну и тяжесть!

— Она была совсем молоденькая, когда Наполеон... — Дуглас перебил себя: — Старые всегда тяжелые. Потому и видно, что они старые.

— А к чему все это, Дуг? Ты мне скажи, к чему мы из-за нее так хлопочем, а?

К чему? Дуглас растерянно заморгал и остановился. Все случилось так быстро, он зашел так далеко и так разволновался, что успел уже забыть, к чему все это и зачем. И только теперь, когда они уже снова шагали по тротуару и на веках у них трепетали тени, точно черные бабочки, а руки пропахли пыльным воском, он вдруг подумал: «А правда, к чему?» — и медленно заговорил, и голос у него был чужой и далекий, как этот неверный лунный свет.

— Знаешь, Том, совсем недавно, месяца полтора назад, я вдруг открыл, что я живой. Ну и плясал же я тогда! А потом, только на прошлой неделе, в кино, я открыл, что когда-нибудь непременно умру. Раньше я об этом вовсе не думал. И меня как-то ошарашило... будто мне вдруг сказали, что больше никогда не будет кино и пикников, или что школу закроют навсегда, а ведь она не такая уж плохая, хоть мы ее и ругаем, или все персиковые деревья вдруг завянут, или овраг засыплут и совсем негде будет играть, или я заболею и буду сто лет лежать в постели в темноте... и я здорово напугался. И теперь сам не знаю, что к чему. Но только я хочу помочь мадам Таро. Спрячу ее на несколько недель или месяцев, а пока поищу в библиотеке книжек по черной магии и узнаю, как ее расколдовать

и вытащить из этого воска, и пускай себе опять живет на свете, она и так уж сколько времени потеряла даром. И, ясное дело, она будет очень благодарна, и разложит свои карты со всеми чертями, и кубками, и саблями, и костями, и предскажет мне, которую яму надо обходить стороной и в какие четверги лучше оставаться в постели. И я буду жить вечно или вроде того.

— Ты же и сам в это не веришь.

— Нет, верю — почти во все. Осторожно, вот и овраг. Мы пройдем напрямик, через свалку, и...

Том остановился — Дуглас схватил его за руку. Не обращившись, мальчики слушали грохот тяжелых шагов за спиной; каждый шаг вызывал громкое эхо, будто на дне пересохшего озера неподалеку падали из ружья. Кто-то выкрикивал ругательства.

— Том, ты навел его на след!

Они побежали, но огромная рука подхватила их и швырнула одного направо, другого налево. Они с криком покатились по траве, а расвирепевший мистер Мрак бешено размахивал кулаками, скалил зубы и брызгал слюной. Он держал куклу за шиворот и за локоть и яростно сверкал глазами на мальчиков.

— Она моя! Что хочу, то и делаю! Какого черта вы ее стащили? От нее все мои несчастья — и денег нет, и дело прогорает, все летит к чертям. Сейчас я ей покажу!

— Не надо! — закричал Дуглас.

Но огромные железные ручищи вскинули хрупкое восковое тело так высоко, что оно заслонило луну, закружили, завертели его под звездами и наконец с проклятиями метнули, точно из великанской рогатки, прямо в овраг. Оно просвистело в воздухе и рухнуло, следом полетели проклятия, лавиной посыпался мусор, взметнулось облако пыли и пепла. Дуглас приподнялся, сел и поглядел вниз.

— Нет, — сказал он. — Нет!

Мистер Мрак качнулся на краю откоса, охнул и тоже чуть не полетел в овраг.

— Скажите спасибо, что я и вас туда же не отправил!

И он неуверенно побрел прочь, ноги у него заплетались, один раз он упал, но поднялся и все время что-то бормотал про себя, то хохотал, то бранился, пока не исчез из виду.

Дуглас долго сидел на краю оврага и плакал. Наконец высморкался. Поглядел на брата:

— Том, уже поздно. Папа будет всюду ходить и нас искать. Нам надо было вернуться час назад. Беги домой по Вашингтон-стрит, найди папу и приведи сюда.

— Ты что, может, в овраг за ней полезешь?

— Раз она валяется на помойке, она теперь ничья. И никому нет до нее дела, даже мистеру Мраку. Скажи папе, за чем я его зову и что ему вовсе незачем возвращаться с нами по городу, пускай его никто с ней не видит. Я понесу ее задворками, и никто ничего не узнает.

— Да ведь от нее теперь никакого толку, механика-то вся сломана.

— Как же ты не понимаешь, ведь не оставлю я ее здесь одну, под дождем.

— Ясное дело.

И Том медленно пошел прочь.

Дуглас стал спускаться в овраг, осторожно пробираясь между грудками золы, грязной бумаги и консервных банок. На полдороге он остановился и прислушался.

Вгляделся в многоцветный сумрак, в провал, зияющий под ногами.

— Мадам Таро!

Ему почудилось, что далеко внизу в лунном свете шевельнулась восковая рука. Это на ветру затрепетал клочок бумаги. Но Дуглас все же двинулся к нему...

Городские часы пробили полночь. Почти всюду в домах погасли огни. В маленькой мастерской в гараже отец и двое сыновей отступили от колдуньи — она сидела теперь спокойно, совсем как прежде, в старом кресле-качалке, а перед нею на карточном столике, покрытом клеенкой, фантастическим веером раскинулись монахи и клоуны, кардиналы

и скелеты, солнца и хвостатые звезды — гадальные карты, которых она чуть касалась восковой рукой.

Говорил отец:

— ...все отлично понимаю. Бывало, еще мальчишкой, когда из нашего города уезжал цирк, я носился как сумасшедший и собирал миллионы афиш. Потом разводил кроликов, увлекался колдовством. Мастерил на чердаке всякие иллюзии, а потом никак не мог их оттуда вытащить. — Он кивнул колдунье. — Помню, лет тридцать назад она и мне предсказала будущее. Ну ладно, теперь хорошенько почистите ее и идите спать. А в субботу мы для нее соорудим специальный ящик.

Отец пошел было к выходу из гаража, но Дуглас тихонько его окликнул:

— Пап. Спасибо тебе. Спасибо за обратную дорогу. В общем, спасибо.

— Вот еще, — сказал отец и вышел.

Оставшись одни с колдуньей, братья поглядели друг на друга.

— Надо же, прямо по Главной улице так и прошагали все вчетвером — ты, я, папа и она! Другого такого отца на свете нет!

— Завтра пойду и откуплю у мистера Мрака все остальные автоматы, — сказал Дуглас. — Долларов за десять он их отдаст, все равно ведь выкидывать.

— Ясное дело. — Том поглядел на старуху в кресле-качалке. — Ух ты, сидит совсем как живая. Интересно, что у нее там внутри?

— Тонюсенькие косточки вроде птичьих. Все, что осталось от мадам Таро со времен Наполеона...

— И никакого механизма? Давай вспорем ее и посмотрим.

— Успеем.

— Когда же?

— Ну, года через два, когда мне будет уже четырнадцать, вот тогда и посмотрим. А пока я ничего не хочу знать, она здесь — и ладно. Завтра я примусь за дело и расколдую ее раз

и навсегда. Когда-нибудь ты услышишь, что у нас в городе появилась неизвестная красавица итальянка в летнем платье, и все видели ее на вокзале, она купила билет в какую-то восточную страну и села в поезд, и все скажут, что в жизни не видали такой красоты, и все сразу про нее заговорят, и никто не будет знать, откуда она взялась и куда уехала... и когда ты про это услышишь, Том, вот тогда ты поймешь — это я нашел такие чары и расколдовал ее и освободил. И тогда, значит, года через два, в ту самую ночь, когда уйдет ее поезд, мы с тобой поглядим, что там под воском. А раз ее уже здесь не будет, ясно, мы найдем внутри только мелкие винтики и колесики и всякие тряпки. Вот так.

Дуглас осторожно приподнял восковую руку и стал двигать ею над танцем жизни, над шалостями костлявой старухи-смерти, над сроками, и судьбами, и сумасбродствами — рука чуть касалась их, постукивала по ним, шелестела потускневшими ногтями. Повинуясь каким-то скрытым законам равновесия, колдунья склонила лицо и поглядела прямо на мальчиков; немигающие глаза ее сверкнули в ярком свете голый, без колпака, лампы.

— Предсказать тебе судьбу, Том? — тихо спросил Дуглас.

— Давай.

Из широченного рукава колдуньи выпала карта.

— Том, ты видал? Одна еще оставалась, спрятанная, — и пожалуйста, она кидает ее нам! — Дуглас поднес карту к свету. — Ничего нет. Я положу ее на ночь в коробку со всякой химией. Завтра откроем, а там проступят буквы.

— И что же там будет написано?

Дуглас закрыл глаза, чтобы получше разглядеть слова:

— Там будет вот что: «Ваша покорная слуга и преданный друг мадам Флористан Мариани Таро, хиромантка, целительница душ и прорицательница, сердечно вас благодарит».

Том засмеялся и тряхнул брата за плечо:

— Ну-ка, ну-ка, а дальше?

— Сейчас... И еще там будет сказано: «Гоп-ля-ля! Тру-ля-ля! Только дурак хочет умереть! То ли дело плясать и петь!»

Когда звучит погребальный звон, пой и пляши, дурные мысли — вон!» И еще: «Том и Дуглас Сполдинги, в вашей жизни сбудется все, чего вы только пожелаете». И еще там будет сказано, что мы с тобой будем жить вечно. Том, вечно. И никогда не умрем...

— И все это будет написано на одной карте?

— Все-все, до единого слова.

В свете яркой электрической лампочки они склонились над такой прекрасной и многообещающей, хоть пока и пустой, картой — двое мальчишек и колдунья, и горящие ребячьи глаза пронизывали ее и читали каждое непостижимо скрытое там слово, которое вот-вот, уже совсем скоро всплывет из своего тусклого небытия.

— Эй, ты, — чуть слышно сказал Том.

И Дуглас отозвался торжествующим шепотом:

— Эй, ты...

* * *

Под полуденными знойными деревьями негромкий голос тянул:

— ...девять, десять, одиннадцать, двенадцать...

Дуглас медленно двинулся по лужайке на этот голос.

— Том, ты что считаешь?

— ...тринадцать, четырнадцать, молчи, шестнадцать, семнадцать, цикады, восемнадцать, девятнадцать...

— Цикады?

— А, черт! — Том открыл глаза. — Черт, черт, черт!

— Смотри, кто-нибудь услышит, как ты ругаешься...

— Черт, черт, черт живет в аду! — крикнул Том. — Теперь придется начинать все сначала. Я считал, сколько раз прострекочут цикады за пятнадцать секунд. — Он поднял вверх свои дешевенькие часы. — Надо только заметить время, прибавить тридцать девять, и получится, сколько сейчас градусов жары. — Он глянул на часы, зажмурил один глаз, склонил голову набок и снова зашептал: — Раз, два, три...

Дуглас медленно повернул голову и прислушался. Где-то высоко в раскаленном белесом небе дрогнула и зазвенела медная проволока. Снова и снова, точно электрические разряды, падали ошеломляющими ударами с потрясенных деревьев пронзительные содрогания металла.

— Семь, — считал Том. — Восемь...

Дуглас поплелся на веранду. Блаженно жмурясь, заглянул в прихожую. Через минуту опять медленно вышел на веранду и вяло окликнул Тома:

— Сейчас ровно восемьдесят семь градусов по Фаренгейту¹.

— ...двадцать семь, двадцать восемь...

— Эй, Том, ты слышишь?

— Слышу, тридцать, тридцать один! Убирайся! Два, три, тридцать четыре...

— Хватит тебе считать, в доме на градуснике сейчас восемьдесят семь и еще лезет вверх, и не нужны тебе никакие кациды.

— Цикады! Тридцать девять, сорок. Не кациды! Сорок два!

— Восемьдесят семь градусов. Я думал, тебе будет интересно узнать.

— Сорок пять, это же в доме, а не на улице! Сорок девять, пятьдесят, пятьдесят один! Пятьдесят два, пятьдесят три! Пятьдесят три плюс тридцать девять будет... будет девяносто два градуса!

— Кто сказал?

— Я сказал! Не восемьдесят семь по Фаренгейту, а девяносто два по Сполдингу!

— Ты-то ты, а еще-то кто?

Том вскочил и поднял раскрасневшееся лицо к солнцу:

— Я и цикады, вот кто! Я и цикады! Нас больше! Девяносто два, девяносто два, девяносто два градуса по Сполдингу, вот тебе!

¹ 87°F = 30,5°C.

Оба стояли и глядели в безжалостное, без единого облачка небо: точно испорченный фотоаппарат, зияющий раскрытым во всю ширь объективом, оно глазело на недвижимый, оглушенный зноем, умирающий в пламенных лучах город.

Дуглас закрыл глаза и увидел, как два дурацких солнца выплясывают на внутренней стороне розовых прозрачных век.

— Раз... два... три...

Дуглас почувствовал, как шевелятся его губы.

— ...четыре... пять... шесть...

Теперь цикады стрекотали еще быстрее.

* * *

С полудня до заката, с полуночи до рассвета на улицах Гринтауна, штат Иллинойс, маячили лошадь с фургоном и возница, которых хорошо знали все двадцать шесть тысяч триста сорок девять обитателей города.

Средь бела дня дети вдруг ни с того ни с сего останавливались среди какой-нибудь игры и говорили:

— А вот и мистер Джонас!

— А вот и Нэд!

— А вот и фургон!

Взрослые могли сколько угодно глядеть на север или на юг, на восток или на запад, они все равно не увидели бы ни мистера Джонаса, ни лошади по имени Нэд, ни фургона; это был большой крытый фургон на огромных колесах, такие фургоны когда-то бороздили прерии, пробираясь сквозь чащу к побережью.

Но если бы ухо у вас было чуткое, как у собаки, да если еще насторожить его и настроить на самые высокие и далекие звуки, вы бы услышали за много-много миль заунывное пение, точно молится старый раввин в Земле обетованной или мулла на башне минарета. Голос мистера Джонаса летел далеко впереди него самого, люди успевали приготовиться к его появлению, у них оставалось для этого полчаса, а то и

целый час. И к той минуте, когда его фургон показывался из-за угла или в конце улицы, вдоль тротуаров уже выстраивались ребята, словно на парад.

И вот подъезжал фургон, на высоких его козлах под зонтиком цвета хурмы восседал мистер Джонас, и вожжи струились в его ласковых руках, словно ручеек. Он пел:

Хлам, барахло?
 Нет, сэр, не хлам.
 Хлам, барахло?
 Нет, мэм, не хлам!
 Спицы, булавки, иголки,
 Тряпки, обломки, осколки,
 Пустячки, побрякушки,
 Вещички-старушки —
 Все возьму в барахолку
 Ради пользы и толку!
 Ясно ли вам?
 Это не хлам!

Всякий, кто хоть раз слышал пение мистера Джонаса, а он всегда сочинял что-нибудь новенькое, — сразу понимал, что это не простой старьевщик. С виду-то его, правда, от обыкновенного старьевщика не отличить: рваные, в заплатах, плисовые штаны, побуревшие от времени, а на голове — фетровая шляпа, украшенная пуговицами времен избрания первого президента. Но в одном он был старьевщик необыкновенный: его фургон можно было увидеть не только при солнечном свете, но и при свете луны — даже ночью он без устали кружил по улицам, точно по извилистым речкам, огибая островки-кварталы, где жили люди, которых он знал всю свою жизнь. И в фургоне полно было самых разных вещей; он подбирал их во всех концах города и возил с собой день, неделю, год, пока они кому-нибудь не понадобятся. Тогда стоило только сказать: «Эти часы мне пригодятся» или «Как насчет вон того матраца?» — и Джонас отдавал часы или матрац, не брал никаких денег и ехал дальше, сочиняя по дороге новую песню.

Вот так и получалось, что иной раз в три часа ночи он оказывался единственным бодрствующим человеком в Гринтауне; и, если кто маялся головной болью, надо было только, зайдя сверкающую в лунном свете лошадь с фургоном, выбежать на улицу и спросить, может, у мистера Джонаса случайно найдется аспирин, — и аспирин всегда находился. Не раз он и роды принимал в четыре часа ночи, и тогда люди вдруг замечали, что у него поразительно чистые руки и ногти — ну прямо руки богача, верно, он ведет еще и вторую, неизвестную им жизнь! Порой он отвозил людей на работу в другой конец города, а иногда, если видел, что кто-нибудь страдает бессонницей, поднимался к нему на крыльцо, угощал сигарой и сидел и беседовал с ним до зари.

Да, мистер Джонас был человек странный, непонятный, ни на кого не похожий, он казался чудаком и даже помешанным, но на самом деле ум у него был ясный и здоровый. Он сам не раз спокойно и мягко объяснял, что ему уже много лет назад надоели его дела в Чикаго и он решил подыскать себе какое-нибудь другое занятие. Церковь мистер Джонас терпеть не мог, хоть и одобрял ее идеи, зато сам любил проповедовать и делиться с людьми своими познаниями; потому он и купил лошадь с фургоном и теперь проводил остаток дней своих в заботах о том, чтобы одни люди могли получить то, в чем другие больше не нуждаются. Он считал себя неким воплощением диффузии, которая в пределах одного города помогает обмену между различными слоями общества. Он не выносил, когда что-нибудь пропадало зря, ибо знал: то, что для одного — ненужный хлам, для другого — недоступная роскошь.

Вот почему и взрослые, и особенно дети взбирались по откидной лесенке и с любопытством заглядывали в фургон, где громоздились всевозможные сокровища.

— Помните, — говорил мистер Джонас, — вы можете получить все, что вам нужно, если только это вам и вправду нужно. Спросите-ка себя: жаждете ли вы этого всеми силами души? Доживете ли до вечера, если не получите этой

вещи? И если уверены, что не доживете, — хватайте ее и бегите. Что бы это ни было, я с радостью вам эту вещь отдам.

И дети рылись в сокровищах; была там и пергаментная бумага, и обрывки парчи, и куски обоев, и мраморные пепельницы, и жилетки, и роликовые коньки, и огромные, вспухшие от набивки кресла, и маленькие приставные столики, и стеклянные подвески к люстрам. Сперва в фургоне только перешептывались, чем-то брэнчали и позвякивали. Мистер Джонас смотрел и слушал, неторопливо попыхивая трубкой, и дети знали, что он внимательно следит за ними. Порой кто-нибудь тянулся к шахматной доске, к нитке бус или к старому стулу и, едва коснувшись их рукой, поднимал голову и встречал спокойный, мягкий, пыгливый взгляд мистера Джонаса. И рука отдергивалась, и поиски продолжались. А потом рука находила что-то единственное, желанное и уже не двигалась с места. Голова поднималась, и лицо так сияло, что и мистер Джонас невольно расплывался в улыбке. Он на минуту заслонял глаза ладонью, словно отгораживаясь от этого сияния. И тут ребята во все горло кричали ему: «Спасибо!», хватали ролики, фаянсовые плитки или зонтик и, соскочив наземь, бежали прочь.

И через минуту возвращались, неся ему что-нибудь взамен — куклу или игру, из которой выросли или которая уже надоела, что-нибудь, что уже выдохлось и не доставляет больше радости, как потерявшая вкус жевательная резинка: такую забаву пора передать куда-нибудь в другую часть города, там ее увидят в первый раз, и там она вновь оживет и кого-то порадует. Свои приношения ребята робко бросали на кучу невидимых теперь богатств — и фургон, покачиваясь, катил дальше, поблескивали большущие, как подсолнухи, колеса, и мистер Джонас уже опять пел:

Хлам, барахло?
Нет, сэр, не хлам!
Нет, мэм, не хлам!

Наконец он исчезал из виду, и только собаки в тени под деревьями слышали заунывное пение и слабо виляли хвостами.

... хлам...

Все тише и тише:

... хлам...

Еле слышно:

... хлам...

Все стихло.

И собаки спят...

* * *

Всю ночь по тротуарам носились пыльные призраки; их поднимали пышущие жаром ветры, и гоняли, и кружили, а потом осторожно укладывали на разогретые душистые лужайки. От шагов запоздалых прохожих вздрагивали ветки деревьев, и с них обрушивались лавины пыли. Будто с полуночи пробуждался где-то за городом вулкан и извергал раскаленный пепел, который осыпал все вокруг, толстым слоем покрывал недремлющих ночных сторожей и собак, что совсем извелись от жары. В три часа, перед самым рассветом, в каждом доме словно занимался пожар — начинали тлеть желтым светом чердачные окошки.

Да, на заре все предметы и самые стихии преобразались. Воздушные струи, точно горячие ключи, неслышно текли в неизвестность. Озеро недвижным жарким облаком нависало над долинами, населенными рыбой и песком, и жгло их своим равнодушным дыханием. Гудрон на улицах плавился в патоку, кирпич становился медным и золотым, а черепица на крышах — бронзовой. Провода высокого напряжения — навек плененные молнии — угрожающе сверкали над бессонными домами.

Цикады трещали все громче.

Солнце не просто взшло, оно нахлынуло как поток и переполнило весь мир.

У себя в комнате, в постели, Дуглас таял и плавился, лицо его было все в поту.

— Уф, — сказал Том, входя в комнату. — Пошли, Дуг, в такой день только и сидеть в речке и не вылезать.

Дуглас тяжело дышал. Пот струился у него по шее.

— Дуг, ты что, спишь?

Чуть заметное движение головы.

— Ты, может, захворал? Да уж, этот дом сегодня прямо горит огнем.

Том приложил ладонь ко лбу брата. Это было все равно что тронуть заслонку пылающей печки. Он испуганно отдернул руку. Повернулся и сбежал вниз по лестнице.

— Мам, — сказал он, — Дуг, кажется, здорово заболел.

Мать в эту минуту вынимала яйца из холодильника; она замерла, и на лице у нее мелькнула тревога; сунув яйца обратно, она пошла за Томом наверх.

Дуглас за все это время не шелохнулся.

Цикады трещали изо всех сил, от этого треска звенело в ушах.

В полдень у веранды остановилась машина доктора; он примчался так быстро, будто солнце гналось за ним по пятам, готовое обрушиться на него всей своей тяжестью. Глаза у доктора были усталые; тяжело дыша, он отдал свой саквояж Тому.

В час дня доктор, качая головой, вышел из дому. Том с матерью остались за дверью, а доктор, обернувшись, опять и опять повторял им негромко через москитную сетку, что он не знает, право, не знает... Потом надел панаму, поглядел, как лучи солнца терзают и жгут листву деревьев, чуть помедлил, точно готовясь кинуться в первый круг ада, и побежал к своей машине. Из выхлопного отверстия вырвалось

облако сизого дыма и еще добрых пять минут дрожало в воздухе, когда он уехал.

Том взял в кухне ломик, разбил на маленькие кусочки целый фунт льда и отнес наверх. Мать сидела на краю кровати, в комнате слышно было только прерывистое дыхание Дугласа — он вдыхал пар и выдыхал огонь. Лед завернули в носовые платки и положили Дугласу на лоб и вдоль тела. Задернули занавески, и комната сразу стала похожа на пещеру. Том с матерью сидели возле Дугласа до двух часов и все время приносили ему свежий лед. Потом опять пощупали его лоб — он был горячий, как лампа, которая горела всю ночь напролет. Тронешь — и невольно глядишь себе на пальцы: кажется, будто сжег их до самой кости.

Мать открыла было рот, хотела что-то сказать, но тут цикады затрещали так громко, что с потолка стала сыпаться известь.

Окутанный непроглядным багровым сумраком, Дуглас лежал и слушал, как глухо ухает его сердце и как медленно, толчками движется густая кровь в руках и ногах.

Губы тяжелые, неповоротливые. И мысли тоже тяжелые и медлительные, падают неторопливо и редко одна за другой, точно песчинки в разленившихся песочных часах. Кап...

По блестящему стальному полукругу рельсов из-за поворота вылетел трамвай, вскинулась и опала радуга шипящих искр, назойливый звонок звякал десять тысяч раз рядом и совсем смешался со стрекотом цикад. Мистер Тридден помахал рукой. Трамвай затрещал, как пулемет, умчался за угол и исчез. Мистер Тридден... Кап. Упала песчинка.

Кап...

— Чух-чух-чух! Ду-у-у-у!

Высоко на крыше мальчишка изображал паровоз, дергал невидимую веревку гудка и вдруг замер, превратился в статую. «Джон Хаф! Эй ты, Джон Хаф! Я тебя ненавижу! Джон, ведь мы друзья. Нет, не ненавижу, нет!»

Джон падает в бесконечную вязовую аллею, как в бездонный летний колодец, и становится все меньше, меньше.

Кап. Джон Хаф. Кап. Падает песчинка. Кап. Джон...

Дуглас повернул голову — как болит затылок, как больно расплющивается о белую, белую, мучительно белую подушку.

Мимо проплывают в своей Зеленой машине две старушки, лает черный тюлень, и старушки поднимают руки — белые руки, точно голуби. И погружаются в омут лужайки, и травы смыкаются над ними, а белые перчатки все машут, машут...

Мисс Ферн! Мисс Роберта!

Кап... Кап...

И вдруг в доме напротив из окна высунулся полковник Фрилей, а вместо лица у него часы, по улице вихрем — пыль из-под копыт бизонов. Полковник Фрилей качнулся вперед, быстро-быстро забормотал, челюсть у него отвалилась — и вместо языка изо рта выскочила часовая пружина и задрожала в воздухе. Он рухнул на подоконник, как марионетка, а одна рука все машет, машет... Проехал мистер Ауфман в какой-то непонятной блестящей машине, похожей сразу и на трамвай, и на Зеленый автомобильчик; за ней тянется пышный хвост дыма, а смотреть на нее — глаза болят, слепит как солнце. «Мистер Ауфман, значит, вы ее все-таки изобрели? — кричит Дуглас. — Значит, вы наконец построили Машину счастья?»

И тут он увидел, что у машины нет дна. Мистер Ауфман попросту бежит по улице и тащит всю эту неправдоподобную громадину на своих плечах.

— Счастье, Дуг, вот оно, счастье!

И он исчез, как исчезли трамвай, Джон Хаф и старушки, у которых руки точно белые голуби.

Наверху, на крыше, легкий частый стук. Тут-тук... тук! Тишина. Тук-тук... тук! Гвоздь и молоток. Молоток и гвоздь. Птичий хор. И старушечий, дрожащий, но бодрый голос весело поет:

Соберемся у реки... у реки... у реки...
Соберемся у реки...
Что струится у подножия
Трона Божия...

— Бабушка! Прабабушка!

Кап — тихонько — кап. Кап — тихонько — кап.

У реки... у реки...

А теперь только птицы чуть постукивают по крыше крохотными лапками. Тук-тук. Скрип. Тук. Тук. Тихонько. Тихонько.

...у реки...

Дуглас глубоко вздохнул, тотчас шумно выдохнул и заплакал в голос.

Он не слышал, как в комнату вбежала мать.

На его бесчувственную руку, точно горячий пепел сигареты, упала муха, зажужжала, обжегшись, и улетела.

Четыре часа дня. На мостовой — дохлые мухи. В конурах комьями влажной шерсти — взмокшие собаки. Под деревьями жмутся короткие тени. Магазины в городе закрылись, двери заперты. Берег озера опустел. Тысячи людей забрались по горло в воду — хоть она и теплая, а все-таки легче.

Четверть пятого. По мощеным улицам движется фургон старьевщика, мистер Джонас сидит на козлах и поет.

У Тома нет больше сил глядеть на воспаленное лицо брата, он вышел на улицу и побрел было в сторону клуба — и тут рядом с ним остановился фургон.

— Здравствуйте, мистер Джонас.

— Здравствуй, Том.

Они были только вдвоем на пустой улице, можно было всласть полюбоваться сокровищами, сваленными в фургоне, но ни тот, ни другой на них не глядел. Мистер Джонас заговорил не сразу. Он зажег трубку, и попыхивал ею, и качал головой, будто наперед знал, что случилось неладное.

— Ну что, Том? — спросил он.

— С Дугом плохо, — сказал Том. — С моим братом...

Мистер Джонас поднял голову и посмотрел на дом Сполдингов.

— Он заболел, — сказал Том. — Он умирает!

— Ну-ну, не может этого быть, — сказал мистер Джонас и хмуро огляделся: вокруг был спокойный, надежный мир, и ничто в этот тихий день не напоминало о смерти.

— Он умирает, — повторил Том. — И доктор никак не поймет, что с ним. Говорит, это все жара виновата. Может так быть, мистер Джонас? Неужели жара может убить человека, даже не на улице, а в темной комнате?

— Ну... — начал было мистер Джонас и прикусил язык. Потому что Том заплакал.

— Я всегда думал, я его ненавижу... я думал... мы ведь всегда деремся... Наверное, я и правда его ненавидел... иногда... а теперь... теперь... ох, мистер Джонас, если б только...

— Что, мальчик?

— Если б только у вас в фургоне нашлось что-нибудь для Дуга! Ну что-нибудь такое, чтобы отнести ему — и он поправится...

Том опять заплакал.

Мистер Джонас вытащил красный носовой платок и протянул Тому. Том высморкался и утер глаза.

— Дугу нынче летом уж очень не везет, — сказал он. — Прямо все шишки на него валятся.

— Расскажи-ка толком, — попросил старьевщик.

— Ну... во-первых, — Том всхлипнул и перевел дух, он еще не совсем совладал со слезами, — он лишился своего лучшего друга, это и правда был настоящий парень. И сейчас же кто-то стащил его вратарскую бейсбольную перчатку, а она очень дорогая — доллар девяносто пять! Потом он еще сваял дурака — сменялся с Чарли Вудменом, отдал свою коллекцию ракушек и морских камешков за глиняную статую Тарзана — ну, знаете, какую дают в магазине, если принести им много-много крышек от ящиков из-под макарон. А Дуглас на другой же день уронил этого Тарзана на тротуар и разбил.

— Ай-я-яй, — сказал старьевщик, живо представив себе осколки на асфальте.

— И еще он очень хотел на рождение книгу волшебных фокусов, а ему взяли и подарили штаны да рубашку. Ну и понятно, лето вышло пропащее.

— Родители иногда забывают, как они сами были детьми, — сказал старьевщик.

— Ну ясно, — сказал Том и продолжал, понизив голос: — А потом он забыл во дворе одну штуку — самые настоящие кандалы из Тауэра, и они там провалялись всю ночь и совсем заржавели. А главное — я вырос на целый дюйм и почти его догнал, вот это ему обиднее всего.

— Это все? — спросил старьевщик.

— Да нет, надо только вспомнить, было еще сто разных бед вроде этих и даже еще похуже. Выдастся же такое лето — не везет человеку, да и только. То муравьи источили ему несколько комиксов, то новые теннисные туфли вмиг заплесневели.

— Я помню, у меня тоже бывали такие года, — сказал старьевщик.

Он поглядел на далекое небо и увидел там все эти года.

— Ну вот, мистер Джонас. В этом все дело. Поэтому он и умирает...

Том замолчал и отвернулся.

— Дай-ка мне подумать, — сказал мистер Джонас.

— Вы поможете, мистер Джонас? Неужели вы сумеете?

Мистер Джонас заглянул в недра своего фургона и покачал головой. Теперь, в ярком свете дня, лицо у него было усталое, на лбу выступили капельки пота. Он всматривался в груды ваз, облупленных абажуров, мраморных нимф, позеленевших бронзовых сатиров. Вздохнул. Повернулся, подобрал вожжи и легонько их встряхнул.

— Том, — сказал он, глядя в спину лошади. — Мы еще сегодня увидимся. Мне нужно кое-что сообразить. Я немно-

го осмотрюсь и приеду опять после ужина. Но и тогда... трудно сказать. А покуда...

Он перегнулся и вытащил из фургона несколько нитей японских хрустальных подвесок.

— Повесь их у брата на окне. Они очень славно звенят на ветру, совсем как льдинки.

Том стоял с японскими хрусталиками в руках, пока фургон не скрылся из виду. Потом поднял их и подержал на весу, но ветра не было, и они не шевельнулись. Они никак не могли зазвенеть.

Семь часов. Город кажется огромной печью, с запада на него опять и опять накатываются волны зноя, от каждого дома, от каждого дерева, вздрагивая, тянется тень — черная, точно нарисованная углем. Внизу по улице идет человек с ярко-рыжими волосами. Они вспыхивают в лучах заходящего, но все еще жгучего солнца, и Тому чудится: гордо шествует огненный факел, торжественно выступает огненная лиса, сам дьявол обходит свои владения.

В половине восьмого миссис Сполдинг вышла на заднее крыльцо, чтобы выкинуть на помойку арбузные корки, и увидела во дворе мистера Джонаса.

— Как Дуглас? — спросил он.

Губы миссис Сполдинг задрожали, она не решалась отвечать.

— Позвольте мне его повидать, — попросил старьевщик. Она все не могла вымолвить ни слова.

— Мы с ним старые знакомые, — сказал мистер Джонас. — Виделись чуть ли не каждый день с тех пор, как он научился ходить и стал бегать по улицам. У меня кое-что для него припасено.

— Он... — Она хотела сказать «без сознания», но вместо этого сказала: — Он еще не проснулся, мистер Джонас. Доктор не велел его тревожить. Ох, мистер Джонас, мы просто не знаем, что это с ним!

— Даже если он еще не проснулся, — сказал мистер Джонас, — мне хотелось бы с ним поговорить. Иной раз слова, которые услышишь во сне, бывают еще важнее, к ним лучше прислушиваешься, они глубже проникают в самую душу.

— Извините, мистер Джонас, я просто не могу рисковать. — Миссис Сполдинг ухватила за ручку двери, но и не подумала ее открыть. — Но все равно спасибо вам. Спасибо, что пришли.

— Воля ваша, мэм, — сказал мистер Джонас.

Он не двинулся с места. Стоял и смотрел вверх, на окно Дугласа. Миссис Сполдинг вошла в дом и закрыла за собой дверь.

Наверху в своей постели тяжело дышал Дуглас.

Если прислушаться, казалось: кто-то выхватывает и снова вставляет в ножны острый нож.

В восемь часов пришел доктор и, уходя, опять качал головой; он был без пиджака, галстук развязан, и можно было подумать, что он за один этот день похудел на тридцать фунтов. В девять часов Том с матерью и отцом вынесли в сад под яблоню раскладушку и уложили на нее Дугласа: уж если подует ветерок, тут его почувствуешь скорее, чем в душных комнатах. До одиннадцати они то и дело выходили в сад к Дугласу, потом завели будильник на три — пора будет наколоть и сменить лед — и наконец легли спать.

В доме стало темно и тихо, все уснули.

В тридцать пять минут первого века Дугласа затрепетали. Взошла луна.

И где-то далеко послышалось пение.

Печальный высокий голос то взмывал вверх, то замирал. Чистый, мелодичный. Слов было не разобрать.

Луна поднялась над краем озера и поглядела на Гринтаун, штат Иллинойс, и увидела его весь, и весь его осветила — каждый дом, каждое дерево, каждую собаку: собаки

спали и часто вздрагивали — в нехитрых снах им виделись доисторические времена.

И казалось, чем выше поднималась луна, тем ближе, громче, звонче пел тот голос.

Дуглас беспокойно заворочался и вздохнул.

Было это, пожалуй, за час до того, как луна затопила потоком света весь мир, а быть может, и раньше. Но голос все приближался, и вместе с ним слышалось словно биение сердца — это цокали лошадиные копыта по камням мостовой, и жаркая густая листва деревьев приглушала их стук.

И еще изредка что-то поскрипывало, постанывало, будто медленно открывалась и закрывалась дверь. Это двигался фургон.

И вот на улице в ярком свете луны появилась лошадь, впряженная в фургон, а на высоких козлах сидел мистер Джонас, и его худое тело мирно покачивалось в такт движению. На голове у него была шляпа, как будто все еще палило солнце; изредка он перебирал вожжи, и они колыхались над спиной лошади, как речные струи. Медленно, очень медленно фургон плыл по улице, и мистер Джонас пел, и Дуглас во сне словно затаил на миг дыхание и прислушался.

— Воздух, воздух... А вот кому воздуха?.. Прохладный, отрадный, как ручей течет, холодит, как лед... Купишь разок — запросишь в другой... Есть и весенний, есть и осенний, из дальних краев, с Антильских островов... ясный и синий, пахнет дыней... Воздух, воздух, свежий, соленый... чистый, душистый... в бутылке с колпачком, надушен чабрецом... Всякому на долю, и власть и волю, сколько хочешь вдохнешь — и всего-то за грош!

Потом фургон оказался у обочины тротуара. И вот во дворе стоит человек, под ногами у него черная тень, в руках зеленоватым огнем поблескивают две бутылки, будто кошачьи глаза во тьме. Мистер Джонас поглядел на раскладушку и тихонько позвал Дугласа по имени — раз, другой, третий. Помедлил в раздумье, поглядел на свои бутылки, решил и неслышно подкрался к яблоне; тут он уселся на траву и

внимательно посмотрел на мальчика, сраженного непомерной тяжестью лета.

— Дуг, — сказал старьевщик, — ты знай себе лежи спокойно. Ничего не надо говорить, и глаза открывать не надо. И не старайся показать, что ты меня слышишь. Я все равно знаю, что слышишь, — это старик Джонас, твой друг. Твой друг, — повторил он и кивнул.

Потом потянулся к ветке, сорвал яблоко, повертел его в руке, откусил кусок, прожевал и снова заговорил.

— Некоторые люди слишком рано начинают печалиться, — сказал он. — Кажется, и причины никакой нет, да они, видно, от роду такие. Уж очень все к сердцу принимают, и устают быстро, и слезы у них близко, и всякую беду помнят долго, вот и начинают печалиться с самых малых лет. Я-то знаю, я и сам такой.

Он откусил еще кусок яблока, пожевал.

— О чем бишь я? — задумчиво спросил он.

— Жаркая августовская ночь, ни ветерка, — ответил он себе. — Жара убийственная. Лето тянется и тянется, нет ему конца, и столько всего приключилось, верно? Чересчур много всего. И время к часу ночи, а ни ветерком, ни дождиком и не пахнет. И сейчас я встану и уйду. Но когда я уйду — запомни хорошенько, — у тебя на кровати останутся вот эти две бутылки. Вот я уйду, а ты еще немножко подожди, а потом не спеша открой глаза, сядь, возьми эти бутылки и все из них выпей. Только не ртом, нет, пить нужно носом. Вытащи пробку, наклони бутылку и втяни в себя поглубже все, что там есть, чтоб прошло прямо в голову. Но сперва, понятно, прочти, что на бутылке написано. Хотя постой, я сам тебе прочту.

Он поднял бутылку к свету.

— «ЗЕЛЕННЫЕ СУМЕРКИ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВИДЕТЬ ВО СНЕ ЧИСТЕЙШИЙ СЕВЕРНЫЙ ВОЗДУХ, — прочитал он. — Взяты из атмосферы снежной Арктики весной тысяча девятисотого года и смешаны с ветром, дувшим в долине верхнего Гудзона в апреле тысяча девятьсот десятого; содержат частицы пыли, которая сияла однажды на закате

солнца в лугах вокруг Гринелла, штат Айова, когда от озера, от ручейка и родника поднялась прохлада, тоже заключенная в этой бутылке». Теперь прочтем то, что написано помельче, — сказал он и прищурился. — «Содержит также молекулы испарений ментола, лимона, плодов дынного дерева, арбуза и всех других, пахнувших водой, прохладных на вкус фруктов и деревьев, камфары, вечнозеленых кустарников и трав и дыхание ветра, который веет от самой Миссисипи. Необычайно освежает и прохлаждает. Принимать в летние ночи, когда температура воздуха превышает девяносто градусов».

Мистер Джонас поднял к свету вторую бутылку.

— В этой то же самое, только я еще собрал сюда ветер с Аранских островов, и соленый ветер с Дублинского залива, и полоску густого тумана с побережья Исландии.

Он поставил обе бутылки на кровать.

— И последнее предписание. — Он наклонился над мальчиком и договорил совсем тихо: — Когда ты будешь это пить, помни: все это собрано для тебя другом. Разливка и закупорка Компании Джонас, Гринтаун, штат Иллинойс, август тысяча девятьсот двадцать восьмого года. Хорошего тебе года, мальчик. Урожайного тебе года.

Через минуту по спине лошади мягко хлопнули вожжи, и фургон покатиł по улице в лунном свете. Веки Дугласа затрепетали; медленно, медленно открылись глаза.

— Мама, — зашептал Том. — Папа! Проснитесь! Дуг поправляется! Я сейчас ходил на него посмотреть, и он... идем скорей! — Том выбежал из дома, отец и мать — за ним.

Дуглас спал. Том подошел первым и замахал рукой, подзывая родителей поближе, он весь расплылся в улыбке. Все трое наклонились над раскладушкой.

Выдох — затишье, выдох — затишье; они стояли и слушали.

Рот Дугласа был полуоткрыт, от его губ, от тонких ноздрей поднимался едва уловимый аромат прохладной ночи и прохладной воды, прохладного белого снега и прохладного зеленого мха, прохладного лунного света, что лежит на

серебристых камешках на дне спокойной реки, и прохладной чистой воды на дне маленького белокаменного колодца.

Будто они на миг склонились над фонтаном, и прохладная, пахнувшая яблоневым цветом струя взметнулась ввысь и омыла их лица.

Еще долго они не могли шевельнуться.

* * *

На другое утро исчезли все гусеницы.

Еще накануне повсюду было полно крошечных черных и коричневых мохнатых комочков, которые усердно взбирались по вздрагивающим под их тяжестью былинкам и хлопотали на зеленых листках, — и вдруг все они исчезли. Замерли миллиарды неслышных шагов, беззвучный топоток гусениц, что неумоимо расхаживали по своему собственному миру. Том всегда уверял, что отлично слышит этот редкостный звук, и теперь с изумлением глядел на город, где нечего стало клюнуть ни одной голодной птице. И цикады тоже умолкли.

А потом в тишине что-то шумно вздохнуло, зашуршало, и все поняли, почему исчезли гусеницы и смолкли цикады.

Летний дождь.

Сначала — как легкое прикосновение. Потом сильнее, обильнее. Застучал по тротуарам и крышам, как по клавишам огромного рояля.

А наверху, снова у себя в комнате, в постели, Дуглас, прохладный как снег, повернул голову и открыл глаза, он увидел струящееся свежестью небо, и пальцы его медленно-медленно потянулись к желтому пятицентовому блокноту и желтому карандашу фирмы Тайкондерога...

* * *

Как всегда, когда кто-нибудь приезжает, поднялась суматоха. Где-то гремели фанфары. Где-то в комнатах набралось полным-полно жильцов и соседей, и все они пили чай.

Приехала тетка по имени Роза, голос ее, поистине трубный глас, перекрывал все остальные, и казалось, она заполняет всю комнату, большая и жаркая, точно тепличная роза, недаром у нее такое имя. Но что сейчас Дугласу вся эта суматоха и голос тетки! Он только что пришел из своего флигеля, остановился за дверью кухни — и тут-то бабушка, извинившись, вышла из шумной, крикливой, как курятник, гостиной и углубилась в свои привычные владения — пора было готовить ужин. Она увидела за москитной сеткой Дугласа, впустила его, поцеловала в лоб, отвела упавшую ему на глаза выцветшую прядь и взгляделась в лицо — совсем ли прошел жар? Убедилась, что внук уже здоров, замурлыкала песенку и принялась за работу.

Дугласу часто хотелось спросить: «Бабушка, наверное, здесь и начинается мир?» Ясно, только в таком месте он и мог начаться. Конечно же, центр мироздания — кухня, ведь все остальное вращается вокруг нее; она-то и есть тот самый *фронтамент*, на котором держится весь храм!

Он закрыл глаза, чтобы ничто не отвлекало, и глубоко втянул носом воздух. Его обдавало то жаром адского пламени, то внезапной метелью сахарной пудры; в этом удивительном климате царила бабушка, и взгляд ее глаз был загадочен, словно все сокровища Индии, а в корсаже прятались две крепкие, теплые курицы. Тысячерукая, точно индийская богиня, она что-то встряхивала, взбивала, смешивала, поливала жиром, разбивала, крошила, нарезала, чистила, заворачивала, солила и помешивала.

Ослепленный, Дуглас ощупью добрался до двери столовой. Из гостиной донесся взрыв смеха и звон чайной посуды. Но он пошел дальше, в прохладную обитель многоцветных богатств, зеленых, как водоросли, оранжевых, как хурма, где ему сразу ударил в голову тягучий запах зреющих в тиши сливочно-желтых бананов. Мошкара кружилась над бутылками уксуса и сердито шипела прямо Дугласу в уши.

Он открыл глаза. Хлеб лежал, точно летнее облако, и только ждал, чтобы его разрезали на теплые ломти; вокруг

маленькими съедобными обручами разбросаны были жареные пирожки. У Дугласа потекли слюнки. За стеной дома росли тенистые сливовые деревья, и в жарком ветре у окна прохладной родниковой струей текли кленовые листья, а здесь, на полках, выстроились банки и на них — названия всевозможных пряностей.

«Как же мне отблагодарить мистера Джонаса? — думал Дуглас. — Как отблагодарить, чем отплатить за все, что он для меня сделал? Ничем, ну ничем за это не отплатишь. Нет этому цены. Как же быть? Как? Может, надо как-то отплатить кому-нибудь другому? Передать благодарность по кругу? Оглядеться по сторонам, найти человека, которому нужно помочь, и сделать для него что-нибудь хорошее. Наверное, только так и можно...»

Кайенский перец, майоран, корица.

Названия потерянных сказочных городов, где взвились и умчались пряные бури.

Он подбросил вверх темные луковки, что прибыли сюда с какого-то неведомого континента: там они когда-то расплескались на молочном мраморе — игрушки детей со смуглыми руками цвета лакрицы.

Поглядел на кувшин с одной-единственной наклейкой — и вдруг вернулся к началу лета, к тому неповторимому дню, когда впервые заметил, что весь огромный мир вращается вокруг него, точно вокруг оси.

На наклейке стояло одно только слово: УСЛАДА.

А хорошо, что он решил жить!

Услада! Занятое название для мелко нарубленных маринованных овощей, так заманчиво уложенных в банку с белой крышкой! Тот, кто придумал такое название, уж точно был человек необыкновенный. Он, верно, без усталости носился по всему свету, и наконец собрал отовсюду все радости, и запихнул их в эту банку, и большущими буквами вывел на ней это название, да еще и кричал во все горло: услада, услада! Ведь само это слово — будто катаешься на душистом лугу вместе с игривыми гнедыми жеребятами и у тебя полон рот

сочной травы, или погрузил голову в озеро, на самое дно, и через нее с шумом катятся волны. Услада!

Дуглас протянул руку. А вот это — ПРЯНОСТИ!

— Что бабушка готовит на ужин? — донесся из трезвого мира гостиной голос тети Розы.

— Этого никто никогда не знает, пока не сядем за стол, — ответил дедушка, он сегодня пришел с работы пораньше, чтобы огромному цветку не было скучно. — Ее стряпня всегда окутана тайной, можно только гадать, что это будет.

— Ну нет, я предпочитаю заранее знать, чем меня накормят! — вскричала тетя Роза и засмеялась. Стеклообразные висюльки на люстре в столовой возмущенно зазвенели.

Дуглас двинулся дальше, в сумеречную глубь кладовой.

Пряности... вот отличное слово! А бетель? А базилик? А стручковый перец? А карри? Все это великолепные слова. Но Услада, да еще с большой буквы, — тут уж спору нет, лучше не придумай!

Бабушка приходила и уходила в облаке пара, приносила из кухни покрытые крышками блюда, а за столом все молча ждали. Никто не осмеливался поднять крышку и взглянуть на таящиеся под ней яства. Наконец бабушка тоже села, дедушка прочитал молитву, и серебряные крышки мигом взлетели в воздух, точно стая саранчи.

Когда все рты были битком набиты чудесами кулинарии, бабушка откинулась на своем стуле и спросила:

— Ну как, нравится?

И перед всеми родичами, домочадцами и нахлебниками, и перед тетей Розой тоже, встала неразрешимая задача, потому что зубы и языки их были заняты восхитительными трудами. Что делать: заговорить и нарушить очарование или и дальше наслаждаться нектаром и амброзией? Казалось, они сейчас засмеются или заплачут, не в силах найти ответ. Казалось, начнись пожар или землетрясение, стрельба на улицах или резня во дворе — все равно они не встанут из-за стола, недостижимые для стихий и бедствий, подвластные лишь колдовским ароматам пищи богов, что сулит им

бессмертие. Все злодеи казались невинными агнцами в эту минуту, посвященную нежнейшим травам, сладкому сельдерею, душистым кореньям. Взгляды торопливо обегали снежную равнину скатерти, на которой пестрело жаркое всех сортов и видов, какие-то неслыханные смеси тушеных бобов, солонины и кукурузы, тушеная рыба с овощами и разные рагу...

И тут тетя Роза собрала воедино свою неукротимую розовость, и здоровье, и силу, вздохнула поглубже, высоко подняла вилку с наколотой на нее загадкой и сказала чересчур громким голосом:

— Да, конечно, это очень вкусно, но что же это все-таки за блюдо?

Лимонад перестал булькать в хрустальных фужерах, мелькавшие в воздухе вилки опустились рядом с тарелками.

Дуглас посмотрел на тетю Розу — так смотрит на охотника смертельно раненный олень. На всех лицах отразилось оскорбленное изумление. О чем тут спрашивать? Кушанья сами говорят за себя, в них заключена собственная философия, и они сами отвечают на все вопросы. Неужели мало того, что все твое существо поглощено этой упойтельной минутой блаженного священнодействия?

— Кажется, никто не слышал моего вопроса? — сказала тетя Роза.

Наконец бабушка сдержанно проговорила:

— Я называю это блюдо Четверговым. Я всегда готовлю его по четвергам.

Это была неправда.

За все эти годы ни одно кушанье никогда не походило на другое. Откуда взялось, например, вот это блюдо? Не из зеленых ли морских глубин? А это, быть может, пуля достала в синеве летнего неба? Плавало оно или летало по воздуху, текла в его жилах кровь или хлорофилл, бродило оно по земле или тянулось к солнцу, не сходя с места? Никто этого не знал. Никто и не спрашивал. Никого это не интересовало.

Разве что подойдет кто-нибудь, станет на пороге кухни, и заглядится, и заслушается — а там взметаются тучи сахарной

пудры, что-то позвякивает, трещит, шелкает, будто работает взбесившаяся фабрика, а бабушка шурится и озирается кругом, и руки ее сами находят нужные банки и коробки.

Понимала ли она, что наделена особым талантом? Вряд ли. Когда ее спрашивали, как она стряпает, бабушка опускала глаза и глядела на свои руки — это они с каким-то непостижимым чутьем находили верный путь и то окунались в муку, то погружались в самое нутро громадной выпотрошенной индейки, словно пытаясь добраться до птичьей души. Серые глаза мигали за очками, которые покоробились за сорок лет от печного жара, замутились от перца и шалфея так, что, случалось, самые нежные, самые сочные свои бифштексы бабушка посыпала картофельной мукой! А бывало, что и абрикосы попадали в мясо, скрещивались и сочетались, казалось бы, несочетаемые фрукты, овощи, травы — бабушку ничуть не заботило, так ли полагается готовить по кулинарным правилам и рецептам, лишь бы за столом у всех потекли слюнки и дух захватило от удовольствия. Словом, бабушкины руки, как прежде руки прабабушки, и для нее самой были загадкой, наслаждением, всей ее жизнью. Она поглядывала на них с удивлением, но не мешала им жить самостоятельно — ведь по-другому они не могли и не умели!

И вот впервые за долгие годы кто-то стал задавать дерзкие вопросы, разбираться и допытываться, как ученый в лаборатории, стал рассуждать там, где похвальнее всего молчать.

— Да, да, я понимаю, но все-таки, что именно вы положили в это Четверговое блюдо?

— Ну а что там есть, по-твоему? — уклончиво сказала бабушка.

Тетя Роза понюхала кусок на вилке:

— Говядина... или барашек? Имбирь... или это корица? Ветчинный соус? Черника? И верно, немного печенья? Чеснок? Миндаль?

— Вот именно, — сказала бабушка. — Кто хочет добавки? Все?

Поднялся шум, зазвенели тарелки, замелькали руки, все громко заговорили, словно пытаясь навсегда заглушить эти святотатственные расспросы, а Дуглас говорил громче всех и больше всех размахивал руками. Но по лицам сидевших за столом было видно, что их мир пошатнулся, радость и довольство висят на волоске. Ведь тут собрались самые избранные домочадцы, они всегда бросали все свои дела, будь то игра или работа, и мчались в столовую с первым же звуком обеденного гонга. Много лет они спешили сюда, как на праздник, торопливо развешивали белоснежные трепещущие салфетки, хватались за вилки и ножи, словно изголодались в одиночных камерах и только и ждали сигнала, чтобы, толкаясь и обгоняя друг друга, ринуться вниз и захватить место за обеденным столом. Сейчас они громко, тревожно переговаривались, вспоминали старые, избитые шутки и искоса поглядывали на тетю Розу, точно в ее необъятной груди притаилась бомба и часовой механизм отсчитывает секунды, приближая всех к роковому концу.

Тетя Роза почувствовала наконец, что и в молчании есть счастье, усердно занялась тем безымянным и загадочным, что лежало у нее на тарелке, уничтожила подряд три порции и отправилась к себе в комнату, чтобы распустить шнуровку.

— Бабушка, — сказала тетя Роза, когда снова спустилась вниз. — Вы только поглядите, в каком виде у вас кухня! Признайтесь, тут ведь просто хаос! Повсюду бутылки, тарелки, коробки, все вперемешку, наклейки поотрывались, никаких надписей нет — откуда вы знаете, что кладете в еду? Меня просто совесть замучит, если я не помогу вам привести все это в порядок, пока я здесь. Сейчас, только засучу рукава.

— Нет, большое спасибо, не надо, — сказала бабушка.

Дуглас, сидя за стеной, в библиотеке, слышал весь этот разговор, и сердце у него заколотилось.

— А жара, а духота какая! — продолжала тетя Роза. — Давайте хоть окно откроем и поднимем жалюзи, а то не видно, что делаешь.

— У меня глаза болят от света, — сказала бабушка.

— Вот и мочалка. Я перемою все тарелки и аккуратно их расставлю. Нет, я непременно вам помогу, и не спорьте.

— Прошу тебя, сядь, посиди, — сказала бабушка.

— Вы только подумайте, вам ведь сразу станет гораздо легче. Вы великая мастерица, это верно, вы ухитряетесь готовить так вкусно в таком диком хаосе, но поймите же — если каждая вещь будет на своем месте и не придется ничего искать по всей кухне, вы сможете стряпать еще лучше!

— Я как-то никогда об этом не думала... — сказала бабушка.

— Так подумайте теперь. Допустим, современные кулинарные методы помогут вам готовить еще процентов на десять-пятнадцать лучше. Ваши мужчины уже и сейчас ведут себя за столом по-свински. Пройдет какая-нибудь неделя — и они станутдохнуть от обжорства как мухи. Еда будет такой красивой и вкусной, что они просто не смогут остановиться!

— Ты и правда так думаешь? — с интересом спросила бабушка.

— Не сдавайся, не сдавайся! — зашептал в библиотеке Дуглас.

Но к ужасу своему, он услышал, что за стеной метут и чистят, выбрасывают полупустые мешки, наклеивают ярлычки на банки и коробки, расставляют тарелки, кастрюли и сковородки на полки, которые столько лет пустовали. Даже ножи, которые всегда валялись на кухонном столе, точно стайка серебряных рыбок только-только из сетей, — и те угодили в ящик.

Дедушка стоял позади Дугласа и добрых пять минут прислушивался к этой суете. Потом озабоченно поскреб подбородок.

— Да, пожалуй, тут в кухне и вправду испокон веков царил хаос. Кое-что надо бы привести в порядок, это верно. И если тетя Роза права, Дуг, дружок, завтра у нас будет такой ужин, какой никому и во сне не снился!

— Да, сэр, — сказал Дуглас, — и во сне не снился.

— Что там у тебя? — спросила бабушка.

Тетя Роза подала ей сверток, который прятала за спиной.

Бабушка его развернула.

— Поваренная книга! — воскликнула она и уронила книгу на стол. — Не надо мне ее. Просто я кладу пригоршню того, щепотку сего, капельку этого — и все тут...

— Я помогу вам все закупить, — сказала тетя Роза. — И еще, я смотрю, пора заняться вашим зрением. Неужели столько лет портите себе глаза такими ужасными очками? Ведь оправа вся перекошена, стекла исцарапаны — удивительно, что вы до сих пор не свалились куда-нибудь в мучной ларь. Немедленно идемте за новыми!

И они вышли на солнечную улицу, и бабушка, ошеломленная и сбитая с толку, покорно плелась рядом с тетей Розой.

Вернулись они, нагруженные всяческой бакалеей, куплены были и новые очки, и шампунь. Вид у бабушки был такой, точно она бегала по всему городу, спасаясь от погони. Она совсем запыхалась, и тете Розе пришлось помочь ей подняться на крыльцо.

— Ну вот, бабушка. Теперь у вас каждая вещь на своем месте. И теперь вы можете все разглядеть!

— Пойдем, Дуг, — сказал дедушка. — Прогуляемся перед ужином. Обойдем наш квартал и нагуляем аппетит. Сегодня будет исторический вечер. Попомни мое слово, такого ужина еще свет не видал!

Час ужина. Улыбка сбежала с лиц. Дуглас три минуты жевал первый кусок и наконец, сделав вид, что утирает рот, выплюнул его в салфетку. Том и отец сделали то же самое. За столом кто собирал еду на тарелке в одну кучку, кто чертил в ней вилкой разные узоры и дорожки, рисовал соусом целые картины, кто строил из ломтиков картофеля дворцы и замки, кто украдкой совал куски мяса собаке.

Первым из-за стола встал дедушка.

— Я сыт, — сказал он.

Остальные сидели притихшие, понурые. Бабушка бестолково тыкала вилкой в тарелку.

— Правда, вкусно? — спросила тетя Роза, не обращая ни к кому в отдельности. — И приготовить успели даже на полчаса раньше обычного!

Но остальные думали о том, что за воскресеньем наступит понедельник, а там и вторник, потянется долгая неделя, и все завтраки будут такие же унылые, обеды — такие же безрадостные, ужины — такие же мрачные. В несколько минут столовая опустела. Наверху, каждый у себя в комнате, домочадцы предались горестным размышлениям.

Бабушка, потрясенная, поплелась на кухню.

— Ну вот что, — сказал дедушка. — Дело зашло слишком далеко. — Он подошел к лестнице и крикнул наверх, навстречу пропыленному солнечному лучу: — Эй, спускайтесь все вниз!

Все обитатели дома собрались в полутемной уютной библиотеке, заперлись там и толковали вполголоса. Дедушка преспокойно пустил шляпу по кругу.

— Это будет банк, — сказал он. Потом тяжело опустил руку на плечо Дугласа. — У нас есть для тебя очень важное поручение, дружок. Вот слушай...

И он доверительно зашептал Дугласу на ухо, обдавая его теплым дыханием.

На другой день Дуглас отыскал тетю Розу в саду, она срезала цветы.

— Тетя Роза, — серьезно предложил он, — пойдемте погуляем, хорошо? Я покажу вам овраг, где живут бабочки, вон в той стороне!

Они обошли вдвоем весь город. Дуглас болтал без умолку, беспокойно и торопливо; на тетку он не глядел и только прислушивался к бою часов на здании суда.

Когда они под прогретыми летним солнцем вязами подходили к дому, тетя Роза вдруг ахнула и схватилась рукой за горло.

На нижних ступенях крыльца стояли все ее аккуратно упакованные пожитки. На одном из чемоданов ветерок шевелил края розового железнодорожного билета.

Все десять обитателей дома сидели на веранде, лица у них были суровые и непреклонные. Дедушка сошел с крыльца — торжественно, как проводник в поезде, как мэр города, как добрый друг. Он взял тетю Розу за руку.

— Роза, — начал он, — мне надо тебе кое-что сказать. — А сам все пожимал и тряс ее руку.

— В чем дело? — спросила тетя Роза.

— До свиданья! — сказал дедушка.

В предвечерней тишине издалека донесся зов паровоза и рокот колес. Веранда опустела, чемоданов как не бывало, в комнате тети Розы — никого. Дедушка пошарил на полке в библиотеке и с улыбкой вытащил из-за томика Эдгара По аптечный пузырек.

Бабушка вернулась домой — она ходила в город за покупками, совсем одна.

— А где же тетя Роза?

— Мы проводили ее на вокзал, — ответил дедушка. — Мы прощались, и все очень горевали. Ей ужасно не хотелось уезжать, но она прислала тебе самый сердечный привет и обещала навесить опять годиков эдак через десяток. — Дедушка вынул массивные золотые часы. — Теперь пойдете-ка все в библиотеку и выпьем по стаканчику хереса, а потом бабушка по своему обыкновению задаст нам пир горой.

Бабушка удалилась на кухню.

Все домочадцы и дедушка с Дугласом болтали, смеялись и прислушивались к негромкой возне на кухне. И когда бабушка ударила в гонг, все, теснясь и подталкивая друг друга, заторопились в столовую.

Все откусили по огромному куску.

Бабушка переводила испытующий взгляд с одного лица на другое. Все молча уставились себе в тарелки, сложи-

ли руки на коленях, а за щекой так и остался недожеванный кусок.

— Я разучилась, — сказала бабушка. — Я больше не умею стряпать...

И заплакала.

Потом встала и побрела в свою аккуратнейшую кухню, с аккуратнейшими наклейками на всех банках, неся перед собой бесполезные, точно чужие, руки.

Все легли спать голодными.

Дуглас слышал, как часы на здании суда пробили половину одиннадцатого, одиннадцать, потом полночь, слышал, как все остальные опять и опять ворочаются в постелях, будто под залитой лунным светом крышей просторного дома шумит неумолчный прибор. Ну конечно же, никто не спит, всех одолевают невеселые мысли. Наконец он сел в постели. И заулыбался стене и зеркалу. Отворил дверь и прокрался вниз, а улыбка все не сходила с его лица. В гостиной было темно, пахло старостью и одиночеством. Дуглас затаил дыхание.

Ощупью пробрался на кухню, минуту постоял, выжидая.

Потом взялся за дело.

Пересыпал сахарную пудру из прекрасной новой банки в старый мешок, где она всегда была раньше. Вывалил белую муку в старый глиняный горшок. Извлек сахар из огромного жестяного короба с надписью «Сахар» и разложил его в привычные коробки помельче, на которых было написано «Пряности», «Ножи», «Шпагат». Рассыпал гвоздику по дну полудюжины ящиков, где она лежала годами. Снял с полки тарелки, вытащил из ящиков ножи и вилки — им место на столах!

Потом он отыскал новые бабушкины очки на камине в гостиной и спрятал их в погребе. И, наконец, разжег в старой дровяной плите большущий огонь, а на растопку пустил листы из новой поваренной книги. К часу ночи в печной трубе взревел такой столб пламени и дыма, что проснулись даже

те, кому удалось уснуть. По лестнице зашаркали бабушкины шлепанцы. Вот она уже стоит в кухне и только растерянно моргает, глядя на весь этот хаос. Дуглас шмыгнул за дверь кладовой и притаился.

Среди ночи, в половине второго, сквозняки понесли по всем коридорам соблазнительные запахи. Сверху спускались один за другим все обитатели дома — женщины в папильотках, мужчины в купальных халатах на цыпочках подкрадывались к двери и заглядывали в кухню, освещенную только прихотливыми вспышками багрового пламени в шипящей плите. Здесь, в темной кухне, среди грохота и звона, точно привидение, проплывала бабушка; было уже два часа ночи, и без новых очков она опять плохо видела, и руки ее по наитию нащупывали в полумраке все, что нужно, сыпали душистые специи в булькающие кастрюли и исходящие паром котелки с необыкновенной стряпней; она что-то хватала, помешивала, переливала, и раскрасневшееся лицо ее в отблесках огня казалось совсем красным, колдовским и околдованным.

Домочадцы тихо-тихо накрыли стол лучшей скатертью, разложили сверкающее серебро и вместо электричества зажгли свечи, чтобы не разрушить чары.

Дедушка вернулся домой очень поздно — он весь вечер работал в типографии — и с изумлением услышал, что в столовой, при свечах, читают застольную молитву.

А еда? Мясо было поджарено с пряностями, соусы приправлены карри, зелень полита душистым маслом, печенье обрызгано каплями золотого меда; все мягкое, сочное и такой восхитительной свежести, что над столом пронесся то ли тихий стон, то ли мычание, словно на лугу в густом клевере пировало стадо. Все громко радовались, что на них только свободные ночные одеяния и ничто не стесняет их талии.

В половине четвертого ночи, под воскресенье, когда весь дом переполнило тепло благодушной сытости и дружелюбия, дедушка наконец отодвинул свой стул и величественно помахал рукой. Вышел в библиотеку и вернулся с томом Шекспира. Положил его на доску, на которой режут хлеб, и преподнес жене.

— Бабушка, — сказал он, — сделай милость, приготовь нам завтра на ужин эту превосходную книгу. Я уверен, завтра в сумерки, когда она попадет на обеденный стол, она станет нежной, сочной, поджаристой и мягкой, как грудка осеннего фазана.

Бабушка взяла тяжелую книгу обеими руками и заплакала от радости.

До самой зари никто не ложился спать, все что-то ели на сладкое, пили настойки из полевых цветов, которые росли в палисаднике, и лишь когда встрепенулись первые птицы и на востоке угрожающе блеснуло солнце, все разбрелись по спальням. Дуглас прислушался — в далекой кухне остывала печь. Прошла к себе бабушка.

«Старьевщик, — думал он, — мистер Джонас, где-то вы сейчас? Вот теперь я вас отблагодарил, я уплатил долг. Я тоже сделал доброе дело, ну да, я передал это дальше...»

Он заснул и увидел сон.

Во сне звонил гонг и все с восторженными воплями бежали в столовую завтракать.

* * *

И вдруг лето кончилось.

Дуглас обнаружил это, когда они однажды шли по улице. Том ахнул, схватил его за руку и ткнул пальцем в витрину дешевой лавчонки. Они остановились как вкопанные: из витрины невозмутимо, с ужасающим спокойствием на них глядели предметы совсем иного мира.

— Карандаши, Дуг, десять тысяч карандашей!

— Тыфу ты, пропасть!

— Блокноты, грифельные доски, ластики, акварельные краски, линейки, компасы — сто тысяч штук!

— Не смотри. Может, это просто мираж!

— Нет, — в отчаянии простонал Том. — Это школа. Самая настоящая школа! Ну с какой стати паршивые лавчонки выставляют все это напоказ, когда лето еще не кончилось? Половину каникул отравили!

Они пошли дальше и дома застали дедушку одного на высохшей, полысевшей лужайке — он собирал последние редкие одуванчики. Некоторое время они молча помогали ему, а потом Дуглас склонился к собственной тени и сказал:

— Как по-твоему, Том, какой у нас получится следующий год? Лучше этого или хуже?

— Ты меня не спрашивай. — Том подул в стебель одуванчика, точно в дудку. — Ведь не я создал мир. — Он на минуту задумался. — Хотя иногда мне кажется, что все это моих рук дело.

И он лихо сплюнул.

— У меня предчувствие, — сказал Дуглас.

— Какое?

— Следующий год будет еще больше, и дни будут ярче, и ночи длиннее и темнее, и еще люди умрут, и еще малыши родятся, а я буду в самой гуще всего этого.

— Ну да, ты и еще триллиарды людей, не забудь, пожалуйста.

— В такие дни, как сегодня, мне кажется... что я буду один, — пробормотал Дуглас.

— Как понадобится помощь — только кликни, — сказал Том.

— Много ли поможет десятилетний братишка?

— Десятилетнему братишке на то лето будет уже одиннадцать. Я буду каждое утро разворачивать мир, как резиновую ленту на мяче для гольфа, а вечером заворачивать обратно. Если очень попросишь — покажу, как это делается.

— Спятил!

— Всегда был такой. — Том скосил глаза и высунул язык. — И всегда буду.

Дуглас засмеялся. Они пошли с дедушкой в погреб, и пока тот обрывал головки одуванчиков, мальчики смотрели на полки, где недвижными потоками сверкало минувшее лето, закупоренное в бутылки с вином из одуванчиков. Девяносто с лишним бутылок из-под кетчупа, по одной на каждый летний день, почти все полные доверху, жарко светятся в сумраке погреба.

— Вот это здорово, — сказал Том. — Отличный способ сохранить живьем июнь, июль и август. Лучше и не придумаешь.

Дедушка поднял голову, подумал и улыбнулся.

— Да, это вернее, чем запихивать на чердак вещи, которые никогда больше не понадобятся. А так, хоть на улице и зима, то и дело на минуту переселяешься в лето; ну а когда бутылки опустеют, тут уж лету конец — и тогда не о чем жалеть, и не остается вокруг никакого сентиментального хлама, о который спотыкаешься еще сорок лет. Чисто, бездымно, действительно — вот оно какое, вино из одуванчиков.

Мальчики тыкали пальцем то в одну, то в другую бутылку.

— Это — первый летний день.

— А в этот день я купил новые теннисные туфли.

— Верно! А это — Зеленая машина!

— Пыль бизонов и Чин Линсу!

— Колдунья Таро! Душегуб!

— По-настоящему лето не кончилось, — сказал Том. — Оно никогда не кончится. Я век буду помнить весь этот год — в какой день что было.

— Оно кончилось еще прежде, чем началось, — сказал дедушка, разбирая винный пресс. — Вот я решительно ничего не помню, разве только эту новую траву, которую не нужно косить.

— Ты шутишь!

— Ничуть. Когда-нибудь вы сами убедитесь, мальчики, что к старости дни как-то тускнеют... и уже не отличишь один от другого...

— Как же так! — сказал Том. — В этот понедельник я катался на роликах в Электрик-парке, во вторник ел шоколадный торт, в среду упал и растянул ногу, в четверг свалился с виноградной лозы — да вся неделя была полным-полна всяких событий! И сегодняшний день я тоже запомню, потому что листья все желтеют и краснеют. Скоро они засы-

плот всю лужайку, и мы соберем их в кучи и будем на них прыгать, а потом спалим. Никогда я не забуду сегодняшний день! Век буду его помнить, это я точно знаю!

Дедушка поглядел вверх, в оконце погребца, на предосенние деревья — листва шелестела под ветром, и ветер уже дышал прохладой.

— Конечно, ты его запомнишь, Том, — сказал он. — Конечно, запомнишь.

И они оторвались от мягкого мерцания вина из одуванчиков и вышли из погребца: надо было совершить последние обряды лета, ибо настал последний день и последняя ночь. А к вечеру они вдруг спохватились — оказывается, вот уже три дня как веранды пустеют совсем рано. И в воздухе пахнет как-то по-другому, суше, и бабушка поговаривает теперь не о ледяном чае, а о горячем кофе; открытые окна, в которых трепетали белые занавески, понемногу закрываются; холодные закуски уступают место горячему мясу. На верандах больше нет москитов, они покинули поле боя — и тут войне со временем настал конец, люди тоже отступили, укрылись в теплых комнатах.

Как три месяца назад — или это были три долгих столетия? — Том, Дуглас и дедушка стояли на веранде, и она скрипела, словно корабль, что дремлет ночью, покачиваясь на волнах, и все трое втягивали ноздрями воздух. Мальчикам казалось, в начале лета кости у них были как стебли зеленой мяты и лакрицы, а теперь обратились в мел и слоновую кость. Но прежде всего осенняя прохлада коснулась костей дедушки, точно неумелая рука забарабанила по пожелтевшим басовым клавишам фортепьяно, которое стоит в столовой.

Дедушка повернулся к северу, как стрелка компаса.

— Пожалуй, мы больше не будем выходить сюда по вечерам, — сказал он раздумчиво.

И втроем они сняли цепи с крюков в потолке и унесли качели в гараж, будто старые разбитые похоронные дроги, а за ними летели на землю первые сухие листья. Слышно

было, как бабушка растапливает камин в библиотеке. Вдруг налетел ветер, и в окнах задребезжали стекла.

Дуглас в последний раз остался ночевать сегодня в своей комнатке в башне; он достал блокнот и записал:

Теперь все идет обратным ходом. Как в кино, когда фильм пускают задом наперед — люди выскакивают из воды на трамплин. Наступает сентябрь, закрываешь окошко, которое открыл в июне, снимаешь теннисные туфли, которые надел тогда же, и влезает в тяжеленные башмаки, которые тогда забросил. Теперь люди скорей прячутся в дом, будто кукушки обратно в часы, когда прокукуют время. Только что на верандах было полно народу, и все трещали, как сойки. И сразу двери захлопнулись, никаких разговоров не слышать, только листья с деревьев так и падают.

Он поглядел из высокого окна: на равнине по руслу ручьев валяются, как сушеный инжир, дохлые сверчки; в небе под заунывные крики гагар уже скоро потянутся к югу птицы, деревья взметнут к свинцовым тучам буйные костры пламенеющей листвы. Из далеких полей доносится запах созревающих тыкв — они уже сами тянутся к ножу, скоро в них прорежут треугольники глаз и глянет жгучее пламя свечи. А тут, в городе, из труб взвились первые клубы дыма, и где-то приглушенно позвякивает железо — значит, по желобам в погреба уже потекли жесткие черные реки, и скоро там в ларях вырастут высокие темные холмы угля.

Но время идет, час уже поздний.

В высокой башне над городом Дуглас протянул руку.

— Всем раздеваться!

Он подождал. Холодный ветер леденил оконное стекло.

— Чистить зубы!

Он еще подождал.

— Теперь, — сказал он наконец, — гасите свет!

И мигнул. И город сонно замигал в ответ: часы на здании суда пробили десять, половину одиннадцатого, одиннадцать и дремотную полночь, и один за другим гасли огни.

— Ну, теперь последние... вон там... и тут...

Он лежал в постели, а вокруг спал город, и овраг лежал темный, и озеро чуть колыхалось в берегах, и повсюду его родные и друзья, старики и молодые спали на этой ли, на другой ли улице, в этом ли, в другом ли доме, или на далеких кладбищах за городом.

Дуглас закрыл глаза.

Июньские зори, июльские полдни, августовские вечера — все прошло, кончилось, ушло навсегда и осталось только в памяти. Теперь впереди долгая осень, белая зима, прохладная зеленеющая весна, и за это время нужно обдумать минувшее лето и подвести итог. А если он что-нибудь забудет — что ж, в погребе стоит вино из одуванчиков, на каждой бутылке выведено число, и в них — все дни лета, все до единого. Можно почаще спускаться в погреб и глядеть прямо на солнце, пока не заболят глаза, а тогда он их закроет и всмотрится в жгучие пятна, мимолетные шрамы от виденного, которые все еще будут плясать внутри теплых век, и станет расставлять по местам каждое отражение и каждый огонек, пока не вспомнит все до конца...

С этими мыслями он уснул.

И этим сном окончилось лето тысяча девятьсот двадцать восьмого года.

ЛЕТО, ПРОЩАЙ

*С любовью — Джоку Хаффу,
который живет и здоровствует спустя годы
после «Вина из одуванчиков»*

Глава 1

Иные дни похожи на вдох: Земля наберет побольше воздуха и замирает — ждет, что будет дальше. А лето не кончается, и все тут.

В такую пору на обочинах буйствуют цветы, да не простые: заденешь стебель, и окатит тебя ржавый осенний дождик. Тропинки, все подряд, словно бороздил колесами старый бродячий цирк, теряя разболтанные гайки. Рассыпалась после него ржавчина под деревьями, на речных берегах и, конечно, у железной дороги, где раньше бегали локомотивы; правда, очень давно. Нынче эти рельсы, обросшие пестрой чешуей, томились на границе осени.

— Глянь-ка, Дуг, — заговорил дед, когда они возвращались в город с фермы.

У них в кузове фургона лежали здоровенные тыквы, числом в шесть штук, только-только снятые с грядки.

— Видишь цветы?

— Да, сэр.

— «Прощай-лето», Дуг. Такое у них название. Чуешь, какой воздух? Август пришел. Прощай, лето.

— Ничего себе, — сказал Дуг, — тоскливое у них название.

¹ Антиетам — город, при котором произошло известное сражение в сентябре 1862 г., когда северяне потеряли двенадцать тысяч солдат, а южане — более девяти тысяч и вынуждены были отступить за реку Потомак.

По пути в буфетную бабушка определила, что ветер дует с запада. Из квашни вылезала опара, будто внушительная голова инопланетянина, отъевшегося на урожае прошлых лет. Приподняв на ней шапочку-холстинку, бабушка потрогала эту гору. Такой была земля в то утро, когда на нее сошел Адам. То утро сменило собою ночь, когда Ева соединилась с незнакомцем на ложе в райских кушах.

Из окошка было видно, как в саду отдыхает солнечный свет, тронувший яблони золотом, и бабушка проговорила точь-в-точь те же слова:

— Прощай, лето. Октябрь на дворе, первое число. А на градуснике — восемьдесят два¹. Не уходит летняя пора. Собаки под деревьями прячутся. Листва зеленеет. И плакать охота, и смеяться. Сбегай-ка ты на чердак, Дуг, да выпусти из потайного чулана дурковатую старую деву.

— Разве у нас на чердаке живет дурковатая старая дева? — изумился Дуг.

— У нас — нет, но ты уж сбегай, раз так заведено.

Над лужайкой поплыли облака. А когда опять выглянуло солнце, бабушка у себя в буфетной еле слышно шепнула:

— Лето, прощай.

На веранде Дуг помедлил рядом с дедам, надеясь впитать хоть немного его зоркости, чтобы так же смотреть сквозь холмы, и немного печали, и немного первозданной радости. Но впитал только запах трубочного табака да одеколна «Тигр». В груди закружился волчок: то темная полоса, то светлая, то смешинка в рот попадет, то соленая влага затуманит глаза.

Дуг осмотрел сверху озерцо травы, уже без единого одуванчика, пригляделся к ржавым отметинам на деревьях, втянул запах Египта, прилетевший из дальних восточных краев.

— Надо пончик съесть да поспать чуток, — решил Дуг.

¹ 82 °F = 27,7 °C.

Глава 2

Как был, с усами из сахарной пудры, Дуг раскинулся на кровати в летнем флигеле, готовый погрузиться в дрему, которая уже витала в голове и заботливо укрывала его темнотой.

Где-то вдалеке заиграл оркестр: приглушенными расстоянием духовые и ударные выводили под сурдинку незнакомый тягучий мотив.

Дуг прислушался.

Вроде как трубачи с барабанщиками выбрались из пещеры на яркий солнечный свет. Невидимая стая растревоженных дроздов взмыла в небо и повела партию пикколо.

— Праздничное шествие! — ахнул Дуг и выпрыгнул из кровати, стряхивая остатки дремоты вместе с сахарной пудрой.

Музыка звучала все громче, протяжней и глубже; грозовой тучей, чреватой молниями, опускалась на темнеющие крыши.

Подскочив к окну, Дуглас глядел во все глаза.

И было на что посмотреть: на лужайке, с тромбоном в руках, вытянулся его одноклассник и закадычный друг Чарли Вудмен; другой парнишка, Уилл Арно, приятель Чарли, поднимал кверху трубу, а городской парикмахер, мистер Уайнески, стоял с тубой, словно обвитый кольцами удава, и еще... стоп!

Развернувшись, Дуглас побежал через опустевшие комнаты.

И остановился на крыльце.

В числе музыкантов оказались и дед с валторной, и бабушка с бубном, и братишка Том с дудкой.

Все радостно галдели, все смеялись.

— Эй! — прокричал Дуг. — Какой сегодня день?

— Вот так раз! — прокричала в ответ бабушка. — Сегодня *твой* день, Дуг.

— Ближе к ночи будет фейерверк, а сейчас — прогулка на пароходе!

— Мы отправляемся на пикник?

— Точнее сказать, в путешествие. — Мистер Уайнески поглубже нахлобучил соломенную шляпу цвета кукурузных хлопьев. — Вот послушай!

С дальнего берега озера плыл протяжный гудок парохода.

— Шагом марш!

Бабушка ударила в бубен, Том заиграл на дудке, и пестрая толпа, в сопровождении целой своры заливающихся лаем собак, увлекла Дуга по улице. В центре города кто-то забрался на крышу гринтаунской гостиницы и раскурочил телефонный справочник. Но когда желтое конфетти опустилось на мостовую, процессия была уже далеко.

Над озерной водой собиралась дымка.

Вдалеке безутешно стонал туманный горн.

Показавшийся из тумана белоснежный пароход ткнулся бортом в причал.

Дуг не сводил с него глаз.

— Почему корабль без названия?

Завыл пароходный гудок. В толпе началось движение: Дугласа подталкивали к сходням.

— Ты первый, Дуг!

Тонна меди и десять фунтов палочек дружно грянули «Ведь он достойнейший малый»; люди водрузили Дугласа на палубу, а сами спрыгнули на причал.

Бам!

Это рухнули сходни.

Кто был на берегу, тот не попался в ловушку, вовсе нет.

Зато *он* попался в ловушку на воде.

Пароход, гудя, отчаливал от пристани. Оркестр заиграл «Колумбия, жемчужина морей».

— До свидания, Дуглас! — кричали городские библио-текарши.

— Счастливо, — шелестела толпа.

При виде расставленных на палубе корзин со снедью Дугласу вспомнилось, как он раз ходил в музей и видел там египетскую гробницу, где была вырезанная из дерева ладья,

а в ней — игрушки и сухие комочки фруктов. Воспоминание сверкнуло пороховой вспышкой.

— Счастливо, Дуг, счастливо... — Женщины вытащили платочки, мужчины замахали соломенными шляпами.

Вскоре корабль уже разрезал холодные воды, туман окутал его целиком, и оркестр как-то растворился.

— В добрый час, парень.

И тут до него дошло: обыщи хоть все закутки — не найдешь ни капитана, ни матросов, хотя в машинном отделении рокочет двигатель. Замерев на месте, он вдруг подумал, что можно перегнуться через борт в носовой части, а там рука сама нащупает выведенное свежей краской имя корабля:

«ПРОЩАЙ-ЛЕТО»

— Дуг... — звали голоса. — Ах, до свидания... Ох, счастливо...

А потом пристань опустела, процессия скрылась вдали, пароход дал прощальный гудок и разбил Дугласу сердце: оно брызнуло слезами у него из глаз, и он стал звать родных и близких, оставшихся на берегу.

— Бабушка, дедушка, Том, на помощь!

Покрывшись холодным потом, Дуг залился горячими слезами — и упал с кровати.

Глава 3

Дуг успокоился.

Поднявшись с пола, он приблизился к зеркалу, чтобы посмотреть, как выглядит грусть, а она тут как тут, залила ему щеки краской, и тогда он, протянув руку, пощупал то, другое лицо, и было оно холодным.

В доме повеяло вкусным вечерним запахом свежих пирогов. Дуг побежал через сад на кухню и не пропустил тот момент, когда бабушка вытаскивала из курицы диковинные потроха; потом он выглянул в окно и увидел, как братиш-

ка Том залезает на свое любимое дерево, чтобы добраться до неба.

А кое-кто стоял на крыльце и попыхивал своей любимой трубкой.

— Дедушка, ты здесь! Фу-ты, ох, надо же! И дом на месте! И город!

— Сдается мне, и ты здесь, парень.

— Ага, точно, да.

Деревья оперлись теньями на лужайку. Где-то стрекотала запоздалая газонокосилка: она подравнивала былое, оставляя за собой аккуратные холмики.

— Деда, вот скажи...

Тут Дуглас зажмурился и договорил уже в темноте:

— Смерть — это когда уплываешь на корабле, а вся родня остается на берегу?

Дедушка сверился с облаками.

— Вроде того, Дуг. А с чего ты вдруг спросил?

Дуглас проводил глазами удивительное облако, которое никогда еще не принимало подобных очертаний и никогда больше не станет прежним.

— Говори, дедушка.

— Что говорить-то? Прощай, лето?

Нет, беззвучно закричал Дуглас, этого не надо!

И тут у него в голове поднялся ураган.

Глава 4

Страшной силы железный грохот, да еще с присвистом, кромсал небо ножом гильотины. Удар. Город содрогнулся. Но на самом деле это просто налетел северный ветер.

На дне оврага мальчишки дожидались новой атаки.

Заняв позицию вдоль ручья, они дружно и весело справляли малую нужду под холодными лучами солнца; был здесь и Дуглас. Каждому хотелось запечатлеть свое имя на песке горячей лимонной струйкой. ЧАРЛИ, вывел первый. УИЛЛ, второй. А потом пошло: БО, ПИТ, СЭМ, ГЕНРИ, РАЛЬФ, ТОМ.

Дуглас ограничился своими инициалами, украсив их парой завитушек, но вслед за тем поднатужился и добавил: **ВОЙНА.**

Том прищурился:

— Чего это?

— Война, как видишь, дурила. Война!

— А с кем?

Дуглас Сполдинг пробежал глазами по зеленым склонам необъятного секретного оврага.

И тут в четырех обветшалых, давно не крашенных особняках заводными игрушками возникли четверо стариков, слепленных из плесени и пожелтевшей сухой лозы: они, как мумии из гробов, таращились кто с крыльца, кто из окна.

— С ними, — прошипел Дуг. — Вот они, враги!

Крутанувшись на месте, Дуг скомандовал:

— В атаку!

— Кого убивать-то? — спросил Том.

Глава 5

Из окна сухой мансарды серого от времени дома, что над зеленым оврагом, свесился, как чердачный хлам, трясущийся старикан Брейлинг. Внизу сновали мальчишки.

— Боже милостивый, — воскликнул он, — сделай так, чтобы прекратился этот дикий гогот!

Слабыми руками он схватился за грудь, как поступает швейцарский часовщик, когда заговаривает тонкий механизм особым заклинанием, сродни молитве.

По ночам, страшась остановки сердца, он ставил у изголовья метроном, чтобы пульсация крови не прекратилась, пока он спит.

На крыльце зашаркали чьи-то шаги, сопровождаемые стуком трости. Не иначе как сюда пожаловал старый Келвин Си Квотермейн, чтобы устроиться в шершавом плетеном кресле и обсудить политику школьного попечительского со-

вета. Брейлинг чуть не кубарем скатился с лестницы и выскочил на крыльцо.

— Квотермейн!

Келвин Си Квотермейн опустился на тростниковое сиденье, как негнувшийся игрушечный робот, непомерно большой и насквозь ржавый.

Брейлинг хохотнул:

— А ведь я добился своего!

— Надолго ли? — усомнился Квотермейн.

— Черт-те что, — вздохнул Брейлинг. — Того и гляди, впишут нас в коробку из-под сухофруктов да закопают. Одному богу известно, что им взбредет в голову, этим негодникам.

— Совсем распоясались. Ты только послушай!

— Бабах!

Это мимо крыльца пронесся Дуг.

— Не смей топтать лужайку! — заголосил Брейлинг.

Дуг развернулся и прицелился из капсюльного пистолета.

— Бабах!

Побледневший, с перекошенной физиономией, Брейлинг выкрикнул:

— Мазила!

— Бабах! — Дуглас запрыгнул на ступеньки.

В глазах Брейлинга он увидел две испуганные луны.

— Бабах! Рука прострелена!

— Рука не считается! — фыркнул Брейлинг.

— Бабах! Прямо в сердце!

— Как ты сказал?

— Прямо в сердце — бабах!

— Спокойно... Раз-два! — зашептал старик.

— Бабах!

— Раз-два. — Брейлинг давал команду своим рукам, сжимающим ребра. — Господи! Метроном!

— Чего?

— Метроном!

— Бабах! Наповал!

— Раз-два, — выдавил Брейлинг.

И упал замертво.

Дуглас отпрянул и, пересчитав ступеньки, грохнулся на сухую траву, однако не выпустил из рук капсюльный пистолет.

Глава 6

Часы сменяли друг друга снежно-холодными всполохами, а в особняке Брейнга металась люди, надеясь, вопреки здравому смыслу, лицезреть воскрешение Лазаря.

Келвин Си Квотермейн, словно капитан тонущего корабля, не уходил с крыльца.

— Черт побери! Я своими глазами видел у мальчишки пистолет!

— Пулевых ранений не обнаружено, — заявил вызванный соседями доктор Либер.

— Застрелили! Насмерть!

В доме воцарилась тишина: соседи помогли вынести безжизненную оболочку бедняги Брейнга и разошлись. Келвин Си Квотермейн, брызгая слюной, сошел с крыльца последним.

— Богом клянусь разыскать убийцу!

Опираясь на трость, он поковылял за угол.

Крик, удар!

— Нет, ради бога, нет! — Какая-то сила подбросила его в воздух и швырнула оземь.

Соседки, отдохавшие неподалеку в креслах-качалках, вытянули шеи.

— А ведь это почтенный Квотермейн, верно?

— Неужто и этому пришел конец... мыслимое ли дело?

У Квотермейна дрогнули веки.

Вдалеке он заметил мальчишку, который удирал на велосипеде.

Убийца, пронеслось у него в голове. Убийца!

Глава 7

Если Дуглас плелся нога за ногу, его мысли неслись как угорелые; если он сам несся как угорелый, мысли плелись еле-еле. Сейчас дома расступались; небо полыхало.

На краю оврага он размахнулся и выбросил пистолет. Поток тут же смыл все следы. Эхо замерло.

И тут пистолет срочно понадобился ему вновь, чтобы потрогать грани убийства, как можно было потрогать того злющего старика.

Скатившись в овраг, Дуглас ринулся сквозь бурьян и, чуть не плача, отыскал свое оружие. От него пахло порохом, огнем и тьмой.

— Бабах, — прошептал Дуг и поспешил вверх по склону, туда, где бросил велосипед, — через дорогу от места убийства старика Брейлинга.

Сначала он отвел велосипед подальше, как слепого коня, а потом оседлал его и покатил вокруг квартала, влекомый к тому же месту жестокого убийства.

Заворачивая за угол, он услышал крики: «Нет! Нет!» — это его велосипед сбил нелепое пугало, которое рухнуло на дорогу; тогда он с воем нажал на педали и через плечо оглянулся на новую жертву. Чей-то голос вопрошал:

— А ведь это почтенный Квотермейн, верно?!

— Не может быть, — простонал Дуг.

Брейлинг упал. Упал и Квотермейн. Стук-стук, два длинных топорика тюкнулись носом — один в крыльцо, другой в дорожную обочину, застыли и больше уже не поднимаются.

Дуг гнал велосипед по городским улицам. Преследования не было.

Похоже, город и не догадывался, что одного из жителей только что застрелили, а другого покалечили. Город пил чай и мурлыкал: «Передай сахарницу».

У своего крыльца Дуг резко тормознул. Не иначе как мама заливается слезами, а отец уже налаживает бритву...

Он распахнул кухонную дверь.

— Ага, явился не запылелся. — Мать чмокнула его в лоб. — Аппетит нагулял — и тут как тут.

— Странно, — сказал Дуг. — Почему-то аппетита совершенно нет.

Глава 8

За ужином вся семья услышала, как в дверь с улицы полетели камешки.

— Вот интересно, — сказала мать, — мальчишки понимают, для чего существует звонок?

— За последние два столетия, — вступил отец, — не отмечено ни одного случая, чтобы юноша в возрасте до пятнадцати лет подходил к дверному звонку ближе чем на десять футов. Вы поели, молодой человек?

— Так точно, сэр.

Дуглас, как артиллерийский снаряд, вышиб входную дверь, затянутую сеткой от мошканы, прокатился по полу и прыгнул назад, успев придержать створку, пока она не грохнула. Только после этого он соскочил с крыльца на лужайку, где уже истомился Чарли Вудмен, встретивший его ошутимыми дружескими тычками.

— Дуг! Как сказал, так и сделал! Брейлинга пристрелил! Силен!

— Тише ты, Чарли!

— А когда расстреляем попечительский совет? Прикинь, до чего дошли: в этом году каникулы на неделю урезали! За такое убить мало! Расскажи, как ты это провернул, Дуг?

— Просто крикнул: «Бабах! Наповал!»

— И Квотермейна — так же?!

— Квотермейна?

— Ты ему ногу сломал! Везде поспел, Дуг!

— Никому я ногу не ломал. Это мой велик...

— Нет, машина какая-то! Я сам слышал, как старикашка Кел орал, когда его волокли домой: «Адская машина!» Что еще за адская машина, Дуг?

Мысленным взором Дуглас увидел, как велосипед на полном ходу врзается в Квотермейна и подбрасывает его в воздух, а он, Дуглас, дает деру под старческие вопли.

— Дуг, а почему ты ему обе ноги не переломал, раз уж обзавелся адской машиной?

— Чего?

— Покажешь, как это делается, Дуг? А можно твою машину настроить так, чтоб она кромсала на тысячу кусочков?

Дуг взгляделся в лицо Чарли, заподозрив насмешку, но физиономия приятеля была чиста, как церковный алтарь, озаренный святым духом.

— Дуг, — захлебывался он, — ну, Дуг, ты — супер!

— Ясное дело, — согласился Дуглас, потеплев перед этим алтарем. — Квотермейн попер на меня, я попер на него и на гадский попечительский совет, а после доберусь и до городских заправил: до мистера Блика, до мистера Грея и всех этих тупых стариков, которые обсели наш овраг.

— А поглядеть-то можно, как ты будешь их давить?

— Что? Ну да, конечно. Только прежде нужно все спланировать, сколотить армию.

— Прямо сегодня, Дуг?

— Завтра...

— Нет, давай сегодня! Хоть умри! Ты будешь капитаном.

— Генералом!

— Ладно, будь по-твоему. Сейчас наших соберу. Пусть услышат своими ушами! Встречаемся у моста через овраг, ровно в восемь! Ну, дела!

— Под окнами не ори, — напомнил Дуг. — Каждому оставь на крыльце тайное сообщение. Это приказ!

— Понял!

Чарли с гиканьем умчался прочь. Дуглас почувствовал, как его сердце тонет в тепле запоздалого лета. У него в голове, в мускулах и кулаках зрела власть. Столько всего за один день! Был заурядный троечник, а теперь — генерал!

Так, кому тут сломать ногу? Кому заткнуть метроном? Он судорожно глотал летний воздух.

Все огненно-розовые окна умирающего дня смотрели на этого супербандита, который вышагивал в их ослепительном свете, с суровой улыбкой двигаясь навстречу фортуне, навстречу восьми часам, навстречу сбору великой Гринтаунской конфедерации и всем тем, кто поет у костра: «Станем лагерем, ребята, разобьем палатки...» Эту песню, решил он, мы споем трижды.

Глава 9

На чердаке Дуг с Томом устроили штаб. Из перевернутого ящика получился генеральский стол; адъютант стоял навьтяжку, ожидая приказов.

— Бери блокнот, Том.

— Есть.

— Карандаш «Тайкондерога»?

— Есть.

— Мною утвержден личный состав Великой армии Республики¹. Записывай. Уилл, Сэм, Чарли, Бо, Пит, Генри, Ральф. Да, и еще ты, Том.

— На кой нам этот список, Дуг?

— Каждому будет дано особое поручение. Время не ждет. Первым делом следует решить, сколько у нас будет капитанов и сколько лейтенантов. Генерал — один. Это я.

— Правильно, Дуг. Всех надо занять делом.

— Первые трое по списку — капитаны. Следующие трое — лейтенанты. Остальные — разведчики.

— Разведчики, говоришь?

— По-моему, это самое лучшее звание. Ползаешь по-пластунски, ведешь слежку, потом являешься с донесением.

— Круто! Я тоже хочу в разведчики.

— Постой. Давай-ка всех произведем в капитаны и лейтенанты, чтобы не было раздоров, а то проиграем войну, не успев начать. Просто некоторые будут заодно ходить в разведку.

— Отлично, Дуг, вот, готово.

Дуг пробежал глазами список.

— Теперь нужно определить первоочередные задачи.

— Пусть разведчики добудут сведения.

— Решено, Том. Будешь командиром разведчиков. После вечерней поверки в овраге... — Заслышав эти слова, Том сурово покачал головой. — В чем дело?

¹ Великая армия Республики — организация ветеранов-юнионистов, учреждена после окончания Войны Севера и Юга в 1866 г.

— Слышь, Дуг, можно, конечно, и в овраге, но я знаю местечко получше. Кладбище. Чтоб каждый помнил, куда попадет, если будет хлопать ушами.

— Неплохо придумано, Том.

— Так вот. Я пойду в разведку и оповещу наших. Сбор у моста, затем передислокация на кладбище, так?

— Молодчина, Том.

— Всегда был таким, — сказал Том. — Всегда был таким.

Убрав карандаш в карман куртки и спрятав пятипенсовый блокнот за пояс комбинезона, он отдал честь командиру.

— Разойдись!

И Том убежал.

Глава 10

На всем зеленом пространстве старого кладбища теснились надгробные камни, а на камнях читались имена. Не только имена людей, погребенных под травой и цветами, но еще имена времен года. Весенний дождь начертал здесь тихие, невидимые письма. Летнее солнце отбелило гранит. Осенний ветер смягчил очертания букв. А снег отпечатал свою холодную ладонь на зимнем мраморе. Но сейчас, среди дрожащих теней, времена года только и могли, что бесстрастно выкликать послания имен: «ТАЙСОН!», «БОУМЕН!», «СТИВЕНС!»

Дуглас перепрыгнул через «ТАЙСОНА», поплясал на «БОУМЕНЕ», покружил вокруг «СТИВЕНСА».

На кладбище было прохладно от старых смертей и еще от старых камней, что появились на свет в горах далекой Италии, откуда были доставлены по морю и возложены на этот зеленеющий подземный город, под небом, чересчур ярким в летние месяцы и чересчур тоскливым — в зимние.

Дуглас осмотрелся. Вся территория кишела древними страхами и проклятиями. Его окружала Великая армия, а он смотрел, не запутались ли, часом, в кронах высоких тополей и вязов перепончатые крылья, поднятые вверх могучими

воздушными потоками. Виделось ли его солдатам то же самое? Было ли им слышно, как осенние каштаны по-кошачьи мягко прыгают с веток на жирную землю? Правда, сейчас все вокруг притихло в заповедных голубых сумерках, которые блестками света поместили на могильных плитах те места, куда некогда опускались едва появившиеся на свет желтые бабочки, чтобы набраться сил и обсушить крылышки.

По приказу Дугласа внезапно оробевшие вояки продвинулись вглубь тишины и завязали ему глаза платком-банданой; на лице остался только рот, улыбающийся сам себе.

Наткнувшись на ближайшее высокое надгробие, Дуг обхватил его руками, пробежал пальцами по камню, будто по струнам арфы, и зашептал: «Джонатан Силкс. Тысяча девятьсот двадцатый. Пулевое ранение». Идем дальше: «Уилл Колби. Тысяча девятьсот двадцать первый. Грипп».

Он слепо блуждал из стороны в сторону и нащупывал высеченные глубоко в камне позеленевшие, замшелые имена, и дождливые годы, и старинные игры, родом из забытых Дней поминовения; когда его тетки поливали слезами траву и шуршали словами, как деревья в бурю.

Дуг назвал тысячу имен, опознал десять тысяч могильных цветов, десять миллионов раз сверкнул острым заступом.

— Воспаление легких, подагра, чахотка, заворот кишок. Такая у них была подготовка, — сказал Дуг. — Тренировались перед смертью. А ведь это дурацкое занятие — лежать в земле, сложа руки, согласны?

— Послушай-ка, Дуг, — смущенно выговорил Чарли. — Мы сюда пришли армию сколотить, а теперь мертвякам кости перемываем. До Рождества еще миллиард лет пройдет. Времени — вагон, что хочешь, то и делай, но не помирать же! Я, например, сегодня утром проснулся и говорю себе: Чарли, до чего же классно — жить! Живи да радуйся!

— Ты, Чарли, рассуждаешь, как тебя всю жизнь учили!

— Я что, морщинами пошел? Желтый стал, как собаками обгаженный? Может, мне уже не четырнадцать лет, а пятнадцать или двадцать? Ну, говори!

— Ты все испортишь, Чарли!

— Да мне побоку. — Чарли расплылся в улыбке. — Конечно, все люди умирают, но когда придет моя очередь, я скажу: нет уж, спасибочки. Вот ты, Бо, собираешься помирать? А ты, Пит?

— Еще чего!

— И я не собираюсь!

— Усек? — Чарли повернулся лицом к Дугу. — Пусть мухи дохнут, а мы не хотим. До поры до времени заляжем в тени, как гончие псы. Не кипятись, Дуг.

Засунутые в карманы руки Дугласа, сгребая пыль, оловянные биты и кусочек мела, сжались в кулаки. В любую минуту Чарли мог слернуть, а за ним и вся банда, как тв-кающая собачья свора, умчится куда глаза глядят сквозь темнеющие заросли дикого винограда и даже букашку не прихлопнет.

Недолго думая он принялся выводить мелом имена на могильных плитах: ЧАРЛИ, ТОМ, ПИТ, БО, УИЛЛ, СЭМ, ГЕНРИ, РАЛЬФ, а потом отошел в сторонку, чтобы каждый мог найти себя на мраморной поверхности, в осыпающейся меловой пыли, под ветвями, сквозь которые летело время.

Мальчишки остолбенели; не говоря ни слова, они долго-долго разглядывали непрошенные меловые штрихи на холодном камне. Наконец послышались робкие шепотки.

— Ни за что не умру! — заплакал Уилл. — Я буду драться!

— Скелеты не дерутся, — возразил Дуглас.

— Без тебя знаю! — Заливаясь слезами, Уилл бросился к надгробию и начал стирать мел.

Остальные не шевельнулись.

— Конечно, — заговорил Дуглас, — в школе нам будут твердить: вот здесь у вас сердце, с ним может случиться инфаркт! Будут трендеть про всякие вирусы, которые даже увидеть нельзя! Будут командовать: прыгни с крыши, или зарежь человека, или ложись и умирай.

— Нет уж, — выдохнул Сэм.

Уходящее солнце теребило слабыми пальцами последних лучей необъятный кладбищенский луг. В воздухе уже мельтешили ночные бабочки, а журчание кладбищенского

ручья рождало лунно-холодные мысли и вздохи; тут Дуглас вполголоса закончил:

— Ясное дело, кому охота лежать в земле, где и жестянку не пнуть? Вам это нужно?

— Скажешь тоже, Дуг...

— Вот и давайте бороться! Мы же видим, чего от нас хотят взрослые: расти, учись врать, мошенничать, воровать. Война? Отлично! Убийство? Здорово! Нам никогда не будет так классно, как сейчас. Вырастешь — станешь грабителем и поймаешь пулю, или еще того хуже: заставят тебя ходить в пиджаке, при галстучке, да и сунут за решетку Первого национального банка! У нас один выход — остановиться! Не выходить из этого возраста. Расти? Не больно хотелось! Вырастешь — надо жениться, чтобы тебе каждый день скандалы закатывали! Так что: сопротивляемся или нет? Готовы слушать, если я вам расскажу, как от этого спастись?

— А то! — сказал Чарли. — Валяй!

— Итак, — начал Дуг, — прикажите своему организму: кости, чтобы ни дюйма больше! Замрите! И вот еще что. Хозяин этого кладбища — Квотермейн. Ему только на руку, если мы здесь ляжем в землю — и ты, и ты, и ты! Но мы его достанем. И всех прочих стариканов, которые заправляют у нас в городе! До Хэллоуина осталось всего ничего, но мы и ждать не будем: покажем им, где раки зимуют! Хотите стать как они? А знаете, как они такими стали? Ведь все до единого были молодыми, но лет этак в тридцать, или в сорок, или в пятьдесят начали жевать табак, а от этого пропитались слизью и не успели оглянуться, как эта слизь, клейкая, тягучая, стала выходить наружу харкотинной, обволокла их с головы до ног — сами знаете, видели, во что они превратились: точь-в-точь гусеницы в коконах, кожа задубела, молодые парни превратились в старичье, им самим уже не выбраться из этой коросты, точно говорю. Старики все на одно лицо. Вот и получается: коптит небо такой старый хрен, а внутри у него томится молодой парень. Может, конечно, кожа вскорости растрескается, и старик выпустит молодого на волю. Но тот уже никогда не станет по-настоящему мо-

лодым: получится из него этакая бабочка «мертвая голова»; хотя, если пораскинуть мозгами, старики молодых не отпустят, так что молодым никогда не выйти из липкого кокона, только и будут всю жизнь на что-то надеяться. Дело дрянь, согласны? Хуже некуда.

— А ты откуда знаешь, Дуг? — спросил Том.

— Во-во, — подхватил Пит. — Сам-то понял, чего сказал?

— Пит просто хочет знать наверняка, чтоб без обмана, — уточнил Бо.

— Объясняю еще раз, — сказал Дуг. — Слушайте ухом, а не брюхом. Записываешь, Том?

— А как же. — Том занес карандаш над блокнотом. — Поехали.

В сгущающейся мгле, среди запаха травы, и листьев, и увядших роз, и холодного камня, слушатели вскинули головы, пошмыгали носами и утерли щеки рукавами.

— Так вот, — сказал Дуг. — Повторяю. Глазеть на эти могилы — бесполезняк. Нужно подслушивать под открытыми окнами, чтобы узнать, чего эти старперы боятся больше всего. Том, ты притащишь тыквы из бабушкиной кладовки. Устроим соревнование: кто вырежет самую страшную рожу. Одна тыква должна смахивать на старика Квотермейна, другая — на Блика, третья — на Грея. Зажгите внутри по свечке и выставьте на улицу. Прямо сегодня ночью и провернем нашу первую операцию с тыквами. Вопросы есть?

— Вопросов нет! — дружно прокричали все.

Они перемахнули через «УАЙТА», «УИЛЬЯМСА» и «НЕББА», устроили опорные прыжки через «СЭМЮЕЛСА» и «КЕЛЛЕРА», со скрипом распахнули кованую калитку и оставили позади сырой дерн, заплутавшие лучи солнца и неиссякаемый ручей под горкой. Следом увязалась туча серых мотыльков, но у калитки они отстали, а Том вдруг помедлил, смерив брата осуждающим взглядом.

— Дуг, что ты там наплел про эти тыквы? У тебя мозги набекрень, честное слово!

— Разговорчики! — Дуг остановился, развернувшись к нему лицом, хотя все остальные мчались что есть духу от этого места.

— Может, хватит? Гляди, что ты наделал. Сгношил ребят, а теперь запугиваешь. От таких речей вся армия разбежится. Надо сплотить наши ряды. Каждому дать задание, иначе все разбредутся по домам и больше не выйдут, а то и вовсе спать завалятся. Придумай что-нибудь, Дуг. Без этого нельзя.

Подбоченясь, Дуг в упор смотрел на Тома:

— Выходит, ты у нас теперь генерал, а я — последний рядовой?

— О чем ты, Дуг?

— Мне уже почти четырнадцать, а тебе — еле-еле двенадцать, но ты мной командуешь, будто сто лет прожил, да еще поучаешь. Неужели у нас все так паршиво?

— Паршиво, говоришь? Да у нас все прахом пошло. Смотри, как ребята драпают. Догоняй-ка и придумай что-нибудь дельное, пока бежишь до главной площади. Армию надо обновить. Дай нам толковое задание, а то придумал, надо же: тыквы резать! Шевели мозгами, Дуг, соображай!

— Соображаю. — Дуглас закрыл глаза.

— Ну, тогда вперед! Беги, Дуг. Я за тобой.

И Дуг сорвался с места.

Глава 11

На городской окраине, неподалеку от школы, была дешевая кондитерская, где в соблазнительных ловушках прятались отравленные сладкие приманки.

Дуг остановился, пригляделся, подождал Тома и крикнул:

— Сюда, ребята! Заходим!

Мальчишки так и замерли — ведь он добавил название лавчонки, поистине волшебный звук.

Но по знаку Дуга все подтянулись к дверям и стали входить по одному, выстроившись в затылок, как и подобает обученной армии.

Последним зашел Том, заговорщически улыбнувшись Дугу.

Там был мед в сотах из теплого африканского шоколада. В янтарных сокровищницах застыли бразильские орехи нового урожая, миндаль и глазированные снежные гроздья кокосовой стружки. Темные сахарные слитки вобрали в себя июньское масло и августовскую пшеницу. Все это было завернуто в серебристую фольгу, а сверху замаскировано красными и синими обертками, на которых указывался только вес, состав и производитель. Яркими букетиками пестрели конфетные россыпи: карамель, чтобы склеивались зубы, лакрица, чтобы чернело сердце, жевательные бутылочки с тошнотворным ментолом и земляничным сиропом, трубочки «тутси» в форме сигар и мятно-сахарные сигареты с красными кончиками — на случай холодного утра, когда дыхание клубится в воздухе.

Стоя посреди лавки, ребята глазели на яства, что жуются с хрустом, и фантастические напитки, что проглатываются залпом. В голубовато-ледяной, колючей воде холодильного шкафа плыли, как по течению Нила, бутылки с шипучкой цвета спелой хурмы. Над ними, на стеклянных полках, штабелями высились имбирное, миндальное и шоколадное печенье, полукруглые вафли и зефир в шоколаде, белый сюрприз под черной маской. И все это — специально, чтобы обложило язык и прилипло к нёбу.

Дуг вытащил из кармана несколько монеток и кивнул приятелям.

Один за другим, прижав носы к стеклу и затуманивая дыханием хрустальный шкаф, они стали выбирать сладкие сокровища.

Прошло совсем немного времени — и все уже мчались по проезжей части к оврагу, унося с собой лимонад и сладости.

Когда армия была в сборе, Дуг опять кивнул, дав знак спускаться по склону. С противоположной стороны, на высоком берегу оврага маячили стариковские дома, омрачающие солнечный день угрюмыми тенями. А еще выше — Дуг

приложил ладонь козырьком и взгляделся повнимательнее — громадой выделялся дом с привидениями.

— Я вас не зря сюда привел, — сказал Дуг.

Том ему подмигнул и щелчком откупорил бутылку.

— Будем тренировать волю, чтобы стать настоящими бойцами. Показываю, — отчеканил он, вытягивая руку с лимонадной бутылкой. — Ничему не удивляйтесь. Выливаем!

— Вообще уже! — Чарли Вудмен постучал себя по лбу. — Это ж у тебя крем-сода, Дуг, вкуснотища! А у меня — апельсиновый краш!

Дуг перевернул свою бутылку вверх дном. Крем-сода с шипением влилась в прозрачный ручей, который стремительно понес ее в озеро. Мальчишки остолбенели при виде этого действия.

— Хочешь, чтобы из тебя испариной выходил апельсиновый краш? — Дуглас выхватил у Чарли бутылку. — Хочешь, чтобы у тебя плевки были из крем-соды, хочешь пропитаться отравой, от которой никогда не очиститься? Когда вырастешь, назад уже не вращешь, воздух из себя иголкой не выпустишь.

Страдальцы мрачно опрокинули свои бутылки.

— Пусть раки травятся. — Чарли Вудмен швырнул бутылку о камень.

Остальные последовали его примеру, как немцы после тоста; стекло брызнуло сверкающими осколками.

Потом они развернули подтаявшие шоколадки, марципаны и миндальные пирожные. Все облизулись, у всех потекли слюнки. Но глаза были устремлены на генерала.

— Торжественно клянусь: отныне — никаких сладостей, никакого лимонада, никакой отравы.

Дуглас пустил по воде шоколадный батончик, как покойника на морских похоронах.

Бойцам не было позволено даже облизать пальцы.

Прямо над оврагом им встретила девчонка, которая ела мороженое — сливочный рожок. От такого зрелища языки высунулись сами собой. Девчонка слизнула холодный завиток. Бойцы зажмурились. А ей хоть бы что — упле-

тала себе рожок да еще улыбалась. На полудюжине лбов проступил пот. Лизни она еще хоть раз, высунься из девчоночьего рта этот аккуратный розовый язычок, коснись он холодного сливочного пломбира — и мятеж в рядах армии был бы неминуем. Набрав полную грудь воздуха, Дуглас гаркнул:

— Брысь!

Девчонка отпрянула и пустилась наутек.

Выждав, пока не улеглись страсти по мороженому, Дуглас негромко произнес:

— У моей бабушки всегда наготове вода со льдом. Шагом марш!

II

ШАЙЛО¹ И ДАЛЕЕ

Глава 12

Келвин Си Квотермейн был таким же длинным и напыщенным, как его имя.

Он не ходил, а шествовал.

Не смотрел, а созерцал.

Не разговаривал, а выстреливал суждения, беспощадно поражая любую близкую мишень.

Он изрекал и вещал, никого никогда не хвалил и всех поливал презрением.

В данный момент он изучал микробов сквозь линзы своих очков в тонкой золотой оправе. Микробами, подлежащими уничтожению, были мальчишки. В особенности один.

— Велосипед, силы небесные, проклятый голубой велосипед. Больше там ничего не было!

Квотермейн даже зарычал, брыкнув здоровой ногой.

— Гаденыши! Брейлинга прикончили! А теперь за мной охотятся!

Дородная сестра милосердия удерживала его поперек живота, как деревянного индейца из табачной лавки, пока доктор Либер накладывал гипс.

— Господи! Какой же я болван! Ведь Брейлинг упомянул метроном. Боже мой!

— Полегче, у вас нога сломана!

¹ Ш а й л о — битва при Шайло произошла в апреле 1862 года.

— Велосипед ему не поможет! Меня и адской машиной не возьмешь, вот так-то!

Сестра милосердия сунула ему в рот таблетку.

— Все хорошо, мистер Си, все хорошо.

Глава 13

Ночь; лимоннокислый дом Келвина Си Квотермейна; хозяин, давно выписанный из больницы, лежит в собственной постели — а его молодость тем временем пробила панцирь, выскользнула между ребрами, покинула старческую оболочку и затрепетала на ветру.

Когда по воздуху пробегали шумы летней ночи, у Квотермейна резко дергалась голова. Прислушиваясь, он извергал ненависть:

— Господи, порazi огнем этих выроdkов! — А сам думал, покрываясь холодной испариной: «Брейлинг отчаянно старался сделать их людьми, но потерпел поражение, зато я возьму верх. Боже, что ж там делается?»

Он поднял глаза туда, где наемни полыхнула огнестрельная вспышка, в одночасье взорвавшая их жизнь в конце одного запоздалого лета, соединившего в себе капризы погоды, слепоту небес и неожиданное чудо — жить и дышать среди этого водоворота безумных событий. Боже милосердный! Кто командовал этим парадом и куда его вел? Будь бдителен, Господи! Барабанщики убивают капитана.

— Должны же быть и другие, вроде меня, — шептал он в сторону распахнутого окна. — Те, кому сейчас не дают покоя мысли об этих негодях!

Он явственно ощущал, как дрожат далекие тени — такие же насквозь проржавевшие железные старики, что прячутся в своих высоких башнях, чавкают жидкой кашей и ломают на кусочки сухие галеты. Надо бросить им клич, и его тревога зарницей пролетит по небу.

— Телефон, — выдохнул Квотермейн. — Давай, Келвин, собирай своих!

Из темного палисадника донеслись какие-то шорохи.

— Это еще что? — прошептал он.

Мальчишки сгрудились внизу, на темных глубинах травы. Дуг и Чарли, Уилл и Том, Бо, Генри, Сэм, Ральф и Пит — все присматривались к высокому окну Квотермейновой спальни.

У них были с собой три мастерски вырезанные, устрашающие тыквы. Не выпуская их из рук, мальчишки начали расхаживать по тротуару, а голоса взмывали вверх среди освещенных звездами деревьев, становясь все громче:

— Черви в череп заползают, черви череп проедают.

Скрюченные, веснушчато-пергаментные пальцы Квотермейна вцепились в телефонную трубку.

— Блик!

— Квотермейн? Тебе известно, который час?

— Погоди! Ты слышал, что случилось с Брейлингом?

— Так я и знал: когда-нибудь его застукают без часов.

— Сейчас не время острить!

— Да будь он неладен со своими хронометрами; они у него тикали на весь город. Уж коли висишь на краю могилы, так прыгай. И мальчишку с пугачом не впутывай. Что ж теперь прикажешь делать? Пугачи запрещать?

— Блик, ты мне нужен!

— Все мы друг другу нужны.

— Брейлинг был секретарем попечительского совета. А я — председатель! Наш треклятый город наводнен потенциальными убийцами.

— Квотермейн, любезнейший, — сухо произнес Блик; — ты мне напомнил анекдот про главного врача психиатрической лечебницы, который сетовал, что пациенты походили с ума. Неужели ты не знал, что все мальчишки — паразиты?

— Таких надо наказывать!

— Жизнь накажет.

— Эти безбожники окружили мой дом и затянули похоронную песню!

— «Черви в череп заползают»? Я и сам в детстве обожал эту песенку. Ты-то помнишь себя десятилетним? Возьми да позвони их родителям.

— Этим недоумкам? В лучшем случае они скажут своим чадам: «Оставьте в покое вредного старикашку».

— Почему бы не принять закон, чтобы всем сразу стукнуло семьдесят девять? — По телефонным проводам побежала ухмылка Блика. — У меня самого два десятка племянников, которые на стенку лезут, когда я намекаю, что собираюсь жить вечно. Очнись, Кел. Мы ведь меньшинство, как чернокожие или вымершие хетты. Наша страна хороша для молодых. Единственное, что мы можем сделать, — дожидаться, пока этим садистам исполнится девятнадцать, и тут же отправить их на войну. В чем их преступление? В том, что они лопаются от лимонада и весеннего дождя. Запасись терпением. Пройдет совсем немного времени — и они будут ходить с инеем в волосах. Отомстить всегда успеешь.

— Поможешь ты мне или нет, черт тебя побери?

— Ты имеешь в виду выборы в попечительский совет? Помогу ли я тебе собрать Гвардию старых перечников имени Квотермейна? Я буду наблюдать из-за боковой и время от времени отдавать свой голос за вас, бешеных псов. Сократить летние каникулы, урезать зимние, отменить весенний парад воздушных змеев — таковы ваши планы, правильно я рассуждаю?

— По-твоему, у меня помрачение рассудка?

— Нет, всего лишь замедленная реакция. Вот я, к примеру, разменяв шестой десяток, сразу сообразил, что влился в ряды лишних людей. Мы, конечно, не африканцы, Квотермейн, и даже не язычники-азиаты, но мы помечены клеймом седины, а руки у нас покрыты ржавчиной, хотя еще недавно были гладкими и чистыми. Терпеть не могу того субъекта, чья растерянная одинокая физиономия глядит на меня по утрам из зеркала. А что со мной творится при виде хорошеньких женщин, боже мой! Меня охватывает неистовство. Такой весенний сумбур в мыслях смутил бы даже му-

мию фараона. Короче говоря, в разумных пределах можешь на меня рассчитывать, Кел. Спокойной ночи.

Два телефона шелкнули одновременно.

Квотермейн высунулся из окна. Под луной стояли тыквы, мерцающие жутким октябрьским светом.

«Откуда, хотелось бы знать, у меня такое ощущение, — спросил он сам себя, — будто первая тыква похожа на меня, вторая смахивает на Блика, а третья — вылитый Грей? Нет, нет. Быть такого не может. Господи, где бы мне отыскать метроном Брейлинга?»

— Вон отсюда! — прокричал он в темноту.

Подхватив костыли, Квотермейн с усилием поднялся с кресла, еле-еле спустился по лестнице, допрыгал до веранды и кое-как добрался до тротуара, где подмигивали стоящие рядом тыквенные головы.

— Ну и ну, — забормотал он. — Впервые в жизни вижу такие гнусные, омерзительные тыквы! Ну, держитесь!

Он замахнулся костылем и сплеча рубанул оранжевую голову, потом вторую и третью; свечки, мерцавшие сквозь прорези, угасли.

Попятившись, чтобы сподручнее было рубить, кромсать и полосовать, он рассек каждую тыкву на части, да так, что наружу брызнули семечки, а клочки рыжей плоти разлетелись во все стороны.

— Эй, кто-нибудь! — позвал он.

Его экономка в смятении выскочила из дому и ринулась через обширный газон.

— Не поздно ли будет, — громогласно осведомился Квотермейн, — затопить печку?

— Затопить печку, мистер Кел?

— Да, затопить распроклятую печку. Доставайте противни. У вас есть рецепт тыквенного пирога?

— Как не быть, мистер Кел.

— Тогда собирайте эти ошметья. Заказываю обед на завтра: «Сплошные десерты!»

Квотермейн развернулся и на костылях взобрался по лестнице.

Глава 14

Внеочередное заседание Гринтаунского муниципального комитета по образованию должно было начаться с минуты на минуту.

Кроме Келвина Си Квотермейна присутствовали еще двое: Блик и мисс Флинн, секретарь-референт.

Квотермейн указал на столик с пирогами.

— Что это такое? — удивились двое других.

— Триумфальный завтрак, а может, обед.

— На мой взгляд, это пироги, Квотермейн.

— А что же еще, дурная твоя голова! Пир победителей, вот что это такое. Мисс Флинн?

— Да, мистер Кел?

— Внесите в протокол. Сегодня перед заходом солнца я сделаю несколько заявлений над оврагом.

— А именно?

— «Слушайте меня, подлые бунтари. Война не окончена: вы не сдались, но и не победили. Похоже, все решит случай. Готовьтесь, октябрь будет долгим. Вы у меня на крючке. Берегитесь».

Квотермейн умолк, закрыл глаза и сжал пальцами виски, будто старался что-то вспомнить.

— Ага, вот. Незабвенный полковник Фрилей. Нам требуется полковник. Когда Фрилей был произведен в полковники?

— Сразу как Линкольна застрелили.

— Так-так. Кто-то из нас должен стать полковником. Им буду я. Полковник Квотермейн. Как на ваш слух?

— Весьма достойно, Кел, весьма достойно.

— А раз так — отставить разговоры и приступить к пирогам.

Глава 15

На веранде у Дуга с Томом ребята расселись в кружок. В голубой краске потолка отражалась голубизна октябрьского неба.

— Трам-тарарам... — начал Чарли, — прямо не знаю, как сказать, Дуг, но мне жрать охота.

— Чарли! Ты не о том думаешь!

— Я как раз о том думаю, — возразил Чарли. — Земляничный пирог, а сверху — огромное белое облако взбитых сливок.

— Том, — потребовал Дуглас, — загляни-ка в блокнот: что сказано в уставе насчет измены?

— С каких это пор мысли о пироге считаются изменой? — Чарли поковырял в ухе и с преувеличенным интересом стал разглядывать комочек воска.

— Не мысли, а разговоры.

— Да я с голодухи ноги протяну! — сказал Чарли. — И у других на уме то же самое — того и гляди, кусаться начнем. Не катит твоя затея, Дуг.

Дуг обвел глазами своих солдат, словно подначивая их занять вместе с Чарли.

— У моего деда есть книга, где написано, что индусы могут голодать по девяносто дней. Так что успокойся. После первых трех суток уже все нипочем!

— А у нас сколько прошло? Том, глянь-ка на часы. Сколько прошло?

— М-м-м, один час и десять минут.

— Обалдеть!

— Что значить «обалдеть»? Нечего смотреть на часы! Смотреть надо в календарь. Любой пост длится семь суток!

Они еще немного посидели в молчании. Потом Чарли спросил:

— Том, а теперь сколько прошло?

— Не говори ему, Том!

Том важно сверился с часами:

— Один час и двенадцать минут!

— Кранты! — Чарли скривился. — У меня брюхо к спине прилипло. Всю жизнь буду питаться через трубочку. А вообще-то я уже умер. Известите родных и близких. Передайте, что я их любил.

Закатив глаза, он откинулся на дощатый пол.

— Два часа, — в скором времени сообщил Том. — Целых два часа голодаем, Дуг. Не хухры-мухры! Нам бы еще после ужина проблеваться — и, считай, дело сделано.

— Ох, — подал голос Чарли, — чувствую себя как у зубодера, когда он мне укол всадил. Все онемело! У ребят просто кишка тонка, а то бы они тоже тебе сказали, что пухнут с голоду. Точно я говорю, парни? Сейчас бы сырку! Да с крекерами!

Раздался общий стон.

Чарли не унимался:

— И жареную курочку!

Все взвыли.

— И ножку индейки!

— Вот видишь. — Том ткнул Дуга в локоть. — Всех до судорог довел! И где же твой переворот?

— Еще один день!

— А потом?

— Сухой паек.

— Пирог с крыжовником, яблочное пюре, сэндвичи с лучком?

— Завязывай, Чарли.

— Булка с виноградным джемом!

— Заткнись!

— Не дождетесь, сэр! — фыркнул Чарли. — Сорвите с меня шевроны, генерал. Первые десять минут все шло как по маслу. А теперь у меня в животе бульдог мечется. Пойду-ка я домой, сяду как человек, положу себе полторта с бананами, пару бутербродов с ливерной колбаской. Лучше уж загремлю под фанфары из вашей долбаной армии, но, по крайней мере, останусь жив, а не усохну, как мумия, на каких-то объедках.

— Чарли, — взмолился Дуг, — ты же у нас в штабе — правая рука.

Залившись краской, Дуг вскочил и сжал кулаки. Это было поражение. Хуже некуда. Разработанный план у него на глазах пошел прахом, и великий переворот сорвался.

В это мгновение городские часы начали бить полдень, и протяжный металлический бой спас положение, потому что Дуг бросился к перилам и стал смотреть в сторону главной площади, на этот неприступный железный монумент, а потом и на зеленый сквер, где по обыкновению старики просиживали за шахматными досками.

У него на лице мелькнула отчаянная догадка.

— Постойте-ка, — пробормотал он и выкрикнул в полный голос: — Шахматные доски! Одно дело — испытание голодом, и оно пойдет нам на пользу, но теперь я вижу настоящую цель. Вот там, у здания суда, эти гнусные старики играют в шахматы.

Мальчишки недоуменно заморгали.

— Как же так?

— Да, как же так? — эхом повторили остальные.

— У них на шахматной доске — мы с вами! — воскликнул Дуглас. — Мы для них — шахматные фигуры! Старичье может нами двигать хоть по прямой, хоть по косой. Почему зря гоняют нас по шахматной доске.

— Дуг, — произнес Том, — ты у нас голова!

Бой часов умолк. Наступила глубокая, дивная тишина.

— Что ж, — выдохнул Дуглас. — Наверное, теперь каждому ясно, что делать дальше!

Глава 16

В зеленом сквере, под мраморной сенью здания суда, у громады часовой башни ожидали шахматные столики.

И хотя серое небо робко предрекало морось, стариковские руки разложили дюжину шахматных досок. Две дюжины седых голов склонились над черно-красными театрами военных действий. Пешки и ладьи, кони, ферзи и короли вздрогнули и сошли с мест, а королевства стали рушиться на глазах.

Каждый ход пестрел бликами от листвы деревьев; старики, шамкая впальми ртами, поглядывали друг на друга

то с прищуром, то с холодком, то с ухмылкой. Их беседа шуршала и шелестела вблизи памятника жертвам Гражданской войны.

Дуглас Сполдинг подкрался незамеченным и, выглядывая из-за памятника, пристально следил за движением фигур. Приятели сгрудились у него за спиной. Поначалу они тоже смотрели во все глаза, но вскоре начали по одному пятиться назад и сонливо опускаться на траву. Дуг шпионил за стариками, а те часто, по-собачьи, дышали над своими досками. Их руки подрагивали. Снова и снова.

Обернувшись к своему воинству, Дуглас зашептал:

— Смотрите! Вот тот офицер — это ты, Чарли! А король — я! — Тут он резко дернулся. — Ай, за меня взялся мистер Уибл! На помощь! — Он вытянул перед собой одеревеневшие руки и застыл как вкопанный.

Мальчишки вытаращили глаза. Кто-то схватил его за руки.

— Дуг, мы тебя не отдадим!

— Кто-то меня ташит! Это мистер Уибл!

— Проклятый Уибл!

Тут сверкнула молния, прогремел гром и хлынул дождь.

— Вот это да! — вырвалось у Дуга. — Смотрите!

Стихия затопила площадь перед зданием суда, и старики повскакали с мест, забыв про шахматы, сбитые потоками ливня.

— Айда, ребята! Хватайте, кто сколько может! — скомандовал Дуг.

Хишной стаей они ринулись вперед, на шахматные фигуры.

Опять была молния, опять был гром.

— Живей! — кричал Дуг.

В третий раз сверкнула молния, а они, толкаясь, хватали фигуры.

Шахматные доски опустели.

Тогда мальчишки остановились и стали смеяться над стариками, которые спасались от дождя под кронами деревьев.

А потом сами, как обезумевшие летучие мыши, помчались искать укрытие.

Глава 17

— Блик! — рявкнул Квотермейн в телефонную трубку.

— Кел?

— Представляешь, они сперли шахматные фигуры, которые нам прислали из Италии в год убийства Линкольна. Хитрые бестии! Жду тебя сегодня вечером. Нужно продумать контрнаступление. Сейчас еще Грею позвоню.

— Грею не до того: он умирает.

— Ну, знаешь ли, сколько его помню, он все умирает! Что ж, обойдемся своими силами.

— Стоит ли пороть горячку, Кел? Невелика важность — шахматные фигуры.

— Но они дороги нам как память, Блик! Тут пахнет мятежом.

— Купим новые.

— Право слово, с тобой говорить — что с покойником. Придется все-таки звонить Грею, пусть отложит свою кончину еще на сутки.

У Блика вырвался негромкий смешок.

— В котел бы их всех, малолетних бунтарей, да сварить на медленном огне, как ты считаешь?

— Будь здоров, Блик.

Не откладывая в долгий ящик, он позвонил Грею. У того было занято. Квотермейн бросил трубку, но тут же снова поднес ее к уху и сделал еще одну попытку. Слушая гудки, он уловил постукивание веток по оконному стеклу — совсем слабое, отдаленное.

«Боже мой, — подумал Квотермейн, — ведь это оно и есть. Предвестие смерти».

Глава 18

На другом краю оврага, стало быть, высился дом с привидениями.

Откуда было известно, что там обитают привидения?

Так уж говорили. Это всякий знал.

Дом стоял, почитай, сотню лет, и люди толковали: при свете дня — дом как дом, зато ночами творится в нем что-то нехорошее.

Неудивительно, что именно туда и бежали мальчишки, унося свою добычу: впереди всех Дуглас, а Том — замыкающий.

Чтобы спрятаться, лучше места не придумаешь, потому что никто — кроме мальчишечьей своры — на пушечный выстрел не подойдет к дому с привидениями, хоть бы и при свете дня.

Гроза не утихала; надумай кто-нибудь присмотреться к нехорошему дому или наудачу отворить скрипучую дверь, чтобы, миновав затхлую от времени прихожую, подняться по таким же скрипучим ступенькам, — и взору явился бы чердак, загроможденный бесполезными стульями, пропахший старинным составом для чистки бамбуковой мебели, а сейчас захваченный розовощекими мальчишками, которые вбежали сюда под трещотки молний и овалции грома; стихия между тем наблюдала сверху, довольная, что так легко заставила ребят перепрыгивать через две ступеньки, хохотать во все горло и рассаживаться в кружок по-турецки на голом полу.

Дуг зажег принесенный с собой огарок свечи и воткнул его в старый стеклянный подсвечник. Вслед за тем из пенькового мешка были по одному извлечены и расставлены все похищенные шахматные фигуры, которые по ходу дела именовались в честь Чарли, Уилла, Тома, Бо и так далее. Каждой из них Дуг кивком определял место, как бойцовой собаке.

— Это ты, Чарли.

Проскрежетала молния.

— Так точно!

— Это ты, Уилли.

Зарокотал гром.

— Так точно!

— А это — ты, Том.

— Как мелочь пузатая — так сразу я, — возмутился Том. — Может, я хочу быть королем.

— А королевой не хочешь? Помолчал бы.

— Молчу, — сдался Том.

Дуглас прошелся по всему списку, и ребята, покрывшись потом, сомкнули круг в ожидании того мгновения, когда новая вспышка молнии плеснет на них свой электрический свет. Вдалеке откашлялся гром.

— Слушайте! — воскликнул Дуг. — А ведь мы почти у цели! Город, можно считать, взят. Шахматы отныне в наших руках, так что старики больше не смогут нами помыкать. Может, у кого будет задумка покруче?

Задумки покруче ни у кого не было, в чем каждый тут же признался с чистой совестью.

— Я вот чего не понял, — сказал Том. — Как ты вызвал молнию, Дуг?

— Закрой рот и слушай, — оборвал его Дуглас, раздосадованный, что у него выпытывают сверхсекретные данные. — Как вызвал, так и вызвал, только она по моему приказу нагнала страху на этих дряхлых морских волков и ветеранов Гражданской. Прячутся теперь по углам и мрут как мухи. Как мухи.

— Одно плохо, — сказал Чарли. — Шахматы, понятно, в наших руках. Но... я лично сейчас что угодно отдал бы за горячий хот-дог.

— Язык прикуси!

В этот самый миг молния расколола дерево, росшее прямо под чердачным окном. Мальчишки ничком рухнули на пол.

— Дуг! Черт! Прекрати!

Зажмурившись, Дуг прокричал:

— Не могу! Беру свои слова обратно! Я наврал!

Получив некоторую сатисфакцию, гроза с ворчанием удалилась.

Напоследок, словно возвещая прибытие важных гостей, полыхнула далекая молния и прокатился гром; все невольно покосились в сторону лестницы, ведущей вниз.

На первом этаже кто-то невидимый прочистил горло.

Навострив уши, Дуглас приблизился к лестнице и помимо своей воли крикнул в пролет:

— Дедушка, это ты?

— Может быть, — отозвался голос откуда-то снизу. — Вы, ребята, не умеете замечать следы. По всему городу траву примяли. Вот я и отправился за вами: где спросил, где разузнал — и нашел.

Дуглас сглотнул застрявший в горле комок и повторил:

— Дедушка, это ты?

— В городе переполох, — сообщил снизу дед, не показываясь им на глаза.

— Переполох?

— Да вроде того, — подтвердил дедушкин голос.

— Поднимешься к нам?

— Нет, — сказал дедушка. — Сдается мне, это вы сейчас спуститесь. Надо бы повидаться да потолковать о том о сем. А после будет вам наказ, ибо в городе разыскивают похищенное.

— Похищенное?

— У мистера По было такое словцо¹. Кто забыл, пускай сходит домой и откроет этот рассказ, чтобы освежить память.

— Похищенное... — повторил Дуглас. — Да, вроде было.

— А похищенное — сейчас точно не скажу, что именно, — с расстояния продолжал дедушка, — да это и не важно, только есть у меня мысль, сынок, что похищенное должно вернуться туда, откуда взято. В городе поговаривают, будто уже вызвали шерифа, так что давайте-ка ноги в руки.

Попятившись, Дуглас уставился на приятелей, которые тоже слышали голос и теперь стояли ни живы ни мертвы.

¹ Похищенное? — У мистера По было такое словцо. — Имеется в виду рассказ Эдгара По «Похищенное письмо» (1842).

— Больше ничего не скажешь? — окликнул снизу все тот же голос. — Ладно, может, в другой раз. Однако мне пора; ты знаешь, где меня искать. До скорого.

— Ага, хорошо, сэр.

Дуг и все остальные молча слушали, как отдаются эхом от стен нечистого дома дедушкины шаги: через площадку, вниз по лестнице, на крыльцо. И все.

Когда Дуглас обернулся, Том уже держал наготове пеньковый мешок.

— Пригодится, Дуг? — шепотом спросил он.

— Давай сюда.

Вцепившись в кромку, Дуглас начал собирать шахматные фигуры и по одной бросать их в мешок. Первым на дно шмякнулся Пит, за ним Том, за ним Бо и все прочее.

Дуг встряхнул мешок; шахматы загремели, точно старые кости.

В последний раз оглянувшись через плечо на свою армию, Дуг двинулся вниз по ступенькам.

Глава 19

Дедушкина библиотека представляла собой невероятное сумрачное пристанище, облицованное книгами, а по-сему там могли случиться — и вечно случались — всякие неожиданности. Достаточно было снять с полки какую-нибудь книжку, раскрыть ее — и сумрак уже не был сумраком.

Здесь-то, водрузив на нос очки в золотой оправе, и устраивался дедушка то с одной книгой на коленях, то с другой и всегда привечал посетителей, которые заглядывали на минутку, а задерживались на час.

Сюда после дневных трудов заходила даже бабушка, подобно тому, как всякая усталая живая тварь идет к водопою, чтобы набраться свежих сил. А дедушка только рад был плеснуть в кружки добрый, чистый Уолденский

пруд¹ или аукнуть в бездонный кладезь Шекспира, чтобы потом удовлетворенно слушать эхо.

Здесь бок о бок отдыхали лев и антилопа, здесь шакал превращался в единорога, здесь в субботний полдень можно было застать немолодого отшельника, который, сидя в тени придуманной, а может, и непридуманной ветви, подкреплялся хлебом, замаскированным под сэндвич, и прихлебывал из кувшина домашнее вино.

На краю этого мира в ожидании стоял Дуглас.

— Входи, Дуглас, — сказал дедушка.

И Дуглас вошел, пряча за спиной пеньковый мешок.

— Хотел что-то рассказать, Дуглас?

— Нет, ничего, сэр.

— Так уж и ничего? Ни о чем?

— Ни о чем, сэр.

— Что сегодня поделывал, парень?

— Ничего.

— Совсем ничего или ничего особенного?

— Вроде бы совсем ничего.

— Дуглас. — Протирая очки в золотой оправе, дедушка помолчал. — Знаешь, как люди говорят: признание облегчает душу.

— Ну, говорят.

— Видно, есть в этом здравый смысл: не зря же так говорится.

— Допустим.

— Уж я-то знаю, Дуглас, я-то знаю. Хотел кое в чем признаться?

— В чем? — Дуглас по-прежнему держал мешок за спиной.

— Пытаюсь догадаться. Не подскажешь?

— А ты намекни, дедушка.

¹ Уолденский пруд — отсылка к философскому произведению американского писателя и мыслителя Генри Дэвида Торо «Уолден, или Жизнь в лесу» (1854).

— Ну что ж. Нынче над ратушей вроде как разверзлись хляби небесные. По слухам, на лужайку лавиной хлынули мальчишки. Ты, часом, никого из них не знаешь?

— Нет, сэр.

— Может, кто-нибудь из них знает тебя?

— Если я их не знаю, откуда им-то меня знать, сэр?

— Неужто тебе и сказать больше нечего?

— Вот прямо сейчас? Нечего, сэр.

Дед покачал головой.

— Говорил же я тебе, Дуг: мне известно о похищенном. Жаль, что ты упорствуешь. А меня, помню, в твои годы застукали с поличным, когда устроил я одну каверзу; и ведь знал, что пакость, а все равно делал. Да, как сейчас помню. — Дедушкины веки дрогнули за стеклами очков. — Не стану задерживать, парень. Вижу, ты как на иголках.

— Да, сэр.

— Тогда вперед. Дождь не утихает, в небе молнии разбушевались, на площади ни души. А коли на бегу призвать молнию, то, само собой, и управишься в два счета. Смекаешь?

— Да, сэр.

— Вот и славно. Одна нога здесь, другая там.

Дуглас попятился.

— Стоит ли пятиться, сынок, — сказал дед. — Я ж тебе не король на троне. Кругом — и можешь ретироваться по-быстрому.

— Ретироваться. Это из французского пришло, дедушка?

— Не исключено. — Старик потянулся за какой-то книгой. — Как вернешься, так сразу и проверим!

Глава 20

Незадолго до полуночи Дуг проснулся от жуткой скуки, которую способен навеять только сон.

Тогда, прислушавшись к посапыванию Тома, который впал в глубокую летнюю спячку, Дуг поднял руки и поше-

велил пальцами — точь-в-точь камертон; вслед за этим возникло едва ощутимое колебание воздуха. Прямо чувствовалось, как душа продирается сквозь бескрайние дебри.

Босые ноги опустились на пол, и Дуг накренился в южную сторону, чтобы уловить радиоволны от дяди, жившего неподалеку. Не послышался ли ему трубный глас Тантора, что призывал к себе мальчонку, воспитанного обезьянами? И еще: коль скоро прошло уже полночи, провалился ли сидевший за стенкой дедушка — на носу очки, справа Эдгар Аллан По, слева жертвы (подлинные жертвы) Гражданской войны — в дремотную могилу, отрешившись от мира, но вместе с тем как бы ожидая возвращения Дугласа?

Итак, хлопнув в ладоши над головой и пошевелив пальцами, Дуг вызвал одно последнее колебание литературного камертона и по тайному наитию двинулся в сторону дедушкиного и бабушкиного флигеля.

Дедушка позвал кого-то шепотом из своей дремотной могилы.

И Дуг стремительно выскочил за полночную дверь, впопыхах едва не забыв придержать раздвижные створки, чтобы они не грохнули.

Не отзываясь на слоновий рев, доносившийся сзади, он пошлепал к бабушке с дедушкой.

И впрямь, дед покоился в библиотеке, готовый воскреснуть к завтраку и выслушать любые предложения.

Но покамест, в полночь, еще оставалось неосвещенное время для особого курса наук, поэтому Дуглас, наклонившись, прошептал дедушке на ухо:

— Тысяча восемьсот девяносто девятый.

И дедушка, затерявшийся в другом времени, стал вполголоса рассказывать про тот самый год: какова была температура воздуха да как выглядели прохожие на городских улицах.

Вслед за тем Дуглас произнес:

— Тысяча восемьсот шестьдесят девятый.

И дедушка погрузился в те времена, которые настали четыре года спустя после убийства Линкольна.

Дуглас не шевелился, смотрел перед собой и раздумывал: что, если прибегать на такие вот необыкновенные, долгие беседы каждую ночь, этак с полгода, а еще лучше целый год или даже пару лет — тогда, глядишь, дед прямо так, во сне, мог бы сделаться ему наставником и дать такие познания, о каких никто на свете и мечтать не смеет. Дед, сам того не ведая, стал бы учить его уму-разуму, а он, Дуглас, впитывал бы эту премудрость по секрету от Тома, от родителей и всех прочих.

— На сегодня хватит, — шепнул Дуг. — Спасибо, дедушка, за все твои рассказы во сне и наяву. И отдельное спасибо, что надоумил, как быть с похищенным. Больше ничего говорить не буду. А то еще разбужу тебя ненароком.

С этими словами Дуглас, загрузив себе до отказа голову всем, что смогло войти через уши, оставил деда спать дальше, а сам на цыпочках поспешил к лестнице, ведущей в мезонин, чтобы еще разок оглядеть ночной город под луной.

В это время городские башенные часы, сами похожие на гигантскую, изумленно-гулкую луну в электрическом ореоле, прочистили окрипшее горло и огласили воздух полночным боем.

Раз.

Дуглас устремился вверх по ступенькам.

Два. Три.

Четыре. Пять.

Прильнув к чердачному окошку, Дуглас окинул взглядом океан крыш, сомкнувшийся вокруг могучего исполина часовой башни, а время между тем продолжало вести свой отсчет.

Шесть. Семь.

У него екнуло сердце.

Восемь. Девять.

Все тело сковало льдом.

Десять. Одиннадцать.

С тысяч ветвей посыпался дождь темных листьев.

Двенадцать!

«Вот оно что!» — пронеслось у него в голове.

Часы! Как же он раньше не подумал?

Конечно, часы!

Глава 21

Последний отзвук гигантских курантов растаял в ночи. Деревья в саду кланялись ветру; чайного цвета занавеска бледным призраком трепетала в оконном проеме.

У Дугласа перехватило дыхание.

«Ну и дела, — подумал он. — Почему мне это никогда не приходило в голову?»

Башенные часы, великие и ужасные.

Не далее как в прошлом году разве не показывал ему дед, собираясь преподать очередной урок, переснятые чертежи часового механизма?

Огромный лунный диск башенных часов — это, считай, та же мельница, говорил дедушка. Сыпь туда зерна Времени — крупные зерна столетий, мелкие зерна годов, крошечные зернышки часов и минут — куранты все перемелют, и Время неслышно развеется по воздуху тончайшей пылью, которую подхватят холодные ветры, чтобы укутать этим прахом город, весь целиком. Споры такой пылицы проникнут и в твою плоть, отчего кожа пойдет морщинами, кости начнут со страшной силой выпирать наружу, а ступни распухнут, как репы, и откажутся влезать в башмаки. И все оттого, что всеильные жернова в центре города отдают Время на откуп ненастью.

Часы!

Это они отравляют и губят жизнь, вытряхивают человека из теплой постели, загоняют в школу, а потом и в могилу! Не Квотермейн с кучкой старперов, не Брейлинг и его метроном, а эти часы хозяйничают в городе, будто в часовне.

Подернутые туманом даже в самую погожую ночь, они распространяли вокруг себя отблески, зарево и старость. Башня маячила над городом, как темный могильный курган, тянулась к небесам на зов луны, протяжными стонами оплакивала минувшее и безвозвратное, а сама исподволь рассказывала про другую осень, когда город был еще совсем юным, когда все только начиналось и ничто не предвещало конца.

— Ну, держитесь, — прошептал Дуглас.

Полночь, объявили часы. И добавили: Время, Мрак. Стая ночных птиц взметнулась над озером, унося прощальный стон в далекие темные края.

Дуг дернул вниз штору, чтобы Время не проникло хотя бы сюда.

Свет от башенных часов застыл на обшивке стен, словно туманное дыхание на оконном стекле.

Глава 22

— Чего я тут наслушался — обалдеть. — Чарли подошел вразвалочку, с цветком клевера в зубах. — Выведал секретные сведения у девчонок.

— У девчонок?!

Чарли ухмыльнулся: его слова шарахнули десятидюймовой петардой, вмиг согнав ленту с приятельских физиономий.

— Сестренка моя проболталась — еще в июле раскололи они старую леди Бентли, и та призналась, что никогда не была молодой. Съели? Вот так-то.

— Чарли, Чарли!

— Конечно, требуются доказательства, — продолжил Чарли. — Девчонки говорят, старуха Бентли сама показала им кое-какие фотографии, безделушки и прочий хлам, но это еще ничего не значит. Хотя, если пораскинуть мозгами, все старичье на одно лицо, словно молодости в помине не было.

— Тебе бы раньше сообразить, Дуг, — вклинился Том.

— А тебе бы заткнуться, — отрезал Дуглас.

— Думаю, пора меня произвести в лейтенанты, — сказал Чарли.

— Да ты только вчера произведен в сержанты!

Чарли пробуравил Дугласа пристальным взглядом.

— Ладно, черт с тобой, будешь лейтенантом, — уступил Дуглас.

— Ну, спасибо, — сказал Чарли. — А с сестренкой-то мой как поступим? Просится к нам в армию — тайным агентом.

— Еще чего!

— Так ведь она добыла секретные сведения, причем, согласись, не хилые.

— Да, Чарли, котелок у тебя варит, — сказал Том. — А у тебя, Дуг, почему котелок не варит?

— Ну, вообще уже! — вскричал Дуглас. — Кто, интересно, придумал сбор на кладбище, и уничтожение сластей, и голодовку, и шахматные фигуры — кто все это придумал?

— Погоди-ка, — сказал Том. — Сбор на кладбище, между прочим, придумал я. Сладости — допустим, твоя идея. Зато с голодовкой — уж извини — ты в лужу сел. И вообще, у тебя битых два часа не было ни одной новой мысли. А шахматы преспокойно вернулись на место, и старичье снова помыкает ими — нами — почем зря. Того и гляди, схватят нас за горло и куда-нибудь задвинут, чтобы не дать нам жить собственной жизнью.

Дуглас понимал: Чарли с Томом хотят на него наехать и вырвать из рук командирскую власть, как спелую сливу. Рядовой, капрал, сержант, лейтенант. Сегодня лейтенант, завтра капитан. А послезавтра?

— Мысли важны не сами по себе. — Дуглас утер пот со лба. — Важна их стыковка. А те сведения, которые принес Чарли, даже не им раздобыты! Курам на смех: девчонки его обскакали!

Все дружно вздернули брови.

У Чарли вытянулась физиономия.

— Короче, — продолжал Дуглас, — сейчас я занимаюсь стыковкой идей для настоящего разоблачения!

На него устремились недоуменные взгляды.

— Выкладывай, не темни, Дуг, — потребовал Чарли.

Дуглас закрыл глаза.

— Что ж, слушайте: если по старикам не видно, что они были ребятами, значит, у них молодости не было и в помине! А раз так — это вообще не люди!

— Не люди? А кто же?

— Другое племя!

Все так и сели, ослепленные протуберанцем этого открытия, этого невероятного озарения. Оно обожгло каждого огненным дождем.

— Да, другое племя, — подтвердил Дуглас. — Пришельцы. Злодеи. А нас — нас они держат при себе как рабов, чтобы нашими руками вершить темные делишки и карать за непослушание.

Выводы из такого разоблачения взбудоражили всех до единого.

Чарли встал и торжественно произнес:

— Дуг, видишь берет у меня на голове? Снимаю перед тобой берет, дружище! — И Чарли приподнял берет под аплодисменты и смех всей компании.

В окружении улыбающихся лиц Дуг — командир, генерал — достал из кармана перочинный нож и сам с собой затеял философскую игру в ножички.

— Так-то оно так... — начал Том и на этом не остановился. — Только у тебя концы с концами не сходятся. Допустим, старики нагрянули с другой планеты — выходит, и дед с бабушкой тоже? Но ведь мы их всю жизнь знаем. Скажешь, они тоже пришельцы?

Дугласа бросило в краску. Здесь действительно вышла неувязка, и родной брат, его правая рука, младший офицер, взял да и поставил под сомнение всю теорию.

— И вот еще что, — продолжал Том, — дела-то у нас хоть какие-нибудь намечаются, Дуг? Не сидеть же нам сложа руки. Как действовать будем?

Дуг проглотил застрявший в горле комок. Не успел он и слова сказать, как Том, на которого теперь были устремлены все взгляды, с расстановкой произнес:

— Единственное, что сейчас на ум приходит, — часы башенные остановить, что ли. А то тикают над городом, задолбали уже. Баммм! Полночь! Буммм! Подъем! Боммм! Отбой! Лечь, встать, лечь, встать — сколько можно?

«Чтоб тебе пусто было, — пронеслось в голове у Дугласа. — Ночью ведь смотрел в окно. Часы! Почему же я первым не сказал?»

Том невозмутимо поковырял в носу.

— Расколошматить бы эти гадские часы — чтобы раз и навсегда! А потом — делай что хочешь, когда душе угодно. Пойдет?

Все взгляды устремились на Тома. Вслед за тем грянули радостные крики и вопли; даже Дуглас гнал от себя мысль, что не он сам, а его младший брат спас все дело.

— Том! — гремело в воздухе. — Молодчина, Том!

— Да ладно, чего там, — бросил Том и посмотрел на брата. — Когда идем убивать эту чертову штуковину?

Дуглас промычал что-то невнятное; у него отсох язык. А солдаты смотрели ему в рот и ждали приказа.

— Сегодня к ночи? — подсказал Том.

— Это я хотел сказать! — вскричал Дуглас.

Глава 23

Городские часы откуда-то прознали, что их вот-вот придут убивать.

В мраморном обрамлении, со сверкающим циферблатом, они ледяной глыбой маячили над главной площадью и поджидали убийц, готовясь обрушиться на них сверху. А в самом низу, как водится, гремучие бронзовые двери проводжали хранителей вселенской веры и мудрости, почтенных седовласых посланников распада и Времени.

Видя, как из-под темных сводов появляется неспешная рать смерти и застоя, Дуглас приходил в смятение. Там, в кабинетах ратуши, среди запахов мебельного лака и шелеста бумажек, департамент образования тихой сапой перекраивал судьбы, кромсал листы календаря, пожирал субботы под соусом домашних заданий, планировал новые выволочки, кары и беззакония. Мертвенные руки спрямляли улицы и загоняли мягкий грунт под жесткий, неприступный пан-

цирь асфальта, отчего природа и вольница с годами отступали за черту города — дело шло к превращению зеленых возвышенностей в едва различимое эхо, такое далекое, что целой жизни не хватит, чтобы добраться до городской окраины и разглядеть одинокую чахлую рощицу.

А в этом самом здании между тем раскладывали по полочкам человеческие жизни — сортировали по алфавиту и по отпечаткам пальцев; мальчишечьи судьбы клали под сукно! Чиновники с лицами цвета пурги и волосами цвета молний доставляли сюда в портфедях Время — спешили подольститься к часам, чтобы ни одна шестеренка, ни одна передача не застывала без движения. А когда смеркалось, они выходили на улицу, довольные собой, — шутка ли дело: нашли новые способы усмирения, заточения, ограничения свободы за счет денежных поборов и всяких справок. Без чиновников даже не доказать, что ты умер, — только в этом здании, под этими часами выправят тебе документ с подписью и печатью.

— Боевая готовность номер один, — шепотом скомандовал Дуглас окружившим его приятелям. — Вот-вот начнут расходиться. Смотрите в оба. Прошляпим — и операция на смарку. Последний замок запирается точно с наступлением сумерек — вот тут-то и надо ловить момент, соображаете? Они повалят оттуда, а мы — туда.

— Соображаем, — ответили бойцы.

— Тогда, — сказал Дуглас, — всем затаиться.

— Есть затаиться, — отозвался Том. — А можно одну вещь сказать, Дуг?

— Ну, что еще?

— Пойми, даже если подгадать время, толпой ломиться нельзя: кто-нибудь нас непременно засечет, запомнит в лицо, и тогда нам кранты. С шахматами — и то чуть не погорели. Нас вычислили, пришлось все вернуть. Вот я и говорю: не подождать ли нам, пока они все замки позапирают?

— Такой номер не пройдет. Я же объяснил.

— А я вот что думаю, — продолжал Том. — Надо бы мне одному проскользнуть туда прямо сейчас да отсидеться в со-

ртире, пока все не разойдутся. Потом проберусь наверх и открою вам окошко, поближе к башне. Вон там, на четвертом этаже. — Он указал на какой-то высокий проем в старой кирпичной кладке.

— Ага! — обрадовалась армия.

— Не получится, — отрезал Дуг.

— Это еще почему? — возмутился Том.

Не успел Дуг придумать хоть какую-нибудь отговорку, как в спор вклинился Чарли.

— Спокойно: все у нас получится, — заявил он. — Том дело говорит. Готов, Том?

— Как штык, — подтвердил Том.

Под общими взглядами Дуг — как-никак генерал — вынужден был дать согласие.

— Одного терпеть не могу, — заметил он, — когда лезет вперед какой-нибудь выскочка и думает, что самый умный. Ладно, ваяй, сиди пока на толчке. Как стемнеет — откроешь нам.

— Тогда я пошел, — сказал Том.

И усвистал.

Чиновники выходили из внушительных бронзовых дверей, а Дуг с сообщниками таились за углом в ожидании заката.

Глава 24

В здании суда наконец-то воцарилась полная тишина; стусутилась тьма, и мальчишки бесшумно подтянулись к пожарной лестнице, чтобы взобраться на четвертый этаж, поближе к часовой башне.

Они замерли перед окошком, которое должен был открыть Том, но за стеклом никого не оказалось.

— Проклятье, — выпалил Дуг. — Надеюсь, его не заперли в сортире.

— Сейчас прибежит, — сказал Чарли. — Сортир вообще на замок не запирают.

И впрямь, откуда ни возмись за оконным переплетом возник Том, который подавал им знаки и шевелил губами, но слов было не разобрать.

Повозившись, он сумел поднять оконную раму, и по вечернему воздуху поплыли конторские запахи.

— Можно влезать, — сообщил Том.

— Без тебя знаем, — огрызнулся Дуг.

Мальчишки друг за другом скользнули внутрь и устремились по коридорам к той двери, за которой скрывался часовой механизм.

— Зуб даю, — пробормотал Том, — эта чертова дверь тоже на замке.

— Подавись ты своим зубом, — бросил Дуг и подергал дверную ручку. — Еще не легче! Не хотел говорить, но ты как в воду глядел, Том. Никто случайно не прихватил петарду?

Шестерка рук стремительно нырнула в карманы комбинезонов и так же стремительно взметнулась вверх с тремя петардами, в четыре и пять дюймов.

— Что толку-то? — фыркнул Том. — Спички нужны.

Дуг разглядывал злополучную дверь.

— А как присобачить петарды, чтобы они рванули прицельно? — задумался он.

— С помощью клея, — ответил Том.

Склонив голову набок, Дуг ухмыльнулся:

— С помощью клея — это неплохо. Кто, интересно, таскает с собой клей?

В воздух взметнулась одна рука. Оказалось, это рука Пита.

— Держи клей, «бульдог» называется, — сказал он. — Авиамодели склеивать купил; на нем еще бирка прикольная была, с бульдогом.

— Попробуем.

Дуг щедро выдавил клей на одну из двух пятидюймовых петард и крепко прижал ее к двери.

— Всем оттянуться назад, — приказал он и чиркнул спичкой.

Армия повиновалась, а сам он зажал уши и стал ждать, когда рванет. По шнуру с фырканием змеился рыжий огонек.

Взрыв получился на славу.

Следующий миг показался вечностью; бойцы даже приуныли, но тут у них на глазах дверь медленно-медленно подалась.

— Ну, что я говорил! — воскликнул Том.

— Язык прикуси, — оборвал его Дуг. — Заходим.

Он широко распахнул дверь, потянув ручку на себя.

Вдруг снизу послышались чьи-то шаги.

— Кто там? — прокричали с первого этажа.

— Дьявольщина, — прошептал Том. — Зуб даю, это сторож.

— Эй, кто там? — выкрикнул тот же голос.

— Айда! — И Дуглас впереди всех ринулся в дверь.

Наконец-то они проникли в нутро часов.

Со всех сторон их обступила громоздкая, пугающая машина Неприятеля, Счетовода Жизни и Времени. Сердцевина города, самая его суть. Дуг явственно ощущал, как бытие всех известных ему людей безостановочно вращается вместе с этим механизмом, барахтаясь в жирной смазке, и перемалывается острыми зубцами и тутими пружинами. Часы шли молча. Теперь его осенило: ведь они и прежде никогда не тикали! Никому не доводилось слышать, чтобы они вели свой отчет вслух; просто каждый из горожан слишком уж напряженно вслушивался — и улавливал биение собственного сердца и мерное течение жизни в запястьях, в груди и висках. А здесь царилó холодное, металлическое безмолвие, немое движение, которому сопутствовали только слабые шепотки стали и меди, да еще блики и отсветы.

Дугласа затрясло.

Сейчас они были рядом: Дуг и эти часы, которые, сколько он помнил, еженощно обращали в его сторону свой лунный лик. Великая машина грозила протянуть к нему пружины, опутать медными кольцами и бросить в жернова шестеренок, чтобы окропить его кровью свое бесконечное будущее, пронзить частоколом зубцов и располосо-

вать кожу на тонкие полосы, которые можно потом играючи настроить на разные лады, не хуже чем в музыкальной шкатулке.

И тут, выбрав подходящий момент, часы громоподобно откашлялись. Исполинская пружина выгнулась, будто готовясь произвести пушечный выстрел. Дуглас и глазом моргнуть не успел, как на него обрушилось форменное извержение.

Один! Два! Три!

Это выстреливал часовой колокол! А Дуглас превратился в мотылька, в мышонка, угодившего в ведро, которое без устали пинают чужие башмаки. Башня ходила ходуном, как при землетрясении, — на ногах не устоишь.

Четыре! Пять! Шесть!

Покачиваясь, он зажимал уши ладонями, чтобы не лопнули барабанные перепонки.

Вновь и вновь — *семь! восемь!* — в воздухе грохотали раскаты. Пораженный, он прислонился к стене и зажмурился; с каждой штормовой волной у него обмирало сердце.

— Шевелитесь! — вскричал Дуглас. — Петарды сюда!

— Смерть железным гадам! — провозгласил Том.

— Это мне положено говорить, — осадил его Дуг. — Прикончить часы!

Чиркнули спички, вспыхнули запалы, и петарды полетели в механическую утробу.

За этим последовал дикий топот и гвалт: мальчишки уносили ноги.

Они запрыгивали на подоконник четвертого этажа и чуть не кубарем летели вниз по переключинам пожарной лестницы; когда все уже были на земле, в башне прогремели два взрыва, сопровождаемые оглушительным лязгом металла. А часы все били раз за разом, без остановки — они цеплялись за жизнь. Вровень с ними кружили голуби, точно клочки бумаги, пущенные по ветру с крыши. Бом! Небеса раскалывались от громоподобных ударов. Рикошет, скрежет, последняя отчаянная судорога стрелок. А потом...

Тишина.

Оказавшись у подножия пожарной лестницы, мальчишки задрали головы и уставились на мертвую махину. Никакого тиканья — ни придуманного, ни всамделишного, ни тебе птичьего щебета, ни урчания двигателей — только легкие выдохи спящих домов.

С минуты на минуту глазающая вверх армия ожидала услышать предсмертные стоны круглолицего циферблата, искореженных стрелок, цифр и внутренностей, а вслед за тем, все ближе и ближе, скользящий скрежет медных кишков и железных метеоритных дождей, которые обрушатся на газон, чтобы придавить неприятеля рокочущей лавиной минут, часов, лет и вечностей.

Но нет: только тишина да еще эти часы, безгласные и недвижимые, которые обезумевшим привидением белели в вышине, опустив никчемные мертвые руки-стрелки. Тишина, и опять долгая тишина; но в домах уже вспыхивали огни, по всей округе перемигивались яркие лучики, а горожане выползали на открытые веранды и вглядывались в темнеющее небо.

Весь в испарине, Дуглас по-прежнему смотрел вверх и собирался что-то сказать, когда тишину прорезал вопль.

— Я это сделал! — кричал Том.

— Том! — не выдержал Дуг. — Мы! Мы, все вместе. Вот только разобраться бы: что мы сделали?

— Смываться надо, — сказал Том, — пока нас не накрыло.

— Кто здесь командует? — рассердился Дуглас.

— Я больше не буду, — сказал Том.

— Бегом марш! — приказал Дуг.

И победоносная армия умчалась в темноту.

Глава 25

Настала полночь, а Тому все не спалось.

Дуг знал это наверняка: он слышал, как у Тома раз за разом падали постельные принадлежности, а значит, брат ворочался и метался, но всякий раз сгребал с пола одеяла и подушки и водружал их обратно.

Часа в два ночи Дуг спустился в ледник и принес Тому в спальню блюдечко мороженого, чтобы легче было вызвать младшего брата на разговор.

Том сел в постели, но к мороженому, считай, не при-
тронулся. Он долго смотрел, как оно тает, а потом выдавил:

— Проккололись мы, Дуг.

— И не говори, Том, — подтвердил Дуг.

— Мы-то думали: вырубим эти здоровенные часы — и стариканы, глядишь, тоже вырубятся, не смогут больше отнимать... красть... наше время. Но разве хоть что-нибудь вырубилось?

— Нет, сэр, — сказал Дуг.

— Вот и я о том же, — продолжал Том. — Время-то движется. Ничего не изменилось. Когда мы драпали, я специально посмотрел: ни в одном доме свет не погас. В конце улицы топтались полицейские — они тоже не вырубались. А я бегу и думаю: вот-вот свет вырубится или еще чего-нибудь и будет нам знак, что дело сделано. Как же, жди! Хорошо еще, если никто из наших не покалечился. Вспомни, как ребята ковыляли: и Уилл, и Бо, да чуть ли не все. Сегодня они не заснут как пить дать, а если заснут, так под утро, и будут потом как варенные, из кровати не вылезут, на улицу не выйдут, рта не раскроют — прямо как я: сто лет со мной такого не бывало, чтоб ночью сна ни в одном глазу. Даже зажмуриться страшно. Чего делать будем, Дуг? Ты сам говорил: «Надо убить часы»; а воскресить-то их можно, если припрет?

— Часы ведь не живые, — тихо сказал Дуг.

— Все равно, ты сам говорил, — не унимался Том. — Ну, допустим, это я говорил. Вроде бы я первый придумал. Да чего там, все говорили, мол, пора их прикончить. Сказано — сделано, а дальше что? Кажись, влипли мы по самое некуда, — закончил Том.

— Влип только я, — сказал Дуг. — От деда теперь влетит.

— Мы все замазаны, Дуг. Но сработали классно. Всем было в кайф. Оттянулись по полной! А все-таки ты мне объясни: если часы не живые, как бы нам их поднять из мертвых? Может, одно другому не мешает? Надо что-то делать. Как поступим?

— Думаю, придется мне пойти в ратушу и подписать обязательство, или как там это называется, — выговорил Дуг. — Лет восемь-девять буду сдавать туда все свои деньги, чтобы хватило на ремонт.

— Ну, это уж вообще, Дуг!

— Примерно такая сумма и выйдет, — продолжал Дуг. — Вещь-то солидная, такую оживить непросто. Лет восемь-десять. Чего уж теперь, так мне и надо. Думаю прямо с утра пойти сдаваться.

— Я с тобой, Дуг.

— Нет, сэр, — отрезал Дуг.

— Все равно пойду. От Тома так просто не отделаешься.

— Том, — произнес Дуг. — Хочу тебе кое-что сказать.

— Ну?

— Хорошо, что у меня есть такой братишка.

Дуг отвернулся, покраснел и направился к дверям.

— Сейчас тебе еще больше захорошеет, — сказал Том.

Дуг помедлил.

— Ты насчет денег кумекаешь, — сказал Том, — а что, если наша банда, всем скопом, поднимется в часовую башню, чтобы там прибрать, хоть чуток расчислить этот чертов механизм? Исправить его нам, конечно, не под силу, нечего и думать, но часок-другой поработаем, разгребем завалы, а там — чем черт не шутит, — может, восстановим ход, тогда и тратиться не нужно будет, и тебе не придется в кабалу идти на всю оставшуюся жизнь.

— Ну, не знаю, — протянул Дуг.

— Попытка — не пытка, — убеждал Том. — Ты с делом потолкуй. Пусть узнает, не дадут ли нам тумачков, если мы заявимся в ратушу чин-чинарем: с полиролью, с машинным маслом; глядишь — и оживим эту проклятушую громадину. Может, еще обойдется, Дуг. Наверняка обойдется. Давай попробуем.

Дуг развернулся, опять подошел к кровати, присел на краешек и сказал:

— Мороженое, чур, на двоих.

— Само собой, — ответил Том. — Первая ложка — тебе.

Глава 26

На другой день, ровно в двенадцать, Дуглас шел из школы домой обедать. Не успел он войти, как мать отправила его в соседний флигель, к деду с бабушкой. Дед поджидал в библиотеке, устроившись в любимом кресле под ярким светом любимой лампы, а книги на полках вытянулись в тишине по стойке «смирно», готовые явиться по первому требованию.

Заслышав стук входной двери, дед спросил, не отрываясь от книжки:

— Дуглас?

— Ага.

— Входи, парень, присаживайся.

Не так-то часто дед предлагал гостю посидеть; это означало, что разговор предстоит серьезный.

Дуглас вошел без звука и сел на диван, лицом к деду.

Через некоторое время дед отложил книгу (еще один признак серьезного положения дел), снял очки в золотой оправе (самый неблагоприятный признак) и — как бы поточнее выразиться — пронзил Дуга взглядом.

— Вот что, Дуг, — начал он. — Почитывал я тут одного из моих любимых писателей, мистера Конан Дойла; а у Конан Дойла мой самый любимый герой — это мистер Шерлок Холмс. Именно он повлиял на мой характер и прибавил зоркости. А день нынче такой, что пришлось мне с утра пораньше влезть в шкуру этого лондонского сыщика с Бейкер-стрит.

— Да, сэр, — сказал Дуг, ничем себя не выдав.

— Начал я сопоставлять кое-какие обрывочные вести; похоже, город охватила повальная эпидемия: многие ребята почему-то не пошли в школу, якобы захворали, то да се. Пункт первый: бабушка мне на рассвете представила подробное донесение из вашего дома. Твой брат Том, оказывается, совсем плох.

— Я бы не сказал, — пробубнил Дуглас.

— Ты бы не сказал, а я скажу, — откликнулся дед. — Малец так занемог, что на уроки не пошел. А ведь он такой не-

поседа, словно заводной: как ни посмотришь — все бегом. Не знаешь ли, Дуг, что за хворь его подкосила?

— Нет, сэр.

— Не хотелось бы тебя уличать, дружок, но сдаётся мне, все ты знаешь. Однако не спеши с ответом: добавлю кое-что еще. Вот у меня список ребят из твоей компании, эти всегда на виду — то под деревьями шныряют, то на яблоню лезут, то жестянку по мостовой гоняют. Частенько вижу: в одной руке петарда, в другой — зажженная спичка.

Тут Дуглас закрыл глаза и сглотнул слюну.

— Я не поленился, — продолжал дед, — позвонил каждому домой и, как ни странно, услышал, что все как один разболелись. Это наводит на размышления, Дуг. Не подскажешь ли, в чем причина? Мальчишки-то верткие, как хорьки, носятся по улице — не уследишь. А тут вдруг у всех недомогание, сонливость. Ты-то как себя чувствуешь, Дуг?

— Нормально.

— В самом деле?

— Да, сэр.

— По виду незаметно. Вид у тебя, прямо скажем, бледный. Одно к одному — мальчишки в школу не пошли, Том занемог, да и на тебе лица нет; отсюда вывод: ночью где-то случилась большая заваруха.

Дед умолк и взял в руки лист бумаги, лежавший до поры до времени у него на коленях.

— Поутру звонили мне из городской канцелярии. Насколько я понял, в башне нашли стреляные петарды. Дело-производитель говорит, здание теперь требует основательного ремонта. Не знаю, что именно тамстряслось, но деньги нужны немалые. Я тут подсчитал: если разбросать на энное число семей, то выйдет примерно... — прежде чем назвать цифру, дед снова водрузил очки на свой крупный, породистый нос, — семьдесят долларов девяносто центов с каждой. Таких средств, насколько мне известно, у большинства горожан просто нет. Чтобы собрать эту сумму, нужно

трудиться не день и не два — многие недели, а то и месяцы, уж как повезет. Хочешь ознакомиться с размерами ущерба, Дуг? Вот перечень, у меня под рукой.

— Да нет, зачем? — сказал Дуг.

— По-моему, тебе полезно будет его изучить, парень. Гляди. — И он передал бумажку Дугласу.

Дуг пробежал ее глазами. Затуманенные глаза отказывались разбирать строчки. Цифры были запредельными; создавалось впечатление, будто они простираются далеко в будущее, не на недели-месяцы, а — упаси боже — на долгие годы.

— У меня к тебе поручение, Дуг, — сказал дедушка. — Возьми с собой этот список и отправляйся по адресам, как доктор. Начнешь обход сразу после уроков. Первым делом зайди к себе домой и проведай Тома. А на словах передай: мол, дедушка просит ближе к вечеру купить два эскимо и заглянуть к нему, посидеть на веранде. Так и передай, Дуг, — увидишь, как он приободрится.

— Да, сэр, — сказал Дуг.

— После этого пойдешь к другим ребятам, их тоже не мешает проведать. А как справишься — загляни ко мне с отчетом, ибо каждый, кто сейчас лежит пластом, нуждается в хорошей встряске. Буду тебя ждать. Как по-твоему, это справедливо?

— Да, сэр. — Дуглас встал с дивана. — А можно кое-что сказать?

— Что именно, Дуг?

— Ты такой умный, дедушка.

Дед призадумался, а потом ответил:

— Не то чтобы умный, Дуг, скорее проницательный. Тебе доводилось смотреть это слово в Толковом словаре Уэбстера?

— Нет, сэр.

— В таком случае перед уходом открой словарь и поинтересуйся, что говорит по этому поводу мистер Уэбстер.

Глава 27

Час был поздний, но мальчишки не уходили из башни: они вдевятером отчищали пороховой налет и выгребали клочки жженой бумаги. За дверью уже образовалась приличная куча мусора.

Вечер выдался душным; мальчишки обливались потом и разговаривали вполголоса, мечтая перенестись куда угодно, да хотя бы в школу — всяко лучше, чем здесь.

Дуг выглянул из окна часовой башни и увидел внизу деда, который ненавязчиво поглядывал вверх.

Заметив в окне голову Дугласа, он кивнул и едва заметно помахал в воздухе недокуренной сигарой.

В конце концов город окутали сумерки, а вслед за тем наступила полная тьма; тут появился сторож. Оставалось еще смазать огромную шестерню и маховики. Мальчишек охватило благоговение, смешанное со страхом. У них на глазах машина отмищения, которую они считали поверженной, возвращалась к жизни. Причем с их же помощью. В слабом свете одной-единственной голой лампочки сторож взвел огромную пружину и отступил. Чрево гигантских часов заскрежетало, содрогнулось, как от колик, и мальчишки отпрянули.

Часы начали тикать; до боя курантов оставалось всего ничего, и ребята, попятившись, выскочили гурьбой за порог и помчались вниз по лестнице: Дуг — замыкающим, Том — впереди всех.

На газоне всю компанию встретил дед: кого погладил по макушке, кого потрепал по плечу. Мальчишки разбежались по домам, предоставив Тому и Дугласу идти с дедушкой в табачную лавку «Юнайтед», которая по случаю субботы была открыта допоздна.

Последние ночные гуляки разбрелись восвояси; дед без помех выбрал самую лучшую сигару и, обрезав кончик, прикурил от негасимого огонька, горевшего на прилавке. Вкусно попыхивая, он смотрел на обоих внуков со скрытым удовлетворением.

— Молодцы, ребята, — изрек он. — Молодцы.

И тут раздался звук, который им совсем не хотелось слышать.

Откашлявшись у себя на верхотуре, огромные часы издали первый удар.

Боммм!

Уличные фонари стали гаснуть один за другим.

Боммм!

Дед обернулся, кивнул и, махнув сигарой, дал команду внукам следовать за ним к дому.

Они перешли через дорогу и двинулись вдоль квартала, а гигантские часы ударили еще раз и еще, отчего содрогнулся воздух, а в жилах затрепетала кровь.

Мальчики побледнели.

Дед заметил, но не подал виду.

Между тем все фонари уже погасли; пришлось шагать в потемках, полагаясь лишь на узкий серп луны, указывающий дорогу.

Они уходили все дальше от грозного боя этих часов, который эхом отдавался в крови и напоминал горожанам о неизбежности судьбы.

Позади остался овраг, а в нем, возможно, притаился новый Душегуб, готовый в любой момент выскочить и утащить их к себе.

Вдалеке Дуг различил темные очертания нехорошего дома над оврагом и впал в задумчивость.

Наконец, уже в непроглядной тьме, с последним раскатом боя здоровенных часов, они втроем дотащились до тротуара перед своим домом, и дедушка сказал:

— Спокойной ночи, ребятки. Храни вас Бог.

Мальчики разбежались по своим спальням. Они ощущали, хотя и не слышали, как тикают башенные часы, а под покровом ночи крадется будущее.

В темноте Дуг услышал, как Том зовет его из своей комнаты напротив.

— Дуг?

— Чего тебе?

— Оказалось не так уж трудно.

— Пожалуй, — отозвался Дуг. — Не так уж трудно.

— Мы справились. По крайней мере, восстановили порядок.

— Не уверен, — сказал Дуг.

— Точно говорю, — настаивал Том, — потому что эти проклятые часы утром прикажут солнцу взойти. Скорей бы.

Вскоре Том уснул, а за ним и Дуг тоже.

Глава 28

Боммм!

Келвин Си Квотермейн заворочался во сне, а потом медленно сел в постели.

Боммм!

Великие часы били полночь.

Он, полукалека, невольно устремился к окну и распахнул створки под бой великих часов.

Боммм!

— Трудно поверить! — пробормотал он. — Не умерли. Не умерли. Чертов механизм отремонтирован. Утром обзвоню наших. Может, и делу конец. Может, все утряслось. Во всяком случае, город живет как положено; завтра же начну планировать дальнейшие шаги.

Подняв руку к губам, он нащупал непривычную штучковину. Улыбку. Хотел ее поймать и, если получится, изучить.

«Не иначе как это погода, — думал он. — Не иначе как это ветер — дует в нужном направлении. А может, на меня снизошел путаный сон — что же мне приснилось? — как только ожили часы... Придется над этим поразмыслить. Война почти окончена. Но как мне из нее выйти? И как победить?»

Квотермейн высунулся из окна и поглядел на луну — серебристую дольку в ночном небе. Полумесяц, часы да скрип собственных костей. Квотермейну вспомнились бесчисленные ночи, проведенные у окна, над спящим городом, хо-

тя в прежние годы спина его оставалась прямой, а суставы — подвижными; в прежние годы он был молод, свеж как огурчик и беспощаден — точь-в-точь как нынешние мальчишки...

Минуточку! У кого там близится день рождения? — спросил он себя, пытаясь вызвать в памяти школьные реестры. У одного из этих чудовищ? Вот это шанс так шанс. Я их убью добротой, изменю себя до неузнаваемости, переоденусь домашним псом, а вредного кота спрячу внутри!

Им-то невдомек, чем я их прошибу.

Глава 29

Погода в тот день стояла такая, что все двери с самого утра были нараспашку, а оконные рамы подняты. Сидеть в четырех стенах стало невыносимо, вот люди и высыпали на воздух: никто не хотел помирать, все хотели жить вечно. Настоящая весна, а не «прощай, лето», райские кущи, а не Иллинойс. Ночью прошел ливень, напоивший жару, а утром, когда тучи поспешили прочь, каждое дерево в каждом саду проливало, чуть тронь, свой отдельный дождик.

Квотермейн выбрался из постели и с грохотом колесил по дому, крутя колеса руками, пока снова не обнаружил на губах эту диковинную штуку — улыбку.

Пинком здоровой ноги он распахнул кухонную дверь и, сверкая глазами, с прилипшей к тонким губам улыбкой въехал во владения прислуги, а там...

О, этот торт!

— Доброе утро, мистер Кел, — сказала кухарка.

На кухонном столе альпийской вершиной громоздился торт. К утренним ароматам примешивались запахи чистого горного снега, кремовых розочек и цукатных бутонов, а еще нежных, как цветочные лепестки, свечей и полупрозрачной глазури. Торт красовался, будто далекий холм в пророческом сне, — белый, точно лунные облака, выпеченный

в форме прожитых лет, утыканный свечками, — хоть сейчас зажигай да задувай.

— Вышло на славу, — прошептал Квотермейн. — Бог свидетель: то, что надо. Несите в овраг. Да поживее.

Экономка на пару с садовником подняли белоснежную гору. Кухарка бросилась вперед, отворяя двери.

Они прошествовали за порог, сошли с крыльца и пересекли сад.

«Кого оставит равнодушным такая вкуснотища, такая мечта?» — вопрошал про себя Квотермейн.

— Осторожней!

Экономка поскользнулась на росистой траве.

— Нет, ради бога, только не это!

Когда он решился открыть глаза, порядок следования был уже восстановлен; обливаясь потом, прислуга спускалась по склону в зеленый овраг — туда, где у зеркального ручья, в прохладной тени раскидистых деревьев стоял именинный стол.

— Благодарю, — прошептал Квотермейн, а потом добавил: — Всевышнего.

Внизу, в овраге, торт водрузили на стол, чтобы он до поры до времени белел, и светился, и поражал своим совершенством.

Глава 30

— Вот так, — сказала мать, поправляя ему галстук.

— Кому это нужно — к девчонке на день рождения тащиться, — бурчал Дуглас. — Тоска зеленая.

— Если сам Квотермейн не поленился заказать торт для Лисабелл, то и ты не сочти за труд ее поздравить. Он даже разослал приглашения. Прояви элементарную вежливость — больше ничего не требуется.

— Что ты копаешься, Дуг, шевелись! — крикнул Том, заждавшийся на крыльце.

— На пожар, что ли? Иду, иду.

Стукнула дверь, затянутая москитной сеткой, и вот он уже выскочил на улицу, и они с Томом двинулись вперед сквозь дневную свежесть.

— Кайф! — мечтательно шептал Том. — Обожрюсь сейчас!

— Нутром чую какой-то подвох, — выговорил Дуглас. — Почему Квотермейн не стал гнать волну? С чего это он вдруг подобрел, улыбочки расточает?

— Никогда в жизни, — сказал Том, — не считал подвохом кусок торта и порцию мороженого.

У одного из соседских домов им встретился Чарли, который с похоронным видом зашагал с ними в ногу.

— Этот галстук меня уже доконал, — проворчал он, не нарушая торжественную шеренгу.

Очень скоро к ним присоединился Уилл, а потом и все прочие.

— После дня рождения айда купаться! Может, другого случая не будет — вода уже холодная. Лето кончилось.

Дуг спросил:

— Неужели я один заподозрил неладное? Прикиньте: зачем старик Квотермейн устраивает праздник ради какой-то Лисабелл? Зачем пригласил нас? Не к добру это, парни.

Чарли потеревбил галстук и сказал:

— Неохота говорить, Дуг, но, кажись, от нашей войны скоро останется один пшик. Вроде как теперь смысла нет с ними сражаться.

— Не знаю, Чарли. Концы с концами не сходятся.

У оврага они остановились.

— Пришли, — сказал Дуглас. — Теперь не зевайте. По моему приказу будьте готовы рассредоточиться и скрыться. Вперед, парни. Я задержусь. У меня возник стратегический план.

Бойцы нехотя двинулись под откос. Первую сотню футов преодолели походным шагом, потом заскользили, а под конец с гиканьем понеслись вниз прыжками и скачками. На дне оврага, у столов, они сбились в кучку и заметили, как вдалеке белыми пташками тут и там порхают по склону де-

вочки, которые вскоре тоже сбились в кружок; под конец явился и сам Келвин Си Квотермейн — он катил по тропе в инвалидной коляске, издавая оглушительные, радостные вопли.

— Охреть... — пробормотал, застыв в одиночестве, Дуглас. — То есть обалдеть!

Ребята толкали друг дружку локтями и покатывались со смеху. Издалека они напоминали игрушечные фигурки в живописных декорациях. Дуглас кривился, когда до его слуха долетал хохот.

А потом за детскими спинами, на отдельном столе, покрытом белой скатертью, во всей красе открылся именинный торт. Дуглас вытарашил глаза.

Великолепное многоярусное сооружение возвышалось, точно снеговик, и поблескивало в лучах солнца.

— Дуг! Эй, Дуг! — донеслось из оврага.

Но он ничего не слышал.

Торт, изумительный белый торт, чудом уцелевший снежно-прохладный торос стародавней зимы на исходе лета. Торт, умопомрачительный белый торт, иней, ледяные узоры и снежинки, яблоневый цвет и свежие лилии. И смешливые голоса, и хохот, взметнувшийся на край оврага, где в стороне от всех одиноко стоял Дуглас, и оклики:

— Дуг, иди сюда, ну давай, спускайся. Эй, Дуг, иди сюда, ну давай...

От инея и снега слепило глаза. Ноги сами понесли его в овраг, и он не отдавал себе отчета, что его притягивает это белое видение и никакая сила не способна остановить его ноги или отвлечь взгляд; все мысли о боевых операциях и переброске армии улетучились из головы. Вначале скользя, потом вприпрыжку, а дальше бегом, быстрее и быстрее; поравнявшись с вековым деревом, он ухватился за ствол, чтобы отдышаться. И вроде как со стороны услышал свой шепот: «Привет».

Тогда все присутствующие, глядя на него сквозь сияние зимней горы, отозвались: «Привет». И он присоединился к гулянью.

Виновницей торжества была Лисабелл. Она выделялась среди прочих: личико тонкое, как узоры инея, губы нежные и розовые, как именинные свечки. Большие серые глаза неотступно следили за ним. Почему-то он вдруг почувствовал траву сквозь подошвы ботинок. В горле пересохло. Язык распух. Гости ходили кругами, и посредине этой карусели все время оказывалась Лисабелл.

Квотермейн с ветерком подкатил по каменистой тропе; инвалидное кресло чуть не врезалось в стол — оно разве что не летело по воздуху. Он вскрикнул и остался сидеть подле хоровода; на морщинистом желтом лице читалось невыразимое удовлетворение.

Тут подоспел и мистер Блик: он встал за креслом и тоже улыбался, но совсем по-другому.

Когда Лисабелл склонилась над тортом, Дуглас уставился на нее во все глаза. Легкий ветер принес мимолетный запах розовых свечек. Ее личико, теплое и прекрасное, было похоже на летний персик, а в темных глазах отражались язычки пламени. Дуглас затаил дыхание. А вместе с ним остановился, затаив дыхание, весь мир. Квотермейн тоже застыл, вцепившись в кресло, как будто это было его туловище, грозившее пуститься наутек. Четырнадцать свечей. Каждый из четырнадцати годов полагалось задуть и при этом задумать желание, для того чтобы следующий год оказался не хуже. Лисабелл сияла от счастья. Она плыла по великой реке Времени и наслаждалась этим путешествием. В ее взгляде и жестах сквозила радость безумия.

Она что есть силы дунула, и от ее дыхания повеяло летним яблоком.

Все свечи оказались задуты.

И мальчишки, и девчонки подтянулись к столу, потому что Лисабелл взялась за широкую серебряную лопаточку. На серебре играли солнечные блики, которые слепили глаза. Она разрежала торт и положила первый кусок на тарелку, придерживая лопаточкой. Девичьи руки подняли тарелку над головами. Торт был белым, нежным и — сразу видно — сладким. От него было не оторваться. Старик Квотермейн

расплывался в улыбке, как блаженный. Блик грустно усмехался.

— Кому достанется первый кусок? — выкрикнула Лисабелл.

Ждать ее решения пришлось ужас как долго; со стороны могло показаться, будто частица ее самой успела впитаться в податливую белизну марципана и хлопья сахарной ваты.

Лисабелл сделала два медленных шага вперед. Сейчас она не улыбалась. Ее лицо было сосредоточенно-серьезным. Держа тарелку на вытянутых руках, она устремилась к Дугласу.

Когда она остановилась перед ним, лицо ее оказалось совсем близко, и он кожей почувствовал легкое дыхание.

Содрогнувшись, Дуг отпрянул назад.

Уязвленная Лисабелл широко раскрыла глаза и шепотом прокричала слово, которое он поначалу не разобрал.

— Трус! — выдохнула она и добавила: — Да еще и дикарь!

— Не слушай ее, Дуг, — сказал Том.

— Во-во, не принимай всерьез, — сказал Чарли.

Дуглас отступил еще на шаг и прищурился.

Тарелка все же перекочевала к нему в руки; вокруг плотным кольцом стояли ребята. Он не видел, как Квотермейн подмигнул Блику и ткнул его локтем. Единственное, что он видел, — это лицо Лисабелл. На нем играли вишни и снег, вода и трава, и этот ранний вечер. Это лицо заглядывало прямо в душу. Почему-то ему чудилось, будто она его трогает — то тут, то там, веки, уши, нос. Он содрогнулся. И попробовал торт.

— Ну? — спросила Лисабелл. — Что молчишь? Если у тебя даже сейчас поджилки трясутся, могу поспорить, что там, — она указала наверх, в сторону дальней кромки оврага, — ты окончательно сдрейфишь. Сегодня ночью, — продолжила она, — мы все отправимся туда. Могу поспорить, ты и близко не подойдешь.

Дуг перевел взгляд на край обрыва: там стоял дом с привидениями, куда мальчишки порой наведывались при свете дня, но никогда не совались по ночам.

— Ну? — повторила Лисабелл. — Язык проглотил? Придешь или струсить?

— Дуг, — возмутился Том. — Почему ты это терпишь? Срежь-ка ее, Дуг.

Дуг опять поднял взгляд от лица Лисабелл на высокий кругогор, к нехорошему дому.

Торт таял во рту. Дуглас, то стреляя глазами, то сиюсье принять решение, ничего не надумал — так и стоял с набитым ртом, а язык обволакивала сладость. Сердце билось как бешеное, к щекам прихлынула кровь.

— Я буду... — выдавил он.

— Как это понять: «буду»? — потребовала Лисабелл.

— ...буду там, — сказал он.

— Молоток, Дуг, — похвалил Том.

— Смотри, чтоб она над тобой не прикололась, — сказал Бо.

Но Дуг повернулся к друзьям спиной.

Вдруг ему вспомнилась одна старая история. Когда-то давно он убил бабочку, опустившуюся на куст: взял да и сбил палкой, без всякой причины — просто настроение такое было. Подняв глаза, он между столбиками крыльца увидел над собой изумленное лицо деда — ни дать ни взять, портрет в раме. Дуг тогда отбросил палку и подобрал рваные крылышки — яркие лоскутки солнца и трав. Он стал нашептывать заговор, чтобы они срослись, как было. В конце концов у него сквозь слезы вырвалось: «Я не хотел».

А дедушка в свой черед сказал: «Запомни: ничто и никогда не проходит бесследно».

От истории с бабочкой его мысли обратились к Квотермейну. Ветви деревьев трепетали на ветру; почему-то Дуглас уставился на Квотермейна в упор и представил, каково это — вековать свой век в доме с привидениями. Он подошел к именинному столу, выбрал тарелку с самым щедрым куском торта и направился в сторону Квотермейна. На стариковском лице появилось чопорное выражение; тусклые глаза встретили мальчишеский взгляд, обшарили подбородок и нос.

Дуглас остановился перед инвалидной коляской.

— Мистер Квотермейн, — выговорил он.

И протянул тарелку сквозь теплый воздух прямо в руки Квотермейну.

Сначала старик и пальцем не пошевелил. Потом будто бы проснулся и удивленно принял тарелку. Это подношение озадачило его сверх всякой меры.

— Благодарю, — сказал он, только очень тихо, никто даже не услышал.

Его губы тронули кусочек белого марципана.

Все замерли.

— Рехнулся, Дуг? — зашипел Бо, оттаскивая Дуга от коляски. — Спятил? У нас что сегодня, День примирения? Хочешь, чтоб с тебя эполеты сорвали — только скажи. С какой радости потчевать этого старого хрена?

«А с такой, — подумал Дуглас, но не сказал вслух, — с такой радости, что... что я уловил, как он *дышит*».

Глава 31

Проиграл, думал Квотермейн. Эту партию я проиграл. Шах. Мат.

Под умирающим предзакатным солнцем Блик толкал перед собой его инвалидное кресло, будто тачку с корзиной урюка. На глаза наворачивались слезы, и Квотермейн ругал себя за это последними словами.

— Господи! — воскликнул он. — Что же это было?

Блик ответил, что и сам не уверен: с одной стороны, серьезное поражение, но с другой — маленькая победа.

— Ты что, издеваешься — «маленькая победа»?! — рявкнул Квотермейн.

— Ладно, ладно, — сказал Блик. — Больше не буду.

— Ни с того ни с сего, — разволновался Квотермейн, — с размаху мальчишке...

Тут ему пришлось сделать паузу, чтобы справиться с удушьем.

— ...по физиономии, — продолжил он. — Прямо по физиономии. — Квотермейн касался пальцами губ, точно вытаскивая из себя слова. Он тогда ясно увидел: из мальчишеских глаз, как из открытой двери, выглядывал он сам. — А я-то при чем?

Блик не отвечал; он по-прежнему вез Квотермейна через блики и тени.

Квотермейн даже не пытался самостоятельно крутить колеса своего инвалидного кресла. Сгорбившись, он неотрывно смотрел туда, где заканчивались проплывающие мимо деревья и белесая река тротуара.

— Нет, в самом деле, что стряслось?

— Если ты сам теряешься, — сказал Блик, — то я — тем более.

— Мне казалось, победа обеспечена. Вроде расчет был хитрый, тонкий, с подковыркой. И все напрасно.

— Да уж, — согласился Блик.

— Не могу понять. Все складывалось в мою пользу.

— Ты сам их вывел вперед. Расшевелил.

— Только и всего? Значит, победа за ними.

— Пожалуй, хотя они, скорее всего, этого не ведают. Каждый твой ход, в том числе и вынужденный, — начал Блик, — каждый приступ боли, каждое касание смерти, даже смерть — это им на руку. Победа там, где есть движение вперед. В шахматах — и то победа никогда не приходит к игроку, который только и делает, что сидит и размышляет над следующим ходом.

Следующий квартал они миновали в молчании; потом Квотермейн заявил:

— А все-таки Брейлинг был не в своем уме.

— Ты про метроном? Да уж. — Блик покачал головой. — Запугал себя до смерти, а то, глядишь, остался бы жив. Он думал, можно стоять на месте и даже пятиться назад. Хотел обмануть жизнь, а что получил? Надгробные речи да торопливые похороны.

Они свернули за угол.

— До чего же трудно отпускать, — вздохнул Квотермейн. — Вот я, например, всю жизнь цепляюсь за то, к чему единожды прикоснулся. Вразуми меня, Блик!

И Блик послушно начал его вразумлять:

— Прежде чем научиться отпускать, научись удерживать. Жизнь нельзя брать за горло — она послушна только легкому касанию. Не переусердствуй: где-то нужно дать ей волю, а где-то пойти на поводу. Считай, что сидишь в лодке. Заводи себе мотор да сплавляйся по течению. Но как только услышишь прямо по курсу крепнувший рев водопада, выбрось за борт старый хлам, повяжи лучший галстук, надень выходную шляпу, закури сигару — и полный вперед, пока не навернешься. Вот где настоящий триумф. А спорить с водопадом — это пустое.

— Давай-ка еще кружок сделаем.

— Как скажешь.

Косые лучи падали сквозь листву, мерцая на тонкой, словно калька, коже стариковских запястий; тени играли с угасающим светом. Каждое движение сопровождалось еле слышными шепотками.

— Ни с того ни с сего. Прямо в лицо... А ведь он мне принес кусок торта, Блик.

— Да, я видел.

— Почему, почему он это сделал? Таращился на меня — и как будто впервые видел. Не в этом ли причина? Нет? Почему же он так поступил? А ведь из него выглядывал не кто иной, как я. И уже тогда я понял, что проиграл.

— Скажем так: не победил. Но и не проиграл.

— Что на меня нашло? Я возненавидел это чудовище, а потом вдруг возненавидел самого себя. Но почему?

— Потому, что он не приходится тебе сыном.

— Глупости!

— И тем не менее. Насколько мне известно, ты никогда не состоял в браке...

— Никогда!

— И детей не прижил?

— Еще не хватало! Скажешь тоже!

— Ты отрезал себя от жизни. А этот мальчуган тебя подсоединил обратно. Он — твой несостоявшийся внучок, от него к тебе могла бы идти подпитка, жизненная энергия.

— Верится с трудом.

— Сейчас ты обретаешь себя. Кто обрезал телефонные провода, тот потерял связь с миром. Другой бы продолжал жить в своем сыне и в сыне своего сына, а ты уже собирался на свалку. Этот парнишка напомнил тебе о неотвратимости конца.

— Довольно, довольно! — Вцепившись пальцами в жесткие резиновые шины, Квотермейн резко остановил кресло-каталку.

— От правды не уйдешь, — сказал Блик. — Мы с тобою два старых дурака. Ума набираться поздно, остается только подтрунивать над собой — все лучше, чем делать вид, будто так и надо.

Блик расцепил пальцы друга и свернул за угол; умирающее солнце окрасило стариковские щеки здоровым румянцем.

— Понимаешь, — добавил он, — вначале жизнь дает нам все. Потом все отнимает. Молодость, любовь, счастье, друзей. Под занавес это канет во тьму. У нас и в мыслях не было, что ее — жизнь — можно завещать другим. Завещать свой облик, свою молодость. Передать дальше. Подарить. Жизнь дается нам только на время. Пользуйся, пока можешь, а потом без слез отпусти. Это диковинная эстафетная палочка — одному богу известно, где произойдет ее передача. Но ты уже пошел на последний круг, а тебя никто не ждет. Эстафету передать некому. Бежал, бежал — и все напрасно. Только команду подвел.

— Вот как?

— Именно так. Ты не причинил мальчишке никакого вреда. Просто хотел заставить его немного повзрослеть. Было время, вы оба с ним наделали ошибок. Теперь оба ноздря в ноздю идете к победе. Не по своей воле — просто деваться вам некуда.

— Нет, пока что у него есть фора. Была у меня мысль — растить этих сорванцов, как саженцы для могилы. А я всего-навсего предложил им...

— ...любовь, — закончил Блик.

Квотермейн так и не выдал из себя это слово. Приторное, слащавое. Такое пошлое, такое правдивое, такое докучливое, такое чудесное, такое пугающее и в конечном счете для него совершенно потерянное.

— Они победили. Мне-то хотелось — подумать только! — оказать им услугу. Где были мои глаза?

Я хотел, чтобы они занимались мышинной возней, как мы, чтобы увядали и приходили от этого в ужас, и умирали, как умираю я. Но они не понимают, они остаются в неведении, они еще счастливее, чем были мы, — если такое возможно.

— Разумеется. — Блик толкал перед собой кресло. — Счастливее. Но, в сущности, стареть не так уж плохо. Все нипочем, если присутствует в твоей судьбе одна штука. Присутствует — значит, порядок.

Опять это невыносимое слово!

— Замолчи!

— Мыслям не прикажешь, — отозвался Блик, с трудом прогоняя улыбку, тронувшую морщинистые губы.

— Допустим, ты прав, допустим, я жалкая личность, торчу здесь, как плаксивый идиот!

Солнечные веснушки пробежали по его рукам, покрытым бурыми пятнами. На какой-то миг эти узоры сложились один к одному, как в разрезной картинке, и руки сделались мускулистыми, загорелыми и молодыми. Он не поверил своим глазам: куда исчезли старость и дряхлость? Но веснушки уже заплясали, замигали под проплывающими кронами деревьев.

— Что мне делать, как быть дальше? Помогите, Блик.

— Каждый сам себе помощник. Ты направлялся к пропасти. Я тебя предостерег. Мальчишек теперь не удержишь. Будь у тебя побольше здравого смысла, ты бы мог поддержать их бунт: пусть бы не выросли, жили бы эгоистами. Тогда бы узнали, почему фунт лиха!

— Ты задним умом крепок.

— Скажи спасибо, что я раньше не додумался. Хуже нет, если человек застрял в детстве. Сплошь и рядом такое вижу. В каждом доме есть дети. Гляди — это дом бедняжки Леоноры. А вот там живут две старые девы со своей Зеленой машиной. Дети, дети, не знающие любви. Теперь взгляни туда. Овраг. Душегуб. Это тоже жизнь: ребенок в обличье мужчины. Вот где собака зарыта. Дай срок — любого из тех мальчишек можно превратить в Душегуба. Но ты ошибся в выборе стратегии. Силком ничего не добьешься. Недоросля нужно всячески баловать. Пусть не прощает обид и обрастает ядовитыми шипами. Пусть дорожит островками злобы и несправедливости. Если уж ты хотел их покарать, лучше всего было бы сказать: «Бунтуйте! Я с вами, переходим в наступление! Да здравствует хамство! Перебьем всех гадов и сволочей, что стоят нам поперек дороги!»

— Уймись. Все равно у меня к ним ненависти больше нет. Ну и денек, поди разберись. Я ведь и вправду выглядывал из-за его лица. Точно говорю, я там был, влюбленный в ту девушку. Прожитых лет как не бывало. Я снова увидел Лайзу.

— Не исключено, что события можно повернуть вспять. В каждом из нас живет ребенок. Запереть его на веки вечные — дело нехитрое. Ты сделай еще одну попытку.

— Нет. С меня довольно. Хватит с меня войны. Пусть отправляются на все четыре стороны. Смогут заслужить для себя жизнь получше моей — на здоровье. Теперь у меня язык не повернется пожелать им такой жизни, как моя. Не забывай: я смотрел его глазами, я видел ее. Боже, какое дивное личико! Ко мне вдруг вернулась молодость. Давай-ка к дому. Хочу составить планы на год вперед. Требуется кое-что прикинуть.

— Слушаюсь, Эбенезер.

— Нет, не Эбенезер и даже не Скрудж. А неизвестно кто. Я еще не решил. Такие дела наспех не делаются. Знаю одно: я не тот, что прежде. Пока не могу сказать, чем займусь дальше.

— Займись благотворительностью.

- Это не по мне, сам знаешь.
- У тебя же есть брат.
- Ну да, в Калифорнии живет.
- Когда вы в последний раз виделись?
- Дай бог памяти: лет тридцать назад.
- У него ведь и дети есть, правда?
- Кажется, есть. Две дочки и сын. Взрослые уже. У самих дети.
- Вот и напиши им.
- О чем писать-то?
- Пригласи в гости. Места всем хватит. А один из племянников, может статься, чем-то смахивает на тебя. Вот что мне пришло в голову: коль скоро у тебя нет собственной надежды на продолжение рода, на бессмертие — называй как хочешь, — можно поискать такую надежду в доме брата. Сдается мне, ты бы охотно взял на себя некоторые заботы.
- Бред.
- Нет, здравый смысл. Для женитьбы и отцовства ты слишком стар; остается только экспериментировать. Сам знаешь, как в жизни бывает. Один ребенок похож на отца, другой на мать, а третий пошел в кого-то из дальних родственников. Не думаешь, что такое сходство будет тебя согревать?
- Слишком уж примитивно.
- А все-таки обмозговать стоит. Да не тяни, а то опять станешь кем был — вредным старикашкой.
- Вот, значит, кем я был? Так-так. А ведь старался не скатываться до вредности, да, видно, не удержался. А сам-то ты не вредный, Блик?
- Нисколько, потому что я над собой работал. Навредить могу только себе. Но за свои ошибки других не виню. У меня тоже есть недостатки, просто не такие, как у тебя. К примеру, гипертрофированное чувство юмора. — С этими словами Блик то ли подмигнул, то ли просто сощурился от уходящего солнца.
- Хорошо бы и мне вооружиться чувством юмора. Ты заходи почаще, Блик. — Непослушные пальцы Квотермейна сжали руку Блика.

— На кой ты мне сдался, старый чертяка?

— Да ведь мы — Великая армия, забыл? Твоя обязанность — помогать мне думать.

— Слепые, ведущие увечных, — фыркнул Блик. — Вот мы и пришли.

Он остановился у аллеи перед облезлым, серым строением.

— Неужели это мой дом? — удивился Квотермейн. — Страшен как смертный грех, господи прости! Покрасить его, что ли?

— Вот тебе, кстати, еще одна тема для размышлений.

— Не дом, а тихий ужас! Подкати меня к порогу, Блик. И Блик покати друга по аллее.

Глава 32

На дне пахнущего сыростью оврага, среди поздней летней зелени стояли Дуглас, Том и Чарли. В неподвижном воздухе комары устроили прихотливые танцы. Под собственный истошный писк.

— Все свалили, — проговорил Том.

Дуглас присел на валун и снял ботинки.

— Бабах, ты убит, — вполголоса сказал Том.

— Эх, если бы так! Лучше б я был убит, — вырвалось у Дуга.

Том спросил:

— А что, война окончена? Можно свертывать знамя?

— Какое еще знамя?

— Обыкновенное.

— Валяй. Свертывай. Только я не уверен, что война окончена раз и навсегда... просто она перешла в другую стадию. Надо бы разобраться, как это случилось.

Чарли заметил:

— А чего тут разбираться — ты же самолично поднес торт врагу. Где это видано...

— Тра-та-та-а-а, — напевал Том.

Он притворялся, будто свертывает большое полотнище в теплом и пустом неподвижном воздухе. Лучи уходящего солнца скользили по его фигурке, вытянувшейся в торжественной позе у тихого ручья.

— Тра-та-та-а-а. Тра-та-та-а-а, — тянул он. — Капитуляция. — По щеке скатилась слезинка.

— Замолчишь ты или нет? — не выдержал Дуглас. — Хватит!

Дуглас, Том и Чарли выбрались из оврага и побрели сквозь расчерченный и расфасованный город — проспектами, улицами и переулками, среди плотно населенных, сверкающих огнями высоток-тюрем, по строгим тротуарам и бескомпромиссным переулкам, а окраина осталась далеко-далеко — как будто море разом отхлынуло от берега их жизни, которую предстояло влачить в этом городишке еще лет сорок, отворяя и запирая двери, поднимая и опуская шторы; а зеленый лужок теперь казался далеким и чужим.

При взгляде на Тома Дугласу померещилось, что брат растет с каждой минутой. У него засосало под ложечкой, на ум пришла вкуснейшая домашняя еда, а перед глазами возникла Лисабелл, которая, задув свечи, преспокойно спалила четырнадцать прожитых лет, — необыкновенно привлекательная, нарядная, красивая. Почему-то вспомнился и Одиночка-Душегуб — вот уж кто одинок так одинок, никем не любим да еще сгинул неведомо куда.

У дома Чарли Дуглас остановился, чувствуя, что между ними пробежала черная кошка.

— Разрешите откланяться, — сказал Чарли. — Увидимся к ночи, на тусовке с дурехами-девчонками под носом у привидений.

— Ага, до встречи, Чарли.

— Пока, Чарли, — сказал Том.

— Да, кстати, — спохватился Чарли, оборачиваясь к приятелям, точно вспомнил что-то важное. — Я вот что хотел сказать. Есть у меня дальний родственник двадцати пяти лет. Прикатил сегодня на «Бьюике», да не один, а с женой. Дамочка из себя хоть куда, симпатичная. И я все утро ду-

мал: может, и упираться не стоит, когда враги станут тащить меня к двадцати пяти годам. Двадцать пять — достойный пожилой возраст. Если не запретят мне рассекать на «Бьюике» с красоткой женушкой, так я на них зла держать не буду. А дальше — ни-ни! Чтобы никаких детей! Пойдут дети — пиши пропало. Нет, мне бы шикарную тачку да красивую подружку — и на озеро, купаться. Эх! Так можно хоть тридцать лет кайфовать! Вот бы тридцать лет прожить двадцатипятилетним. А там — хоть трава не расти.

— Что ж, надо подумать, — выдавил Дуглас.

— Вот я приду домой и прямо сейчас подумаю, — сказал Чарли.

— А войну-то когда продолжим? — не понял Том.

Дуглас и Чарли переглянулись.

— Черт, даже не знаю, — стушевался Дуг.

— Завтра, или на той неделе, или через месяц?

— Ну, как-то так.

— Отступать позорно! — заявил Том.

— Никто и не думает отступать, — заверил Чарли. — Выберем время — и повоюем, согласен, Дуг?

— А как же, самой собой!

— Подправим стратегию, определим боевые задачи, без этого никуда, — сказал Чарли. — Зря ты раскис, Том, будет тебе война.

— Обещаете? — со слезами на глазах вскричал Том.

— Вот-те крест, слово чести.

— Тогда ладно. — У Тома дрожали губы.

Тут со свистом налетел холодный ветер; да и то сказать, на смену позднему лету пришла ранняя осень.

— Дело ясное, — застенчиво улыбнулся Чарли, исподлобья поглядывая на Дуга. — Прощай, лето, не иначе.

— Это точно.

— Мы времени даром не теряли.

— Да уж.

— Но я не понял, — сказал Том, — кто победил-то?

Чарли с Дугласом уставились на младшего.

— Кто победил? Не глупи, Том! — Погрузившись в молчание, Дуглас некоторое время изучал небо, а потом пронзил взглядом соратников. — Откуда я знаю. Либо мы, либо они.

Чарли почесал за ухом.

— Все при своих. Первая война за всю историю человечества, когда все при своих. Уж не знаю, как это вышло. Ну, пока. — Он шагнул на тротуар и пересек палисадник, отворил дверь, помахал — и был таков.

— Вот и Чарли отвалил, — подытожил Дуглас.

— Ну, вообще тоска! — выговорил Том.

— В каком смысле?

— Сам не знаю. Крутится в голове тоскливая песня, вот и все.

— Не вздумай запеть!

— Нет, я молчу. А хочешь знать почему? Я для себя решил.

— Почему?

— Потому что пломбирный рожок быстро кончается.

— Что ты несешь?

— Пломбирного рожка надолго не хватает. Только лизнул верхушку — глядишь, остался один вафельный хвостик. На каникулах побежал купаться, не успел нырнуть — уже пора вылезать и опять в школу. Оттого и тоска берет.

— Это как посмотреть, — сказал Дуг. — Прикинь, сколько еще ждет впереди. Будет тебе и миллион рожков, и десять миллиардов яблочных пирогов, и сотни летних каникул. Кусай, глотай, ныряй — только поспевай.

— Вот бы, — размышлял Том, — добыть такой здоровенный пломбирный рожок, чтобы объедаться всю жизнь от пуза — и не доесть. Представляешь?

— Таких рожков не делают.

— Или вот еще, — размышлял Том. — Чтоб у летних каникул не наступал последний день. Или чтоб на утренниках показывали только фильмы с Баком Джонсом, как он скачет верхом, палит из револьвера, а индейцы валяются, точно пустые бутылки. Покажи мне хоть что-нибудь хорошее, чему не приходит конец, и у меня на радостях крыша

съедет. В кино прямо реветь охота, когда на экране выплывает: «Конец фильма», а фильм-то был с Джеком Хокси или Кеном Мейнардом. Или вот еще: лопаешь попкорн, а в пакете остается одна-единственная кукурузинка.

— Угомонись, — сказал Дуг. — Нечего себя накручивать. Ты, главное, внуши себе: черт побери, будут еще десять тысяч утренников, и очень скоро.

— Пришли. Чего мы такого сегодня сделали, за что полагается нахлобучка?

— Да вроде ничего.

— Тогда вперед.

И они, входя в дом, не преминули хлопнуть дверью.

Глава 33

Дом этот стоял на краю оврага. Сразу было видно: молва не врет, здесь обитают привидения.

В девять вечера Том, Чарли и Бо, под командованием Дуга, вскарабкались по склону и остановились перед нехошим домом. Вдалеке пробили городские часы.

— Ну вот, — проговорил Дуг и повертел головой вправо-влево, словно что-то высматривая.

— Дальше-то что? — спросил Том.

— Слышь, — сказал Бо, — а правду говорят, будто здесь водится нечистая сила?

— В восемь вечера тут еще спокойно, так я слышал, — ответил Дуг. — И в девять тоже. Зато ближе к десяти из этого дома начинают доноситься странные звуки. Надо бы здесь покрутиться да узнать, что к чему. Вдобавок Лисабелл с подружками грозились прийти. Поживем — увидим.

Они потоптались возле разросшихся у крыльца кустарников, и очень скоро на небосклоне взошла луна.

Тут до их слуха донеслись чьи-то шаги по невидимой тропинке, а из дома послышался скрип невидимых ступенек.

Дуг насторожился и вытянул шею, но так и не разглядел, что же происходит за оконными переплетами.

— Елки-палки, — подал голос Чарли. — Чего мы тут забыли? Тоска зеленая. А мне еще уроки учить. Буду-ка я двигаться к дому.

— Стой, — приказал Дуг. — Надо выждать еще пару минут.

Они выжидали; луна поднималась все выше. А потом, в самом начале одиннадцатого, как только растаял последний удар городских часов, они услышали доносившийся из дома шум. Поначалу тихий, едва различимый: просто шорох и царапанье, будто внутри кто-то передвигал сундуки.

Еще через несколько минут раздался отрывистый выкрик, за ним другой, потом опять шепотки, шорохи, а под конец — глухой стук.

— А вот это, — сказал Дуг, — уж точно привидения. Видно, там людей убивают и волоком перетаскивают трупы из комнаты в комнату. Похоже на то, правда?

— Тыфу на тебя, — буркнул Чарли. — Откуда я знаю?

— А я — тем более, — поддакнул Бо.

— Вот что, — сказал Чарли, — мне это обрыдло. Если там снова заорут, я пас.

Они затаили дыхание. Тишина. И вдруг вопли, стоны, а среди этого — слабый зов: «Помогите!»

Потом все смолкло.

— К чертям собачьим, — не выдержал Чарли. — Я сваливаю.

— И я, — подхватил Бо.

Они развернулись и дали деру.

Шепот сделался зловещим; у Дуга волосы встали дыбом.

— Ты как хочешь, — сказал Том, — а я пошел. Нравится тебе слушать, как привидения воют, — слушай сколько влезет, только без меня. Дома увидимся, Дуг.

Том пустился наутек.

Дуглас остался один; он долго разглядывал заброшенный дом. Через некоторое время у него за спиной, на тропинке, возникло какое-то движение. Сжав кулаки, он обернулся, готовый дать отпор полуночному врагу.

— Лисабелл, — изумился он. — Ты откуда?

— Сказала же, что приду. А вот ты, интересно знать, что тут делаешь? Я думала, у тебя кишка тонка. Как по-твоему, правду люди говорят? Ты хоть что-нибудь выведал? По мне, все это враки, а ты как считаешь? Привидений не бывает, согласен? А значит, это дом как дом.

— Мы решили выждать, — сказал Дуг, — и посмотреть, что будет. Но ребята струхнули, я один остался. Как видишь, стою, выжидаю, слушаю.

Они прислушались вместе. Из дома вырвался тягучий стон, который поплыл по ночному воздуху.

Лисабелл спросила:

— Это и есть призрак?

Дуг весь обратился в слух.

— Вроде того.

Через мгновение опять раздался зловещий шепот, а за ним вопль.

— Двое их там, что ли?

— Похоже, тебе смешно. — Дуг заглянул ей в глаза.

— Сама не знаю, — сказала Лисабелл. — Странно это все. Чем больше слушаю, тем... — Она сверкнула непонятной улыбкой.

Шепотки, вопли и бормотание становились все громче; Дугласа бросало то в жар, то в холод.

В конце концов он нагнулся, поднял с земли камень и с размаху запустил в окно.

Оконное стекло разлетелось вдребезги; дверь медленно отворилась. И вдруг все привидения завyli в один голос.

— Дуг, ты что?! — вскричала Лисабелл. — Зачем?

— Просто... — начал Дуг.

И тут случилось нечто.

Затоптали ноги, лавиной обрушился ропот, и кружащийся сонм белых фигур вырвался из дверей, слетел по ступеням крыльца и устремился по тропинке в овраг.

— Дуг, — повторила Лисабелл. — Зачем ты это сделал?

— Просто терпение лопнуло, — сказал Дуг. — На них тоже можно нагнать страху. Кто-то же должен был их турнуть, раз и навсегда. Спорим, они больше не вернуться.

— Отвратительно, — сказала Лисабелл. — Кому мешали привидения?

— По какому праву, — спросил Дуг, — они тут ошивались? Мы даже не знаем, кто они такие.

— Ах так? — сурово сказала Лисабелл. — Это тебе даром не пройдет.

— Что-что? — не понял Дуглас.

Тогда Лисабелл шагнула к нему, схватила за уши и что было сил поцеловала прямо в губы. Поцелуй длился какое-то мгновение, но, как разряд молнии, ударил Дугласа в лицо, исказил его черты и скрутил болью все тело.

Его затрясло с головы до ног; из вытянутых пальцев разве что не сыпались искры. Веки трепетали, со лба ручьями тек пот. У него перехватило дыхание.

Лисабелл отступила назад и полюбовалась собственным творением: Дуглас Сполдинг, шарахнутый молнией.

Дуглас отпрянул, чтобы она больше не смогла до него добраться. Лисабелл весело расхохоталась.

— Вот так-то! — воскликнула она. — Поделом тебе!

С этими словами она пустилась бежать, а Дуглас, сокрушенный, с раскрытым ртом и дрожащими губами, остался стоять под незримым дождем, среди неслышанной грозы, мучаясь то от жара, то от озноба.

Разряд молнии настиг его снова, только на этот раз в мыслях, и ударил еще сильнее, чем прежде.

Дуглас медленно опустился на колени; голова у него подрагивала, а все мысли были о том, что же с ним произошло и куда подевалась Лисабелл.

Он окинул взглядом опустевший дом. Ему даже захотелось подняться по ступенькам и проверить, не сам ли он только что вылетел из дверей.

— Том, — зашептал он. — Отведи меня домой. — И только сейчас вспомнил: Том давно смылся.

Развернувшись, Дуглас споткнулся, едва не полетел кубарем в овраг и попытался сообразить, в какой стороне лежит дорога домой.

Глава 34

Спросонья Квотермейн рассмеялся.

Он лежал в постели и гадал, с чего бы это. Что именно ему приснилось — теперь уж было не вспомнить, но что-то поистине восхитительное, пробежавшее улыбкой по лицу и лукаво хохотнувшее под ребрами. Силы небесные! Что ж это такое?

Не зажигая лампы, он набрал номер Блика.

— Тебе известно, который час? — возмутился Блик. — У тебя есть лишь один повод изводить меня ночными звонками — твоя идиотская война. Но ты, кажется, заверял, что с глупостями покончено?!

— Разумеется, разумеется.

— Что «разумеется»? — рявкнул Блик.

— Покончено, — уточнил Квотермейн. — Осталось лишь слегка подстраховаться. Чтобы, говоря твоими словами, расслабиться и получить удовольствие. Помнишь, Блик, как мы с тобою давным-давно собрали коллекцию разных диковинок и уродцев, чтобы выставить на городской ярмарке? Скажи-ка, есть ли возможность разыскать эти склянки? Не завалились ли они где-нибудь на чердаке или в подвале?

— Разыскать можно. Только зачем?

— Тогда разыщи. Обмахни от пыли. Вынесем их еще разок на свет божий. Собирай нашу седовласую армию. За дело! Время пошло.

Звяк. Динь.

Глава 35

Над входом в шатер висела дощечка с намалеванным на ней огромным вопросительным знаком. Шатер вырос на берегу озера; внутри разместился устроенный на скорую руку ярмарочный павильон. Там сделали дощатый помост, однако ни уродцев, ни диковинных зверушек, ни фокусников, ни публики еще не было. Каким-то чудом шатер возник за одну ночь, будто сам по себе.

На другом конце города ухмылялся Квотермейн.

Дуглас, придя наутро в школу, обнаружил у себя в парте записку, причем без подписи. В ней крупными печатными буквами черным по белому было написано: РАЗГАДКА ТАЙН ЖИЗНИ.??? У ОЗЕРА. ВХОД ОГРАНИЧЕН. Записка пошла по рукам, и, как только учеников распустили на обед, мальчишки сломя голову помчались в указанное место. Войдя с друзьями в шатер, Дуглас был горько разочарован. «Что за дела: ни скелетов, ни динозавров, ни бесноватых полковников на поле боя», — подумал он. Только темный брезент, невысокий настил да еще... Дуглас взгляделся в темноту. Чарли прищурился. Последними втянули запах старой древесины и рубероида Уилл, Бо и Том. В павильоне не оказалось даже распорядителя в цилиндре и с указкой в руке. А было вот что...

Тут и там на лотках поблескивали трехлитровые и шестилитровые стеклянные банки, до краев наполненные густой прозрачной жидкостью. Каждая банка была закупорена притертой стеклянной крышкой, и каждая крышка имела свой номер, коряво выведенный красной краской, — от одного до двенадцати. А внутри банок... может, к этим штукovinaм и относился огромный вопросительный знак над входом.

— Фигня какая-то, — проворчал Бо. — Посмотреть не на что. Надули нас. Пока, ребята.

Круто развернувшись, он отбросил край шатра и вышел.

— Постой, — окликнул Дуглас, но Бо уже и след простыл. — Том, Чарли, Уилл, вы-то не уйдете? Кто уйдет, тот много потеряет.

— А что тут делать — на пустые банки пялиться?

— Обождите-ка, — сказал Дуглас. — Банки не пустые. Что-то в них плавает. Айда, поглядим поближе.

С опаской двигаясь вдоль настила, они рассматривали банку за банкой. На этих прозрачных емкостях не было ни одной этикетки: стоят себе и стоят стеклянные баллоны с чем-то жидким, а к ним подведена мягкая подсветка, пульсирующая в толще жидкости и бросающая отблески на их растерянные, покрасневшие физиономии.

— Чего это такое? — спросил Том.

— Кто его знает? Разберемся.

Глаза шарили по настилу, стреляли в стороны, задерживались, опять задерживались и снова стреляли в стороны, разглядывали, изучали; носы расплющивались о стекло, рты не закрывались.

— Что здесь такое, Дуг? А это? А вон там?

— Понятия не имею. Ну-ка, пропустите!

Дуг вернулся к началу и присел на корточки перед первой банкой; его глаза оказались вровень с непонятным содержанием.

За сверкающим стеклом плавало нечто бесформенно-серое, похожее на дохлую устрицу-переростка. Изучив этот комок со всех сторон, Дуг пробормотал что-то себе под нос, распрявился и двинулся дальше. Мальчишки не отставали.

Во второй банке болталась какая-то прозрачная водоросль; нет, скорее морской конек, вот-вот, крошечный морской конек!

В третьей виднелось кое-что покрупнее — вроде как освежеванный крольчонок или котенок...

Мальчишеские взгляды переходили с одного экспоната на другой, стреляли в сторону, задерживались, раз за разом возвращались к первой банке, ко второй, третьей, четвертой.

— Ух ты, а тут что, Дуг?

Номер пять, номер шесть, номер семь.

— Глядите!

По общему мнению, это был очередной зверек: то ли белка, то ли мартышка — ага, точно, мартышка, только шукура почему-то прозрачная и мордочка непонятная, грустная какая-то.

Восемь, девять, десять, одиннадцать — только цифры, никаких наименований. Ни намек на то, что же такое плавало в банках и почему от одного взгляда на эти диковины кровь стыла в жилах. Дойдя до конца этого ряда, возле указателя «Выход», все сгрудились у последней банки, наклонились и вытаращили глаза.

— Не может быть!

— Откуда что взялось?

— Так и есть, — выдохнул Дуглас. — Младенец!

— Какой еще младенец?

— Мертвый, как видишь.

— Это ясно... только как он туда...

Все взгляды устремились к началу — одиннадцать, десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, потом четыре и три, потом два и, наконец, номер один — все та же бледная завитушка, похожая на устрицу.

— Если это ребенок...

— Тогда, — цепенея, подхватил Уилл, — что за фиговые засунуты в другие банки?

Дуглас пересчитал банки туда и обратно, но не произнес ни звука, только покрылся гусиной кожей.

— Что тут скажешь?

— Не тяни, Дуг.

— В других банках... — начал Дуглас, помрачнев лицом и голосом, — в них... тоже младенцы!

Эти слова шестью кувалдами ударили по шести солнечным сплетениям.

— Уж больно мелкие!

— Может, это пришельцы из другого мира.

«Из другого мира, — беззвучно повторил Дуглас. — Другой мир утопили в этих банках. Другой мир».

— Медузы, — предположил Чарли. — Кальмары. Ну, сам знаешь.

«Знаю, знаю, — подумал Дуглас. — Водный мир».

— Глазенки-то голубые, — прошептал Уилл. — На нас вылупился.

— Скажешь тоже, — бросил Дуг. — Это же утопленник.

— Пошли отсюда, Дуг, — зашептал Том. — У меня поджилки трясутся.

— Фу-ты ну-ты, поджилки у него трясутся, — возмутился Чарли. — Меня, например, всего колотит. Откуда здесь эти козявки?

— Без понятия. — У Дугласа зачесались локти.

— Помните, в том году приезжал музей восковых фигур? Вот и здесь — типа того.

— При чем тут восковые фигуры? — сказал Том. — Прикинь, Дуг, это же настоящий ребенок, он когда-то живым был. Впервые вижу, чтоб такой маленький — и уже мертвяк. Ох, меня сейчас вырвет.

— Беги на воздух! Скорей!

Тома как ветром сдуло. В следующее мгновение Чарли тоже попятился к выходу, переводя взгляд от младенца к подобию медузы и дальше, к чему-то вроде отрезанного уха.

— Почему нам никто ничего не объясняет? — спросил Уилл.

— Возможно, потому, — с расстановкой ответил Дуг, — что бояться, или не могут, или не хотят.

— Господи, — поежился Уилл. — Холодина-то какая.

За брезентовыми стенами шатра Том содрогался от приступа рвоты.

— Эй, смотрите! — закричал вдруг Уилл. — Шевельнулся!

Дуг потянулся к банке.

— Ничего подобного.

— Шевельнулся, гаденыш. Видать, не понравились мы ему! Шевельнулся, точно говорю! Ну, с меня хватит. Бывай, Дуг.

И Дуг остался один в темном шатре, среди холодных стеклянных банок с крошечными слепцами, которые вперились в стекло незрячими глазками, повествующими о том, как жутко быть мертвым.

Спросить-то некого, размышлял Дуглас, — кругом ни души. Спросить некого, поделиться не с кем. Как докопаться до сути? Узнаем ли мы правду?

Из другого конца палаточного музея раздался пронзительный смешок. Это в шатер вбежали шестеро хихикающих девчонок, которые впустили внутрь яркий клин дневного света.

Когда полог вернулся в прежнее положение и шатер снова погрузился в полумрак, веселье как рукой сняло.

Дуг отвернулся и наугад шагнул к выходу.

Он набрал полную грудь теплого воздуха, отдающего летом, и крепко зажмурился. У него так и стояли перед глазами тумбы, лотки, банки с тягучим раствором, а в этом растворе плавали жутковатые кусочки плоти, непонятные существа из нехоженных краев. Одно походило на лягушку с половинкой глаза и половинкой лапки, но он знал, что это не то. Другое смахивало на клок, вырванный из привидения, на сверхъестественный сгусток, вылетевший из окутанного туманом фолианта в ночном книгохранилище; но нет. Третье напоминало мертворожденного щенка любимой собаки, но как бы не так. Перед его мысленным взором содержимое банок таяло, раствор соединялся с раствором, свет со светом. Но если быстро переводить взгляд с одной банки на другую, удавалось почти оживить содержимое: перед глазами вроде как прокручивалась пленка, на которой мелкие детали становились крупнее, потом еще крупнее, приобретали очертания пальца, кисти, ладони, запястья, локтя, а последнее существо стряхивало сон, широко открывало тусклые голубые глазки, лишённые ресниц, и, уставившись прямо на тебя, беззвучно кричало: «Смотри! Разглядывай! Я здесь в вечном плену! Кто я? Кто я — вот в чем вопрос, кто, кто? Эй ты, там, снаружи, любопытный зевака, не кажется ли тебе, что я — это... ты?»

Рядом с ним, по щиколотку в траве, стояли Чарли, Уилл и Том.

— Как это понимать? — шепотом спросил Уилл.

— Я чуть не... — начал Дуг, но его перебил Том, давившийся слезами:

— Что-то я нюни распустил.

— С кем не бывает, — сказал Уилл, но и у него глаза были на мокром месте. — Тьфу ты, — пробормотал он.

Рядом раздался какой-то скрип. Краем глаза Дуглас увидел женщину с коляской, в которой нечто ворочалось и плакало.

Кроме этой женщины в толпе еще выделялась парочка: молодая красотка под руку с моряком. А у самой воды девчонки с развевающимися волосами играли в пятнашки,

увертывались и прыгали, мерили песок резвыми ножками. Их стайка убегала все дальше по берегу, и под трели девчоночьего смеха Дуглас опять повернулся к пологу шатра и к большому вопросительному знаку.

Ноги сами понесли его, как лунатика, прямо ко входу.

— Дуг! — окликнул Том. — Ты куда? Снова эту дрянь разглядывать?

— Хотя бы.

— Делать тебе нечего, что ли? — взорвался Уилл. — Страхолюдины заспиртованные, в банках из-под соленых огурцов. Я домой пошел. Айда, парни.

— Как хотите, — сказал Дуг.

— И вообще, — Уилл провел ладонью по лбу, — голова у меня раскалывается. С перепугу, наверное. А у вас?

— Чего пугаться-то? — сказал Том. — Сам же говоришь: заспиртованные они.

— Пока, ребята. — Дуглас медленно приблизился к шатру и остановился у мрачного входа. — Том, дождись меня. — И Дуг скрылся за пологом.

— Дуг! — крикнул, побледнев, Том в сторону шатра, помоста и банок с невиданными уродцами. — Осторожней там, Дуг! Будь начеку!

Ринувшись было следом, он обхватил себя за локти, чтобы унять дрожь, закрипел зубами и остался стоять — наполовину в ночи, наполовину при свете дня.

III

АППОМАТОКС¹

Глава 36

Почему-то весь городок заполнили девчонки: они то бегали, то чинно прогуливались, то скрывались в дверях, то выскакивали на улицу, толкались в дешевом магазинчике, сидели, болтая ногами, у стойки с газировкой, отражались в зеркалах и витринах, ступали на проезжую часть и поднимались на тротуар, и все как на подбор вопреки осени пестрели яркими платьицами, и все как одна — ну ладно, не все, но почти все — подставляли волосы ветру, и все опускали глаза, чтобы проследить, куда направятся их туфельки.

Это девчоночье нашествие приключилось неожиданно-негаданно, и Дуглас, шагавший по городу, как по зеркальному лабиринту, оказался почему-то вблизи оврага, начал продирааться сквозь джунгли кустарников и только теперь понял, куда его занесло. С верхушки косогора ему мерещился озерный берег, песок и шатер с вопросительным знаком.

Он пошел куда глаза глядят и необъяснимыми путями забрел в палисадник мистера Квотермейна, где остановился как вкопанный и стал ждать неизвестно чего.

Квотермейн, почти невидимый на затененной веранде, подался вперед в кресле-качалке: заскрипело плетеное сиденье, заскрипели кости. Некоторое время старик смотрел

¹ Аппоматокс — город в штате Виргиния, в ратуше которого 9 апреля 1865 г. был подписан акт о капитуляции армии Юга в Гражданской войне.

в одну сторону, а мальчик в другую, пока они не встретились взглядом.

— Дуглас Сполдинг? — уточнил Квотермейн.

— Мистер Квотермейн? — уточнил мальчик.

Как будто никогда прежде не встречались.

— Дуглас Сполдинг. — На сей раз это было подтверждение, а не вопрос. — Дуглас Хинкстон Сполдинг.

— Сэр. — Мальчик тоже подтверждал, а не спрашивал. — Мистер Келвин Си Квотермейн. — И добавил для верности: — Сэр.

— Так и будешь стоять посреди лужайки?

Дуглас удивился:

— Не знаю.

— Почему бы тебе не подойти поближе? — спросил Квотермейн.

— Мне домой пора, — сказал Дуглас.

— К чему такая спешка? Давай-ка сочтемся славой, освежим в памяти, как науськивали бойцовых псов, как сеяли панику в стане врага — нам ведь есть что вспомнить.

Дуглас еле удержался от смеха, но поймал себя на том, что не отваживается сделать первый шаг.

— Смотри сюда, — сказал Квотермейн, — вот я сейчас зубы выну и тогда уж точно тебя не укушу.

Он притворился, будто вытаскивает изо рта вставные челюсти, но вскоре оставил эту затею, потому что Дуглас уже оказался на первой ступеньке, потом на второй и наконец ступил на веранду, а там старик кивком указал на свободное кресло-качалку.

После чего случилась удивительная вещь.

Как только Дуглас опустился в кресло, дощатый настил веранды чуток просел под его весом, буквально на полдюйма.

Одновременно с этим мистер Квотермейн почувствовал, как плетеное сиденье приподнялось под ним на те же полдюйма!

А дальше Квотермейн устроился поудобней, и настил просел уже под его креслом.

В тот же миг кресло Дугласа беззвучно поползло вверх, этак на четверть дюйма.

Так и получилось, что каждый из них каким-то чутьем, каким-то полусознанием догадался, что они качаются на противоположных концах невидимой доски, которая в такт их неспешной беседе ходит вверх-вниз, вверх-вниз: сначала опускался Дуглас, а Квотермейна малость поднимало вверх, потом снижался Квотермейн, а Дуглас незаметно приподнимался — раз-два, выше-ниже, плавно-плавно.

Вот в ласковом воздухе умирающего лета оказался Квотермейн, а через мгновение — Дуглас.

— Сэр?

— Да, сынок?

А ведь раньше он меня так не называл, подумал Дуглас и с капелькой сочувствия отметил, как потеплело стариковское лицо.

Квотермейн склонился вперед:

— Пока ты не засыпал меня вопросами, дай-ка я у тебя кое-что выясню.

— Да, сэр?

Старик понизил голос и выдохнул:

— Тебе сколько лет?

Этот выдох проник сквозь губы Дугласа.

— М-м-м... восемьдесят один?

— Что?!

— Ну, не знаю. Примерно так. Точней не скажу.

Помолчав, Дуглас решил:

— А вам, сэр?

— Однако... — протянул Квотермейн.

— Сэр?

— Хорошо, давай навскидку. Двенадцать?

— Сэр?!

— Не лучше ли сказать, тринадцать?

— В точку, сэр!

Вверх-вниз.

— Дуглас, — заговорил наконец Квотермейн. — Вот объясни. Что это за штука — жизнь?

— Ничего себе! — вскричал Дуглас. — Я то же самое у вас хотел спросить!

Квотермейн откинулся назад.

— Давай немного покачаемся.

А качели — ни туда ни сюда. Остановились — и как заколодило.

— Лето нынче затянулось, — проговорил старик.

— Я думал, ему конца не будет, — подтвердил Дуглас.

— Оно и не кончается. До поры до времени, — сказал Квотермейн.

Потянувшись к столику, он нащупал кувшин с лимонадом, наполнил стакан и передал Дугласу. Тот чинно сделал небольшой глоток. Квотермейн прокашлялся и стал изучать собственные руки.

— Аппоматокс, — произнес он.

Дуглас не понял:

— Сэр?

Квотермейн оглядел перила крыльца, ящики с кустами герани и плетеные кресла, в которых сидели они с мальчиком.

— Аппоматокс. Не доводилось слышать?

— В школе вроде бы проходили.

— Как узнать, кто из них ты и кто — я? Это важно.

— Из кого «из них», сэр?

— Из двух генералов, Дуг. Ли и Грант. Грант и Ли. У тебя какого цвета военная форма?

Дуглас оглядел свои рукава, штанины, башмаки.

— Стало быть, ответа нет, — заметил Квотермейн.

— Нет, сэр.

— Давно это было. Двое усталых, немолодых генералов.

При Аппоматоксе.

— Да, сэр.

— Итак. — Кел Квотермейн наклонился вперед, поскрипывая тростниковыми костями. — Что ты хочешь узнать?

— Все, — выпалил Дуглас.

— Все? — Квотермейн хмыкнул себе под нос. — На это потребуется аж десять минут, никак не меньше.

— А если хоть что-нибудь? — спросил Дуглас.

— Хоть что-нибудь? Одну, конкретную вещь? Ну, ты загнул, Дуглас, для этого и всей жизни не хватит. Я довольно много размышлял на эту тему. «Все» с необычайной легкостью слетает у меня с языка. Другое дело «что-нибудь»! «Что-нибудь»! Пока разжуешь, челюсть вывихнешь. Так что давай-ка лучше побеседуем обо «всем», а там видно будет. Когда ты разговоришься и вычислишь одну-единственную, особенную, неизменную сущность, которая пребудет вечно, сразу дай мне знать. Обещаешь?

— Обещаю.

— Итак, где мы остановились? Жизнь? Это, между прочим, тема из разряда «все». Хочешь узнать о жизни все?

Дуглас кивнул и потупился.

— Тогда наберись терпения.

Подняв глаза, Дуглас припечатал Квотермейна таким взглядом, в котором соединились терпение неба и терпение времени.

— Что ж, для начала... — Он умолк и потянулся за пустым стаканом Дугласа. — ...освежись-ка, сынок.

Стакан наполнился лимонадом. Дуглас не заставил себя упрашивать.

— Жизнь, — повторил старик и что-то зашептал, забормотал, потом снова зашептал.

Глава 37

Среди ночи Келвина Квотермейна разбудил чей-то возглас или зов.

Кто же мог подать голос? Никто и ничто.

Он посмотрел в окно на круглый лик башенных часов и почти услышал, как они прочищают горло, чтобы возвестить: три часа.

— Кто здесь? — выкрикнул Квотермейн в ночную прохладу.

Это я.

— Неужели опять ты? — Приподняв голову, Квотермейн посмотрел сначала налево, потом направо.

Да я, кто ж еще. Узнаешь?

И тут его взгляд скользнул вниз по одеялу.

Даже не протянув руку, чтобы удостовериться на ощупь, Квотермейн уже понял: его старинный дружок тут как тут. Правда, на последнем издыхании, но все же он самый.

Не было нужды отрывать голову от подушки и разглядывать скромный буторок, возникший под одеялом пониже пупа, между ног. Так только, одно биение сердца, один удар пульса, потерянный отросток, призрак плоти. Однако все чин-чином.

— Ага, вернулся? — с короткой усмешкой бросил Квотермейн, глядя в потолок. — Давненько не виделись.

Ответом ему было слабенькое шевеление в знак их встречи.

— Ты надолго?

Невысокий холмик отсчитал два удара собственного сердца, нет, три, но не изъявил желанья скрыться; похоже, он планировал задержаться.

— В последний раз прорезался? — спросил Квотермейн.

Кто знает? — последовал молчаливый ответ его старинного приятеля, угнездившегося среди блеклых проволочных завитков.

«Если голова медленно, но верно седеет — плевать, — когда-то давно сказал Квотермейн, — а вот когда там, внизу, появляются пегие клочки — пиши пропало. Пускай старость лезет куда угодно, только не туда!»

Однако старость пришла и к нему, и к его верному дружку. Везде, где можно, напылила мертвенно-снежную седину. Но не зря же сейчас возникло это биение сердца, осторожный, неправдоподобный толчок в знак приветствия, обещание весны, гряда воспоминаний, отголосок... этого... как его... вылетело из головы: как в городе называют удивительную нынешнюю пору, когда у всех соки бурлят?

«Прощай-лето».

Господи, ну конечно!

Эй, не пропадай. Побудь со мной. Без дружка плохо.

Дружок не пропал. И они побеседовали. В три часа ночи.

— Откуда на сердце такая радость? — спрашивал Квотермейн. — Что происходит? Я потерял рассудок? А может, исцелился? Не в этом ли заключено исцеление? — От непристойного смеха у него застучали зубы.

Да я только попроситься хотел, шепнул слабый голосок.

— Попрошиться? — Квотермейн подавился собственным смехом. — Как это понимать?

Вот так и понимай, ответил все тот же шепот. *Лет-то сколько минуло. Пора закругляться.*

— И вправду пора. — У Квотермейна увлажнились глаза. — Куда, скажи на милость, ты собрался?

Трудно сказать. Придет время — узнаешь.

— Как же я узнаю?

Увидишь меня. Я тоже там буду.

— А как я пойму, что это ты?

Поймешь как-нибудь. Ты всегда все понимал, а уж меня — в первую очередь.

— Из города-то не исчезнешь?

Нет-нет. Я рядом. Но когда меня увидишь, не смущай других, ладно?

— Ни в коем случае.

Одеяло и пододеяльник начали опадать, холмик таял. Шепот стал едва различимым.

— Не знаю, куда ты собрался, но... — Квотермейн осекся.

Что «но»?

— Живи долго, в счастье и радости.

Спасибо.

Молчание. Тишина. Квотермейн не мог придумать, что еще сказать.

Тогда прощай?

Старик кивнул; влага застила ему глаза.

Кровать, одеяло, его собственное туловище сделались теперь плоскими, как доска. То, что было при нем семьдесят лет, исчезло без следа.

— Прощай, — сказал Квотермейн в неподвижный ночной воздух.

«Все же интересно, — подумал он, — чертовски интересно, куда его понесло?»

Огромные часы наконец-то пробили три раза.

И мистер Квотермейн уснул.

В темноте Дуглас открыл глаза. Городские часы отсчитали последний из трех ударов.

Он поглядел в потолок. Ничего. Перевел взгляд в сторону окон. Ничего. Только легкое дуновение ночи шевелило бледные занавески.

— Кто там? — прошептал он.

Молчок.

— Кто-то тут есть, — прошептал он. А выждав, снова спросил:

— Кто здесь?

Смотри сюда, раздался невнятный говорок.

— Что это?

Это я, был ответ откуда-то из темноты.

— Кто «я»?

Смотри сюда, опять прошелестело из темноты.

— Куда?

Вот сюда — совсем тихо.

— Куда же?

И Дуглас поглядел по сторонам, а потом вниз.

— Сюда, что ли?

Ну наконец-то.

В самом низу его туловища, под грудной клеткой, ниже пупка, между бедер, там, где соединялись ноги. В том самом месте.

— Ты кто такой? — шепнул он.

Скоро узнаешь.

— Откуда ты выскочил?

Из прошлого в миллион веков. Из будущего в миллион веков.

— Это не ответ.

Другого не будет.

— Не ты ли был...

Где?

— Не ты ли был в том шатре?

Это как?

— Внутри. В стеклянных банках. Ты или не ты?

В некотором роде я.

— Что значит «в некотором роде»?

То и значит.

— Не понимаю.

Поймешь, когда мы с тобой познакомимся поближе.

— Звать-то тебя как?

Как назовешь. Имен — множество. Каждый мальчишка называет по-своему. Каждый мужчина за свою жизнь произносит это имя десять тысяч раз.

— Но я не...

Не понимаешь? Лежи себе спокойно. У тебя теперь два сердца. Послушай пульс. Одно бьется у тебя в груди. А второе — ниже. Чувствуешь?

— Чувствую.

Ты и вправду чувствуешь два сердца?

— Да. Честное слово!

Тогда спи.

— А ты никуда не денешься, когда я проснусь?

Буду тебя поджидать. Проснусь первым. Спокойной ночи, дружище.

— Честно? Мы теперь друзья?

Каких у тебя прежде не бывало. Друзья на всю жизнь.

По полу затопотали заячьи лапы. Кто-то натолкнулся на кровать, кто-то нырнул под одеяло.

— Том, ты?

— Ага, — ответил голос из-под одеяла. — Можно я рядышком посплю? Ну пожалуйста!

— Ты чего, Том?

— Сам не знаю. На меня страх напал: вдруг ты наутро исчезнешь или помрешь, а еще хуже — и то и другое разом.

— Я помирать не собираюсь, Том.

— Когда-нибудь все равно придется.

— Ну, знаешь...

— Так можно мне остаться?

— Ладно уж.

— Возьми меня за руку, Дуг. Да сожми покрепче.

— Зачем?

— Сам подумай: Земля крутится со скоростью двадцать пять тысяч миль в час или около того, верно? Перед сном обязательно нужно за что-нибудь уцепиться, а то сбросит тебя — и поминай как звали.

— Давай руку. Вот так. Теперь не страшно?

— Не-а. Теперь и послать можно. А то я за тебя испугался. Короткое молчание, вдох-выдох.

— Том?

— Ну?

— Как видишь, я тебя не кинул.

— Слава богу, Дуг, ох, слава богу.

В саду поднялся ветер; он раскачал ветки, отряхнул листья, все до единого, и погнал их по траве.

— Лето кончилось, Том.

Том прислушался.

— Прошло лето. Осень на дворе.

— Хеллюуин.

— Ого! Надо что-нибудь придумать.

— Я уже придумываю.

Они подумали вместе и вместе заснули.

Городские часы пробили четыре раза.

А бабушка села в постели, не зажигая света, и назвала по имени то самое время года, что намедни кончилось, миновало, кануло в прошлое.

Послесловие :

КАК ВАЖНО УДИВЛЯТЬСЯ

Ход работы над моими романами можно описать при помощи такого сравнения: иду на кухню, задумав поджарить яичницу, но почему-то принимаюсь готовить праздничный обед. Начинаю с самого простого, но тут же возникают словесные ассоциации, которые ведут дальше, и в конце концов мною овладевает неутолимое желание узнать, какие неожиданности произойдут за следующим поворотом, в ближайший час, на другой день, через неделю.

Замысел романа «Лето, прощай» возник у меня лет пятьдесят пять тому назад, когда я был еще совсем зелен и не обладал должной начитанностью, чтобы создать хоть сколько-нибудь значимое произведение. Материал копился годами, но потом в одночасье захватил меня с головой и потом уже не переставал удивлять; тогда-то я и сел за машинку, чтобы писать рассказы и повести, которые впоследствии составили единое целое.

Основным местом действия в романе служит овраг; этот образ проходит сквозь всю мою жизнь. Наш дом стоял на маленькой улочке в Вокегане, штат Иллинойс; к востоку от дома был овраг, который тянулся на несколько миль к северу и югу, а потом описывал петлю, сворачивая к западу. Получалось, что я обитал на острове, откуда мог в любой момент нырнуть в овраг, навстречу разным приключениям.

Там можно было вообразить себя хоть в Африке, хоть на Марсе. Мало этого, через овраг я каждый день бегал в школу, а зимней порой здесь же гонял на лыжах и катался на санках, поэтому овраг занимал главное место в моей жизни;

вполне естественно, что впоследствии он стал центром этого романа, по кромкам расположились все мои друзья, а рядом с ними еще и старики — удивительные живые хронометры.

Меня всегда тянуло к старым людям. Они входили в мою жизнь и шли дальше, а я увязывался за ними, засыпал вопросами и набирался ума, как явствует из этого романа, в котором главными героями выступают дети и старики, своеобразные Машины Времени.

Зачастую самые прочные дружеские отношения складывались у меня с людьми за восемьдесят, а то и за девяносто; при каждом удобном случае я донимал их расспросами про все на свете, а сам молча слушал и мотал на ус.

В некотором смысле «Лето, прощай» — это роман о том, как много можно узнать от стариков, если набраться смелости задать им кое-какие вопросы, а затем, не перебивая, выслушать, что они скажут. Вопросы, которые ставит Дуг, и ответы, которые дает мистер Квотермейн, служат организующим стержнем в отдельных главах и в развязке романа.

К чему я веду речь: ход событий определяется не мною. Вместо того чтобы управлять своими персонажами, я предоставляю им жить собственной жизнью и без помех выражать свое мнение. А сам только слушаю и записываю.

По сути дела, «Лето, прощай» служит продолжением романа «Вино из одуванчиков», увидевшего свет полвека назад. Я тогда принес рукопись в издательство и услышал: «Ну нет, такой объем не пойдет! Давайте-ка выпустим первые девяносто тысяч слов отдельным изданием, а что останется, отложим до лучших времен — пусть созреет для публикации». Весьма сырой вариант полного текста первоначально назывался у меня «Памятные синие холмы». Исходным заглавием той части, которая впоследствии превратилась в «Вино из одуванчиков», было «Летнее утро, летний вечер». Зато для этой, отвергнутой издателями книги название возникло сразу: «Лето, прощай».

Итак, все эти годы вторая часть «Вина из одуванчиков» дозревала до такого состояния, когда, с моей точки зрения, ее не стыдно явить миру. Я терпеливо ждал, чтобы эти гла-

вы романа обросли новыми мыслями и образами, придающими живость всему тексту.

Для меня самое главное — не переставать удивляться. Перед отходом ко сну я непременно даю себе наказ с утра пораньше обнаружить что-нибудь удивительное. В том-то и заключалась одна из самых захватывающих особенностей становления этого романа: мои наказания перед сном и удивительные открытия, сродни озарениям, поутру.

На все повествование наложило отпечаток влияние моих деда с бабушкой, а также тетки, Нейвы Брэдбери. Дед отличался мудростью и бесконечным терпением; он умел не просто объяснить, а еще и показать. Бабушка моя — настоящее чудо; она врожденным умом понимала внутренний мир мальчишек. А тетя Нейва приобщила и приохотила меня к тем метафорам, которые вошли в мою плоть и кровь. Ее заботами я воспитывался на самых лучших сказках, стихах, фильмах и спектаклях, с горячностью ловил все происходящее и с увлечением это записывал. Даже теперь, много лет спустя, меня не покидает такое чувство, будто она заглядывает в мою рукопись и сияет от гордости.

К сказанному остается добавить лишь одно: я рад окончанию многолетней работы над этой книжкой и надеюсь, что каждый найдет в ней что-нибудь для себя. Мне было несказанно приятно вновь оказаться в родном Гринтауне — поглазеть на дом с привидениями, послушать гулкий бой городских часов, перебежать через овраг, впервые познать поцелуй девушки и набраться ума-разума от тех, кого уже с нами нет.



**НАДВИГАЕТСЯ
БЕДА**

*С благодарностью Дженет Джонсон,
учившей меня писать рассказы,
и Сноу Лонгли Хауш,
учившей меня поэзии
в лос-анджелесской средней школе, очень давно,
и Джеку Гассу,
помогавшему мне в работе
над этим романом, не так уж давно.*

Не удержишь то, что любишь.
У.Б. Йейтс

Потому что они не заснут, если не сделают зла; пропадает сон у них, если они не доведут кого до падения; ибо они едят хлеб беззакония и пьют вино хищения.

Книга Притчей Соломоновых,
4, 16—17

Я не знаю толком, чем все это кончится, но что бы там ни было, я иду навстречу концу смеясь.

Г. Мелвилл. «Моби Дик». Гл. XXXIX.
Перевод И. Бернштейн

Пролог

Главное дело — стоял октябрь, месяц, особенный для мальчишек. Само собой, остальные месяцы тоже не похожи друг на друга, просто, как говорят пираты, одни лучше, другие похуже.

Взять вот сентябрь — плохой месяц: надо в школу идти. Август не в пример лучше — до школы еще не близко. Июль — ну, июль замечательный: куда ни глянь, на школу и намека нет. Ну а уж июнь лучше всех: школьные двери нараспашку, а до сентября — миллион лет.

А теперь взять октябрь. Уже месяц как началась школьная тягомотина, значит, к узде пообвык и дальше пойдет легче. Уже можно выкроить время и поразмыслить, чего бы такого особенно гадкого подкинуть на крыльцо старому Приккету или что за прелесть мохнатый обезьяний костюм, дожидаящийся праздника в Христианском союзе молодежи в последний вечер месяца.

А если дело, к примеру, происходит еще и в двадцатых числах и небо, оранжевое, как апельсин, слегка пахнет дымом, то кажется, что Хеллоуин в суматохе метел и хлопанье простынь на ветру так никогда и не наступит.

Но вот в один странный, дикий, мрачный, долгий год Хеллоуин пришел рано, и случилось это двадцать четвертого октября в три часа после полуночи.

К этому времени Джеймсу Найтшеду с 97-й Дубовой улицы исполнилось тринадцать лет одиннадцать месяцев и двадцать три дня от роду, а соседу его, Вильяму Хеллоуэю, — тринадцать лет одиннадцать месяцев и двадцать четыре дня. Оба почти коснулись четырнадцатилетия, вот-вот оно затрепыхается в руках.

В ту октябрьскую неделю им обоим выпала ночь, когда они выросли сразу, вдруг, и навсегда распрощались с детством...

Часть I

ПРИВЫТИЕ

Глава 1

Продавец громоотводов прибыл как раз перед бурей. На склоне облачного октябрьского дня он шел по улице Грингауна, Иллинойс, и внимательно поглядывал по сторонам. А вслед за ним, пока еще в отдалении, стая молний долбила землю, там огромным зубастым зверем ворочалась гроза, и увернуться от нее было не так-то просто.

В огромном кожаном мешке торговца тоже погромыхивало. Он шел от дома к дому, выкрикивая странные названия таившихся в мешке штуковин, и вдруг остановился перед подстриженной вкривь и вкось лужайкой.

Трава? Нет, не то. Торговец поднял глаза. А, вот оно. На траве, выше по отлогому склону, — двое мальчишек. Схожие и ростом, и обликом, сидят и вырезают свистульки из бузины, беспечно болтая о прошлом и будущем, сидят, вполне довольные собой. Этим летом ничего в Грингауне не обошлось без них, отсюда до озера и еще дальше — до реки, на каждой вольной тропке остались следы их ног, и к школе они вроде управились со всеми делами.

— Эй! Как дела? — окликнул их человек в одежде грозового цвета. — Дома есть кто?

Мальчишки одинаково помотали головой.

— Ладно. Ну а как у вас с монетой?

Головы снова качнулись вправо-влево.

— Добро, — кивнул торговец, сделал несколько шагов и остановился, сразу ссутулившись.

Что-то его встревожило... может, окна ближайшего дома, может, тяжелое, холодное небо над городом. Он медленно повернулся, словно принохиваясь. Ветер трепал ветки облетевших деревьев. Солнечный луч, отыскав просвет в тучах, мгновенно вызолотил последние дубовые листья и тут же пропал — золото на дубах потускнело, потянуло сыростью. Все. Очарование исчезло.

Пришелец ступил на зеленый склон.

— Как звать тебя, парень? — спросил он.

Один из ребят, с головой, похожей на белый пух чертополоха, прищурился и глянул на торговца глазом, блестящим, словно огромная капля летнего дождя.

— Вилли, — представился он. — Вильям Хеллоуэй¹.

Грозовой джентльмен слегка повернулся:

— А тебя?

Сосед Вилли даже не шелохнулся. Он лежал ничком на осенней траве, глубоко задумавшись, словно ему еще только предстояло сотворить себе имя. Волосы густые, настоящие лохмы цвета спелых каштанов, вид — отсутствующий, глаза разглядывают что-то внутри, а цветом — как зеленый горный хрусталь. Все. Сотворил. Небрежно ткнул сухую травинку в рот.

— Джим Найтшед².

Торговец понимающе кивнул:

— Найтшед. То самое имя.

— И в самый раз ему, — сказал Вилли. — Я родился за минуту до полуночи тридцатого октября, а Джим через минуту после полуночи, стало быть, уже тридцать первого.

— Аккурат в Хеллоуин, — произнес Джим.

Несколько слов — но за ними крылись их жизни: гордость за матерей, живущих по соседству, вместе спешащих в больницу, вместе приносящих миру сыновей, минутой раньше — светлого, минутой позже — темного. За этим виделась история веселых праздников вместе, на них Вил-

¹ Хеллоуэй — от hallow (англ.) — святой; отсюда же Хеллоуин.

² Найтшед (англ.) — ночная тень.

ли каждый год зажигал свечи на пироге за минуту до полуночи, а Джим в первую минуту последнего дня месяца гасил их.

Так много сказал Вилли несколькими словами, так много подтвердил своим молчанием Джим. Так много услышал торговец, опередивший бурю и задержавшийся здесь невесть зачем, разглядывая лица ребят.

— Хеллоуэй, Найтшед, — повторил он. — Значит, говорите, нет денег?

Похоже, огорченный собственным безрассудством, торговец запустил руку в мешок и выудил чудную железяку.

— Ладно. Берите даром. Думаете — с чего бы это? Скажу, пожалуй. В один из этих домов ударит молния. Без этой штуки — бац! Огонь и пепел, жаркое и угли! Трах!

Торговец протянул стержень. Джим не пошевелился, а Вилли схватил железяку и воскликнул:

— Ты посмотри, какая тяжеленная! И чудная. Никогда таких громоотводов не видал. Ну погляди, Джим!

Потянувшись, как кошка, Джим наконец соизволил повернуть голову. Зеленые глаза удивленно распахнулись и тут же превратились в узенькие щелочки.

Громоотвод представлял собой кованый крест с полумесяцем внизу. Стержень усеивали крохотные завитушки и сплошь покрывали выгравированные слова, произнося которые можно было запросто вывихнуть челюсть, а таинственные цифры переплетались с какими-то полузверями-полунасекомыми из сплошной щетины, когтей и клыков.

— Это египетский, — уверенно показал носом Джим на припаянного посередке жука. — Скарабей!

— Точно, парень. Он и есть!

Джим прищурился:

— А вон те куриные следы — финикийские знаки.

— Опять верно.

— Но почему они здесь?

— Почему? — повторил задумчиво торговец. — Ты спрашиваешь, почему на громоотводе египетские, арабские,

абиссинские, чоктавские знаки? А на каком языке, по-твоему, говорит ветер? Из какого народа буря? Откуда приходит дождь? Какого цвета молния? Где родина грома? Чтобы заклинать огни святого Эльма, чтобы умирять этих синих крадущихся косматых котов, надо быть готовым воспользоваться любым наречием, может пригодиться любой знак, зверь любого обличья. Во всем мире только мои громоотводы способны почуять и отогнать любую бурю, откуда бы она ни явилась, на каком бы языке ни говорила и в каком бы виде ни пришла. Не сыщете такого чужедальнего громогласного шторма, которого не смогла бы перешептать эта железная штуковина.

Но похоже, Вилли уже не слушал. Повернувшись, он уставился на что-то позади.

— В чей? — напряженно выдохнул он. — В чей дом она попадет?

— Гм... в чей?.. — отозвался торговец. — Погоди-ка... а ну, повернись ко мне. — Он внимательно изучал их лица и бормотал при этом: — Есть люди... они просто-таки притягивают молнию, словно хотят высосать ее. У одних, знаете ли, отрицательная полярность, у других положительная. Одни только в темноте и загораются, другие в ней гаснут... Вот вы двое...

— А почему вы так уверены, что молния попадет прямо сюда? — перебил Джим, сверкая глазами.

Торговца вопрос не смутил.

— У меня есть нос, глаза и уши. Вот два дома. Прислушайтесь, что говорят их бревна!

Они прислушались. Наверное, это ветер нажимал на стены... а может, и не ветер.

— Молнии, как реки, текут по своим руслам, — продолжал между тем торговец. — Чердак одного из этих домов как раз и есть такое пересохшее русло, оно только и ждет, чтобы молния пролилась и промчалась по нему. Нынче же ночью!

— Ночью? Этой ночью? — Джим просто сиял от счастья.

— Идет необычная гроза, — промолвил торговец. — Это вам Том Фури говорит. Фури — подходящее имечко для торговца громоотводами, а? Я ли взял его? Нет. Имя ли подтолкнуло меня выбрать профессию? Да! Я жил и смотрел, как облачные огни скачут по миру, а люди вздрагивают и прячутся. И я подумал: нанесу на карты ураганы, отмечу бури, а потом пойду впереди них и буду гроыхать моими железными дубинками, моими чудесными защитницами. Я укрыл и обезопасил сто тысяч, нет, двести, не счесть сколько мирных, богобоязненных домов. Слушайте меня, парни. Если я говорю, что ваши дела плохи, значит, так оно и есть. Полезайте на крышу, прибейте там эту железку да заземлите хорошенько. И все это надо успеть до полуночи!

— Но вы же не сказали, который из домов! — воскликнул Вилли.

Торговец отступил назад, достал огромный платок, высморкался и медленно пошел через лужайку. Он шел так, словно впереди его ждала огромная мина с часовым механизмом. Он осторожно коснулся перил на крыльце у Вилли, провел рукой по столбу, потрогал доски ступеней, потом закрыл глаза и прильнул к дому, вслушиваясь в скрипы и шорохи его костей. Через минуту, все так же настороженно, он перешел к дверям Джима. Джим встал и вытянул шею.

Торговец лишь коснулся, лишь пробежал пальцами по старой краске, слегка стукнул по дереву и уверенно заявил:

— Этот.

Не оглядываясь, он спросил:

— Джим Найтшед, это твой?

— Мой! — с гордостью ответил Джим.

— Я мог бы сразу догадаться, — буркнул торговец.

— Эй, а со мной как же? — В голосе Вилли звучала обида.

Торговец повел носом в сторону его дома.

— Нет. Разве что несколько искорок проскочат по водосточной трубе. А настоящее зрелище будет здесь, у Найтшедов. Вот так-то! — Торговец заторопился по лужайке к своему мешку. — Ну, мне пора. Гроза уже близко. Джим, друг,

тебе говорю — не тяни! А то — бамм! И все твои медяки, все десятицентовики, все солдатки-индейцы потекли ручейками. Эйб Линкольн расплылся в мисс Колумбию, орлы на четвертаках полиняли догола, даже пуговицы на джинсах — и те потекут, как ртуть. А если молния попадет в мальчишку — трах! — и в глазу, как на «Кодаке», отпечатается этот огонь. Вот он скачет с неба и как дунет в тебя — душа вон! Эй, парень, припей эту штуку повыше, а то не видать тебе завтрашнего рассвета!

Громко брякнув мешком, торговец повернулся и пошел по дороге, поглядывая то на небо, то на крыши домов, фыркающая и бормоча себе под нос:

— Ох, худо! Сюда идет, чую. Далеко пока, но уж больно быстро...

Человек в грозových одеждах уходил. Шляпа цвета тучи сползла ему на глаза, деревья встревоженно шелестели, а небо враз стало старым.

Джим и Вилли стояли на лужайке, принюхиваясь к ветру — не пахнет ли электричеством, а громоотвод лежал между ними на траве.

— Джим, — пихнул наконец друга в бок Вилли, — да не стой ты! Твой ведь дом-то, он сказал. Собираешься ты прибавить эту штуку или нет?

— Нет, — улыбнулся Джим. — Зачем веселье портить?

— Да какое веселье?! Рехнулся, что ли! Я ташу лестницу, а ты — давай за молотком с гвоздями. И проволоку не забудь.

Вилли мигом приволок лестницу. А Джим, похоже, и не пошевелился за это время.

— Ну, Джим! Ты о маме подумал? Хочешь, чтобы она сторела?

Вилли приставил лестницу и сам полез наверх. Тогда наконец и Джим медленно подошел и начал взбираться по ступеням.

Далеко в облачных холмах прокатился гром. Наверху в воздухе явно различались запахи свежести и сырости. Даже Джим согласился.

Глава 2

Самые лучшие на свете книжки — о живой воде, о рыцарях, изрубленных на куски, или о том, как расплавленный свинец льется со стен на головы всяким дуракам, — так говорил Джим Найтшед, и других книжек он не читал. Если уж не об ограблении Первого Национального банка, так хоть про то, как построить катапульту или сшить из черных лоскутьев невидимую одежду для ночных вылазок.

Все это Джим выдохнул разом, а Вилли, тоже разом, вдохнул, пока они возились на крыше, прилаживая громоотвод. Вилли занимался этим делом с чувством важности и нужности происходящего, а Джим — слегка стыдясь и считая, что они просто трусили. Так и день прошел.

После ужина предстоял еженедельный поход в библиотеку. Как все мальчишки, они никогда не ходили просто так, но, выбрав цель, кидались к ней со всех ног. Никто не выигрывал, да и не хотел выиграть, они ведь были друзья; просто хорошо было бежать рядом, стремительно пропечатывать теннисными туфлями параллельные строчки следов по лужайкам, через кусты и рощицы, хорошо было вместе рвать финишную ленточку и разом схватиться за ручку библиотечной двери — никто не оставался в проигрыше, оба побеждали, храня дружбу до поры, когда утраты станут неизбежны.

Все так и шло этим вечером, сначала теплым, потом — прохладным. В восемь часов они предоставили ветру нести их вниз, в город. Летящие руки, локти развернуты, как крылья, мелькают перемежающиеся слои воздуха — и вот они уже там, где надо. Три ступеньки, шесть, девять, двенадцать — хлоп! — ладони шлепнули по библиотечной двери.

Джим и Вилли улыбнулись друг другу. Все это было здорово: и тихие октябрьские вечера, и библиотека с зелеными лампами внутри и едва уловимым запахом бумажной пыли.

Джим вслушался.

— Что это?

— Ветер?..

— Как музыка... — Джим всматривался вдаль.

— Совсем никакой музыки не слышу...

— Кончилась! — Джим тряхнул головой. — А может, и не было. Идем!

Они открыли дверь, ступили внутрь и застыли на пороге.

Перед ними в ожидании распахнулись библиотечные глублины.

Снаружи, в мире, как будто ничего не происходило. Но здесь, в этих зеленых сумерках, в этой земле бумаги и кожи, могло случиться всякое. Всегда случалось. Только прислушайся и услышишь крики десятков тысяч людей, вот миллионы перетаскивают пушки, точат гильотины, а вот китайцы маршируют по четыре в ряд. Конечно, незримо, конечно, бесшумно, но ведь и у Джима, и у Вилли носы и уши на месте. Здесь фабрика пряностей, здесь дремлют неведомые пустыни.

Напротив двери приятная пожилая дама мисс Уотрикс отмечает книги, а справа от нее — уже Тибет, и Антарктида, и Конго. Туда как раз удалилась другая библиотекарша, мисс Уиллис, ушла через Монголию, запросто унося куски Йокотгамы и остров Целебес. Дальше, в третьем книжном туннеле, пожилой мужчина шуршит в темноте веником, подметая остатки имбиря и корицы...

Вилли широко открыл глаза. Каждый раз этот старик удивлял его — своей работой, своим именем. «Чарльз Вильям Хеллоуэй, — думал Вилли, — не дедушка, не дальний родственник, не какой-нибудь пожилой дядюшка, нет — мой отец...»

А отец? Не поражался ли он каждый раз, встречая собственного сына на пороге этого уединенного мира? Да. Каждый раз он выглядел ошеломленным, словно последняя их встреча состоялась век назад и с тех пор один успел состариться, а другой так и остался молодым. Это мешало, стояло между ними.

Старик неуверенно улыбнулся издали. Отец и сын осторожно двинулись навстречу друг другу.

— Батюшки! Вилли! С утра еще на дюйм вырос! — Чарльз Хеллоуэй повернул голову. — Джим? О, глаза потемнели, щеки посветлели, тебя что, с обеих сторон припекло?

— Дьявольщина! — энергично высказался Джим.

— Такого не держим, — мгновенно ответил старик. — Ад есть, вот тут, на «А», у Алигьери.

— Аллегории — это не по мне, — мотнул головой Джим.

— Твоя правда, — засмеялся отец Вилли. — Но я-то имел в виду Данте. Погляди-ка сюда. Рисунки самого господина Доре. Со всех сторон все показано. Аду повезло. Он никогда не выглядел лучше. Вот, обрати внимание, души падают прямо в грязь. Смотри, смотри, кто-то даже вверх ногами...

— Ничего себе! — Джим мгновенно пожрал страницу глазами вдоль и поперек и принялся листать дальше. — А картинки с динозаврами тут есть?

— Это там, дальше. — Он повел их в следующий проход. — Вот здесь. «Птеродактиль, змей-разоритель», — прочитал он. — А как насчет «Барабанов рока: сага о громовых ящерах»? Ну, ожил, Джим?

— Ага. Вполне.

Отец подмигнул Вилли. Вилли подмигнул в ответ. Они стояли рядом — мальчишка с волосами цвета спелой пшеницы и мужчина, седой как лунь. Лицо мальчишки — словно летнее наливное яблоко, лицо мужчины — словно то же яблоко зимой. «Папа, папа мой, — думал Вилли, — он похож на меня! Только... как в плохом зеркале!»

Внезапно Вилли припомнил, как, бывало, ночами он вставал и смотрел из окна на город внизу. Там мерцал только один огонек в библиотечном окне. Это отец засиживался допоздна над книгой в нездешнем свете зеленой лампы. И радостно, и грустно было смотреть на этот одинокий огонек и знать, что его... Вилли помедлил, подбирая слово... его отец один бодрствует во всем этом мраке.

— Вилли, — окликнул старик, по должности уборщик, по воле случая его отец, — а тебе чего хочется?

Вилли встрепенулся.

— А?

— Ты предпочитаешь книжку в белой шляпе или в черной?

— Шляпе?

— Вот Джим. — Старик медленно двинулся вдоль полок, слегка касаясь пальцами книжных корешков. — Джим носит черные десятигаллоновые шляпы и книжки предпочитает им под стать. Поначалу Мориарти, верно, Джим? Теперь он готов хоть сейчас двинуться от Фу Мангу к Макиавелли — средних размеров темная фетровая шляпа, а оттуда — к доктору Фаусту, это уже большущий черный «стетсон». А на твою долю остаются приятели в белых шляпах... Вот Ганди, там дальше — святой Томас, следующий... ну, к примеру, Будда.

— Меня вполне устроит «Таинственный остров», — улыбнулся Вилли.

— Я не понял, при чем здесь шляпы? — нахмурился Джим.

— Однажды, очень давно, — неторопливо проговорил отец, протягивая Вилли Жюля Верна, — я, как и каждый человек, решил для себя, какой цвет буду носить.

— И какой же? — недоверчиво спросил Джим.

Старый человек, казалось, удивился и поспешил рассмеяться.

— Ну и вопросы ты задаешь!.. Ладно, Вилли, скажи маме, что я скоро буду. А теперь двигайте-ка отсюда оба. Мисс Уотрикс! — тихо окликнул он библиотекаря. — Будьте настороже. К вам подбираются динозавры и таинственные острова.

Дверь захлопнулась. На небесных полях высыпали ясные звезды.

— Дьявольщина! — Джим втянул носом воздух с севера, потом с юга. — А где буря? Этот проклятый торговец обещал... Я же должен посмотреть, как молния ударит в мою крышу!

Вилли подождал, пока порыв ветра взъерошит, а потом пригладит волосы.

— Она будет здесь. Кутру, — словно нехотя произнес он.

— Кто сказал?

— А вот, черничник у меня под руками. Он говорит.

— Ха! Здорово!

Ветер сорвал и унес Джима прочь. Таким же воздушным змеем Вилли кинулся вдогонку.

Глава 3

Чарльз Хеллоуэй провожал ребят глазами, с трудом сдерживая желание составить им компанию. Он знал эти колдовские штучки ветра, знал, как и где подхватывает он две легкие фигурки, как несет их мимо всяких таинственных мест, таинственных только сегодня, только в этот миг и никогда больше.

Грусть шевельнула крылом в груди старого человека.

«Если бежать вместе в такой вечер, то печаль не ранил, — подумал он. — Смотри-ка! Вот Вилли. Он бежит ради самого бега. А вот Джим. Он бежит потому, что впереди есть цель.

И все-таки, как ни странно, они бегут вместе. В чем же дело? — продолжал он раздумывать, проходя по библиотеке и гася одну за другой зеленые мягкие звезды. — Неужели только в линиях наших ладоней? Почему одни — такие, а другие... Один всю жизнь на поверхности, весь — стрекотание кузнечика, весь — подрагивание усиков, сплошной узел нервов, вечно запутывающийся и запутывающий всех... Губы не знают покоя, глаза с колыбели сверкают и бросаются из стороны в сторону. Ненасытные глаза, и питаются тьмой... Это — Джим, с головой, похожей на ежевичный куст, и с неумным задором разрастаться вширь, как у сорняка.

А вот — Вилли. Слово последний персик на самой высокой ветке. Он из тех, на которых взглянешь — заплачешь.

Да, вроде бы у них все в порядке, и не то чтобы они отказались от случая передернуть в бридже или прихватить плохо лежащую точилку, нет, дело не в этом. Просто какими их увидел впервые, такими они и остаются всю жизнь: сплошные толчки, синяки, царапины да шишки, и вечное недоумение: почему, ну почему же это случилось? Как это могло случиться с ними?

Джим, он знает. Он караулит начало, примечает конец, и если уж зализывает царапину, то никогда не спросит — почему? Он знает. И всегда знал. Это еще до него кто-то знал, кто-то, бывший давным-давно, из тех, у кого волки ходили в любимчиках, а львы — в ночных приятелях. Это же не от головы. Это само его тело знает. И пока Вилли перевязывает очередную рану, Джим уже движется по рингу, отскакивает, уворачивается от неминуемого удара. Вон они уже где! Джим притормаживает, поджидает Вилли. Вилли наддал, чтобы догнать Джима. Бац! бац! Джим выбил два окна в заброшенном доме. Бац! И Вилли выбил окно — как же, ведь Джим рядом, смотрит. Боже, вот она, дружба! Каждый из них — гончар, каждый что-то лепит из другого.

Джим, Вилли, — подумал он. — Странники. Идите дальше. Когда-нибудь я пойму».

Дверь библиотеки выпустила его с легким вздохом и слегка хлопнула на прощание.

Спустя пять минут он уже заворачивал в пивную на углу, пропустить свой первый — и последний — стаканчик, и поспел как раз к концу чьей-то фразы:

— ...Когда открыли алкоголь, итальянцы решили, что это — великая вещь, прямо настоящий эликсир жизни. А? Слыхали вы про такое?

— Нет, — равнодушно откликнулся бармен.

— Точно! — с воодушевлением продолжал посетитель. — Очищенный алкоголь! Век девятый-десятый. Выглядело оно как вода. Но обжигало. Не только во рту или там в желудке, нет, оно и в самом деле горит. Так вот, итальянцы решили, что им удалось смешать огонь с водой. Огненная вода! Эликсир жизни! Ей-богу! А может, не так уж они и ошибались,

принимая его за лекарство от всех болезней... за такую чудотворную штуку. Ну что, выпьем?

— Да я-то не хочу, — улыбнулся Хеллоуэй, — а вот кто-то внутри меня вроде просит.

— Кто?!

«Наверное, мальчишка, которым я был когда-то, — подумал Хеллоуэй, — тот самый, который пролетает осенними вечерними улицами, как листья под ветром».

Но сказать так он, конечно, не смог бы и поэтому просто выпил, закрыл глаза и прислушался: не шевельнется ли давешнее крыло, не мелькнет ли на куче давно сложенных для костра поленьев хоть малая искорка? Нет, не мелькнула.

Глава 4

Вилли остановился. Вилли поглядел на город, погруженный в пятничный вечер. При первом из девяти ударов часов на доме мэрии всюду еще сияли огни, в магазинах кипела жизнь. Но при последнем ударе, отозвавшемся в десятке больных зубов горожан, картина изменилась. Парикмахеры поспешно припудривали клиентов и выпроваживали их за дверь, на ходу сдергивая простыни; смолк сифон аптекаря, весь день шипевший, словно змеиное гнездо; прекратилось комариное жужжание неоновых ламп, и обширный аквариум дешевого универмага, где миллионы всяких ерундовых штучек безнадежно ожидали своего избавителя, внезапно погрузился в темноту.

Заскользили тени, захлопали двери, ключи затрещали костями в замках, люди разбежались, и разбежались мыши, торпливо догрызая обрывок газеты или крошку галеты.

Раз! И они исчезли.

— Старик! — завопил Вилли. — Народ бежит, словно от урагана!

— Так оно и есть! — крикнул Джим. — Он за нами!

Они громко протопали мимо дюжины темных магазинчиков, мимо дюжины полутемных, мимо дюжины темнеющих. Город словно успел вымереть, пока они огибали «Объединенные сахарные склады». И тут, за углом, ребята налетели на идущего навстречу деревянного индейца из табачной лавки.

— Эй! — Мистер Татли, хозяин, выглянул из-за плеча чероки. — Я вас не напугал, ребята?

— Не-а! — с запинкой, сквозь легкий озноб, ответил Вилли.

Ему вдруг показалось, что из прерий на город катится волна странно холодного дождя. Молния прорезала небо в отдалении, и Вилли испытал неудержимое желание оказаться дома, под шестнадцатью одеялами в собственной постели.

— Мистер Татли, — тихонько окликнул он.

Теперь уже два деревянных индейца застыли в плотной тьме табачной лавки. Мистер Татли окаменел, забыв закрыть рот.

— Мистер Татли!

Он не слышал. Нет, он слышал что-то вдалеке, что-то долетевшее с порывом ветра, но не мог сказать, что именно. Вилли и Джим отпрянули. Он не видел их. Он не шевелился. Он только слушал. Ребята оставили его и убежали.

В четвертом от библиотеки квартале они наткнулись еще на одну одеревеневшую фигуру.

Мистер Крозетти застыл перед своей парикмахерской с ключом в дрожащих пальцах, не замечая остановившихся ребят.

Что заставило их насторожиться? Слезинка. Слезинка катилась по левой щеке парикмахера. Он всхлипнул.

— Разве вы не чувствуете?

Джим и Вилли дружно принюхались.

— Лакрица!

— Да нет. Леденцы на палочке!

— Сколько лет я не слышал этого запаха, — вздохнул мистер Крозетти.

— Им же все тут пропахло! — фыркнул Джим.

— А кто это замечал? Когда? Сейчас вот только мой нос велел мне: дыши! И я расплакался. Почему? Да потому, что вспомнил, как давным-давно мальчишки облизывали такие штуки. Почему я за все эти тридцать лет ни разу не принялся?

— Вы просто заняты были, мистер Крозетти, — подсказал Вилли, — времени у вас не было.

— Время, время... — проворчал мистер Крозетти, вытирая глаза. — Откуда он взялся, этот запах? Во всем городе никто не продает леденцов на палочке. Они теперь бывают только в цирках.

— О! — сказал Вилли. — Верно.

— Ну, Крозетти наплакался.

Парикмахер высморкался и повернулся с ключом к двери. А Вилли стоял, и взгляд его убежал вместе с красно-белой спиралью, бесконечно вьющейся на шесте возле парикмахерской. Сколько раз он уже пытался размотать эту ленту, тщетно лоя ее начало, тщетно подстерегая конец.

Мистер Крозетти собрался выключать свой вращающийся шест.

— Не надо, — попросил Вилли. — Не выключайте.

Мистер Крозетти взглянул на шест так, словно впервые открыл для себя его чудодейственные свойства. Глаза его мягко засветились, и он тихонько кивнул.

— Откуда берется и где исчезает, а? Никому не дано знать, ни мне, ни тебе, ни ему. О, тут тайна, ей-богу. Ладно. Пусть себе крутится.

«Как хорошо знать, — думал Вилли, — что он будет крутиться до самого утра, что, пока мы будем спать, лента все так же нескончаемо будет возникать из ничего и исчезать в никуда».

— Спокойной ночи!

— Спокойной ночи!

Они оставили парикмахера позади вместе с ветром, несущим запах лакрицы и леденцов на палочке.

Глава 5

Чарльз Хеллоуэй уже протянул руку к вращающейся двери пивной, но остановил движение — редкие седые волоски на тыльной стороне ладони, как антенны, уловили нечто в октябрьской ночи. Может быть, полыхающие где-то пожары дохнули над прерией, может, новая ледниковая эра нависла над землей и уже погребла в мертвенно-холодном чреве миллион человек — лучше не выходить. Вдруг само Время дало трещину, и через нее уже сыплется пыль мрака, покрывая улицы серым пеплом. А может, все дело в прохожем, идущем той стороной улицы со свертком под мышкой и корзиной с торчащей из нее кистью. Он что-то насвистывает... Мелодия... она из другого времени года, нет, вовсе не печальная, просто она не годилась в октябре, но Чарльз Хеллоуэй всегда слушал ее с удовольствием.

Я слышал рождественские колокола,
Они играли древние гимны.
Они вольно и сильно
Повторяли слова о том,
Что мир на земле и благоволение во человецех.

Чарльз Хеллоуэй задрожал. Внезапно нахлынуло ощущение жутковатого восторга, захотелось смеяться и плакать одновременно. Так бывало, когда в канун Рождества он смотрел на безгрешные лица детей на заснеженных улицах среди усталых прохожих. Порок испятнал лица взрослых, грех оставил на них следы, жизнь разбила их, словно окна заброшенного дома, разбила, отбежала, спряталась, вернулась и вновь бросила камень...

Бог наш не смерть, и Он не спит!
Грешники падут, восторжествуют праведники
С миром на земле и благоволением во человецех!

Прохожий перестал насвистывать. Теперь он был занят чем-то возле телеграфного столба на перекрестке, потом

отошел и вдруг нырнул в открытую дверь давно пустовавшего магазинчика.

Чарльз Хеллоуэй вышел и зачем-то направился к той же двери. А человек со свертком, кистью и корзиной уже снова появился на улице. Глаза его, пронзительные и неприятные, взглянули на Хеллоуэя в упор. Человек протянул руку и медленно раскрыл ладонь. Хеллоуэй вздрогнул. Ладонь незнакомца покрывала густая черная шерсть. Это походило на... Он не успел сообразить на что. Ладонь сжалась и исчезла. Человек повернул за угол. Ошеломленный Хеллоуэй смахнул со лба вдруг выступившую испарину и с трудом сделал несколько шагов к дверям пустого магазина.

Там, в небольшом зале, под лучом единственной яркой лампы, стоял на козлах, словно на похоронах зимы, ледяной брус длиной шесть футов. Тусклый зеленовато-голубой свет струился из его глубин, и весь он был как огромная холодная жемчужина. Сбоку, у самого окна, висел на шпите небольшой рекламный лист. Выведенное от руки каллиграфическим почерком, там значилось:

КУГЕР И ДАРК¹
ШОУ И ПАНДЕМОНИУМ ТЕНЕЙ.
ФАНТОЧЧИНИ. ЦИРК МАРИОНЕТОК.
ВАШ ТРАДИЦИОННЫЙ КАРНАВАЛ!
ПРИБЫВАЕТ НЕМЕДЛЕННО!
ЗДЕСЬ ПЕРЕД ВАМИ
ОДИН ИЗ НАШИХ АТТРАКЦИОНОВ:
САМАЯ ПРЕКРАСНАЯ ЖЕНЩИНА В МИРЕ!

Взгляд Хеллоуэя метнулся от надписи к ледяной глыбе. Она ничуть не изменилась с детства. Он помнил ее, точно такую же, и бродячих фокусников, когда Холодильная компания выставляла на всеобщее обозрение кусок зимы с замороженными девушками. Вокруг толпились зрители, на экране мелькали лица комедийных актеров, аттракцио-

¹ D a r k (англ.) — тьма.

ны сменяли друг друга, пока наконец вспотевший от натуги волшебник не вызволял заиндеветших бедняжек из ледяного плена и они, едва улыбаясь посиневшими губами, не исчезали за занавесом.

«Самая прекрасная женщина в мире!»

Но там же нет ничего! Просто замерзшая речная вода! Нет, не совсем.

Хеллоуэй почувствовал, как в груди тяжело трепыхнулось сердце. Может быть, там, внутри огромной зимней жемчужины, есть пустое место, этакая продолговатая волнистая выемка, ждущая жаркую летнюю плоть, может быть, она имеет форму женского тела?

Да, похоже.

Лед. И прекрасная, с таинственными изгибами пустота внутри. Томительное ничто. Изысканная плавность незримой русалки, позволившей поймать себя в ледяной футляр.

Лед был холоден. Пустота внутри была теплой. Хеллоуэй хотел уйти, но еще долго стоял посреди странной ночи, в пустом магазине, перед холодным арктическим саркофагом, сверкавшим словно огромная Звезда Индии во мраке...

Глава 6

На углу Хиккори и Главной улицы Джим Найтшед притормозил.

— Вилли, а? — В голосе его неожиданно зазвучала нежная просительная нотка.

— Нет! — Вилли даже остановился, пораженный собственной жестокостью.

— Ну тут же рядышком, а? Пятый дом. И всего на минуточку, Вилли, — упрасивал Джим.

— На минуточку?

Вилли в сомнении оглядел улицу. Улицу Театра.

Все лето она была улица как улица. Здесь они лазили за персиками, за сливами и абрикосами, когда приходило время. Но вот в конце августа, в пору кислеших яблок, случи-

лось нечто, разом изменившее все: и дома, и вкус персиков, и даже сам воздух под болтушками-деревьями.

— Вилли! Оно же ждет! Может быть, уже началось, а? — шептал Джим.

Вилли был непреклонен. Джим просительно тронул его за плечо. Они стояли на улице, переставшей быть яблочной, сливовой, персиковой. С некоторых пор она превратилась в улицу Единственного Дома, Дома с Окном Сбоку. Окно это — сцена, по словам Джима, а всегдашний занавес — сумрак за окном — иногда (может, и сегодня) бывал поднят. И там, в комнате, на чудных подмостках — актеры. Они говорят загадочные, невероятные вещи, смеются непонятно чему, вздыхают, их бормотание и перешептывание казалось Вилли лишним, он не понимал их.

— Ну в самый-самый распоследний разочек, Вилли?! — не унимался Джим.

— Да если бы в последний! — в сердцах откликнулся Вилли.

Щеки Джима зарделись. В глазах мелькнул зеленый огонек. А Вилли словно наяву увидел ту ночь. Он только что закончил с яблоками на дереве, как вдруг голос Джима шепотом окликнул его с соседней ветки: «Смотри! Вон там!» Вцепившись в ствол дерева, странно возбужденный, Вилли смотрел и не мог отвести взгляда от сцены. Перед ним был Театр, там незнакомые актеры сдергивали через голову рубашки, роняли одежду на ковер, нагие, похожие на дрожащих лошадей, тянулись друг к другу, касались...

«Что они творят? — лихорадочно думал Вилли. — Почему смеются? Что с ними стряслось? Разве это хорошо?»

О, как ему хотелось, чтобы свет на Сцене погас! Но Сцена там, за окном, была освещена ярко-ярко, и Вилли, оцепеневший на своем суку, глаз не мог оторвать. До него долетал смех, он вслушивался в смутные звуки, пока в изнеможении не скользнул по стволу вниз, почти упал, потом посмотрел вверх, на Джима — тот все еще висел на своей ветке: лицо словно опалило огнем, рот приоткрыт...

— Джим, спускайся, — позвал Вилли.

Не слышит.

— Джим!

Джим наконец посмотрел вниз, странно посмотрел: как будто идиот прохожий предложил ему перестать жить и спуститься на землю. И тогда Вилли убежал, убежал один, просто погибая от половодья мыслей, не думая ни о чем, не зная, что и подумать.

— Вилли, ну пожалуйста!

Даже глаза Джима просили. Руки прижимали к груди книжки.

— Мы в библиотеке были? Тебе мало?

Джим упрямо помотал головой.

— Тогда захвати мои, ладно?

Он отдал Вилли книги, повернулся и легко побежал под шелестящими, мерцающими деревьями. Обернулся. Кричит.

— Вилли! Знаешь, ты кто? Старый, глупый, дрянной епископальный баптист!

Пропал.

Вилли изо всех сил притиснул книги к груди. Ладони у него повлажнели.

«Не оглядывайся! — говорил он себе и сам же отвечал: — Не буду, не буду!» Не оглядываясь, он пошел к дому. Быстро.

Глава 7

На подороге за спиной Вилли слышалось пыхтение.

— Что, Театр закрыт? — бросил Вилли, не оборачиваясь.

Джим поравнялся с ним и долго шел рядом молча.

— Там нет никого.

— Отлично!

Джим сплюнул.

— Ты, проклятый баптистский проповедник... — начал было он.

Из-за угла выкатилось навстречу перекасти-поле — мятый бумажный шар подскочил и лег у ног Джима. Вилли со смехом пнул мячик — пусть летит — и замолк.

Бумага развернулась, и по ветру плавно скользнула пестрая афишка. Ребятам вдруг стало холодно.

— Эй, погоди-ка... — медленно проговорил Джим.

И вдруг они сорвались с места и помчались за ней.

— Да осторожней ты! Не порви!

Бумага у них в руках вздрагивала и, казалось, даже погромыхивала, как маленький барабанчик.

ПРИХОДИТЕ 24 ОКТЯБРЯ!

Губы Джима двигались, не сразу произнося слова, написанные затейливым шрифтом.

КУГЕР И ДАРК КАРНАВАЛ!!!

— Эй, двадцать четвертое... Это ведь завтра!

— Не может такого быть! — убежденно сказал Вилли. — После Дня труда карнавалов не бывает!

— Да плевать на это! Посмотри! «Тысяча и одно чудо!» Смотри! «Мефистофель, пьющий лаву! Мистер Электрик! Монстр-Монгольфьер!» Э-э?..

— Воздушный шар, — пояснил Вилли. — Монгольфьер — это воздушный шар.

— Мадемуазель Таро! — читал Джим. — Висящий Человек! Дьявольская гильотина! Человек-в-Картинках! Ого!

— Да подумаешь! Просто парень в татуировке!

— Нет. — Джим подышал на афишку и махнул по ней рукавом. — Он раз-ри-со-ван, специально разрисован. Погляди, он весь в чудовищах. Целый зверинец! — Глаза Джима так и шарили по афише. — Смотри, смотри, Скелет! Вот здорово, Вилли! Не какой-нибудь там Тощий Человек, а Скелет! Во! Пыльная Ведьма! Что бы это могло быть, а, Вилли?

— Просто грязная старая цыганка...

— Нет. — Джим прищурился, будя воображение. — Да... вот так... Цыганка. Она родилась в Пыли, в Пыли выросла и однажды унесется обратно в Пыль! А вот здесь еще есть:

«Египетский Зеркальный лабиринт! Вы увидите себя десять тысяч раз! Храм искушений святого Антония!»

— Самая прекрасная... — начал читать Вилли.

— ...женщина в мире, — закончил Джим.

Они взглянули друг на друга.

— Как это может самая прекрасная женщина в мире оказаться в карнавальном балагане, а, Вилли?

— Ты когда-нибудь видел карнавальных женщин, Джим?

— А как же! Медведицы-гризли! А чего же тогда здесь пишут?

— Да заткнись ты!

— Ну чего ты злишься, Вилли?

— Да ничего! Просто... Ай! Держи ее!

Ветер рванул лист у них из рук. Каким-то нелепым прыжком афиша взмыла вверх и исчезла за деревьями.

— Все равно это неправда, — не сдавался Вилли. — Не бывает карнавалов так поздно. Глупость это! Кто туда пойдет?

— Я, — тихо выдохнул Джим.

«И я, — подумал Вилли. — Увидеть зловещий блеск гильотины, египетские зеркала, человека-дьявола с кожей как сера, прихлебывающего лаву...»

— Эта музыка... — пробормотал Джим. — Каллиопа¹. Наверное, они приедут сегодня!

— Карнавалы всегда приезжают на рассвете...

— Ага, а лакрица, а леденцы? Помнишь запах? Ведь близко совсем.

Вилли подумал о запахах и звуках, принесенных ветровой рекой, о мистере Татли, стоящем в обнимку с другом-индейцем и слушающим ночь, о мистере Крозетти со слезинкой на щеке и о его шесте, вокруг которого все вьется красный язык: из ниоткуда в никуда. Вилли подумал обо всем этом и неожиданно стукнул зубами.

¹ Каллиопа — музыкальный инструмент, сходный с органом. Звук каллиопы слышен на расстоянии до 10 миль, поэтому каллиопа традиционно используется для привлечения публики на ярмарках и в бродячих цирках. Обычно помещается на колеса.

— Пошли-ка по домам.

— А мы и так дома! — удивленно воскликнул Джим.

Действительно, они и не заметили, как поднялись на холм, и теперь оставалось только разойтись каждому к своей двери.

Уже на крыльце Джим перегнулся через перила и тихонько окликнул:

— Вилли, ты — ничего?

— В порядке.

— Мы теперь месяц туда не пойдем, ну, к этому... к Театру. Год не пойдем! Клянусь!

— Ладно, Джим. Не пойдем.

Они так и стояли, положив руки на дверные ручки. Вилли взглянул на соседскую крышу. Там под холодными звездами поблескивал чудной громоотвод. Гроза то ли приближалась, то ли обходила стороной. Неважно. Вилли все равно был доволен, что у Джима есть теперь такая могучая защита.

— Пока!

— Пока!

Одновременно хлопнули две двери.

Глава 8

Однако дверь пришлось открывать снова и уж на этот раз тихонько прикрывать за собой.

— Так-то лучше, — прозвучал мамин голос.

Через дверной проем Вилли смотрел на свою театральную сцену, единственную, которую любил всегда, знакомую до мельчайших деталей. Вот сидит отец (он уже дома! ну конечно же, ведь они с Джимом дали приличного крюка), держит книгу, но открыта она на пустой странице. В кресле у огня мама. Вяжет и бормочет, как чайник.

Вилли одновременно тянуло и к ним, и от них. То они далеко, то близко. Вот они, совсем крошечные, в огромной комнате, в громадном городе, посреди исполинского ми-

ра, маленькие, совсем беззащитные перед вторжением ночи в этот открытый уютный театр.

«И я такой же, — подумалось Вилли, — и я».

Любовь хлынула в душу мальчика. Такой он не чувствовал никогда, пока родители оставались только большими.

Мамины пальцы хлопотали, губы шевелились, пересчитывая петли, — именно так выглядит счастливая женщина. Вилли вспомнился парник, где среди зимы цвела кремовая тепличная роза. Вот и мама... вполне довольная в своей комнатке, счастливая по-своему. Счастливая? Но почему? Как? Вот рядом с ней сидит уборщик из библиотеки, чужак в этой комнате. Да, он снял форменную одежду, но лицо-то осталось, лицо человека, который бывает счастлив только по ночам, там, под мраморными сводами, одинокий, шаркая метлой по пыльным коридорам.

Вилли смотрел, не в силах постичь, почему счастлива женщина у камина, почему печален мужчина рядом с ней.

Отец смотрит в огонь. Рука расслабленно свисает с кресла. На ладони — смятый бумажный шарик. Вилли заморгал. Он вспомнил выкатившийся из темноты бумажный мяч. Ему не видно было, что и как написано на листе, но цвет! Цвет был тот же самый!

— Эй!

Вилли шагнул в гостиную.

Мама тут же улыбнулась — словно еще один огонь зажегся в комнате. Отец выглядел немного растерянным, словно его застали врасплох за не совсем достойным занятием.

Вилли так и подмывало спросить: «Ну и что вы думаете об этой афишке?» Но, поглядев, как молча и сосредоточенно отец запикивает бумажный шарик между подлокотником и сиденьем кресла, Вилли сдержал себя. Мама листала библиотечные книжки.

— О! Они замечательные, Вилли!

Кугер и Дарк так и норовили соскочить с языка, и стоило немалого труда как можно небрежнее произнести:

— Ветер так и сдул нас домой. По улицам бумажки летают.

Отец никак не отреагировал на его слова.

— Пап, что новенького?

Рука отца так и осталась лежать на подлокотнике. Он бросил на сына слегка встревоженный взгляд. Глаза казались усталыми.

— Да все то же. Каменный лев разнес библиотечное крыльцо. Теперь рыщет по городу, за христианами охотится. Ан ни одного и нету. Нашел тут было одну в заточении, но уж больно она готовит хорошо.

— Ну что ты мелешь, — отмахнулась мама.

Поднимаясь к себе, Вилли услышал то, что и ожидал. Огонь в камине удовлетворенно вздохнул, блики метнулись по стене. И не оборачиваясь, Вилли буквально видел, как отец стоит вплотную к камину и наблюдает за превращающимися в пепел Кугером, Дарком, карнавалом, ведьмами, чудесами... Вернуться бы, встать рядом с отцом, протянуть к огню руки, согреться... Вместо этого он продолжал медленно подниматься по ступеням, а потом тихо прикрыл за собой дверь комнаты.

Иногда ночами, уже в постели, Вилли прикинул ухом к стене. Бывало, там говорили о правильных вещах, и он слушал; бывало, речь шла о чем-то неприятном — и он отворачивался. Когда голоса тихо скорбели о времени, о том, как быстро идут годы, о городе и мире, о неисповедимых путях Господних на земле или в крайнем случае о нем самом — тогда на сердце становилось тепло и грустно, Вилли лежал, уютно пристроившись, и слушал отца — чаще говорил он. Вряд ли они смогли бы говорить с отцом с глазу на глаз, а так — так другое дело. Речь отца, с подъемами и спадами, перевалами и паузами, вызывала в воображении большую белую птицу, неторопливо взмахивающую крыльями. Хотелось слушать и слушать, а перед глазами вспыхивали яркие картины.

Была в его голосе одна странность. Он говорил, и говорил истинно. О чем бы ни шла речь, будь то город или деревня, в словах звучала истина — какой же мальчишка не почувствует ее чары! Часто Вилли так и засыпал под глуховатые звуки напевного голоса за стеной; просто ощущения, которые еще секунду назад давали знать, что ты — это ты, вдруг останавливались, как останавливаются часы. Отцовский голос был ночной школой, он звучал как раз тогда, когда сознание лучше всего готово понимать, и тема была самая важная — жизнь.

Так начиналась и эта ночь. Вилли закрыл глаза и медленно приблизил ухо к прохладной стене. Поначалу голос отца рокотал, словно большой старый барабан, где-то внизу. А вот звонкий ручеек маминого голоса — сопрано в баптистском хоре, — не поет, а выпевает ответные реплики. Вилли почти видел, как отец, вольготно устроившись в кресле, обращается к потолку.

— Вилли... из-за него я чувствую себя таким старым... другой бы запросто играл в бейсбол с собственным сыном...

— Не кори себя... не за что... — Нежный женский голос. — Ты и так хорош...

— ...на безрыбье... Черт! Мне ведь было сорок, когда он родился, да еще — ты! Люди спрашивают: «А это ваша дочь?» Черт! Стоит только прилечь, и от мыслей не знаешь куда деваться!

Вилли услышал скрип кресла. Чиркнула спичка. Отец зажег трубку. Ветер бился за окнами.

— ...тот человек с афишей...

— Карнавал? Так поздно?

Вилли хотел отвернуться и не мог.

— ...самая прекрасная женщина в мире, — пробормотал отец.

Мать тихонько рассмеялась.

— Ты же знаешь, это — не обо мне.

«Как! — подумал Вилли. — Это же из афиши! Почему отец не скажет? Потому, — ответил он сам себе. — Что-то начинается! Что-то уже происходит».

Перед глазами Вилли мелькнул тот бумажный лист — вот он резвится между деревьями. «Самая прекрасная женщина...» В темноте щеки его вспыхнули, словно внезапный внутренний жар опалил их. Джим, улица Театра... обнаженные фигуры на сцене... безумные, как в китайской опере, проклятые древним проклятием... евреи... джиу-джитсу... индийские головоломки... и отцовский голос, грустный, печальный, печальнее всех... слишком печальный, чтобы можно было понять. Почему отец не сказал об афише? Почему сжег ее тайком?

Вилли выглянул в окно. Вон там! Белый лист танцевал в воздухе, словно большой клочок одуванчикового пуха.

— Ну не бывает карнавалов так поздно! — прошептал он. — Не может быть!

Через минуту, с головой накрывшись одеялом, при свете фонаря он открыл книгу. С первой же страницы на него ощерился доисторический ящер, миллион лет назад долбивший змеиной головой ночное небо.

«Дьявольщина! — подумал он. — Это я Джимову книжку прихватил, а он — мою! А что? Вроде симпатичная зверюга...»

Уже улета в сон, Вилли успел услышать, как негромко хлопнула входная дверь. Отец ушел. Ушел к своим метлам, к своим книгам, ушел в город... просто ушел прочь. А мама спала. Она ничего не слышала.

Глава 9

Во всем мире нет другого имени, чтобы так легко слетало с языка. «Джим Найтшед — это я».

Джим вытянулся в постели и стал как стебель тростника. Кости легко держат плоть... мышцам удобно на костях... Библиотечные книжки, так и не открытые, струдились возле расслабленной руки.

Он ждал. Глаза полны сумрака, а под глазами — тень. Он помнил, откуда она. Мать говорила: в три года он едва не умер, вот тогда и появилась эта тень. На подушке — волосы

цвета спелого каштана, жилки на висках и на запястьях гибких рук — темно-синие. Плоть его ваяла темнота, темнота медленно брала свое. Джим Найтшед — подросток, который все меньше говорит и все реже смеется.

Джим всегда смотрел только на мир перед собой, видел только его и не отводил глаз ни на миг. А если за всю жизнь ни разу не взглянуть в сторону, то к тринадцати годам проживешь все двадцать.

Вилли Хеллоуэй — другой. Следы детства видны пока отчетливо. Взгляд вечно скользит поверх, уходит в сторону, проникает насквозь, и в результате к своим тринадцати годам он насмотрелся едва ли на шесть.

Джим досконально изучил каждый квадратный дюйм своей тени, он запросто мог бы вырезать ее из черной бумаги и поднять на флагштоке, как свое знамя.

Вилли удивлялся, изредка замечая сколь-зящее рядом темное пятно.

— Джим, ты не спишь?

— Нет, мама.

Дверь открылась и снова закрылась бесшумно. Кровать слегка прогнулась от ее невеликого веса.

— Ох, Джим, какие у тебя руки холодные. Прямо ледяные. У тебя слишком большое окно в комнате. Это не очень хорошо для здоровья.

— Точно.

— Ты еще не понимаешь. Вот будет у тебя трое детей, а потом из них один останется...

— Да я их вообще заводить не собираюсь! — фыркнул Джим.

— Все так говорят.

— Да нет. Я точно знаю. Я все знаю.

— Что ты... знаешь? — Мамин голос слегка дрогнул.

— С какой стати новых людей плодить? Они ведь все равно умрут. — Голос его звучал тихо и ровно. — Вот и все.

— Ну, это еще не все. Ты-то есть, Джим. А не будь тебя, и меня давно бы не было.

— Мама... — И долгая пауза. — Ты помнишь папу? Я похож на него?

— Джим, в тот день, когда ты уйдешь, он уйдет навсегда.

— Кто?

— Ох, да лежи ты спокойно. Хватит уже, набегался. Просто лежи себе и спи. Только... обещай мне, Джим. Когда ты уйдешь, а потом вернешься, пусть у тебя будет куча детей. Пусть носятся вокруг. Позволь мне когда-нибудь побаловать их.

— Да не буду я заводить таких вещей, от которых потом одни неприятности.

— Каменный ты, что ли? Придет время, сам захочешь «неприятностей».

— Нет, не захочу.

Он посмотрел на мать. Да, ее ударило давным-давно. С той поры и навсегда остались синяки под глазами.

В темноте глуховато и спокойно прозвучал ее голос:

— Ты будешь жить, Джим. Жить и получать удары. Только скажи мне, когда придет срок. Чтобы мы попрощались спокойно. А то я не смогу отпустить тебя. Что хорошего — вцепиться в человека и не отпускать?

Она встала и закрыла окно.

— Почему это у мальчишек всегда окна нараспашку?

— Кровь горячая.

— Горячая... — Она стояла возле двери. — Вот откуда все наши беды. И не спрашивай почему.

Дверь закрылась.

Джим вскочил, открыл окно и выглянул. Ночь была ясная.

«Буря, — подумал он, — ты там?»

Да. Чувствуется... там, на западе, этаким «парень что надо» рвется напролом.

Тень от громоотвода замерла на дорожке под окнами.

Джим набрал полную грудь холодного воздуха и выдохнул маленькую теплую речку.

«А может быть, — подумалось ему, — залезть на крышу и отодрать этот дурацкий громоотвод? На фиг он нужен? Выкинуть его и посмотреть, что будет? Вот именно, посмотреть, что получится».

Глава 10

Сразу после полуночи.

Шаркающие шаги. Пустынная улица, и на ней давешний торговец. Большущий кожаный саквояж, почти пустой, легко болтается в крепкой руке. Лицо спокойное. Он заворачивает за угол и останавливается.

Мягкие белые мотыльки бьются о витринное стекло, заглядывают внутрь. А там, за окном, в пустоте зала стоит на козлах погребальная ладя из звездного стекла — глыба льда Аляскинской Снежной компании, бриллиант для перстня великана.

Внутри... да, там внутри — самая прекрасная женщина в мире.

Торговец больше не улыбался.

Она предстала перед ним вечно юной; она упала в сонную холодность льда и спит уже тысячи лет. Прекрасная, как нынешнее утро, свежая, как завтрашние цветы, милая, как любая девушка, чей профиль совершенной камеей врежется в память любого мужчины.

Торговец громоотводами вздохнул. Когда-то, давным-давно, он путешествовал по Италии и встречал таких женщин. Только там черты их хранил не лед, а мрамор. Однажды он стоял в Лувре перед полотном, а с картины, омытая летними красками, едва заметно улыбалась ему такая женщина. А как-то раз, пробираясь за кулисами театра, он бросил взгляд на сцену и примерз к полу. В темноте плыло лицо женщины, какой он не встречал больше никогда. Чуть шевелились губы, птичьими крыльями взмахивали ресницы, снежно-смертно-белым светом мерцали щеки.

Из прошлых лет возникали образы, накатывали, текли и обретали новое воплощение здесь, среди льда.

Какого цвета ее волосы? Они примут любой оттенок, только освободи их ото льда.

Какого она роста? Стоило двинуться перед витриной магазина — и ледяная призма станет увеличительным или уменьшительным стеклом. Впрочем, какая разница? Тор-

говец громоотводами вздрогнул. Он вдруг понял, что знает. Если она сейчас откроет глаза, он знает, какими они будут.

Если войти в этот пустынный ночной магазин... если протянуть руку... ведь рука теплая, лед растает.

Он прикрыл глаза. По губам скользнуло мимолетное летнее тепло. Он едва коснулся двери, и она открылась. Холодный северный воздух. Он шагнул внутрь.

Дверь медленно, бесшумно закрылась за ним. Белые снежинки-мотыльки колотились в окно.

Глава 11

Полночь. Потом городские часы пробьют час, два, три, и перед рассветом звон их стряхнет пыль со старых игрушек на одних чердаках, сбросит блески амальгамы со старинных зеркал на других, расшевелит сны во всех постелях, где спят дети.

Вилли услышал.

Издалека, из прерий, донесся звук: будто пыхтенье паровоза, а за ним медленный драконий лёт поезда.

Вилли сел на постели.

В доме напротив, как в зеркале, на своей постели сел Джим.

Мягко, печально где-то за миллион миль заиграла каллиопа.

Вилли рывком высунулся из окна. В соседнем окне появилась голова Джима. Из их окон, как и положено у мальчишек, можно было увидеть все: и библиотеку, и муниципалитет, и склад, и фермы, и даже саму прерию. Там, на краю мира, поблескивали, уходя за горизонт, волосинки рельс и переливалась лимонно-желтым и вишнево-красным звезда семафора. Там кончалась земля, и из-за края гонцом грядущей тучи вставало перышко дыма. Оттуда, звено за звеном, вытягивался кольчатый поезд. Все как надо: сначала паровоз, потом угольный тендер, а за ним — вагоны, вагоны... сонные, видящие сны вагоны, но впереди — сыплю-

щий искрами, перемешивающий ночь паровоз. Адские сполохи заметались по ошеломленным холмам. Он был очень далеко, и все же ребятам виделся черный человек с огромными руками, ввергающий в открытые топки метеорный поток черного угля.

Головы в окнах мгновенно сгнули и появились опять с биноклями у глаз.

— Паровоз!

— Гражданская война! Да таких труб уже сто лет нету!

— И остальной поезд... он весь такой старый!

— Флаги, клетки! Это карнавал!

Они прислушались. Сначала Вилли показалось, что это посвистывает воздух в горле, но нет, это был поезд, это там плакала и вздыхала каллиопа.

— Похоже на церковную музыку...

— Черт! С чего бы на карнавале играть, как в церкви?

— Не ругайся! — прошептал Вилли.

— Черт! Во мне весь день копилось! — не унимался Джим. — А все так спят, черт бы их побрал!

Волна дальней музыки подкатывала к окнам. У Вилли мурашки пошли по коже.

— Нет, послушай: точно церковная музыка. Только немножко не такая. Бр-р! Замерз я. Пойдем глянем, как они приедут.

— Это в четвертом-то часу?

— А чего? В четвертом часу!

Голова Джима исчезла. Вилли видел, как он скачет в глубине комнаты — рубашка задирается, штаны запутываются, — а далеко в ночи задышался и шептал шальной похоронный поезд с черным плюмажем на каждом вагоне, с лакричного цвета клетками, и угольно-черная каллиопа все вскрикивала, все вызванивала мелодии трех гимнов, каких-то спутанных, полузабытых, а может, и вообще не их.

Джим соскользнул по водосточной трубе.

— Джим! Подожди! — Вилли лихорадочно сражался с одеждой. — Джим! Да подожди же. Не ходи один!

Вилли кинулся следом за другом.

Глава 12

Иногда воздушного змея заносит высоко-высоко. Ты смотришь на него снизу и думаешь: «Он высоко. Он мудрый. Он сам чует ветер». Змей свободно гуляет по небу сам по себе, сам высматривает местечко, куда приземлиться, и уж если высмотрел — кричи не кричи, бегай не бегай, он просто рвет бечевку и идет на посадку, а тебе остается мчаться к нему со всех ног, мчаться так, что во рту появляется привкус крови.

— Джим! Да подожди же!

Сейчас Джим стал змеем. Бечевка порвалась, и уж какая там мудрость — неизвестно, но она уносит его от Вилли, а Вилли только и остается бежать изо всех сил, бежать за темным и молчаливым силуэтом, парящим высоко, вдруг ставшим чужим и дальним.

— Джим! Я тоже иду!

Вилли бежал и думал: «Ба! Да ведь это все то же, что и всегда. Я говорю, Джим бежит. Я ворочаю камни, Джим мигом выгребает из-под них всякий хлам. Я взбираюсь на холм, Джим кричит с колокольни. У меня счет в банке, у Джима — буйная шевелюра, рубашка да теннисные туфли, и все же почему-то он — богач, а я — бедняк. Не потому ли, — думал Вилли, — что вот я сижу на камне и греюсь на солнышке, а старик Джим танцует с жабами в лунном луче. Я пасу коров, а Джим дрессирует жутких чудищ. «Ну и дурак!» — кричу я ему. «Трус!» — кричит он в ответ. Но вот сейчас мы бежим туда, бежим оба».

Город остался позади, по сторонам мелькали поля. Под железнодорожным мостом мальчишек окатила волна холода. Луна вот-вот должна была показаться из-за холмов, и луга зябко вздрагивали под тонким росным одеялом.

Бам-м!

Карнавальный поезд загрохотал под мостом. Взвыла каллиопа.

— На ней не играет никто! — вздрогнув, прошептал Джим.

— Шутишь!

— Матерью клянусь! Сам погляди.

Платформа с каллиопой удалялась. Свинцовые трубы мерцали под звездами, но за пультом никого не было. Только ветер гнал ледяной воздух в узкие щели, это ветер творил музыку.

Мальчишки мчались следом. Поезд изгибался, корчился под этот странный подводный похоронный звон, звук падал, падал, глох и все-таки звенел и звенел. Вдруг свисток паровоза взметнул огромный султан пара, и вокруг Вилли заплясали ледяные жемчужинки.

Ночами — часто? изредка? — Вилли слышал свист пара на краю сна, одинокий, далекий голос поезда. Он всегда оставался далеко, как бы близко ни подходить к вагонам. Иногда Вилли просыпался и с удивлением трогал мокрые щеки — откуда это? Он снова откидывался на подушку, прислушивался и думал: «Да, это они заставляют меня плакать, те поезда, что идут на восток и на запад, они уходят, уходят вдаль, ночной прилив затопливает их, волна сна накрывает поезда, города...» Ночной плач поездов, заблудившихся между станциями, потерявших память о пункте отправления, забывших, куда ехать; они вздыхают печально, и пар из их труб тает над горизонтом.

Они уходят. Все поезда, всегда.

Но *этот* паровозный крик!

В нем одном были собраны все стенания жизни из всех ночей, из всех сонных лет, там слышался и заунывный вой псов, грезящих о луне, в нем был посвист зимнего ветра с речной долины, когда он просачивается в щели веранды, и скорбные голоса тысяч огненных сирен, а то и хуже! — миллионы клубочков вздохов ушедших людей, уже мертвых, умирающих, не желающих умирать, все их стоны, вздохи и жалобы, разом рванувшиеся над землей.

Слезы брызнули у Вилли из глаз. Ему пришлось нагнуть-ся, встать на колени, сделать вид, будто шнурок развязался. А потом он увидел, как Джим тоже трет глаза. Паровоз вскрикнул, и Джим вскрикнул в ответ. Паровоз взвизгнул

и заставил Вилли взвизгнуть тоже. А потом весь этот сонм голосов разом смолк, словно поезд подхватил и умчал огненный нездешний вихрь.

Нет. Вот он скользит мягко, легко, черная бахрома трепещет, черные конфетти завиваются в сладком, приторном ветре, сопровождающем поезд, опускаются на окрестные холмы, а ребята бегут следом, и воздух вокруг такой холодный, словно ешь уже третью порцию мороженого подряд.

Джим и Вилли взлетели на пригорок.

— Старик! — прошептал Джим. — Он здесь.

Поезд забрался в лунную долину — излюбленное место прогулок всяких парочек. Обычно их так и тянуло за край холмов; там, словно внутреннее море, лежала падь, до краев полная лунным светом, зараставшая буйными травами по весне, заставленная стогами летом, заваленная снегом зимой. Да, это было дивное место для прогулок, когда над холмами вставала луна и призрачный свет трепетал и разливался на просторе.

И вот теперь, по старой железнодорожной ветке, исчезающей в лесу, сюда добрался, изогнулся и замер в осенней траве чудной поезд. Ребята поползли — иначе нельзя было — и притаились под кустом.

— Тихо как! — прошептал Вилли.

Поезд был недвижим. Никого не видать на локомотиве, никого в тендере, никого в вагонах. Черный безжизненный дракон под луной, и только остывающий металл позвякивает едва слышно.

— Тихо! — прошипел Джим. — Я чувствую, они там, внутри, шевелятся...

У Вилли волосы встали дыбом по всему телу.

— Может, они догадываются, что мы — тут?

— Запросто! — замирая от сладкой жути, подтвердил Джим.

— А почему каллиопу опять слышно?

— Как узнаю, сразу тебе скажу! — огрызнулся Джим. — Смотри!

И откуда он только взялся, этот болотного цвета огромный воздушный шар? А вот уже летит, прямо к луне, поднявшись футов на двести.

— Смотри, там, в корзине под шаром, есть кто-то!

Но тут им стало не до шара. С высокой платформы, как с капитанского мостика, спускался высокий человек. Он и вправду был похож на капитана, наблюдающего за приливом в этом внутреннем море. Темный костюм, черная рубашка, лицо сумрачное, а на руках — черные перчатки. Вот он вошел в лунный столб и махнул рукой. Только один раз махнул.

Поезд ожил. В окне вагона показалась голова. Еще одна. Они возникали, как куклы в театре марионеток. И вот уже двое в черном волокут по шуршащей траве шест для шатра. Молча.

Безмолвие заставило Вилли отпрянуть, а Джим, наоборот, подался вперед. По всем правилам карнавал должен был гроыхать, греметь, как лесопилка, ему положено грохотиться штабелями, путаться в канатах, сталкиваться под львиный рык, возбужденные люди должны звенеть бутылками с шипучкой, а кони — бляхами на сбруе, слоны — в панике, зебры ржут и дрожат, вдвойне полосатые от прутьев клеток.

А здесь было как в старом немом кино с черно-белыми актерами. Рты открываются, но испускают один лунный свет. Жесты беззвучны, и слышишь, как ветер шевелит пушок у тебя на щеках.

Новые тени выходили из поезда, шли мимо звериных клеток, а там даже глаза не горели, только темнота металась из угла в угол. Каллиопа почти смокла, лишь ветер, бродя по трубам, пытался наиграть дурацкий мотивчик.

Посреди поля встал шпрыхшталмейстер. Шар, точно здоровенный заплесневевший зеленый сыр, повис прямехонько над ним.

И вдруг пришел мрак. В последний миг Вилли успел заметить, как шар ринулся вниз — и луна исчезла. Теперь он

мог только чувствовать суету на поле. Ему казалось, что шар подхватили и растягивают на шестах, как огромного жирного паука.

Луна появилась. Облако слезло с нее, и выяснилось, что от шара остался один намек, а на лугу уже стоит готовый каркас.

Опять облака! Вилли окатила тень, и он вздрогнул. Ухо уловило шорох, это Джим пополз вперед. Вилли схватил его за ногу.

— Подожди! Сейчас парусину принесут.

— Нет, ой нет... — проговорил Джим.

Оба как-то сразу поняли: парусины не будет. В ней не было нужды. Канаты на верхушках шестов болтались из стороны в сторону, взмывали вверх, выхватывали из пролетающих облаков длинные ленты, и какая-то огромная тень заставляла облачные пряди сплетаться в покрывало. Шатер возникал прямо на глазах, и скоро остался только чистый плеск флагов на шестах.

Все замерло.

Вилли лежал с закрытыми глазами и слышал над головой хлопанье огромных маслянисто-черных крыльев — словно громадная древняя птица билась над полем. Она хотела жить.

Облака сдуло. Шар исчез. Люди сгнули. Палатки, растянутые на каркасах, струились и трепетали, как под черным дождем. Вилли показалось вдруг, что до города тысяча миль. Он быстро оглянулся. Ничего. Только травы и ночные шорохи. Он снова повернулся, теперь уже медленно, и оглядел безмолвные, темные, кажущиеся пустыми шатры.

— Не нравятся они мне, — в голос сказал он.

Джим не мог отвести глаз.

— Ага, — замороженно прошептал он, — ага...

Вилли встал. Джим остался лежать на траве.

— Джим! — позвал Вилли.

Джим вздрогнул, как будто его шлепнули по спине, Джим привстал на колени, Джим уже поднимался, уже тело его отвернулось, а глаза неотрывно прикованы к черным полотнищам, к огромным зазывающим транспарантам, к не-

понятным трубам, к дьявольским усмешкам темных, змеящихся складок.

Вскрикнула птица. Джим вскочил. Джим перевел дух. Облачные тени гнали их через холмы и оставили только на окраине города.

Глава 13

Вместе с ветром в распахнутое окно библиотеки вливался холод. Чарльз Хеллоуэй долго стоял возле окна, но теперь вдруг заторопился. По улице мчались две тени, обладатели теней неслись на шаг впереди.

— Джим! — окликнул старик негромко. — Вилли!

Нет. Они не услышали и продолжали бежать. К дому. Чарльз Хеллоуэй огляделся. Бродя в одиночестве по библиотечным коридорам, слабо улыбаясь внятными лишь ему речам веника в руках, он, конечно же, слышал и вскрик поезда, и бессвязные гимны калиопы.

— Три, — прошептал он едва слышно, — три утра...

На лугу уже поднялись шатры, карнавал ждал кого угодно, кого-нибудь, способного преодолеть неширокое озерцо травы. Вздутые шатры тихонько выпускали воздух, он покидал их чрево, пропитавшись древними запахами больших желтых зверей.

Никого. Только луна старается заглянуть в угольную тень между балаганами. Неподвижно мчатся карусельные лошади. За каруселью раскинулись топи Зеркального лабиринта. Там, вал за валом, поднимаются из глубин волны пустых тщеславий, отстоявшиеся за много лет, посебренные возрастом, белые от времени. Появись у входа любая тень — отражения шевельнутся испуганно, в зеркалах начнут восходить глубоко похороненные луны. Доведись появиться на пороге человеку — не предстанет ли он сам перед собой миллионоликим? Вот он смотрит на них, а они — на него; а ну как каждое из отражений вдруг обернется и взглянет на своего соседа, и лица начнут обо-

рачиваться одно к другому, одно к другому, еще не старое — к тому, что постарше, это — к еще более почтенному, а оно — к совсем уже старому, потом к тому, что старше всех... Не разыщет ли стоящий у входа человек в пыльных глубинах лабиринта себя самого, но только уже не пятидесяти-, а шестидесятилетнего, семидесяти, восьмидесяти, девяноста девяти лет?

У лабиринта не спросишь, не ответит лабиринт. Он просто ждет, похожий на огромную арктическую снежинку.

Три часа... Чарльз Хеллоуэй замерз. Кожа вдруг стала как у ящерицы, кровь словно подернулась ржавчиной, во рту — привкус ночной сырости. И почему-то никак не отойти от окна. Далеко-далеко на лугу что-то поблескивает, как будто лунный свет отражается в стекле. Может, эти вспышки — какой-то код, может, они говорят о чем-то?

Я пойду туда, подумал Чарльз Хеллоуэй. Нет, я не пойду туда. Там хорошо, подумал он. Нет, там плохо, тут же догнала следующая мысль.

Несколько минут спустя хлопнула, закрываясь, входная дверь. По пути домой он миновал окна пустого магазина. Внутри стояли козлы, а под ними — лужа грязноватой воды. Кое-где виднелись кусочки льда, а между ними — длинная прядь волос.

Чарльз Хеллоуэй заметил ее, но почел за благо не увидеть. Он отвернулся и прошел мимо, и вскоре улица опустела так же, как и пространство магазина за витринным стеклом.

А вдали, на лугу, все поблескивал свет, отражаясь в Зеркальном лабиринте. Там мелькали тени, словно осколки чьей-то жизни, еще не начавшейся, но уже пойманной и ожидающей воплощения.

Лабиринт ждал; его настороженный холодный взгляд скользил сквозь ночь, отыскивая хоть что-нибудь живое, хоть ночную птицу, пролетающую над лугом. Она заглянула бы внутрь... и пусть бы себе уносилась потом с заполошным криком дальше. Но не было ни одной птицы.

Глава 14

— Три, — произнес голос.

Вилли прислушался. Озноб еще прохватывал тело, но он уже согревался под одеялом и радовался, что вокруг — стены, над головой — крыша и пол под ногами, что дверь наконец укрыла его от огромности ночи, от обширности ночных пространств и ночной свободы, слишком большой, слишком пустынной и одинокой...

— Три...

Это — голос отца... уже внутри, здесь, в доме. Он там, в гостиной, осторожно ходит и разговаривает сам с собой.

— Три...

Почему поезд пришел именно в это время? Значит, отец тоже видел его? Следил за ним? Нет! Он не должен. Вилли свернулся под одеялом в тугий клубок, стараясь унять дрожь. Что за ерунда? Чего он боится? Этого ворвавшегося, словно черный штормовой прилив, карнавала? Или того, что знают о нем только он с Джимом, да вот еще отец, наверное, а весь город спит и не подозревает ни о чем?

Да. Вилли зарылся в одеяло с головой. Да.

— Три...

Три — это три утра, думал Чарльз Хеллоуэй, сидя на краю постели. Почему поезд пришел именно в этот час?

Да потому, текли дальше мысли, что этот час — особый. Женщины ведь никогда не просыпаются в этот час. Они спят сном младенцев. А мужчины средних лет? О, они хорошо знают этот час. О господи, полночь — это совсем неплохо: проснулся — и уснул, и час, и два — не страшно, ну поворочаешься и уснешь опять. А в шестом часу уже появилась надежда, рассвет недалеко. Но — три! Господи Иисусе, три пополуночи! Врачи говорят, тело в эту пору затихает. Душа выходит. Кровь течет еле-еле, а смерть подбирается так близко, как бывает только в последний час. Сон — это клочок смерти, но три часа утра, на которые взглянул в упор, — это смерть заживо! Тогда начинаешь грезить с открытыми глазами. Боже, если бы найти силы встать и перестрелять эти

полусны! Но нет сил. Лежишь приколоченный к самому дну, выжженному дотла. И эта дурацкая лунная рожа пялится на тебя сверху! Вечерней зари не осталось и в помине, а до рассвета еще сто лет. Лежишь и собираешь всю дурь своей жизни, какие-то милые глупости близких людей — а их давно уже нет... Где-то было написано, что в больницах люди умирают чаще всего в три пополуночи...

«Хватит!» — молча крикнул он.

— Чарли? — сонно-вопросительно пробормотала жена.

Он медленно снял второй ботинок. Жена слабо улыбнулась во сне... чему? Она бессмертна. У нее есть сын. Но ведь и у тебя тоже. Э-э, когда и какой отец на самом деле верил в это? Не выносив ребенка, не пережив боли? Кто из мужчин опускался во мрак и возвращался с сыном или дочерью так, как это делают женщины? Эти милые, улыбающиеся создания владеют доброй тайной. Эти чудесные часы, приютившие Время, — они творят плоть, которой суждено связать бесконечности. Дар внутри них, они признали силу чуда и больше не задумываются о ней. К чему размышлять о Времени, если ты — само время, если претворяешь мимолетный миг вечности в тепло и жизнь? Как должны завидовать мужчины своим женам, как часто такая зависть оборачивается ненавистью к этим мягким существам, уже обретшим жизнь вечную! А мы? Мы становимся ужасно важными, хотя неспособны удержать не только мир вокруг себя, но даже себя в мире. Слепые, не ведающие целого, мы падаем, разбиваемся, таем, останавливаемся и поворачиваем вспять. Мы не можем придать форму Времени. И что же остается? Страдать от бессонницы и пялить глаза в ночную темень.

Три после полуночи. Вот и вся нам награда. Три утра. Полночь души. Отлив. Душа остается на песке. И в этот час отчаяния приходит поезд. Почему?

— Чарли? — Рука жены нашла его руку. — С тобой... все в порядке? Чарли?

Она спала.

Глава 15

Лимонно-желтое солнце появилось на круглом синем небе. Птицы рассыпали в воздухе прозрачные журчащие трели. Вилли и Джим выглянули из окон.

Вроде бы ничего не изменилось. Вот только взгляд у Джима...

— Этой ночью, — проговорил Вилли, — что это было? Или — не было?

Они вгляделись в луговые дали. Воздух там сгушался, как сироп. Даже под деревьями не видно ни единой тени.

— Шесть минут! — крикнул Джим.

— Пять!

Через четыре минуты с шуршащими в животах кукурузными хлопьями ребята уже выколачивали из палой листвы красноватую пыль на окраине. Вот последний холм. Глаза наконец оторвались от земли под ногами.

Карнавал был тут. Шатры, лимонно-желтые, как солнце, медно-желтые, как пшеничные поля еще две недели назад. Вымпелы, флаги, яркие, как синие птицы, хлопают над холщовыми балаганами львиного цвета. Из палаток, похожих на леденцы, плывут субботние запахи яичницы с ветчиной, жареных сосисок и оладий с кленовым сиропом. Повсюду носятся мальчишки, таща на буксире еще не проснувшихся до конца отцов.

— Ну прямо самый обычный карнавал, — растерянно проговорил Вилли.

— Самая обычная дьявольщина, — энергично произнес Джим. — Не ослепли же мы прошлой ночью в самом деле! Пошли!

Они прошли сотню ярдов, и вот уже карнавал вокруг. Чем дальше они продвигались, тем яснее становилось: им не найти здесь тех ночных людей, что по-кошачьи двигались в тени болотного шара, под шатрами, клубящимися, как грозовые тучи. Вблизи карнавал оборачивался полусгнившими веревками, изъеденной молью парусиной, давно полинявшей, выгоревшей на солнце мишурой. Вывески балаганов

обвисли на шестах печальными птицами, с них осыпались чешуйки древней краски; пологи трепыхались, приоткрывая на миг скучные чудеса: тощий человек, толстый человек, человек в картинках, человек, танцующий хула...

Сколько они ни рыскали, им так и не попалась таинственная сфера, надутая вредоносным газом, привязанная диковинными восточными узлами к рукоятям кинжалов, вонзенных в землю; не было ни помешанного билетера, ни жуткой мести. Каллиопа возле билетной кассы была нема как рыба. Ну а поезд? А что — поезд? Вон он стоит в густой теплой траве, сильно старый, в меру ржавый, с торчащими рычагами, шатунами и тендером, где даже второсортного кошмара не отыскать. Не было и в помине у этой развалины мрачного похоронного силуэта. Из него так много гари вылетело с паром и черными пороховыми хлопьями, что сил осталось разве на безмолвную просьбу полежать вот тут, на травке, среди осеннего листопада.

— Джим! Вилли!

Перед ребятами стояла мисс Фолей, учительница из седьмого класса, — одна сплошная улыбка.

— Мальчики, что стряслось? У вас такой вид, словно вы что-то потеряли.

— Да вот... — замялся Вилли, — каллиопа... Вы не слышали прошлой ночью?

— Каллиопу? Нет, не слыхала.

— А тогда как же вы оказались тут в такую рань, мисс Фолей? — спросил Джим.

— Я люблю карнавалы, — беспечно сияя, ответила мисс Фолей, маленькая улыбчивая женщина, заплутавшая между своим пятым и шестым десятком. — Давайте я куплю вам горячих сосисок, а пока вы будете есть, разыщу своего несносного племянника. Вы его не видели?

— Племянника?

— Да, Роберта. Он должен погостить у меня пару недель. У него умер отец, а мать после этого расхворалась. Вот я его и взяла к себе. Он еще спозаранок удрал сюда. Там, говорит, встретимся. Вот и ищи его теперь. Э-э, что-то вы сегодня не

в духе. Ну, пожуйте пока, и нечего хмуриться! — Она протянула мальчишкам угощение. — Через десять минут откроются аттракционы. Пойду-ка посмотрю его в Зеркальном лабиринте...

— Нет! — неожиданно выпалил Вилли.

— Что «нет»? — не поняла мисс Фолей.

— Не надо в Зеркальном лабиринте, — судорожно глотнув, промолвил Вилли.

Перед его глазами в глубине лабиринта проплыли мили отражений, а дна не было видно. Мальчику показалось, что там затаилась Зима и ждет, чтобы превратить в лед одним убийственным взглядом.

— Мисс Фолей, — с трудом выговорил он, с удивлением вслушиваясь в звуки собственного голоса, — мисс Фолей, не ходите туда.

— Но почему?

Джим удивленно воззрился на друга.

— Да, Вилли, почему бы и не сходить туда?

— Там люди пропадают, — смущенно вымолвил Вилли.

— Ха! Тем более. А вдруг Роберт там заблудился? Этак он не выберется, пока я его за ухо не вытащу!

Мисс Фолей была настроена по-боевому.

— Никто не знает, что там внутри плавает, — с трудом выговорил Вилли, не в силах отвести глаз от тысяч миль сверкающего стекла.

— Плавает! — рассмеялась мисс Фолей. — А ты фантазер, Вилли! Ну да я-то старая рыбка, так что...

— Мисс Фолей!

Но она уже отошла от них, помахав на прощание, на секунду помедлила перед входом, шагнула и исчезла в зеркальном океане. Некоторое время ребята еще видели, как ее отражение погружается все глубже и наконец окончательно растворяется среди мерцающего серебра.

Джим вцепился в плечо Вилли.

— Что это значит, Вилли?

— Черт побери, Джим! Да зеркала эти! Не нравятся они мне. Посмотри, они здесь единственные такие же, как ночью.

— Ну, приятель, ты просто перегрелся на солнце! — фыркнул Джим. — Это же лабиринт...

Он вдруг умолк. От зеркальных стен потянуло ледяным сквозняком.

— Джим, ты что-то начал говорить про лабиринт...

Но Джим молчал. Только спустя минуту он хлопнул себя ладонью по шее.

— Точно!

— Да что с тобой, Джим? О чем ты?

— Волосы! — выкрикнул Джим. — Я же везде про это читал. Во всех страшных историях они всегда дыбом встают. Вот как сейчас у меня.

— Черт возьми, Джим! И у меня тоже.

Так они и стояли, переглядываясь, чувствуя восхитительные мурашки, а волосы у каждого и правда стояли дыбом.

В Зеркальном лабиринте беспомощно тыкался силуэт мисс Фолей — два силуэта, четыре, нет, целая дюжина. Они не знали, которая из них настоящая, и помахали всем сразу. Но вот странность: ни одна мисс Фолей не заметила их и не помахала в ответ. Она брела там, в лабиринте, словно слепая, скользя ногтями по холодному стеклу.

— Мисс Фолей!

Нет, она не слышит. Глаза побелели, как у статуи. Она что-то говорила, там, в зеркалах, во всяком случае, губы ее шевелились. Она бормотала, причитала, вскрикивала, нет, кричала. Она билась головой о стекло, колотилась в него локтями, словно ошалевший мотылек о лампу, она воздевала руки. «О Господи! Помоги! — плакала она. — Помоги, о Господи!»

Джим и Вилли бросились вперед и замерли — из глубины зеркал выплыли их бледные лица с широко раскрытыми глазами.

— Мисс Фолей, вот сюда!

Джим протянул руку ко входу и наткнулся на холодное стекло.

— Сюда! — крикнул Вилли и ткнулся лбом в зеркало. Из пустоты вынырнула рука, рука пожилой женщины, уж обесиленная, она в последний раз искала спасительную опору, и этой опорой оказался Вилли. Рука вцепилась в него и потащила в глубину, едва не сбив с ног.

— Вилли!

— Ай, Джим!

Джим ухватил друга за штаны, Вилли вцепился в руку, и так они вместе вытащили ее из безмолвных, обступающих со всех сторон, накатывающихся волной холодных зеркал.

Они выбрались на солнце.

Мисс Фолей, ошупывая синяк на щеке, то постанывала, то вздыхала, то принималась смеяться и вытирать глаза.

— Спасибо вам, спасибо, Вилли, спасибо, Джим! Я чуть не утонула там. Нет, я хотела сказать... О боже, Вилли, ты был прав. Господи, Вилли, ты видел, как она заблудилась, как тонула... Бедняжка, она там совсем одна, она заблудилась! Мы должны спасти ее!

— Мисс Фолей! — Вилли с трудом удерживал руки, норовившие вцепиться в него. — Там же нет никого! Мисс Фолей!

— Я видела! Прошу вас, посмотрите! Спасите ее!

Вилли подскокочил ко входу в лабиринт и остановился, наткнувшись на ленивый, презрительный взгляд билетера. Он повернулся и подошел к учительнице.

— Мисс Фолей! Клянусь вам, там нет никого. После вас никто туда не входил. Это я неудачно пошутил насчет воды, вот вам, наверное, и запало...

Может быть, она и слышала, но никак не могла остановиться и все бормотала, растирая тыльные стороны ладоней. Голос учительницы изменился, словно она и правда каким-то чудом вернулась из невообразимых глубин, где нет уже никакой надежды.

— Никто не входил? Да она там, на дне! Бедная девочка! Я узнала ее... и сказала ей: «Я знаю тебя». Я даже пома-

хала ей, и она крикнула мне: «Привет!» Я побежала к ней, и вдруг — бац! — упала. И она упала. И десятки, тысячи нас упали. «Погоди, — сказала я, — что ты тут делаешь?» Она была такой прелестной, такой юной... Но я почему-то испугалась. И тут мне послышалось, что она ответила. «Я настоящая, — говорит, — а ты — нет!» И засмеялась как из-под воды, а потом убежала туда, в лабиринт. Надо найти ее!

— Мисс Фолей!

Вилли крепко обхватил ее и встряхнул. Она в последний раз всхлинула и затихла.

Джим все вглядывался в холодные глубины, словно высматривая акул, но если они и были там, то предпочитали не показываться.

— Мисс Фолей, а как она выглядела? — спросил он. Учительница заговорила снова слабым, но спокойным голосом:

— Она... она очень похожа на меня... только много-много лет назад. Ох, пойду-ка я домой...

— Мисс Фолей, мы проводим вас.

— Нет, нет, оставайтесь. Мне уже лучше. Оставайтесь, не стану портить вам веселье.

И она медленно пошла прочь. Одна.

Где-то неподалеку немаленький зверь напустил лужу. Ветер принес резкий запах аммиака, почему-то напомнивший о древности.

— Я ухожу, — сказал Вилли.

— Мы остаемся до заката, — быстро возразил Джим, — до самого темна, и все углядим, все как есть. Ты что, срейфил?

— Нет, — автоматически ответил Вилли. — А ты уверен, что никто не захочет больше нырнуть в этот чертов лабиринт?

Джим быстро взглянул в бездонное зеркальное море; но там был теперь только чистый холодный свет, он открывал пустоту за пустотой позади пустоты.

— Никто! — твердо вымолвил Джим. Подождал, пока сердце стукнет дважды, и пробормотал: — Наверное...

Глава 16

Плохое случилось уже на закате. Исчез Джим.

За целый день они с Вилли перепробовали половину аттракционов, разбили кучу бутылок в тире, выиграли кучу жетонов, принюхивались, прислушивались, прокладывали себе путь в толпе, топчущейся на опавших листьях и опилках. А потом, совершенно неожиданно, Джим пропал.

Тогда Вилли, никого не спрашивая, молча и уверенно протиснулся через толпу и под небом цвета спелой сливы вышел к лабиринту, заплатил за вход и шагнул внутрь. Потом он тихо позвал только один раз: «Джим!»

Да, Джим был там, наполовину внутри, наполовину снаружи холодных стеклянных волн. Словно его выбросило на песок, а друг его ушел далеко, и неизвестно — вернется ли когда-нибудь. Казалось, Джим стоит здесь уже часы, неподвижный, моргая едва ли раз в пять минут, губы чуть приоткрыты, стоит и ждет следующей волны, чтобы она открыла ему еще больше.

— Джим! Пошли отсюда!

— Вилли... — Джим едва заметно вздрогнул, — оставь меня.

— Жди-ка!

Одним прыжком Вилли добрался до Джима, схватил за пояс и потащил за собой. Кажется, Джим даже не понимал, что его волокут вон из лабиринта. Он слабо упирался и, похоже, протестовал, повторяя заворуженно:

— Вилли, о Вилли, Вилли!..

— Джим! Сдурел ты, что ли? Я тебя домой веду!

— Что? Куда? Что?

Вот они уже снаружи, на ветерке. Небо налилось темнее сливы, только высокие редкие облачка еще ловили закатный свет. Отсвет пробежал по лицу Джима, по приоткрытым губам, мелькнул в невероятно позеленевших глазах.

— Джим! — тряс друга Вилли. — Что ты там видел? То же, что и мисс Фолей?

— Что? — слабо переспросил Джим.

— Счас как дам по носу! А ну, иди давай!

Вилли пихал, подталкивал, подгонял, почти силком тащил ошалевшего от загадочного восторга, слабо упиравшегося друга.

— Я не могу тебе сказать, Вилли, — бормотал Джим, — ты не поверишь... не знаю, как сказать. Там, внутри, о, там в глубине...

— Заткнись! — Вилли стукнул его по плечу. — Перепугал меня черт-те как! Давеча мисс Фолей, теперь ты. С ума сойти. Гляди, время-то к ужину! Дома нас уж похоронили небось.

Шатры остались позади, под ногами шуршала стерня, и Вилли все поглядывал вперед, на город, а Джим все озибался назад, на хлопающие, быстро теряющие краски флаги на шестах.

— Вилли! Нам обязательно нужно вернуться попозже...

— Надо тебе, вот и возвращайся!

Джим остановился.

— Но ты же не отправишь меня одного, а? Вилли, ты же обещал, что всегда будешь рядом! Чтобы защищать меня, а, Вилли?

— Это еще неизвестно, кто кого защищать будет, — расхохотался было Вилли, но тут же замолчал.

Джим странно, без улыбки, смотрел на него, а темнота словно заливала это знакомое лицо, скапливаясь во впадинах ноздрей, в ямах вдруг глубоко запавших глаз.

— Вилли, ты ведь будешь со мной? Всегда?

Теплая волна обдала Вилли. В груди, возле сердца, шевельнулся ответ: «Да. Ты ведь и так знаешь, что да».

Они оба повернулись разом, шагнули и... споткнулись о тяжело лязгнувшую кожаную сумку.

Глава 17

Они долго стояли над ней. Вилли пошевелил сумку ногой. Внутри снова тяжело звякнуло.

— Это же сумка торговца громоотводами, — неуверенно произнес Вилли.

Джим наклонился, запустил руку в сумку и вытащил металлический стержень, сплошь покрытый химерами, клыкастыми китайскими драконами с огромными выпученными глазами, рыцарями в доспехах, крестами, полумесяцами, всеми символами мира. Все упования, все надежды человеческие тяжким грузом легли в руки ребят.

— Гроза так и не пришла. Зато он ушел.

— Куда? А как же сумка? Почему он ее бросил?

Оба одновременно оглянулись на карнавал позади. От парусиновых крыш волна за волной накатывал холод. От луга к городу шли машины. Мальчишки на велосипедах свистом звали собак. Скоро дорогу накроет ночь, скоро тени на «чертовом колесе» поднимутся до самых звезд.

— Люди не станут бросать посреди дороги всю свою жизнь, — заметил Джим. — У него больше ничего не было, и если что-то заставило его просто забыть сумку на дороге, значит, это был не пустяк.

Глаза у Джима загорелись, как у гончей, взявшей след.

— Пустяк не пустяк, но чтобы вот так про все забыть?.. — недоумевал Вилли.

— Вот видишь! — Джим с любопытством наблюдал за другом. — Загадка на загадке. Грозовой торговец, сумка торговца... Если мы сейчас не вернемся, то никогда ничего не узнаем.

— Джим... — Вилли уже колебался. — Ладно. Только на десять минут.

— Точно! А то темнеет уже. Все дома, ужинают. Одни мы здесь и остались. Ты подумай, как здорово! Мы. Одни. Да еще и возвращаемся.

Они прошли мимо Зеркального лабиринта. Из серебристых глубин навстречу им выступили две армии — миллион Джимов наступал на миллион Вилли. Армии столкнулись, смешались и исчезли. Вокруг не было ни души.

Ребята стояли посреди темного карнавала и невольно думали о десятках своих знакомых, улетающих ужин в теплых, светлых кухнях.

Глава 18

Крупные красные буквы кричали: «Неисправность! Не подходить!»

— А! Это с самого утра здесь висит, — махнул рукой Джим. — Вранье, по-моему.

Ребята стояли перед каруселью, а от вершин старых дубов накатывались на них волны жестяного шелеста. Кони, козы, антилопы и зебры замерли на кругу, пронзенные медными копьями. Словно рука могучего небесного охотника разом метнула смертоносные жала, пригвоздила несчастных животных к деревянному кругу, и они застыли, мучительно выгнувшись, умоляя раскрашенными испуганными глазами о милосердии и страдальчески оскалив зубы.

— Вовсе она не сломана.

С этими словами Джим перемахнул звякнувшую цепочку и ступил на вращающийся круг. Его сразу обступили зачарованные звери.

— Джим!

— Да ладно, Вилли. Мы же только карусель и не видели. Значит...

Джим качнулся. Лунатический карусельный мир дрогнул и слегка накренился. Звери шевельнулись. Джим хлопнул по шее темно-сливового жеребца.

— Эй, парень!

Из темноты за машинной будкой выступил человек, шагнул и подхватил Джима.

— Ай! — завопил Джим. — Вилли!

Вилли как стоял, так и прыгнул через цепочку ограждения и первый ряд зверей. Человек улыбнулся, ловко подхватил и его тоже, а потом поставил рядом с Джимом. Теперь они стояли бок о бок и глазели на буйную рыжую шевелюру над ярко-синими глазами незнакомца. Под тонкой рубашкой буграми перекатывались могучие мышцы.

— Неисправна, — мягко сказал человек. — Вы что, читать не умеете?

— Отпусти-ка их! — произнес новый, властный голос. Ни Джим, ни Вилли не заметили, откуда взялся еще один мужчина. Он стоял возле самой цепочки.

— Доставь-ка их сюда, — повелел он.

Рыжий атлет плавно перенес ребят над спинами безропотных зверей и поставил в пыль у входа.

— Мы... — начал было Вилли.

— Любопытствуете, — не дал ему договорить вновь прибывший.

Был он высок, как фонарный столб, и бледен так, что вокруг лица расплывались лунные блики. Брови, волосы, костюм — антрацитового цвета, а жилет — кроваво-красный, и янтарная булавка в галстук в тон медово-желтым глазам. Впрочем, глаз Вилли поначалу не разглядел. Его поразил костюм долговязого, сделанный из удивительной материи. Таковую ткань можно было бы получить, ссучив нить из зарослей «кабаньей ежевики»¹, пружинной твердости конского волоса, щетины и такой, знаете, блестячей конопли. Ткань все время шевелилась, отливала и вспыхивала, а на ощупь она была, кажется, как самый колючий твид. В таком костюме человек должен был бы мучиться несказанно, страшный зуд любого заставил бы рвать на себе одежду, а этот стоял себе как ни в чем не бывало, невозмутимый, как луна, ныряющая меж облаков, и внимательными рысьими глазами наблюдал за Джимом. На Вилли он и не посмотрел ни разу.

— Я — Дарк, — представился человек-жердь и взмахнул белой визитной карточкой. Она тут же стала синей.

Шелест. Карточка покраснела. Взмах. На ней проступил зеленый человек, свисающий с дерева. Карточка мелькала, приковывая взгляд.

— Дарк — это я. А вот этот рыжий мистер — мой друг Кугер. Кугер и Дарк.

Опять шелест. На карточке пронеслись и исчезли какие-то имена. Выступили слова: «СОВМЕСТНОЕ ШОУ ТЕНЕЙ», мигнули и растаяли. На их месте крошечная, но про-

¹ Колючие черные кусты.

тивная ведьма мешала в заплесневевшем горшке какое-то гнусное варево. Но и ее, в свою очередь, согнали крупные буквы: «МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ АДСКИЙ ТЕАТР». Дарк протянул карточку Джиму. Джим принял ее и прочитал: «Наша специальность: проверка, смазка, полировка и ремонт жуков-могильщиков». Джим и глазом не моргнул. Секунду он рылся в бездонном кармане, полном сокровищ, как пиратский сундук, что-то выудил и протянул мистеру Дарку. На ладони лежал дохлый коричневый жук.

— Вот, — ровным голосом произнес Джим, — займитесь им.

— Ловко! — расхохотался мистер Дарк. — Один момент! — Он протянул руку за жуком, и из-под манжеты рубашки на миг выглянули пурпурные, темно-зеленые и ярко-синие драконы, перевитые латинскими, кажется, надписями.

— О! — воскликнул Вилли. — Человек-в-Татуировке!

— Нет. — Джим внимательно всмотрелся. — Человек-в-Картинках. Не одно и то же.

— Верно, парень, — благодарно кивнул мистер Дарк. — Как звать тебя?

«Не говори! — мысленно завопил Вилли и тут же с недоумением спросил сам себя: — А почему, собственно?»

— Саймон! — назвал Джим и криво ухмыльнулся, намекая на возможность существования других вариантов своего имени.

Мистер Дарк понимающе ухмыльнулся в ответ.

— Хочешь увидеть побольше, а, «Саймон»?

Джим с независимым видом кивнул, вроде бы и не очень ему хотелось. Медленно, с нескрываемым удовольствием мистер Дарк засучил рукав рубашки до локтя. Джим так и впился глазами в руку. Больше всего она напоминала кобру, изготовившуюся для броска. Мистер Дарк пошевелил пальцами, мышцы задвигались, картинки ожили.

Вилли очень хотелось посмотреть поближе, но он остался стоять на месте и только твердил про себя: «Джим! Ой, Джим!»

Джим и долговязый откровенно изучали друг друга. Колочий костюм Дарка словно оттенял рдевшие щеки и пляшущие глаза Джима. Казалось, Джим только что порвал ленточку в десятимильном забеге и теперь, с пересохшими губами, стоит и не может прийти в себя, готовый принять любую награду за свою победу. И вот она, награда, — живые картинки, разыгрывающие пантомиму от одного только биения пульса под иллюстрированной кожей. Джим смотрел не отрываясь, а Вилли было не видеть, поэтому он стоял и думал о последних горожанах, возвращавшихся в город в теплых машинах, спешащих к ужину...

— Ух ты, вот черт! — слабым голосом проговорил Джим, и мистер Дарк тут же опустил рукав.

— Все. Представление окончено. Пора ужинать. Карнавал закрывается до семи утра. Все уходят. Приходи завтра, «Саймон», покатаешься на карусели, когда ее починят. Возьми мою карточку, для тебя вход свободный.

Джим, все еще не в силах оторвать глаза от запястий Дарка, взял карточку и сунул в карман.

— Ну, пока!

Джим повернулся. Джим побежал. Спустя секунду Вилли кинулся за ним. Джим оглянулся через плечо, изогнулся, подпрыгнул и... исчез. Вилли растерянно остановился. У него над головой из-за ствола дерева выглянул Джим. Мистер Дарк и Кутер склонились над механизмом карусели.

— Быстро, Вилли! — зашипел из ветвей Джим. — Прыгай сюда! Да скорее же, а то увидят!

Вилли не очень ловко подпрыгнул, Джим подхватил его и втащил наверх. Дерево затряслось. Ветер прошумел в кроне.

— Джим! Зачем... — начал было Вилли.

— Заткнись! И смотри! — яростно зашептал Джим.

Со стороны карусели доносилось металлическое постукивание, позвякивание, слабый скрип.

— Что у него там на руке было, Джим?

— Картинки.

— Ясно, картинки. Какие?

— Ну... такие. — Джим прикрыл глаза, словно пытаясь вспомнить. — Ну, знаешь, змеи там всякие.

Он почему-то отвел глаза.

— Не хочешь — не говори, — пожал плечами Вилли.

— Да нет. Я же сказал: змеи. Хочешь, я попрошу его показать и тебе... попозже?

«Нет, — подумал Вилли, — нет, не хочу». Он посмотрел вниз. Под деревом, в дорожной пыли, застыли тысячи отпечатков ног, а людей и след простыл. Вилли вдруг подумалось, что ночь теперь куда ближе, чем день.

— Я домой пойду, — неуверенно пробормотал он.

— Точно, Вилли, иди. Тут, значит, зеркальные лабиринты, старые учительницы, сумки с громоотводами, пропадающие торговцы, змеи на картинках шевелятся, нормальную карусель чинят, а ты, стало быть, домой? Ну ладно. Пока, старина!

— Я...

Вилли взглянул вниз и замер.

— Все чисто? — раздался голос почти прямо под деревом.

— Чисто! — ответили издали.

Мистер Дарк подошел к красной машинной коробке карусели, внимательно огляделся. Несколько мгновений он смотрел на дерево у дороги.

Вилли попытался вжаться в ствол.

— Включай!

Под стук, звон и бряканье карусель двинулась с места.

«Но ведь она же сломана!» — в панике подумал Вилли и растерянно оглянулся на Джима. Тот показывал вниз. И тут только Вилли заметил: карусель вращалась в обратную сторону!

Небольшая каллиопа внутри механизма сопела, сипела, свистела, брякала и позванивала.

«И музыка тоже наоборот», — подумал Вилли.

Как будто уловив его мысли, мистер Дарк дернулся и снова пристально посмотрел на дерево. Ветер завихрил

вокруг Вилли черную листву. Мистер Дарк едва заметно пожал плечами и отвернулся.

Взвизгивая и нелепо вихляясь, карусель крутилась все быстрее. Мистер Кутер для проверки прошел немного по дороге и остановился прямо под деревом. Вилли запросто мог бы плюнуть в него. В это время каллиопа вскрикнула особенно пронзительно. В далеком пригороде отозвались собаки. Будто получив сигнал, мистер Кутер помчался обратно по дороге и с разбега ловко вскочил на карусель, оседлав какое-то унылое животное, спешившее задом наперед. Торчали во все стороны буйные огненно-рыжие волосы мистера Кутера, на розовом лице сияли ярко-синие глаза. Карусель летела, и музыка летела не отставая. Наоборот. «А откуда я знаю, что она началась с конца?» — подумал Вилли. Крепко вцепившись в сук, он пытался поймать мотив и сообразить, что это за мелодия, но литавры, колокольцы и барабаны били его в грудь, захватывали сердце и все подгоняли, подгоняли, заставляя кровь течь по жилам вспять, пульс — колотиться в висках, а руки — слабеть. Цепенея, Вилли изо всех сил сжимал сук. Он не мог оторвать глаз от взбесившейся карусели и невозмутимой фигуры мистера Дарка, стоявшего рядом, за пультом.

Джим первым заметил новую странность и пихнул в бок Вилли. Мистер Кутер! Вот его снова вынесло вперед, и Вилли оторопел. Лицо мистера Кутера таяло, как розовый воск. Руки на глазах становились кукольными, тело под одеждой усыхало, да и одежда сжималась тоже, морщась и корячась. Скрылся. Появился снова, став еще меньше.

Огромным лунным сновидением разворачивалась карусель, волокла против естества несчастных лошадей, засасывала воздух под дикую музыку, а мистер Кутер, обыкновенный рыжий мистер Кутер с каждым оборотом становился все моложе и моложе. Годы слетали с него, как пыль, он беззаботно поглядывал на звезды, скользил взглядом по населенному мальчишками дереву, словно не замечая, как

мельчают черты его лица, заостряется носик, розовеют, тая, уши.

Если в начале карусельной круговерти ему было сорок, то теперь — едва ли девятнадцать. На глазах у всех мужчина превращался в юношу, юноша — в мальчика... Вот ему семнадцать, шестнадцать... Еще оборот, еще... Вилли что-то шепчет. Джим считает круги, а ночной воздух теплеет, разогревается от трения, от необузданного полета шальных зверей; но уже медленнее вращение, реже вскрики каллиопы, и вот наконец шипение, усталый свист, музыка проскулила жалобно в последний раз, карусель словно наехала на водоросли в воде и встала.

В деревянном седле виднелась тшедушная фигурка. Лет двенадцати. Губы Вилли без его участия шепнули: «Нет!» Губы Джима шевельнулись: «Нет!»

Маленькая тень сошла с круга. Лица не видать, а на руки падает свет фонаря. Розовые, сморщенные, словно новорожденные руки...

Мальчик-мужчина стрельнул глазами. Кажется, он чуял волны благоговейного ужаса, исходящие от дерева. Ужасный взгляд, как железный шип, пронзил листву. Маленький человек повернулся, замер, а потом по-кроличьи чесанул по дороге.

Джим раздвинул мешавшие листья. Мистер Дарк тоже уходил следом. Вилли не чаял дожидаться, пока Джим спустился вниз. Но вот наконец они стоят на земле, потрясенные разыгравшейся пантомимой, ошеломленные таким поворотом событий. Первым заговорил Джим. Провожая глазами крошечную фигурку, улепетьвающую по дороге, он сипло произнес:

— Да, Вилли, я тоже хочу домой, хочу поесть в тепле и покое. Но мы уже слишком много видели. Надо же досмотреть до конца, а? Ведь надо?

— Господи! — взмолился Вилли в полном отчаянии. — Да, я думаю, надо.

И они вместе побежали вослед невесть чему и незнамо куда.

Глава 19

За холмами быстро гасли бледные закатные отсветы. За чем бы ни охотились ребята — оно далеко впереди, так далеко, что не понять — есть или нету. И все же, если взглядеться, под дальними фонарями нет-нет да и мелькнет бегущая фигурка.

— Двадцать восемь! — выдохнул Джим. — Двадцать восемь раз он прокрутился.

— Ничего себе карусель! — помотал головой Вилли.

Маленькая фигурка далеко впереди остановилась и оглянулась. Джим и Вилли разом прыгнули за дерево, выжидая, пока это двинется дальше.

«Это, — подумал Вилли, — но почему «это»? Он же мальчишка... или мужчина? Нет. Это то, что менялось, вот оно что!» Они рысцой миновали окраину, и тут Вилли осенило.

— Слушай, Джим. Наверное, их там двое было, на карусели. Мистер Кугер и этот парнишка...

— Нет, — отрезал Джим. — Я с него глаз не спускал.

Они бежали мимо парикмахерской. Вилли скользнул глазами по какому-то объявлению в витрине и не смог сложить буквы. Впрочем, он тут же забыл об этом.

— Эй! Он свернул на улицу Калпеппера! Живей!

Они резко повернули за угол.

— Ушел!

Улица под фонарями лежала длинная и пустая. «Классики», расчерченные на тротуарах, заметало палой листвой.

— Вилли! А ведь мисс Фолей на этой улице живет?

— Да, вроде бы. В четвертом доме, кажется... Только... — Он не кончил.

Джим притормозил, засунул руки в карманы и, посвистывая, зашагал дальше небрежной походкой. Вилли шел рядом. Пройдя третий дом, они посмотрели вверх. В одном из слабо освещенных окон кто-то стоял. Кажется, это был мальчишка лет двенадцати.

— Вилли! — одними губами позвал Джим. — Этот парень...

— Ее племянник?..

— Племянник, как же! Держи карман! Отвернись, может, он по губам читать умеет. Давай помедленнее. До угла, а потом — обратно... Ты лицо его видел? Глаза, Вилли! Они-то у людей не меняются, будь тебе хоть шесть, хоть шестьдесят. Лицо у него точь-в-точь как у мальчишки, но глаза-то — мистера Кугера!

— Нет!

— Да!

Они остановились. Вздрагивая от бешеных толчков под ребрами, Джим крепко взял Вилли за руку и повел.

— Неужто ты не помнишь, какие у этого Кугера глаза были, когда он нас подхватил? А потом этот тип чуть меня на дереве не увидел. Ух! Никогда не забуду! И вот сейчас, в окне, те же самые глаза. Давай еще разок пройдемся, и помедленнее, поспокойнее. Надо же как-то предупредить мисс Фолей, какая у нее штука дома прячется.

— Постой, Джим, да как же ты предупредишь ее?

Джим не ответил. Только глянул искоса зеленым сияющим глазом. Вилли опять, как уже бывало, вспомнил одного знакомого старого пса. Тот жил себе спокойно месяц за месяцем, но потом однажды наступал момент, и пес исчезал на несколько дней, а то и на неделю. Домой он возвращался весь в репьях, прихрамывая, тощий, от него несло всеми помойками и болотами в округе. Можно было подумать, он для того только и выискивал места погрязнее, чтобы потом вернуться домой с глуповатой, смущенной улыбкой на морде. Отец звал его Платоном, в честь древнего философа. Как и Платон, пес, похоже, все знал и все понимал. Вернувшись на тропу добропорядочности, он месяцами не сходил с нее, но однажды все начиналось сначала. «И вот сейчас, — думал Вилли, — на Джима тоже накатило. Уши торчком, нос — по ветру, он что-то слышит внутри. Может быть, тиканье часов, отсчитывающих другое, нездешнее время? Вон у него даже язык длиннее стал. Ишь, облизывается...»

Они снова остановились возле дома мисс Фолей, но в окне никого не было.

— Давай поднимемся, позвоним, — предложил Джим.

— Хочешь столкнуться с ним нос к носу?

— Надо же удостовериться. Лапу ему потрясти, в глаза посмотреть или куда там еще.

— Ты что, прямо при нем предупреждать ее будешь?

— Да зачем? Потом позвоним ей и все расскажем. Пошли!

Вилли вздохнул и покорился. Поднимаясь по ступенькам, он не знал, хочется ли ему, чтобы в этом мальчишке скрывался мистер Кугер.

Джим подергал дверной колокольчик.

— А если он откроет? — не удержался Вилли. — Знаешь, я так сдрейфил, что с меня пыль осыпается. А ты что, вообще не боишься?

Джим с интересом изучил свои спокойные ладони, повертел их так и сяк.

— Да будь я проклят! — выдохнул он. — Ты в точку попал: не боюсь я.

Широко распахнулась дверь, и на пороге предстала улыбающаяся мисс Фолей.

— Джим! Вилли! Очень мило с вашей стороны!

— Мисс Фолей! — выпалил Вилли. — У вас все о'кей?

Джим в ярости взглянул на него.

— О! А почему бы и нет? — удивилась мисс Фолей.

Вилли сильно покраснел.

— Да мы просто... просто беспокоились. Эти проклятые карнавальные зеркала!

— Ерунда! Я уже и забыла о них. Может, войдете?

Она все еще распахивала перед ними дверь.

Вилли шаркнул ногой и уже собрался ответить, но замер. Занавеска позади мисс Фолей колыхнулась и обвисла, как темно-синий дождь, летящий нанскось в дверном проеме. В том месте, где капли неподвижного дождя почти касались пола, торчали маленькие запыленные сандалии. Где-то за занавеской слонялся, видно, и сам недавний злой беглец.

«Злой? — опять подумал Вилли. — Да откуда я взял, что он — злой? А впрочем, с чего бы ему не злым быть? Именно: злой мальчишка».

— Роберт? — Мисс Фолей обернулась к дождевой завесе. Потом она взяла Вилли за руку и ввела в квартиру. — Роберт, иди познакомься с моими учениками!

Сквозь синие дождинки просунулась песочно-розовая рука и словно пощупала, какая там, в прихожей, температура.

«Вот беда-то! — успел подумать Вилли. — Счас он ка-ак на меня глянет и тут же поймет все. У меня же эта карусель прямо в глазу отпечаталась, как... как от молнии!»

— Мисс Фолей, — с трудом произнес Вилли.

Сквозь тускло мерцающий занавес непогоды выглянуло розовое лицо.

— Мисс Фолей, мы должны сказать вам ужасную вещь...

Джим ударил его по руке. Сильно ударил. Вот уже следом за лицом и тело проскользнуло через текучий полог. Мальчик. Стоит. А позади шуршит тихий дождь.

Мисс Фолей слегка подалась вперед, к Вилли. Она ждет. Джим больно ухватил за локоть, тряхнул. Вилли сбился, вспыхнул и вдруг выпалил:

— Мистер Крозетти!

Внезапно перед его мысленным взором совершенно отчетливо всплыла бумажка в окне парикмахерской. Там было написано: «Закрето из-за болезни».

— Мистер Крозетти, — зачастил Вилли, — он... он умер!

— Как? Парикмахер?

— Парикмахер? — ахнул рядом пораженный Джим.

— Вот, видите? — Вилли зачем-то потрогал себя за голову. — Это он стриг. А сейчас мы шли там... и написано... а люди сказали...

— Какая жалость! — Мисс Фолей попыталась незаметно подтащить к себе поближе розоволицего мальчишку. — Мне, право, жаль. Мальчики, познакомьтесь, это Роберт, мой племянник из Висконсина.

Джим протянул руку. Племянник с любопытством исследовал ее.

— Чегой-то ты на меня уставился? — спросил он.

— Кого-то ты мне напоминаешь, — протянул Джим.

«Джим!» — мысленно завопил Вилли.

— О! Ты на дядюшку моего здорово похож, — нарочито спокойно закончил Джим.

Глаза племянника метнулись к Вилли. Что было делать? Пришлось сосредоточенно изучать пол под ногами. «Нельзя же, в самом деле, дать ему посмотреть мне в глаза, — думал Вилли. — Там же кто хочешь увидит эту сумасшедшую карусель!» Его так и подмывало напеть мотив той музыки-наоборот. «А все-таки надо, — думал он. — Пора. А ну-ка, посмотри на него!» Вилли поднял глаза и в упор взглянул на мальчишку. Бред, дичь, чушь собачья! Пол качнулся под ногами и поехал в сторону. Розовая праздничная маска безупречно изображала милое мальчишеское лицо, а сквозь прорези странно светились глаза мистера Кугера, глаза пожилого человека, яркие, острые звезды, из тех, чей свет добирается до Земли миллион лет. Сквозь маленькие прорезы для ноздрей входит теплый воздух, а вырывается ледяное дыхание мистера Кугера! И леденцовый розовый язычок — точь-в-точь такие продают на праздник в День святого Валентина! — едва заметно шевелится, быстро-быстро, за розовыми сахарными зубами. Из-под маски зрачки мистера Кугера чуть слышно пощелкивали, как объектив у «Кодака»: линзы то вспыхнут, то пригасятся диафрагмой. Вот он нацелился на Джима. Щелк, щелк! Прицелился, навел фокус, щелкнул, проявил, высушил — и Джим лежит на своем месте в картотеке. Щелк, щелк!

Но ведь это только мальчишка стоит в прихожей рядом с женщиной и двумя другими подростками... Джим тоже не сводит с него глаз. Лицо неподвижно. Он тоже фотографирует этого Роберта.

— Вы ужинали, мальчики? — пропела мисс Фолей. — А то давайте с нами. Мы как раз садимся...

— Нет, спасибо, нам пора идти.

Все уставились на Вилли, словно удивляясь, почему бы ему не остаться здесь навсегда.

— Джим, — забормотал Вилли, — у тебя ведь мама одна дома, она же ждет...

— Ой, верно, — с неохотой протянул Джим.

— А я знаю, как мы сделаем! — Племянник выдержал паузу, чтобы все повернулись к нему. — Приходите к нам на десерт, а?

— На десерт?!

— А потом я возьму тетю на карнавал.

Племянник погладил мисс Фолей по руке, и она нервно засмеялась.

— Как «на карнавал»? — подскочил Вилли. — Мисс Фолей, вы же говорили...

— Ах да, это глупость была, я напугалась, — произнесла неуверенно мисс Фолей. — Сегодня, в субботнюю ночь, самое время для карнавала. Я вот обещала Роберту показать окрестности...

— Ну, придете? — спросил Роберт, все еще не отпуская руку мисс Фолей. — Позже?

— Здорово! — воскликнул Джим.

— Джим! — попытался вмешаться Вилли. — Нас ведь целый день дома не было. А у тебя мама больна.

— Да? Я и забыл.

Джим ядовито покосился на друга.

Щелк! Племянник сделал рентгеновский снимок их обоих. На этом снимке, конечно, видно, как трясутся холодные косточки внутри теплой плоти. Роберт протянул руку:

— Ну тогда — до завтра? Увидимся возле балаганов.

— Отлично!

Джим стреб и потряс маленькую руку.

— Пока!

Вилли выскочил за дверь, постоял, качаясь, сделал отчаянное усилие и повернулся к учительнице:

— Мисс Фолей...

— Да, Вилли?

«Не ходите с ним никуда! — думал Вилли. — Даже близко не подходите к балаганам. Сидите дома, ну пожалуйста!»
Вслух же он сказал:

— Мистер Крозетти умер.

Она кивнула и пригорюнилась, наверное ожидая, что Вилли сейчас заплачет. И пока она ждала, Вилли выволок Джима наружу, и входная дверь отрезала их от женщины и мальчишки с розовым лицом и с глазами-объективами, которые все щелкали, фотографируя двоих таких непохожих друг на друга ребят.

Пока они в темноте нащупывали ступени, в голове у Вилли снова закружилась карусель, зашелестела жестяная листва дубов. Он с трудом выговорил:

— Джим! Ты ему руку пожал, этому Кугеру! Ты же не собираешься встречаться с ним?

— Это Кугер, точно, — деловито заговорил Джим. — Глаза его. Эх, если бы я встретился с ним сегодня ночью, мы бы все выяснили. И какая муха тебя укусила, Вилли?

— Меня? Укусила?

Они добрались до конца лестницы и разговаривали яростным шепотом. Вот и улица. Оба задрали голову. В освещенном окне маячила маленькая тень. Вилли вдруг встал как вкопанный. Наконец-то музыка у него в голове выстроилась как надо. Он прищурился.

— Джим! А ты знаешь, что за музыка была, под которую молодец мистер Кугер?

— Ну?

— Это же обычный похоронный марш, только задом наперед!

— Какой еще похоронный марш?

— Какой, какой! Шопен написал.

— А почему «задом наперед»?

— Да потому, что мистер Кугер не старел, ну, не к смерти шел, значит, а, наоборот, от нее. Он же все моложе становился, верно?

— Во жуть-то!

— Точно! — Вилли напрягся. — Он там! Вон, в окне торчит. Помахать ему, что ли? Пока! Пока! Давай, пошли. Посвисти-ка что-нибудь, ладно? Только уж не Шопена, пожалуйста.

Джим помахал рукой. И Вилли помахал. Они пошли по улице, насвистывая «О, Сюзанна...».

Тень в окне тоже помахала им на прощание.

Глава 20

Два ужина давно остыли в двух домах. Один предок наорал на Джима, два — на Вилли. И того и другого отправили спать голодными. Шторм начался в семь и кончился в три минуты восьмого. Хлопнули двери, звякнули замки, пробили часы.

Вилли стоял у двери в своей комнате. Телефон остался в прихожей. Эх! Даже если он позвонит, мисс Фолей, скорее всего, не ответит. Ее сейчас, наверное, уже и в городе-то нет. Да и что бы он сказал ей? Мисс Фолей, ваш племянник — не племянник? Мальчик на самом деле — не мальчик? Конечно, она засмеется. И мальчик как мальчик, и племянник как племянник. На вид, по крайней мере. Вилли повернулся к окну. В окне своей комнаты маячил Джим. Видимо, он решал ту же проблему. Окно пока не откроешь, не посоветуешься. Рано еще. Родители внизу настроили свои локаторы, только и ждут, чтобы еще добавить.

Оставалось завалиться на кровать, что они оба и сделали. Оба пошарили под матрасами — не завалилось ли шоколадки, отложенной на черный день. Нашлось кое-что. Сжевали без особой радости.

Постукивали часы. Девять. Поддесятого. Десять. Щелкнула задвижка на двери Вилли. Это отец открыл.

«Папа! — подумал Вилли. — Ну зайти! Надо поговорить».

Отец тяжело вздохнул на лестнице. Вилли ясно представлял себе его расстроенное, не то смущенное, не то недоумевающее лицо. «Нет, не войдет, — подумалось ему. — Ходить

вокруг да около, говорить какие-то необязательные слова — это пожалуйста. А вот войти, сесть и выслушать — этого не будет. А ведь тут такое дело...»

— Вилли?..

Вилли подобрался.

— Вилли, — снова произнес отец, — будь осторожен.

— «Осторожен!» — так и взвилась мать внизу. — И это все, что ты собираешься ему сказать?

— А что я ему еще скажу? — проворчал отец, уже спускаясь по ступеням. — Он скачет, я — ползаю. Как тут равнять? Боже, иногда мне хочется...

Хлопнула входная дверь. Отец вышел на улицу.

Вилли полежал секунду и метнулся к окну. Отец так неожиданно вышел в ночь. Надо предупредить его. «Не я, — думал Вилли. — Не мне грозит опасность, не за меня надо беспокоиться. Это ты, ты сам останься, не ходи! Там опасно!»

Но он не открыл окна, не крикнул. А когда все-таки выглянул, улица была пуста. Теперь — ждать. Спустя некоторое время там, внизу, вспыхнет свет в библиотечном окне. Когда начинается наводнение, когда небесный огонь вот-вот рухнет на головы, каким славным местом становится библиотека. Стеллажи... книги, книги. Если повезет, никто тебя там не сыщет. Да где им! Они — к тебе, а ты — в Танганьике в 98-м году, в Каире 1812-го, во Флоренции в 1492-м!

«Будь осторожен...» Что отец имел в виду? Неужели он почувствовал? Может, даже слышал шальную музыку, ходил там, возле шатров? Да нет, никогда.

Вилли кинул камешек в соседнее окно. Отчетливо было слышно, как он стукнул о стекло. И... ничего. Вилли представил, как Джим сидит в темноте и прислушивается. Он бросил еще один. Стук. Тишина. Что-то не похоже на Джима. Раньше «звяк» еще звучал в воздухе, а рама уже взлетала вверх, и появлялась голова, из которой торчали во все стороны смешки, буйство, разбойные планы один другого хлеще.

— Джим! Да я же знаю, что ты там!

Стук. Молчание.

«Отец в городе. Мисс Фолей — и с кем! — тоже там, — все быстрее думал Вилли. — Господи боже, Джим, надо же срочно делать что-то!» Он швырнул последний камешек. Стук. Слышно было, как отскочивший от окна камешек упал в траву. Джим так и не появился. «Ладно», — подумал Вилли и с досадой хлопнул ладонью по подоконнику. Ладно. Он лег в кровать и вытянулся. Холодно. Неподвижно.

Глава 21

В аллее за домом издавна был настелен деревянный тротуар из широченных сосновых досок. Видно, его уложили еще до того, как изобрели противный безответный асфальт. Еще дед Вилли, мощный, неукротимый старик, все дела которого сопровождалось шумом и громом, с дюжиной других умельцев на все руки продолжил деревянный настил футов на сорок. Дожди, солнце и ветер потрудились над ним, и теперь доски напоминали остов какого-то доисторического чудища.

Часы в городе пробили десять.

Лежа в постели, Вилли думал о трудах деда и ждал, когда настил заговорит. Не было еще такого, чтобы мальчишки чинно подходили к дому по дорожке и звонили в дверь, вызывая друзей. Что, других способов нет? Можно бросить камешек в окно, можно желудь на крышу, можно запустить под окно приятелю воздушного змея, изобразив на нем таинственный знак. Да мало ли что! Джим с Вилли не составляли исключения. Поздними вечерами, если попадалась могоильная плита, чтобы поиграть в чехарду, или дохлая кошка, чтобы спустить на веревке в камин какому-нибудь зануде, кто-то один из них прокрадывался под луной за дом и там плясал, как на ксилофоне, на древнем, гулком, музыкальном настиле.

Они долго настраивали тротуар. Отодрали доску «ля» и поменяли ее местами с «фа», внесли еще кучу усовершенствований, и наконец дорожка зазвучала как надо. По той или иной мелодии можно было сразу догадаться о предстоящей ночной экспедиции. Если Джим выгнанцовывал «Вниз по речке», значит, собрался на берег, к пещерам. Если Вилли ошпаренным терьером скакал по доскам, извлекая из них подобие «Марша через Джорджию», это означало, что за городом поспели сливы, персики или яблоки и пора идти в набег.

Вот и этой ночью Вилли затаил дыхание, ожидая, куда позовет его деревянная музыка. Что сыграет Джим, изображая карнавал, мисс Фолей, мистера Кугера и розового племянника?

Десять с четвертью. Пол-одиннадцатого. Все тихо.

Вилли это не нравилось. О чем там думает Джим у себя в комнате? О Зеркальном лабиринте? О том, что увидел там? Ну и что он задумал теперь? Вилли беспокойно заворочался. Ему не понравилась мысль о том, что между карнавальными балаганами в темных лугах и Джимом не может встать отец Джима. А мать? Она так хочет удержать его при себе, что Джиму хочешь не хочешь приходится удирать из дома, нырять в вольные ночные воды, уносящие вперед, к дальним свободным морям.

«Джим! — подумал он. — Ну давай!»

И в десять тридцать пять ксилофон ожил. Вилли показалось, что Джим высоко подпрыгивает, как мартовский кот на крыше, и шлепается на доски, добывая из них подобие погребальной песни, сыгранной наоборот старой карнавальной каллиопой.

Вилли уже потянул раму вверх, когда лунный блик скользнул по открывающемуся окну Джима.

Значит, это не он на досках? Значит, Вилли только слышалось то, что он хотел услышать? Он уже готов был окликнуть Джима, но промолчал. Джим беззвучно скользнул по водосточной трубе.

«Джим!» — мысленно позвал Вилли.

На лужайке под окнами Джим замер, словно услышал свое имя.

«Ты же не уйдешь без меня, Джим?»

Джим быстро взглянул вверх. Если он и увидел Вилли в окне, то ничем не показал этого.

«Джим, — думал Вилли, — ну мы же друзья пока. Ведь, кроме нас с тобой, никто не услышит того, что слышим мы. Мы одной крови, и дорога у нас одна. И вот ты уходишь, бросаешь меня. Как же так, Джим?»

Дорожка уже опустела. Словно саламандра мелькнула за оградой. Вилли уже спускался вниз. Мысль догнала его, когда он перемахивал через забор. «Господи! Я ведь один. Это же первый раз я один ночью! И куда я иду? За Джимом. Господи! Помоги мне не сбиться с дороги!»

Джим летел над дорогой, как сова за мышью. Вилли мчался вприпрыжку, как охотник за совами. Тени скользили за ними через октябрьские лужайки. И когда они остановились, перед ними оказался дом мисс Фолей.

Глава 22

Джим оглянулся. Вилли тотчас превратился в куст, точно такой же, как те, среди которых он затаился, в ночную тень с едва заметно поблескивающими глазами, да и глаза застыли, остановившись на фигуре Джима.

— Эй, эй, там! — шепотом звал Джим, подняв лицо к окнам второго этажа.

«Ну и дела, — думал Вилли. — Смотри-ка, он же сам наывается, сам хочет, чтобы его заманили и расщепили там, в лабиринте».

— Эй! — тихо зывал Джим. — Эй, вы там!

На фоне едва освещенного ночником окна мелькнула тень, невысокая такая тень... Значит, племянник с мисс Фолей уже вернулись. «Боже, — думал Вилли, — надеюсь, она вернулась тоже. А если она, как торговец громоотводами...»

— Эй!

Джим смотрел вверх, и взгляд у него был такой же, как возле Театрального Окна в доме неподалеку отсюда. С любовью, с преданностью даже Джим ждал, словно кот, не взглянет ли из окна какая-нибудь темная мышка. Сначала он стоял ссутулившись, а теперь, казалось, становился все выше, можно подумать, его тянуло что-то там, в окне. А ведь в нем нет никого. «Это» исчезло.

Вилли стиснул зубы. Казалось, тень струится через дом, он чувствовал ее ледяные вздохи. Он не мог больше ждать. Вилли кинулся из кустов вперед и схватил Джима за руку.

— Джим!

— Вилли! Ну ты-то что тут делаешь?

— Джим, не говори с ним, не надо. Пошли отсюда. Господи, да он же проглотит тебя, хорошо, если косточки выплюнет.

Джим вырвал руку.

— Вилли! Иди домой. Ты же мне все испортишь.

— Джим, я его боюсь. Чего тебе от него надо? Ты что-нибудь видел... там, в лабиринте?

— Ну видел.

— Но что? Ради бога, что ты видел?

Вилли поймал Джима за рубашку на груди и на мгновение ощутил, как колотится о грудную клетку сердце.

— Уходи! — Голос Джима звучал жутко спокойно. — При тебе он не выйдет. Вилли, если ты не уйдешь, я тебе припомню... потом.

— Когда это «потом»?

— Проклятье! Когда стану *старше*, вот когда!

Вилли отпрянул, словно рядом ударила молния.

— О Джим... — проговорил он.

Он почти слышал стремительный бег карусели в темных водах ночи, почти видел Джима на черном деревянном жербце, себя самого почти одеревеневшего в тени под деревом. Ему хотелось кричать: «Смотри! Вот ты на карусели! Она крутится вперед, ты этого хотел, да? Вперед, а не назад!

И ты на ней. Смотри: раз проехал — тебе пятнадцать, еще круг — уже шестнадцать, еще три — девятнадцать! И музыка играет правильный похоронный марш! А тебе уже двадцать, и ты сходишь с карусели, высоченный такой, совсем не тот Джим, которому почти четырнадцать и с которым я, зеленый от страха, стою посреди ночной улицы».

Вилли развернулся и ударил Джима. Врезал ему прямо по носу. Потом бросился на него, повалил и поволок в кусты. Он зажимал Джиму рот и заталкивал все дальше...

Открылась парадная дверь.

Вилли навалился на Джима сверху, придавил, не давая дышать, все еще зажимая рот. Что-то стояло на крыльце. Оно крутило головой, искало Джима и не могло найти.

Да нет, это же маленький мальчишка, Роберт, племянник. Поза небрежная, руки в карманах, насвистывает чуть слышно. Просто вышел подышать перед сном. Вилли некогда было особенно раздумывать — он держал вырвавшегося Джима, — и все-таки его поразил вид самого обычного мальчишки: веселая маленькая личность, в которой сейчас, ночью, и следа не отыщешь от взрослого дядьки.

Он бы запросто мог сигануть к ним в кусты и возить-ся с ними, как маленький щенок, и хохотать, а потом, может быть, и заплакать даже, если поцарапается каким-нибудь сучком, и страх растаял бы, улетучился, превратился бы в дурной сон, в воспоминание о дурном сне... Но ведь правда же — простой маленький мальчишка, самый настоящий племянник, свежий, как персик, смугло-розовый... Вот он уже увидел их, сцепившихся намертво, вот улыбнется сейчас...

Роберт стремительно метнулся в дом. Джим и Вилли все еще хватали, крутили, жали и мяли друг друга, а племянник уже вылетел обратно, перемахнул через перила, четко впечатавшись в собственную тень на траве. В руках у него было полно звезд. Они так и сыпались вокруг. Золото, бриллианты падали в траву возле сжимавших друг друга в объятиях Вилли и Джима.

— Помогите! Полиция! — заорал Роберт.

Этот вопль так потряс Вилли, что он выпустил Джима. Джим был потрясен не меньше и выпустил Вилли. Оба одновременно коснулись холодного рассыпанного... металла.

— Во дела! Браслет!

— Ха! Кольцо! Ожерелье!

Роберт на бегу ловко сшиб два мусорных бака на углу. Они с грохотом повалились, рассыпая мусор на мостовую. Наверху, в спальне, вспыхнул свет.

— Полиция! — снова заорал Роберт и швырнул ребятам под ноги последнюю сверкающую пригоршню. Потом одним движением смахнул с персикового лица улыбку и дунул по лицу.

— Стой! — подскочил Джим. — Стой! Мы тебя не тронем.

Вилли поймал Джима за ногу и уронил на землю.

Отворилось окно. Мисс Фолей выглянула. Джим стоит на коленях и держит в руках женские наручные часики. Вилли глупо моргает с ожерельем в руках.

— Кто там? — закричала мисс Фолей. — Джим? Вилли? Чем вы там заняты?

Но Джим уже уносился вдаль по ночной улице. Вилли подождал ровно столько, чтобы дать мисс Фолей кинуться в соседнюю комнату и обнаружить кражу. Он услышал вопль.

Уже на бегу Вилли сообразил, что племянник именно этого и хотел от них. Надо бы вернуться, собрать браслеты, часы и камни, объяснить все мисс Фолей. А как же Джим? Его же спасти надо!

Позади все кричала мисс Фолей. Зажигались огни.

— Вилли Хеллоуэй! Джим Найтшед! Ах вы, воры ночные!

«Это про нас, — думал Вилли на бегу. — О боже, ведь это про нас! Теперь никому ничего не докажешь, что бы мы ни сказали: про карусель, про зеркала, про племянника, никто же теперь не поверит!»

Так они и бежали, три зверя под ночными звездами. Черная выдра. Уличный кот. Кролик.

«Я — кролик, — подумалось Вилли, — белый испуганный кролик!»

Глава 23

Они вырвались на луг со скоростью около двадцати миль в час и с разрывом в милю. Впереди — племянник, за ним, настигая, Джим и наконец, все больше отставая, Вилли.

Племянник, похоже, не на шутку струхнул и больше не улыбался. Он бежал, часто озираясь через плечо.

«Одурачили его, — устало думал Вилли. — Он-то рассчитывал, я останусь, полицию вызовут, я объяснять начну, мне, конечно, не поверят, или, может, он думал, я смоюсь потихоньку. А теперь он меня боится, я же изобью его в кровь, вот он и рвется к своей карусели, хочет накрутить лет десять-пятнадцать. Ой, Джим, мы же должны сохранить его молодым, надо же содрать с него эту шкуру».

Но по тому, как бежал Джим, Вилли видел: Джим ему не помощник. Джим не за племянником бежал. У него впереди был бесплатный аттракцион. Вот племянник скрылся между шатрами. Джим следом. Когда Вилли добежал, карусель уже дергалась, оживая. Музыка спросонья билась, грохотала, взвизгивала, а племянник со своим персиковым лицом уже ехал на большом круге в вихрях полуночной пыли.

Футах в десяти стоял Джим. Глаза у него были точь-в-точь как у дикого черного жеребца, что проплывал мимо. Карусель двигалась *вперед*. Джим подошел вплотную к разгоняющемуся кругу. Племянник пропал из виду, а когда появился вновь, то уже протягивал Джиму розовые пальцы и приговаривал, словно мурлыкал:

— Джим?..

Джим подался вперед.

— Нет! — завопил Вилли и кинулся на Джима. Ударил, схватил, удержал. Они снова сцепились, рухнув в пыль.

Удивленный племянник вынесся из тьмы, став на год старше. «На год, — успел подумать Вилли, — плохо дело. Ведь это не только выше, но и сильнее, умнее на год». Он отпихнул Джима.

— Скорее! — и бросился к пульта, сплошной головоломке из медных рычагов, фарфоровых ручек и шипящих проводов.

Он уже схватился за переключатель, но набежал Джим и повис на руке.

— Вилли! Не тронь! Сломаешь.

Джим дернул переключатель обратно. Вилли повернулся и двинул Джима локтем. Они опять вцепились друг в друга, но на этот раз быстро устали и повалились на землю возле пульта.

Противный мальчишка, повзрослевший еще на год, пронесся у Вилли перед глазами. Еще пять-шесть кругов, и он перегонит их обоих.

— Джим! Он же убьет нас!

— Нет, не меня.

Вилли ударило током. Он взвыл, подскочил и дернул переключатель. Пульт плюнул в него синим огнем. Откуда-то из недр вылетела молния. Ребят разбросало ударом, и они, слегка оглушенные, лежа наблюдали за резко набравшей скоростью каруселью. Мимо снова просвистел племянник, постаревший еще на год. Он ругался почему зря. Он плевался, как павиан. Он боролся с ветром, цеплялся за медный стержень, сопротивляясь все растущей центробежной силе. Он пытался пробиться через коней и зебр к внешнему краю. Он приезжал, уезжал, приезжал, уезжал, цеплялся и вопил. Из пульта сыпался сплошной каскад сиреневых искр. Карусель вздрагивала и взбрыкивала. Вот племянник промахнулся рукой мимо стержня и упал. Копыто черного жеребца зацепило его по лицу. На лбу появилась кровь.

Джим рвался к пульта. Вилли оседлал его и прижимал к земле. Оба были бледны до синевы. Теперь уже из недр пульта вылетали целые фейерверки. Карусель сделала тридцать оборотов, сорок («Ладно, Вилли, дай я встану»), пятьдесят оборотов. С последним клубом пара взвыла каллиопа, засипела и вовсе потеряла голос. Шипящая ослепительная дуга встала над остатками пульта, она словно заботилась о животных, несущихся по кругу, освещала им путь. Где-то среди зверей затерялся уже не мальчик, и даже не мужчина,

а куда больше, намного больше, и даже еще больше того... все по кругу, по кругу.

— О Вилли! Он же теперь... он... — Джим вдруг вскрикнул. Он уже ничего не мог сделать, во всяком случае вот так, придавленный к земле, со стиснутыми руками. — Да отпусти же ты меня, Вилли! Мы должны заставить ее крутиться назад!

В шатрах начали появляться огни, но пока еще никто не выходил. «Почему? — думал Вилли. — Почему никого нет? Тут взрывы, грохот, музыка эта безумная — и никого. Где мистер Дарк? Ушел в город? Готовит какую-нибудь новую пакость?»

Фигура на карусельном круге билась в агонии. Сердце у Вилли тоже пыталось нащупать какой-то лихорадочный ритм: быстро, очень быстро, медленней, медленно, опять быстро, невероятно быстро, опять медленно, совсем медленно, так медленно опускается луна в конце белой зимней ночи.

Там, на карусели, едва слышный стон.

«Слава богу, темно, — подумалось Вилли. — Слава богу, не разглядеть ничего. О! Там ходит кто-то, сюда идет».

Выцветшая тень на вихляющемся круге пыталась удержаться на какой-то незримой грани, но было поздно, уже поздно, совсем поздно, о, слишком поздно. Карусель со свистом рассекала воздух, она словно высасывала из пространства остатки солнечного света, смеха, чувств, а вокруг все шире расплзались тьма и стужа.

В последнем приступе рвоты пульт управления напрочь оторвался от машинной коробки. Карусельные огни мигали и гасли один за другим. Круг постепенно замедлял свой безумный бег. Вилли отпустил Джима. «Сколько же раз она повернулась? — подумал он. — Шестьдесят? Восемьдесят? Девяносто?»

«Сколько?» — спрашивали глаза Джима.

Карусель сотрясали судороги. Она остановилась. Круг замер, и по его фатальной неподвижности сразу становилось понятно: ничто больше, ни сердца, ни руки, ни головы, не вернет карусель к жизни.

Ребята встали и медленно подошли. Подошвы пошаркивали, словно делились друг с другом впечатлениями.

Что-то лежало с ближней стороны на деревянном полу. Лица не видно. С платформы свисала рука. Она могла принадлежать кому угодно, только не мальчишке. Большая, будто обтянутая пергаментом, сморщенным от огня. У человека на деревянном кругу были длинные-длинные, спутанные ветром белые космы. Ребята наклонились над ним. Глаза закрыты и как будто ссохлись. Нос заострился — так обтянула его кожа. Губы выцветшими лепестками едва прикрывали сжатые зубы. Тело под одеждой казалось тщедушным, но совсем не по-детски. Это был старик, но не обычный старый человек, умерший лет в девяносто, или очень старый, доживший до ста десяти, нет, это был какой-то совершенно ветхозаветный старик невозможных лет.

Вилли тронул тело. Человек был холоден, как лягушка-альбинос. От него исходил едва различимый запах ночных болот и древних египетских гробниц, наверное, так пахли полотнища, в которые заворачивали набальзамированных фараонов. Какой-то музейный экспонат, вынутый из витрины.

И все же он был еще жив. Он слабенько поскуливал и продолжал усыхать на глазах, быстро, очень быстро.

Вилли вывернуло наизнанку прямо у края платформы. А потом они бежали, поддерживая друг друга, с трудом загребая стопудовыми подошвами чугунные листья, окаменевшую траву и свинцовую пыль...

Глава 24

Одинокий жестяной фонарь у перекрестка окружило облачко мотыльков. Неподалеку чуть слышно сипела старая газовая будка. Двое мальчишек забились в тесную телефонную кабину. Они крепко держались друг за друга и вздрагивали при каждом ночном шорохе.

Вилли повесил трубку. Полиция и «Скорая помощь» должны были прибыть с минуты на минуту.

Поначалу они с Джимом хриплым шепотом строили самые невероятные планы. Они сейчас пойдут домой, лягут спать, уснут и все забудут. Нет! Отправятся на товарном поезде на запад. Нет! Ведь если мистер Кугер сообразит, что это они его так отделали, тот старик, та египетская мумия, в которую он превратился, будет гоняться за ними по всему свету, рано или поздно догонит и разорвет в клочки. Так, споря и трясясь, они оказались в телефонной кабине, и вот уже мимо с включенной сиреной пробирается полицейская машина, а за ней и «Скорая помощь». В обеих машинах заметили перепуганных пацанов, стучащих зубами в мутном от мотыльков свете фонаря.

А три минуты спустя машины уже мчались вперед, Джим показывал дорогу и болтал при этом без умолку.

— Да жив он, точно! Должен быть жив. Мы же не хотели вовсе. Ей-богу, жаль, что так получилось!

Он уставился на черные шатры и замолчал.

— Не дрейфь, приятель, — пробасил полицейский. — Пошли.

Двое полицейских в темно-синем, двое санитаров в прозрачно-белом и двое мальчишек не поймешь в чем в последний раз повернули, огибая «чертово колесо», и остановились перед каруселью.

Джим застонал сквозь зубы.

Кони окаменело взвивались в ночь на полном скаку. Звездный свет мерцал на медных копыях. И больше — ничего.

— Он ушел.

— Был он здесь, клянemся! — горячо заговорил Джим. — Ему лет сто пятьдесят было, а то и двести, он и умирал от этого.

— Джим, — тихонько сказал Вилли.

Четверо мужчин беспокойно озирались.

— Может, его в шатер отнесли, — предположил Вилли.

Полицейский взял Джима за локоть.

— Ты говоришь, лет сто пятьдесят? — спросил он. — А почему не триста?

— Да может, и триста! — взрыдал Джим. Он повернулся и крикнул: — Мистер Кугер! Мы помощь привели!

На Шатре Чудес мигнули огни. Черные полотнища знамен хлопали и трепетали перед входом. Полицейские посмотрели вверх. «МИСТЕР СКЕЛЕТ. ПЫЛЬНАЯ ВЕДЬМА. СОКРУШИТЕЛЬ. ВЕЗУВИО, ПЬЮЩИЙ ЛАВУ» — танцевали огромные буквы, каждая на отдельном вымпеле.

Джим помедлил и снова позвал:

— Мистер Кугер! Вы... там?

Флаги в ночном воздухе вздохнули. Шатер выдохнул теплый львиный дух.

— Ну что? — спросил полицейский.

Джим, задрав голову, читал появлявшиеся на флагах буквы.

— Они говорят: «Да». Они говорят: «Входите».

Джим шагнул вперед. Остальные вошли за ним. Внутри им пришлось перешагнуть через скрещенные тени от шестов, преграждавшие дорогу к высоким чудным подмосткам. Там за карточным столиком собралась невиданная компания. Карты в руках и на столе переливались оранжевым, ярко-зеленым и солнечно-желтым цветами. На них можно было разобрать изображения каких-то бледных зверей и крылатых людей. Игроков было четверо: подбоченившийся Скелет, Дутик, которого спускали каждую ночь и надували каждое утро, уродливый лилипут по имени Бородавка, а рядом с ним и вовсе какая-то мелюзга, то ли гном, то ли урод, не поймешь, вцепился в карты узловатыми, изуродованными артритом пальцами.

Стоп! Карлик! Вилли насторожился. Что-то там было насчет рук... Знакомые руки... Кто? Когда? Где? Ладно, не вспомнить. Он перевел взгляд в глубину шатра. Там стоял синьор Гильотини при полном параде. Весь в черном, в черных сапогах до колен, черный капюшон на голове, — стоит возле своего детища и руки на груди сложил. Голодный гильотинный нож высоко поднят — сплошные блики и ме-

теорный блеск. Так и хочет ринуться вниз. А там уже приготовлена кукла. Лежит и ждет своей участи. Еще дальше стоит Сокрушитель — сплошные железные мышцы и стальные жилы, хоть сейчас готов сокрушить кому-нибудь челюсть или согнуть подкову. Тут же расположился и Везувио с истертым языком и сожженными зубами. Больше того, он находился при исполнении обязанностей и как раз допивал каменную чашу с лавой. По своду шатра перебегали багровые и малиновые отсветы. Неподалеку, каждый в своей будке, тридцать других уродцев наблюдали за игрой огней, дюжиной маленьких огненных солнц, бегавших над краями чаши. Везувио заметил посетителей и вылил остатки в бочку с водой. Шарахнулся пар. Все застыло. Даже противный зудящий звук, с самого начала наполнявший балаган, смолк.

Вилли быстро оглянулся. На большом помосте у дальней стены с полосатым шершнем в руке стоял обнаженный до пояса мистер Дарк, Человек-в-Картинках. Вытатуированные орды струились по его плечам. Используя шершня как иглу, он завершал очередной рисунок на левой ладони. Насекомое перестало жужжать, мистер Дарк повернулся к вошедшим. Но Вилли смотрел не на него.

— Вот он! Вон мистер Кугер!

Полицейские и санитары засуетились. За спиной мистера Дарка помещался «электрический стул». Зажатый его проводами и скобами, сидел давешний старик. Там, на сломанной карусели, он выглядел каким-то скомканным, а здесь его распрямили, и он важно ожидал удара молнии от своего последнего трона.

— Это он! Это он... умирал на карусели!

Долговязый Скелет обернулся от стола. Дутик и вовсе вскочил. Бородавка по-блошиному сиганул в кучу опилок. Карлик выронил карты и принялся вращать пустыми идиотскими глазищами.

«Да я знаю его! — понял Вилли. — Боже! Что они сделали с ним! Продавец громоотводов — вот это кто! Каким же ужасным колдовством вбили его в эту скрюченную плоть недомерка? Торговец громоотводами...»

Но тут его мысли прервали два события, случившиеся с замечательной слаженностью. Синьор Гильотини прокашлялся и дернул рычаг. Лезвие ястребом скользнуло вниз. Шелест-стук-хруст-удар! Отсеченная голова куклы упала в корзину. Вилли мог бы поклясться, что лицо куклы, как в зеркале, напоминает его собственное, но ни за какие коврижки он не полез бы в корзину проверять свое подозрение. За этим событием последовало другое.

Механик, копавшийся в механизме застекленной, похожей на гроб будки, нажал на что-то. Щелкнул какой-то зубец под вывеской: «Мадемуазель ТАРО¹. ПЫЛЬНАЯ ВЕДЬМА». Восковая фигура в стеклянном гробу кивнула и проследила затаянными черной паутиной незрячими глазами за проходившими мимо мальчишками. Холодная восковая рука стряхнула на край гроба ПЫЛЬ СУДЬБЫ. Это была отлично сработанная кукла, и полицейские заулыбались, оценив представление синьора Гильотини и Пыльной Ведьмы. Стражи порядка уже расслабились и, похоже, не очень-то сетовали по поводу ночного вызова в это забавное царство акробатов и потрепанных волшебников.

— Джентльмены! — звучно произнес мистер Дарк, и все скопище картинок на нем словно бросилось в атаку. — Добро пожаловать! Вы успели вовремя. Мы как раз репетируем новые номера.

Мистер Дарк взмахнул рукой, и чудовища у него на груди оскалили зубы и обнажили клыки. На животе дернулся циклоп с пупком на месте глаза.

«Господи, — подумал Вилли, — не то он таскает на себе всю эту ораву, не то она тащит и толкает его в разные стороны». Вилли чувствовал, что не только глаза полицейских и санитаров не в силах оторваться от волшебных картинок, шевелящихся на коже мистера Дарка. Все уродцы в шатре точно так же зачарованы жизнью этой толпы, этого чело-

¹ Карты Таро — древнейшие из сохранившихся игральные и гадальные карты. Завезены в Европу цыганами в XIV в.

веческого и звериного скопища, требующего ежесекундного внимания.

В груди мистера Дарка проснулся орган. Из глубины поднялся звук, словно разом заговорили все картинки на его потной коже. Мышцы заиграли, и полчища обезумели. Их буйство словно передалось другим уродцам в шатре. Они задрожали в своих будках, на своих помостах, но и Вилли с Джимом чувствовали, как голос мистера Дарка отдается у них в спинном мозге, гнет к земле, превращает в уродов.

— Джентльмены! — гремел мистер Дарк. — Уважаемые молодые люди! Мы как раз завершили наш новый номер, и вы сможете стать его первыми зрителями!

Один из полицейских, небрежно положив руку на кобур, прищуренным глазом обвел шатер.

— Вот парень говорит...

— Говорит?! — захохотал мистер Дарк.

Уродцы подскочили и забились в припадке. Мистер Дарк слегка похлопал и огладил свои картинки, и существа в шатре тут же затихли, словно их тоже похлопали и огладили.

— О чем он может говорить? — пренебрежительно произнес мистер Дарк. — Что он мог видеть? Эта публика часто пугается на представлениях. Стоит выскочить уродцу — и он уже задал стрекача. Но этой ночью, этой ночью особенно...

Полицейский, не слушая, показал пальцем на мумию, восседавшую на «электрическом стуле».

— Это кто?

— Этот?

Вилли заметил огонь, метнувшийся в глазах мистера Дарка. Впрочем, Человек-в-Картинках тут же взял себя в руки.

— Это наш новый номер: мистер Электрико!

— Нет! — завопил Вилли, и все повернулись к нему. — Вы только посмотрите на старика! Разве вы не видите? Он же мертвый! Его же только эти скобы да провода и держат!

Санитары как-то скептически посмотрели на узника «электрического стула».

«О черт! — подумал Вилли. — Мы-то думали, все будет просто. Мистер Кутер умирает, а мы — вот они, с врача-

ми, и они его спасают, а он тогда, может быть, простит нас, и этот чертов Карнавал нас отпустит. А что получается? Старик уже мертв. Слишком поздно. И все нас ненавидят».

Вилли чувствовал холод, расхолодившийся от непогребенной мумии, от холодного рта, от смерзшихся век. Ни один седой волосок не шелохнется. Ребра под опавшей рубашкой каменно-неподвижны. Землистые губы словно из сухого льда. Вытащи его наружу — от него пар пойдет!

Санитары переглянулись, кивнули полицейским. Те шагнули вперед.

— Джентльмены! — Мистер Дарк рукой, украшенной жутким тарантулом, ухватил рукоять рубильника. — Сейчас на ваших глазах сто тысяч вольт пронизуют тело мистера Электрико!

— Нет, не позволяйте ему! — закричал Вилли.

Полицейские сделали еще по шагу вперед. Санитары открыли рты, собираясь сказать что-то. Мистер Дарк метнул на Джима властный взгляд. И Джим тут же крикнул:

— Да нет! Все в порядке!

— Ты что, Джим?!

— Брось ты, Вилли, все нормально.

— Всем отойти! — Тарантул впился в рубильник. — Этот человек в трансе! Я загипноотизировал его. Нельзя нарушать чары, это может ему повредить.

Санитары закрыли рты. Полицейские остановились.

— Сто тысяч вольт — и после этого он будет как огурчик!

— Нет!

Полицейский сгреб Вилли. Человек-в-Картинках и все твари, населявшие его, повернули рубильник. Тотчас огни в шатре погасли.

Полицейские, санитары, мальчишки разом подскочили. «Электрический стул» превратился в камин, в нем, как сухое полено, полыхал старик. Полицейские отпрянули, санитары подались вперед. Уродцы в клетках вытянули головы. Синий огонь плясал, отражаясь во множестве глаз.

Старик был мертв как камень. Но теперь в него вливалась новая, электрическая жизнь. Электричество кипело на его

ушных раковинах, мельтешило в глубоких ноздрях, словно в пересохших колодцах, выложенных камнем, вползало синими змейками в скрюченные пальцы.

Рот Человека-в-Картинках открыт. Наверное, он кричит что-то. Никто не слышит его за шипением, треском и маленькими взрывами энергии. Она везде: вверху, внизу, справа, слева от человека и его кресла-тюрьмы.

«Оживай!» — гудит вокруг.

— Оживай! — кричат грозные разряды.

— Оживай! — вопит мистер Дарк, и слышит его только Джим, читающий по губам.

Вилли тоже понимает: воля мистера Дарка толкает старца, пытается пересоздать его заново, отодрать душу, растопить восковой дух...

— Он же мертвый!

Нет, никто не слышит Вилли, как ни надрывайся, как ни перекрикивай грохот молний.

— Живой!

Губы мистера Дарка причмокнули. Живой! Оживает. Он передвинул переключатель в последнюю, крайнюю позицию. Жив! Где-то надсадно выли динамо-машины, скрипели, визжали, выдавливая дьявольскую энергию. Свет стал бутыльно-зеленым.

«Мертвый! Мертвый!» — думал Вилли.

«Живой! Живой!» — кричали машины, вопили огонь и молнии, выкрикивали глотки орды сине-багровых тварей, усеявших разрисованное тело.

У старца встали дыбом волосы на голове. С ногтей стекали на пол искры. Зеленый горячий огонь трепетал возле сомкнутых век.

Человек-в-Картинках наклонился над старым-престарым, мертвым-премертвым человеком. Стаи зверей тонули в поту на груди. Рука с тарантулом рубила воздух, задавая ритм: живи! жи-ви!

И старец ожил. Вилли взвыл дурным голосом, но его никто не услышал. Все неотрывно следили за тем, как под

напором электрического пламени медленно поднимается мертвое веко.

Уродцы разинули рты. Где-то рядом маялся Джим. Вилли не глядя поймал его за локоть и почувствовал крик, отдававшийся в костях. Губы старика приоткрылись. Между зубами мечется и шипит синий огонь. Человек-в-Картинках уменьшил ток. Повернулся. Картинно припал на колени и вытянул руку.

Там, в кресле, у старика на груди чуть шевельнулась рубашка. Словно осенний лист ворохнулся под тонкой тканью.

Уродцы разом выдохнули. Старец вздохнул.

«Да, — подумал Вилли, — это они дышат за него, они делают его живым». Вдох, выдох, вдох, выдох. Да ну, это не по правде. Он же не сможет ничего сказать, сделать.

— ...Теперь легкие, так, так, — прошелестел чей-то голос за спиной Вилли.

Кто это? Пыльная Ведьма в своем стеклянном гробу? Вдох. Уродцы перевели дух. Выдох. Их плечи поникли. Губы старца задрожали.

— ...Теперь сердце бьется... раз, два, раз, два, так.

Опять Ведьма? Вилли не мог заставить себя оглянуться.

Возле ключицы старца запульсировала жилка. Правый глаз открылся полностью, замер, как сломанная фотокамера. Зрачок казался бездонной дырой. Но он теплел с каждой секундой. Зато мальчишки внизу холодели.

Вот древний и ужасно мудрый кошмарный глаз ожил на фарфоровом лице, а откуда-то с самого дна противный племянничек уже разглядывал уродцев по стенам, санитаров, полицейских и... и Вилли.

Вилли видел себя и Джима — маленьких, крошечных, отраженных в этом единственном глазу. Он затаил дыхание. Если старец моргнет, два отражения будут раздавлены чугунными веками!

Человек-в-Картинках повернулся к зрителям и ослепительно улыбнулся.

— Джентльмены! И вы, мои юные друзья! Перед вами человек, живущий с молнией!

Один из полицейских рассмеялся и снял руку с кобуры.

Вилли шмыгнул направо. Глаз тотчас же последовал за ним. Вилли юркнул налево. Скользкий взгляд преследовал его неотступно, губы мумии дрогнули и пропустили звук. Кажется, он долго блуждал в недрах окаменелого тела, прежде чем проложить дорогу на волю.

— Бла-го-да-рен-ннн...

Слова проваливались обратно в глубину.

— Благодарен-ннн...

Полицейские с улыбками переглянулись.

— Нет! — снова выкрикнул Вилли. — Он же не живет. Если выключить ток, он опять будет мертвым!

Он сам зажал себе рот рукой. «Господи! — подумал он. — Что это я? Я ведь хочу, чтобы он ожил, ожил и простил нас, отстал от нас! Но еще сильнее я хочу, чтобы он умер, чтобы они все тут поумирали. Ну что они меня пугают? У меня же от страха в животе клубки какие-то катаются... как кошки...»

— Простите меня, — прошептал он.

— Не за что! — воскликнул великодушный мистер Дарк.

Уродцы суматошно моргали и тарасились. Что там дальше с этой мумией в холодном испепеляющем кресле?

Щеки старца запали, внутри что-то булькало. Человек в-Картинках снова дернул рубильник. Поток электричества с шипением пробежал по дряхлому телу. Мистер Дарк бешено ухмыльнулся и вложил в безвольную руку стальной меч. Открылся второй глаз, быстро, как дырка от пули, тут же нащупал Вилли и уже не выпускал больше.

— Я сссмотрел, — шипели губы мумии, — мальчишки шатаются у шатра.

Пересохшие мехи быстро наполнялись, потом, словно проткнутые шилом, отдавали воздух со слабым всхлипом.

— Мы... ремонтировали, и я прикинулся мертвым...

Снова пауза, чтобы глотнуть кислородного эля, электрического вина.

— Я свалился, как будто умер... они завизжали... и бежать! — Старик засмеялся. Он выдыхал каждый звук отдельно: — Ха! — Пауза. — Ха! — Опять пауза. — Ха!

Электричество обметало шелестящие губы.

Человек-в-Картинках деликатно покашлял.

— Джендльмены, представление утомило мистера Электрико...

— Да, конечно, — спохватился один из полицейских. — Извините за беспокойство, — он тронул фуражку, — отличный номер!

— Прекрасно, — одобрил один из санитаров.

Вилли вытянул шею, пытаясь посмотреть на санитаря, сказавшего такое, но Джим заслонял его.

— Наши юные друзья! — провозгласил мистер Дарк. — Для вас — дюжина свободных посещений. — Он что-то протягивал ребятам.

Ни Джим, ни Вилли не тронулись с места.

— Ну? — подтолкнул их полицейский.

Вилли неуверенно коснулся разноцветных билетиков, но тут же отдернул руку, услышав: «Ваши имена?»

Полицейские перемигнулись. Молчание. Уродцы наблюдают.

— Саймон, — произнес Джим. — Саймон Смит.

Рука мистера Дарка, держащая контрамарки, сжалась.

— Оливер, — проговорил Вилли. — Оливер Браун.

Человек-в-Картинках с шипением втянул воздух. Уродцы по стенам *вдохнули*. Общий вздох, казалось, разбудил мистера Электрико. Меч у него в руке дернулся. От острия на плечо Вилли посыпались искры. Потом маленькая молния скакнула к Джиму. Полицейские расхохотались. Глаз старца злобно полыхал.

— Я... дам вам прозвища... ослы вы этакие... Я вас окрещу... Ты будешь мистер Хилый... а ты... мистер Тусклый. — Мистер Электрико помолчал и слегка стукнул ребят мечом. — Короткой... грустной жизни вам... обоим!

Рот старца захлопнулся, глаз устремился вдаль. Он трудно дышал. Электрические искорки пузырьками шампанского роились в его крови.

— Ваши билеты, господа, — мурлыкал мистер Дарк. — Свободный вход, бесплатные аттракционы. В любое время. Приходите. Возвращайтесь.

Джим схватил билеты, Вилли стреб свои. Они развернулись на пятках и вылетели вон из шатра.

Полиция, улыбаясь, сделала всем ручкой и проследовала за мальчишками. Санитары, без улыбок и прощальных жестов, еще больше похожие на призраков, замыкали отступление. Они нашли Джима и Вилли в уголке, на заднем сиденье полицейской машины. По виду ребят можно было понять, как им хочется оказаться дома.

Часть II

ПОГОНЯ

Глава 25

Она чувствовала зеркала в комнатах, как чувствуешь первый снег, даже не глядя в окно. Еще несколько лет назад мисс Фолей заметила, что в доме вместе с ней поселилось множество ее собственных теней, и тогда она решила избегать холодных льдистых провалов в гостиной, над комодами и в ванной. Лучше всего скользить по ним, как на коньках по тонкому льду, чуть задержись, и под грузом твоего внимания хрупкая корочка проломится, ухнешь сквозь нее и будешь погружаться в холодную глубину все дальше, на дно, где подстерегает прошлое, вырезанное словно барельеф на могильном мраморе. В вены хлынет ледяная вода, и ты навеки окажешься прикован к зеркальной глади, не в силах оторвать взгляд от железных доказательств Времени.

А сегодня, под затихающий вдаль топот трех пар мальчишеских ног, она почувствовала редкие холодные снежинки, падающие в зеркалах ее дома. Ей захотелось нырнуть в зеркальную глубь, посмотреть, что за погода ждет ее там. Но удержало опасение: стоит поддаться желанию и дать зеркалу силу схватить и удержать эту толпу женщин, бредущих вспять, чтобы стать девушками, девушек, шагающих навстречу маленьким девочкам, — столько людей поселится в ее тесной квартирке, этак и задохнуться можно.

Так что же делать теперь с зеркалами? И что делать с этими паршивцами — Вилли Хеллоуэем и Джимом Найтшедом? И с... племянником? Вот чудно. Почему-то не получается произнести: «С моим племянником».

«Да ведь я с самого начала, — думала она, — с того момента, как он в дверь вошел, поняла, что он — не отсюда. И зря он мне доказывал, я все равно ждала... Чего вот только?»

Сегодня ночью... карнавал. «Музыка, — твердил ей Роберт, — которую обязательно *надо* услышать, аттракционы, на которых обязательно *надо* прокатиться. А там лабиринт, где спит арктическая зима... То ли дело — карусель! Плыви себе по лету, сладкому, как клевер, среди медвяных трав и дикой мяты».

Мисс Фолей выглянула на лужайку. В траве все еще поблескивали камни. Она ведь каким-то шестым чувством поняла, что племянник просто хотел избавиться от мальчишек, видно, опасался, как бы они не отговорили ее воспользоваться билетом. Она взяла с каминной полки белый картонный прямоугольничек.

КАРУСЕЛЬ. ОДИН ЧЕЛОВЕК — ОДИН РАЗ.

Время шло. Племянник не возвращался. Значит, надо действовать самой. Надо осторожно обойти — не дай бог задеть или обидеть — этих стражников, Вилли и Джима. Нельзя, чтобы они встали между ней и племянником, между ней и ее каруселью, между ней и восхитительным полетом среди летних лугов.

Этот Роберт даже своим молчанием ухитрился сказать так много, молчанием, взглядом, тем, как держал ее руку... легким ароматом свежего дыхания, похожего на дух только что испеченного яблочного пирога.

Она сняла телефонную трубку. Из окна ей виден был огонек в здании библиотеки. Уже много лет весь город видит его по ночам. Она набрала номер. Тихий голос ответил. И тогда она твердо заговорила:

— Библиотека? Мистер Хеллоуэй? Это мисс Фолей, учительница Вилли. Я вас прошу, встретьте меня через десять минут возле полицейского участка. Мистер Хеллоуэй?.. — Пауза. — Вы все еще там?

Глава 26

«Скорая помощь» и полицейская машина, борт о борт, встали на перекрестке. Один из санитаров опустил стекло и сказал полицейскому за рулем:

— Готов поклясться. Когда мы туда приехали, старик был мертв.

— Шутите! — отозвался полицейский.

В санитарной машине двое пожали плечами.

— Точно, шутим.

С перекрестка белая машина ушла вперед, синяя двинулась следом. На заднем сиденье скорчились Джим и Вилли. Поначалу они пытались еще объяснять что-то, но полицейские не слушали, они со смехом вспоминали и пересказывали друг другу недавнее посещение балагана. Тогда ребята попросили высадить их на углу, не доезжая участка.

Их и высадили возле двух темных домов. Ребята бодро взбежали каждый на свое крыльцо, взяли за ручки дверей (тем временем машина свернула за угол), спокойно сошли по ступенькам и отправились следом.

Через пять минут они разглядывали из-за угла освещенный, как днем, участок, и Вилли сообразил, что на дворе стоит глубокая ночь, и взглянул на Джима. Джим следил за ярко освещенными окнами, словно ждал: вот сейчас они погаснут навек, ночь затопит их.

«Я выбросил свои контрамарки еще по дороге, — думал Вилли, — а Джим, гляди-ка, так и держит свои». Вилли задрожал. «Ну чего он теперь-то хочет? Что еще задумал и что вообще можно думать после того, как мертвец ожил в раскаленном добела электрическом кресле? Он что, и после этого все еще любит карнавалы?» Вилли всмотрелся в глаза Джима. Да, вот они, отсветы огней этого дьявольского балагана, так и остались в зрачках Джима. Но ведь это все-таки Джим! Вот же он стоит в ярком свете Справедливости из-за угла.

— Слушай, Джим, — сказал Вилли. — Начальник полиции, он нас выслушает.

— Ага, — тут же отозвался Джим. — Он как раз проснулся бабочек ловить. Черт побери, Вилли! Даже я не поверю тому, что случилось за последние двадцать четыре часа!

— Значит, надо еще кого-нибудь найти. Ведь мы знаем теперь, чего стоит этот проклятый карнавал!

— О'кей. И чего же он стоит, по-твоему? Что в нем такого уж плохого? Ну подумаешь, напугал старуху в лабиринте! Да она сама испугалась, скажут в полиции. Дом ограбил? О'кей. А где грабитель? Стариком вдруг обернулся? Да что ты? Кто ж поверит, что эта дряхлая развалина только что была двенадцатилетним мальчишкой? И что остается? Ах да, этот бродяга со своими громоотводами исчез. А сумку оставил. Ну, может, где-нибудь в городе шляется...

— Этот Карлик в балагане...

— Да видел я его, видел. Похож на торговца, точно. А как ты докажешь, что еще недавно он был не такой? Кугер был мальчишкой, этот был большим, видишь, что получается? Нет у нас доказательств. Правильно... Видели мы... Ну и что? Наше слово против слова Дарка. Ему ведь поверят. Опять же, полиция так славно время провела. Черт возьми! Экая кутерьма! Как бы нам все-таки извиниться перед мистером Кугером?

— Извиниться?! — так и взвился Вилли. — Перед этим крокодилом? Перед этим людоедом? Ты что, еще не зарекся иметь дело с этими бормоглотами и гримзами?

— Бормоглотами, говоришь? Гримзами? — Джим задумчиво поглядел на друга.

Так они привыкли называть между собой всякую нежить из ночных кошмаров. Когда к Вилли приходили бормоглоты, они стонали, невнятно бормотали и лица на них не было. А в кошмарах Джима гримзы росли как на дрожжах и питались крысами, которые, в свою очередь, пожирали пауков, таких здоровенных, что они сами охотились на кошек.

— Именно так и говорю, — огрызнулся Вилли. — Чего ты ждешь? Чтобы на тебя шкаф в десять тонн свалился? Посмотри, что с двоими уже сделали: с мистером Электрико и с этим свихнутым Карликом. Проклятая карусель черт

знает что с людьми творит! Мы-то знаем, мы видели. Может, они нарочно так скрючили торговца, а может, опять не заладилось. Ну, принял он маленько, проехался на карусели — хлоп! — и готово! Свихнулся и даже нас не узнал. Мало тебе? Неужто тебя Господь оставил, Джим? Слушай, а может, и мистер Крозетти...

— Да он просто передохнуть решил.

— Может, да, а может, нет. Парикмахерская — раз, объявление — два: «Закрыто по болезни». По какой это болезни, а, Джим? Леденцов объелся на представлении? Морскую болезнь на карусели подхватил?

— Ай, да заткнись ты, Вилли!

— Нет, сэр, не заткнусь, не дождешься. Оно, конечно, сильная штука эта карусель. Думаешь, я навсегда хочу тринадцатилетним остаться? Вот уж дудки! Но, Джим, ты ведь не по правде захотел двадцатилетним стать?

— А о чем мы с тобой все лето говорили?

— Верно. Говорили. И ради этого ты сунешь голову в проклятую костоломку? Ну, вытянут тебя, да только после этого ты и думать забудешь, зачем оно тебе понадобилось!

— Нет уж, не забуду, — упрямо выдохнул в ночь Джим.

— А я тебе говорю — забудешь! Просто уйдешь и бросишь меня здесь, Джим.

— С чего это мне тебя бросать? — запротестовал Джим. — Не собираюсь я. Мы вместе будем...

— Вместе? Только ты на два фута выше, да? Будешь смотреть на меня сверху и хвастать своими руками-ногами. И о чем это мы говорить будем, скажи на милость, если у меня в карманах полно веревок для змеев, камушков и лягушачьих лап, а у тебя там будет чисто и пусто? Об этом, что ли, мы будем говорить, что ты бегаешь быстрее и запросто можешь меня бросить...

— Да не буду я тебя бросать, Вилли, никогда не буду!

— Мигом бросишь. Ладно. Давай. Оставь меня. У меня же есть перочинный ножик, со мной все в порядке. Буду под деревом сидеть, в ножички играть. А ты совсем свихнешь-

ся на этом черном жеребце, что носится кругами, да, слава богу, теперь-то уж не понесется больше...

— Это ты виноват! — выкрикнул Джим и замолчал.

Вилли сжал кулаки.

— Ты, значит, хочешь сказать, что надо было дать этому маленькому прохиндею спокойно превратиться в большого прохиндея и открутить нам головы? А может, надо бы и тебя пустить туда покататься и помахать мне ручкой на прощание? А я бы, значит, помахал тебе, да, Джим?

— Уймись ты, — пробормотал Джим. — Поздно теперь говорить, сломана карусель...

— А как починят ее, так сразу прокатят назад старину Кугера, чтобы он помоложе стал да вспомнил, как нас звать. И вот тогда они придут за нами, эти бормоглоты, нет, только за мной придут, ты ведь перед ними извиняться задумал, ты же скажешь им, как меня зовут и где я живу...

— Я не сделаю этого, Вилли, — произнес Джим сдавленным голосом.

— Джим! Джим! Вспомни. В прошлом месяце проповедник говорил: всему свое время, сначала одно, потом — другое, одно за другим, Джим, а не два за двумя, помнишь?

— Всему свое время, — тихо повторил Джим.

И тут до них донеслись голоса. В полицейском участке говорила женщина, а мужчины что-то отвечали ей.

Вилли быстро кивнул Джиму, они пробрались через кусты и, подкравшись к окну, заглянули в комнату.

За столом сидела мисс Фолей, напротив — отец Вилли.

— ...В голове не укладывается, — говорила мисс Фолей, — подумать только: Джим и Вилли — грабители! Надо же, в дом пробраться, взять, удрать!

— Вы точно их видели? — тихо спросил мистер Хеллоуэй.

— Я закричала, и они посмотрели вверх, а там — фонарь...

«Она молчит про племянника, — подумал Вилли, — и дальше молчать будет. Видишь, Джим! — хотелось крикнуть ему. — Это ловушка! Племянник специально поджидал нас, чтобы в такую заварушку втянуть! А там уж неважно бу-

дет, что мы кому про карнавалы с каруселями рассказываем. Хоть полиция, хоть родители — никто не поверит!»

— Я не хочу никого обвинять, — продолжала меж тем мисс Фолей, — но если они не виноваты, то где же они?

— Здесь! — раздался голос.

— Вилли! — отчаянно прошептал Джим, но было уже поздно.

Вилли подпрыгнул, подтянулся и перескочил через подоконник.

— Здесь, — просто сказал он.

Глава 27

Они неторопливо шли домой по залитым лунной тротуарам. Посредине — мистер Хеллоуэй, по бокам — ребята. Уже перед домом отец Вилли вздохнул.

— По-моему, не стоит тебе, Джим, нарываться на неприятности с твоей матушкой посреди ночи. Давай ты ей утром расскажешь, а? Ты, надеюсь, сможешь попасть домой по-тихому?

— Запросто! — фыркнул Джим. — Смотрите, что у нас есть...

— У нас?

Джим небрежно кивнул и отодвинул со стены густые плети дикого винограда. Под ними открылись железные скобы, ведущие прямо к подоконнику Джима. Мистер Хеллоуэй тихо засмеялся, но внутри содрогнулся от внезапной острой печали.

— И давно это здесь? Впрочем, ладно, не говори. У меня в детстве такие же были, — добавил он и взглянул на затерянное в зелени окно Джима. — Здорово, конечно, выйти попозже... — Он остановил себя. — Но вы не слишком поздно возвращаетесь?

— Да нет. На этой неделе — первый раз после полуночи.

Мистер Хеллоуэй поразмышлял немножко.

— Полагаю, от разрешения никакого удовольствия бы не было, так? Еще бы! Тайком смыться на озеро, на кладбище, на железную дорогу или в персиковый сад...

— Черт! Мистер Хеллоуэй, и вы, что ли, тоже, сэр?..

— Еще бы! Но только — чур, женщинам ни слова. Ладно. Дуй наверх, и чтоб до следующего месяца про эту лестницу забыть!

— Есть, сэр!

Джим по-обезьяньи взлетел наверх, мелькнул в окне, закрыл его и задернул занавеску.

Отец Вилли глядел на ступени, спускавшиеся из звездного поднебесья прямо в свободный мир пустынных тротуаров, темнеющих зарослей, кладбищенских оград и стен, через которые можно перемахнуть с шестом.

— Знаешь, Вилли, что мне горше всего? — задумчиво обратился он к сыну. — Что я больше не в состоянии бегать, как ты.

— Да, сэр, — ответил Вилли.

— Давай-ка разберемся, — предложил отец. — Завтра сходим, еще раз извинимся перед мисс Фолей и заодно осмотрим лужайку. Вдруг мы что-нибудь не заметили, пока лазили там с фонарями. Потом зайдем к окружному шерифу. Ваше счастье, что вы вовремя появились. Мисс Фолей не предъявила обвинение.

— Да, сэр.

Они подошли к стене своего дома. Отец запустил руку в заросли плюща.

— У нас тоже? — Он уже нащупал ступеньку.

— У нас тоже.

Мистер Хеллоуэй вынул кисет и набил трубку. Они стояли у стены; рядом незаметные ступени вели к теплым постелям в безопасных комнатах. Отец курил трубку.

— Я знаю. *На самом деле* вы не виноваты. Ничего вы не крали.

— Нет.

— Тогда почему признались там, в полиции?

— Да потому, что мисс Фолей почему-то хочет обвинить нас. А раз она так говорит, ну, значит, так и есть. Ты же видел, как она удивилась, когда мы через окно ввалились? Она ведь и думать не думала, что мы сознаемся. Ну а мы созна-

лись. Знаешь, у нас и кроме закона врагов хватает. Я подумал: если мы сознаемся, может, они отстанут от нас? Так и вышло. Правда, мисс Фолей тоже в выитрыше — мы ведь преступники теперь, кто нам поверит?

— Я поверю.

— Правда? — Вилли внимательно изучил тени на отцовском лице. — Папа, прошлой ночью, в три утра...

— В три утра...

Вилли заметил, как вздрогнул отец, словно от ночного ветра, словно он знал уже все и только двинуться не мог, а просто протянул руку и тронул Вилли за плечо. И Вилли уже знал, что не станет говорить больше. Не сегодня. Может быть, завтра, да, завтра, или... послезавтра, когда-нибудь потом, когда будет день и шатры на лугу исчезнут, и уроицы оставят их в покое, думая, что достаточно припугнули двоих пронирыливых мальчишек и теперь-то уж они придержат язык за зубами. Может, пронесет, может...

— Ну, Вилли, — с усилием выговорил отец. Трубка погасла, но он не заметил. — Продолжай.

«Нет уж, — подумал Вилли, — пусть лучше нас с Джимом съедят, но больше чтоб никого. Стоит узнать — и ты в опасности».

Вслух же он сказал:

— Пап, я тебе через пару деньков все расскажу. Ну точно! Маминой честью клянусь!

— Маминой чести для меня вполне достаточно, — после долгого молчания согласился отец.

Глава 28

Ах, как хороша была ночь! От пыльных пожухлых листьев исходил такой запах, будто к городу вплотную подступили пески аравийской пустыни. «Как это так, — думал Вилли, — после всего я еще могу размышлять о тысячелетиях, скользнувших над землей, и мне грустно, потому что, кроме меня, ну и еще, быть может, отца, никто не замечает

этих прошедших веков. Но мы почему-то даже с отцом не говорим об этом».

Это был редкостный час в их отношениях. У обоих мысли то кидались по сторонам, как игривый терьер, то дремали, словно ленивый кот. Надо было идти спать, а они все медлили и выбирали окольные пути к подушкам и ночным мыслям. Уже настала пора сказать о многом, но не обо всем. Время первых открытий. Первых, а до последних было еще так далеко. Хотелось знать все и ничего не знать. Самое время для мужского разговора, да только в сладости его могла затаиться горечь.

Они поднялись по лестнице, но сразу разойтись не смогли. Этот миг обещал и другие, наверное, даже не такие уж отдаленные ночи, когда мужчина и мальчик, готовящийся стать мужчиной, могли не то что говорить, но даже петь. В конце концов Вилли осторожно спросил:

— Папа... а я хороший человек?

— Думаю, да. Точно знаю — да, — был ответ.

— Это... поможет, когда придется действительно туго?

— Обязательно.

— И спасет, когда придется спастись? Ну, если вокруг, например, все плохие и на много миль — ни одного хорошего? Тогда как?

— И тогда пригодится.

— Хотя ведь пользы от этого не очень-то много, верно?

— Знаешь, это ведь не для тела, это все-таки больше для души.

— Слушай, пап, тебе не приходилось иногда пугаться так, что даже...

— ...душа уходит в пятки? — Отец кивает, а на лице — беспокойство.

— Папа, — голос Вилли едва слышен, — а ты хороший человек?

— Я стараюсь. Для тебя и для мамы. Но, видишь ли, каждый из нас сам по себе вряд ли герой. Я ведь с собой всю жизнь живу, знаю уж все, что стоит о себе знать.

— Ну и как? В общем?

— Ты про результат? Все приходит, и все уходит. А я по большей части сижу тихо, но надежно, так что, в общем, я в порядке.

— Тогда почему же ты несчастлив, папа?

Отец побряхтел.

— Знаешь, на лестнице в полвторого ночи не очень-то пофилософствуешь...

— Да. Я просто хотел узнать.

Повисла долгая пауза. Отец вздохнул, взял его за руку, вывел на крыльцо и снова разжег трубку. Потом сказал неторопливо:

— Ладно. Мама твоя спит. Будем считать, она не догадывается о том, что мы с тобой беседуем здесь. Можем продолжать. Только сначала скажи, с каких это пор ты стал полагать, что быть хорошим — и значит быть счастливым?

— Со всегда.

— Ну, значит, пора тебе узнать и другое. Бывает, что самый несчастливый в городе человек, с улыбкой от уха до уха, жуткий грешник. Разные бывают улыбки. Учись отличать темные разновидности от светлых. Бывает, крикун, хохотун, половину времени — на людях, а в остальную половину веселится так, что волосы дыбом. Люди ведь любят грех, Вилли, точно любят, тянутся к нему, в каких бы обличьях, размерах, цветах и запахах он ни являлся. По нынешним временам человеку не за столом, а за корытлом надо сидеть. Иной раз слышишь, как кто-нибудь расхваливает окружающих, и думаешь: да не из свинарника ли он родом? А с другой стороны, вон тот несчастный, бледный, обремененный заботами человек, что проходит стороной, — он и есть как раз тот самый твой Хороший Человек. Быть хорошим — занятие страшноватое. Хоть и на это дело охотники находятся, но не каждому по плечу, бывает, ломаются по пути. Я знавал таких. Труднее быть фермером, чем его свиньей. Думаю, что именно из-за стремления быть хорошей и трескается стена однажды ночью. Глядишь, вроде человек хороший и марку высоко держит, а упадет на него еще волосок — он и сник. Не может самого себя в покое оставить,

не может себя с крючка снять, если хоть на вздох отошел от благородства. Вот кабы просто быть хорошим, просто поступать хорошо, вместо того чтобы думать об этом все время. А это нелегко, верно? Представь: середина ночи, а в холодильнике лежит кусок лимонного пирога, чужой кусок! И тебе так хочется его съесть, аж пот прошибает! Да кому я рассказываю! Или вот еще: в жаркий весенний полдень сидишь за партой, а там, вдали, скачет по камням прохладная чистая речка. Ребята ведь чистую воду за много миль слышат. И вот так всю жизнь ты перед выбором, каждую секунду стучат часы, только о нем и твердят, каждую минуту, каждый час ты должен выбирать — хорошим быть или плохим. Что лучше: сбегать поплавать или париться за партой, залезть в холодильник или лежать голодным. Допустим, ты остался за партой или там в постели. Вот здесь я тебе секрет выдам. Раз выбрав, не думай больше ни о реке, ни о пироге, не думай, а то свихнешься. Начнешь складывать все реки, в которых не искупался, все несъеденные пироги, и к моим годам у тебя наберется куча упущенных возможностей. Тогда успокаиваешь себя тем, что чем дальше живешь, тем больше времени теряешь или тратишь впустую. Трусость, скажешь? Нет, не только. Может, именно она и спасает тебя от непосильного, подожди — и сыграешь наверняка. Посмотри на меня, Вилли. Я женился на твоей матери в тридцать девять лет, в тридцать девять! До этого я был слишком занят, отвыкая от будущего возможность упасть дважды, а не трижды и не четырежды. Я считал, что не могу жениться, пока не вылижу себя начисто и навсегда. Я не сразу понял, что бесполезно ждать, пока станешь совершенным, надо скрестись и царапаться самому, падать и подниматься вместе со всеми. И вот однажды под вечер я отвлекся от великого поединка с собой, потому что твоя мать зашла в библиотеку. Она зашла взять книгу, а вместо нее получила меня. Тогда-то я и понял: если взять наполовину хорошего мужчину и наполовину хорошую женщину и сложить их лучшими половинками, получится один хороший человек, целиком хороший. Это ты, Вилли. Уже довольно скоро я заметил, с грустью,

надо тебе сказать, что хоть ты и носишься по лужайке, а я сижу над книгами, но ты уже мудрее и лучше, чем мне когда-нибудь удастся стать...

У отца погасла трубка. Он замолчал, пока возился с ней, наконец разжег заново.

— Я так не думаю, сэр, — неуверенно произнес Вилли.

— Напрасно. Я был бы совсем уж дураком, если бы не догадывался о собственной дурости. А я не дурак еще и потому, что знаю — ты мудр.

— Вот интересно, — протянул Вилли после долгой паузы, — сегодня ты мне сказал куда больше, чем я тебе. Я еще немножко подумаю и, может, за завтраком тоже расскажу тебе побольше, о'кей?

— Я постараюсь подготовиться.

— Я ведь потому не говорю... — Голос Вилли дрогнул. — Я хочу, чтобы ты был счастлив, папа. — Он проклинал себя за слезы, навернувшиеся на глаза.

— Со мной все будет в порядке, сынок.

— Знаешь, я все сделаю, лишь бы ты был счастлив!

— Вильям, — голос отца был вполне серьезен, — просто скажи мне, что я буду жить всегда. Этого, пожалуй, хватит.

«Отцовский голос, — подумал Вилли. — Почему я никогда не замечал, какого он цвета? А он такой же седой, как волосы».

— Пап, ну чего ты так печально?

— Я? А я вообще печальный человек. Я читаю книгу и становлюсь печальным, смотрю фильм — сплошная печаль, ну а пьесы, те просто переворачивают у меня все внутри.

— А есть хоть что-нибудь, от чего ты не грустишь?

— Есть одна штука. Смерть.

— Вот так да! — удивился Вилли. — Уж что-что...

— Нет, — остановил его мужчина с седым голосом. — Конечно, Смерть делает печальным все остальное, но сама она только пугает. Если бы не Смерть, в жизни не было бы никакого интереса.

«Ага, — подумал Вилли, — и тут появляется Карнавал. В одной руке, как погремушка, Смерть, в другой, как леде-

нец, Жизнь. Одной рукой пугает, другой — заманивает. Это — представление. И обе руки полны!» Он вскочил с перил.

— Слушай, пап! Ты будешь жить всегда! Точно! Ну подумаешь, болел ты года три назад, так ведь прошло все. Правильно, тебе — пятьдесят четыре, так ведь это еще не так много! Только...

— Что, Вилли?

Вилли колебался. Он даже губу прикусил, но потом все-таки выпалил:

— Только не подходи близко к Карнавалу!

— Чудно, — покрутил головой отец. — Как раз это и я тебе хотел посоветовать.

— Да я и за миллион долларов не вернулся бы туда! «Но это вряд ли остановит Карнавал, — думал Вилли, — который по всему городу ищет меня».

— Не пойдешь, пап? Обещаешь?

— А ты не хочешь объяснить, почему не надо ходить туда? — осторожно спросил отец.

— Завтра, ладно? Или на следующей неделе, ну, в крайнем случае через год. Ты просто поверь мне, и все.

— Я верю, сын. — Отец взял его за руку и пожал. — Считай, что это — обещание.

Теперь пора было идти. Поздно. Сказано достаточно. Пора.

— Как вышел, — сказал отец, — так и войдешь.

Вилли подошел к железным скобам, взялся за одну и обернулся.

— Ты ведь не снимешь их, пап?

Отец покачал одну скобу, проверяя, хорошо ли держится.

— Когда устанешь от них, сам снимешь.

— Да никогда я от них не устану!

— Думаешь? Да, наверное, в твоем возрасте только так и можно думать: что никогда ни от чего не устанешь. Ладно, сын, поднимайся.

Вилли видел, как смотрит отец на стену, затянутую плющом.

— А ты не хочешь... со мной?

— Нет, нет, — быстро сказал отец.

— А зря. Хорошо бы...

— Ладно, иди.

Чарльз Хеллоуэй все смотрел на плющ, шелестящий в рассветных сумерках.

Вилли подпрыгнул, ухватился за первую скобу, за вторую, за третью... и взглянул вниз. Даже с такой небольшой высоты отец на земле казался съжившимся и потерянным. Вилли просто не мог оставить его вот так, бросить одного в ночи.

— Папа! — громко прошептал он. — Ну что ты теряешь?

Губы отца шевельнулись. И он тоже подпрыгнул неловко и ухватился за скобу.

Беззвучно смеясь, мальчик и мужчина лезли по стене друг за другом. След в след.

Вилли слышал, как карабкается отец. «Держись крепче», — мысленно подбадривал он его.

— Ох! — Мужчина тяжело дышал.

Зажмурившись, Вилли взмолился: «Держись! Немножко же! Ну!»

Нога старика сорвалась со скобы. Он выругался яростным шепотом и полез дальше.

А дальше все шло гладко. Они поднимались все выше и выше, отлично, чудесно — хоп! — и готово! Оба ввалились в комнату и уселись на подоконнике, примерно одного роста, примерно одного веса, под одними и теми же звездами, они сидели, обнявшись впервые, и пытались отдышаться, глотая огромные смешные куски воздуха, боясь расхохотаться и разбудить Господа Бога, страну, жену и маму; они зажимали друг другу рты ладонями, чувствуя кожей рук смеющиеся губы, и все сидели, сверкая яркими, влажными от любви глазами.

Потом отец все-таки нашел в себе силы, поднялся и ушел. Дверь спальни закрылась.

Слегка опьянев от приключений долгой ночи, открыв в отце то, что и не чаял открыть, Вилли сбросил одежду и как бревно повалился в кровать.

Глава 29

Вряд ли он проспал час. Какое-то неясное воспомина-ние разбудило его, он сел и сразу посмотрел на соседскую крышу.

— Громоотвод! — тихонько взвыл Вилли. — Его же нет!

Так оно и было. Украли? Нет, конечно. Джим снял? Точно. Но зачем? Вилли знал зачем. Джим говорил — чепуха, мол, все это. Вилли почти видел, как Джим с усмешкой лезет на крышу и отрывает чертову железяку. Нарочно отрывает, чтобы пришла гроза и чтобы молния ударила в его дом! Не мог Джим отказаться от такого развлечения, не мог не при-мерить обновку из электрического страха.

Ох, Джим! Вилли едва не выскочил в окно. Надо же немедленно прибить эту штуку на место. Обязательно. До утра. А то ведь проклятый Карнавал обязательно пошлет кого-ни-будь разузнать, где мы живем. Я не знаю, как они явятся и в каком обличье, но они придут, придут! Господи, Джим, а твоя крыша такая пустая! Посмотри, облака прямо летят, гроза идет, беда надвигается...

Вилли насторожился. Какой звук издает воздушный шар, когда его несет ветер? Да никакого. Нет, какой-то должен быть. Наверное, он шуршит, шелестит или вздыхает, как ве-тер, когда откидывает тюлевые занавески. А может, он по-хож на тот звук, с которым вращаются звезды во сне? Или... ведь закат и восход тоже слышно. Вот когда луна плывет между облаков, слышно ведь, так и шар, наверное.

Как его услышишь? Уши не помогут. Разве что волосы на загривке, и легкий пушок в ушах, и еще волоски на руках — они иногда звенят, как кузнечики. Вот они могут услышать, и тогда ты будешь точно знать, даже лежа в постели: где-то неподалеку в небесах плывет воздушный шар.

Вилли почувствовал движение в комнате Джима. Должно быть, и Джим своими антеннами уловил, как поднимаются над городом призрачные воды, открывая путь Левиафану.

Оба они почувствовали тяжелую тень, скользящую меж домами. Оба высунулись в один и тот же миг и в который

раз поразились этой удивительной слаженности, радостной пантомиме интуиции, предчувствия, обостренного годами дружбы. Оба задрали головы, посеребренные восходившей луной.

Как раз вовремя, чтобы заметить исчезающий за деревьями воздушный шар.

— С ума сойти! Что ему здесь надо? — Джим спрашивал, вовсе не рассчитывая на ответ.

Они оба знали. Лучше для поисков не придумаешь: ни тебе шума мотора, ни шороха шин, ни стука шагов по асфальту — только ветер, расчистивший в облаках целую Амазонку для мрачного полета плетеной корзины и штормового паруса над ней.

Ни Джим, ни Вилли не бросились от окон, они даже не шелохнулись, потому что шар возвращался! От него исходил призрачный звук — не громче бормотания в чужом сне.

Сильно и как-то сразу похолодало. Выбеленный многими бурями шар с легким журчанием падал вниз. Под слоновьей тенью враз заиндевела лужайка с цветочными часами. Уже можно было разглядеть и фигуру, торчавшую подбоченясь над краями корзины. Вот плечи, а это — голова? Луна светит прямо сзади, не разберешь... «Мистер Дарк!» — подумал Вилли. «Крушитель!» — показалось Джиму. «Бородавка! — решил Вилли. — Скелет! Пьющий лаву! Синьор Гильотини!»

Нет.

Это была Пыльная Ведьма, та, которая обращает в пыль черепа и кости и развеивает их по ветру.

Джим глянул на Вилли, Вилли — на Джима, и оба прочли по губам друг друга: «Пыльная Ведьма!»

«Но почему? — лихорадочно думал Вилли. — Почему на поиски послали восковую каргу, почему не кого-нибудь ядовитого или огнеглазого? Зачем отправлять дряхлую куклу со слепыми тритоньими веками, зашитыми черной вдовьей ниткой?»

И тогда, взглянув вверх, они поняли. Хоть и восковая, Ведьма была живей живых. Хоть и слепая, но она выставила из корзины длинную руку в пятнах ржавчины, и эта ру-

ка чутко просеивала воздух, касалась звездных лучей (они тускнели при этом), ловко распутывала воздушные течения и лучше носа вела ищейку.

И Джим, и Вилли знали даже еще больше. Слепота Ведьмы особая. Руки, опущенные вниз, ощущали биение мира, они могли незримо касаться крыш, ощупывать мешки на чердаках, мгновенно исследовать любую пыль, понимать сквозняки, пролетающие по комнатам, и души, трепыхающиеся в людях, руки видели, как легкие гонят кровь к вискам, к трепещущему горлу, к пульсирующим запястьям и снова к легким. Так же как ребята чувствовали морось, сеющуюся от шара, так же и Ведьма чувствовала их души, трепещущие вместе с дыханием возле ноздрей. Ведь каждая душа — огромный теплый след; Ведьма легко различала их, могла бы узнать по запаху, могла бы размять в пальцах, как глину, и определить на ощупь. Вилли чуял, как она с высоты обнюхивает его жизнь, как пробует мокрыми деснами и гадючьим языком ее на вкус, как прислушивается к звучанию, пропуская душу из одного уха в другое.

Руки играли воздухом. Одна — для Джима, другая — для Вилли. Тень от шара окатила их волной ужаса.

Ведьма громко дохнула вниз. Шар тут же подскочил вверх, и тень убралась.

— Боже! — промолвил Джим. — Теперь они нас выследили.

Оба едва перевели дух и снова замерли. Чуть слышно за скрипела и застонала крыша Джима под каким-то страшным, незримым грузом.

— Вилли! Она забирает меня!

— Нет, не то...

Шорох. Как будто мягкая щетка прошлась по крыше Джима. А потом шар взмыл вверх и направился к холмам.

— Смылась! Вон она летит! Джим, она что-то сотворила с твоей крышей. Быстро! Кинь веревку!

Джим натренированным броском (не в первый раз) забросил в комнату Вилли бельевую веревку. Одним движением Вилли закрепил ее под подоконником и, споро пере-

хватываясь руками, через минуту оказался в комнате Джима. Босиком, подталкивая друг друга, они выбрались на чердак. Выглянув из маленького окошка, Вилли зашипел: «Вот оно, Джим!»

Верно. Тут оно и было, серебрясь в лунном свете.

Такой след остается от улитки на тротуаре. Серебристо-гладкий, блестящий. Только улитка должна была бы весить фунтов сто. Серебристая полоса шириной в ярд начиналась от водосточного желоба, забитого листьями, и тянулась через весь скат до конька. Видно, и на той стороне было то же самое.

— Зачем это? — выдохнул Джим.

— Это же проще, чем высматривать номера домов и названия улиц. Твою крышу пометили, да так, что и днем и ночью издали видать.

— Черт меня побери! — Джим высунулся и потрогал след. На пальцах осталась какая-то клейкая гадость с противным запахом. — Вилли, что нам теперь делать?

— Я думаю, они не вернутся до утра. Не успеют. Не поднимут же они сейчас суматоху. А мы вот что сделаем!

На лужайке под окнами, свернутый кольцами, как огромный удав, лежал садовый шланг.

Вилли ящерицей слетел вниз, ничего не перевернул, не зацепил и не разбудил никого. Джим опомниться не успел, а Вилли, запыхавшийся, был уже снова наверху со шлангом в руке.

— Вилли, ты гений!

— А то как же! Давай скорее.

Они вдвоем протащили шланг на чердак и принялись смывать мерзкий ртутный налет. Работая, Вилли оглядывался на восток, там ночные краски уступали место рассветным. Далеко над холмами он видел шар, лавирующий в воздушных потоках. Не вернулся бы он... а то снова пометит. Ну и что? Они опять смоют. Так до восхода и будут мыть, если понадобится.

«Вот бы добром остановить Ведьму, — думал Вилли. — Они ведь все еще не знают ни наших имен, ни где мы живем.

Мистер Кугер, того и гляди, дуба даст, где ему что-нибудь помнить. Карлик, если это и впрямь давешний торговец, совсем спятил, бог даст, тоже не вспомнит. Мисс Фолей они до утра беспокоить не станут. Сидят там у себя в лугах и зубами скрипят. Ведьму вот на поиски послали...»

— Дурак я, — тихо и грустно сказал Джим, окатывая крышу там, где раньше крепился громоотвод. — Чего я его не оставил?

— Ладно, — отозвался Вилли, — молния ведь пока не трахнула. Может, еще и пронесет. Все. Пошли отсюда.

Они еще раз окатили крышу. Внизу стукнуло, закрываясь, окно.

— Мама, — тускло усмехнулся Джим. — Думает, дождь пошел.

Глава 30

Крыша стала чистой. Шланг шмякнулся в траву. За городом все еще мотался в быстро светлеющем небе воздушный шар.

— Чего она ждет?

— Может, чует, как мы тут поработали?

Тем же путем, через чердак, они вернулись в комнату Джима, и скоро каждый лежал в своей постели, прислушиваясь, как сердце наперегонки с часами отбивает ритм наступающего утра.

«Что бы они ни придумали, — размышлял Вилли, — нам надо опередить их». Ему пришла в голову мысль. Теперь он даже хотел, чтобы Ведьма вернулась. Уже несколько минут он разглядывал свое бойскаутское снаряжение, развешанное на стене: прекрасный лук и колчан со стрелами.

«Прости, папа, — подумал он и сел на кровати. — Пора и мне выходить из дома одному. Вовсе ни к чему, чтобы эта мразь болтала о нас, хоть сегодня, хоть когда».

Он снял лук со стены, еще немножко поколебался и отворил окно. «Вовсе не обязательно звать ее вслух, — думал

он. — Надо просто думать, хоть это и нелегко с непривычки. Мысли они читать не могут, это точно, иначе ее и посылать не нужно было бы. Мысли — нет, но тепло живого тела, запахи, волнения, настроения — это она может учуять. Я уж постараюсь дать ей понять, что обманул ее, может, тогда...»

«Четыре утра», — прозвонили сонные куранты из другого мира.

«Эй, Ведьма, — подумал он, — вернись. Ведьма! — подумал он решительнее и предоставил крови радостно взволноваться от собственной находчивости. — Ведьма! А крыша-то чистая, слышишь? Мы ее помыли. Так что давай обратно, опять метить надо! Ведьма!..»

И Ведьма услышала.

Вилли вдруг почувствовал, как поворачивается пейзаж под шаром.

«О'кей, Ведьма, продолжай. Я здесь только один, просто мальчишка без имени, мыслей ты моих не прочтешь, но то, что я чувствую, разобрать сможешь. Так вот, я чувствую, что плевать мне на тебя! Мы тебя обдурили, наша взяла, а твоя затея провалилась. Что, съела?»

Через мили Вилли уловил согласный вздох. Похоже, шар приближался.

«Э-э, да что это я? — всполошился Вилли. — Мне вовсе не надо, чтобы она сюда летела. А ну-ка, пошли! Быстро! Быстро!»

Он натянул одежду, ловко, как обезьяна, спустился по скобам и принюхался. Точно, приближается.

Он бежал, наплевав на тропинки, чувствуя восхитительную свободу, как заяц, наевшийся редкого дурманного корешка, бежал, как берсерк, которого не остановить. Колени достают аж до подбородка, ноги крушат сучки и листья. Раз! Перемахнул через ограду, в руках — оружие, страх и восторг смешались белыми и красными леденцами во рту.

Он оглянулся. О! Шар уже близко! И летит быстро...

«Стоп! А куда я бегу? — подумал он. — Ах да, к дому Редмана! Там уж сколько лет никто не живет. Ну, еще два квартала...»

Шуршат бегущие ноги, шуршит эта штуковина в небе. Все в лунном свете, а звезды меркнут уже.

Он остановился возле дома Редмана. В каждом легком пылал огонь. Во рту — привкус крови. Изнутри рвется безмолвный крик: «Вот! Это *мой* дом!»

Он почувствовал, как вильнула ветровая река в небесах. «Правильно», — одобрил он.

Он уже повернул старую дверную ручку, и тут его пришибла мысль: «Боже! А вдруг они внутри, сидят и поджидают меня?»

Он распахнул дверь. За ней была полная тьма.

Лопнули с едва слышным треском паучьи сети. Больше ничего. Перескакивая через две ступеньки по гнилой лестнице, он взлетел на чердак, потом — на крышу и только здесь, прислонив лук к трубе, остановился и выпрямился.

Шар, зеленый, как тина, разрисованный крылатыми скорпионами, древними сфинксами, дымами и огнями, тяжело вздохнул и прынул вниз.

«Ну, — подумал он, — давай, Ведьма, иди сюда!»

Мокрая тень ударила его неожиданно, как крыло летучей мыши. Взмахнув руками, Вилли пошатнулся. Тень казалась вязкой черной патокой. Он упал. Ухватился за трубу. Тень окутала его и теперь утихомиривала. Липкий холод пронизывал до костей. Но вдруг, сам по себе, ветер сменил направление. Ведьма зашипела. Шар смыло вверх.

«Ветер! — отчаянно думал Вилли. — Он за меня! Не уходи! — испугался он за отлетающий шар. — Вернись!» Он очень боялся, как бы Ведьма не разнюхала его план. А ведь, похоже, к этому и шло. Она уже поняла, что план есть, и теперь лихорадочно ощупывала его со всех сторон, вытягивала все больше. Вилли видел, как ее пальцы сучат воздух, быстро разбирая незримые нити. Она выставила ладони вниз, как будто он был печкой, хранившей огонь в подземном мире, а она пришла погреть над ней руки. Огромным маятником корзина скользнула вниз, и теперь Вилли видел и зашитые веки, и поросшие мхом уши, и шамкающий иссохший рот, беспрерывно пробующий

воздух на вкус. Бледные сморщенные губы поджались в сомнении. Вилли почти слышал ее мысли: «Что-то здесь не так! Уж слишком он подставляется, слишком просто взять его. Не иначе как обман». Определенно, она чувствовала подвох.

Ведьма задержала дыхание. Шар завис между вдохом и выдохом. Она решила рискнуть и вдохнула. Шар, потяжелев, пошел вниз. Выдохнула — взлетел вверх. Надо выждать.

Растопырив ладонь, Вилли приставил большой палец к носу и помахал.

Ведьма сделала большой вдох. Шар провалился.

«Ближе!» — подумал Вилли.

Нет, она осторожничала, спускалась по пологой спирали, ориентируясь на острый запах адреналина. Вилли вертел головой, следя за шаром.

«Ты что, хочешь, чтобы у меня голова открутилась? — мысленно прикрикнул он. — Думаешь, затошнит от твоего кружения?»

Нет. Шар опять завис. Оставалось последнее средство. Он повернулся к шару спиной и застыл.

«Ведьма, — думал он, — ты же не устоишь».

Совсем близко ощущалось зеленое скользкое облако, слышалось поскрипывание плетеной корзины, шею и спину обдавало холодом. Уже близко!

Ведьма снова вдохнула. Балласт из звездного света и ночного ветра бросил шар вниз.

Ближе!

Слоновья тень тронула его ухо. Вилли протянул руку за оружием. Тень накрыла его. Словно паук коснулся волос — неужто рука?! Вскрикнув, он обернулся. Ведьма тянулась к нему из корзины. До нее было не больше двух футов. Он нагнулся, перехватил лук поудобнее. Ведьма унюхала, учуяла, поняла, что у него в руках! Она попыталась выдохнуть, но от ужаса только затаила дыхание. Шар снизился еще, и корзина заскребла по крыше.

Только одна мысль осталась в голове у Вилли: «УНИЧТОЖИТЬ!!!» Он натянул тетиву.

Лук переломился пополам. Вилли тупо уставился на стрелу, оставшуюся у него в руке.

Ведьма испустила радостный вопль. Шар пошел вверх и ударил Вилли углом корзины. Ведьма снова победно заверещала. Уцепившись за край корзины, Вилли в отчаянии метнул стрелу, как дротик, в огромный шар над головой. Ведьма загоготала и потянула к нему скрюченные пальцы.

Казалось, стрела летит целый час. Но вот она встрети-лась с оболочкой шара и исчезла в ней, оставив за собой маленькую дырку. От нее, как разрез на сыре, побежала горизонтальная трещина, как улыбка на круглом лице. Шар остановился, закачался и стал спускаться. Поверхность его подернулась рябью, форма теперь больше напоминала грушу. Причитая, бормоча и негодуяще вскрикивая, Ведьма заметалась по корзине. Вилли мертвой хваткой вцепился в край и висел, болтая ногами. А шар плакал, сипел, захлебывался воздухом и скорбел о своей преждевременной кончине. Вдруг какое-то драконье дыхание подхватило опадающую плоть и быстро поволокло назад и вверх.

Вилли разжал пальцы. Пространство засвистело вокруг него, потом больно ударило по ногам крышей, он перева-лился через водосток и ногами вперед провалился в следу-ющую пустоту; вскрикивая, пытаясь ухватиться за проле-тающую мимо водосточную трубу и понимая, что это не поможет, он еще успел заметить улетающий с шипением шар. Он уносил в облака бьющий из него воздух, как ране-ный зверь стремится укрыться в чаще, он не хотел издыхать и все-таки издыхал.

Все это мелькнуло перед глазами Вилли в единый миг, а уже в следующий что-то грубо развернуло его, хлестнуло, и, не успев обрадоваться дереву, он принялся считать сучки и ветки, пока, ободрив напоследок, дерево не оборвало его падения, поймав в матрас из переплетенных ветвей. Как за-стрявший воздушный змей, он лежал лицом к небу и с вели-кой радостью слушал затихающие причитания Ведьмы, ко-торую уносило все дальше от дома, дальше от улицы, дальше от города. Улыбка шара становилась все шире, шар мотало

из стороны в сторону. Да и шаром он уже не был. Так, зеленая тряпка, летящая по ветру невысоко над землей, чтобы упасть в лугах, там, откуда пришла эта пакость, подальше от сонных, знать ничего не знающих домов.

Вилли казалось, что громовые удары собственного сердца вот-вот сбросят его с ненадежного батута, но зато он точно знал, что жив.

Спустя некоторое время, успокоившись, собравшись с духом и тщательнейшим образом выбрав молитву, он сполз с дерева.

Глава 31

И за весь остаток ночи больше НИЧЕГО не произошло.

Глава 32

Уже на рассвете по небу с грохотом прокатилась колесница Джаггернаута¹. По городским крышам зашелестел дождь, захихикал в водостоках, залепетал на странных подземных языках под окнами, вмешался в сны, которые торопливо перебирали Джим и Вилли, подыскивая подходящий и каждый раз убеждаясь, что все они скроены из одной и той же темной, шуршащей, непрочной ткани.

И еще одно событие произошло под утро. На раскисшем лугу, где обосновался Карнавал, внезапно задергалась, оживая, карусель. Каллиопа, судорожно давясь, выплескивала дурно пахнущие обрывки музыки.

Пожалуй, лишь один-единственный человек в городе услышал и понял эти конвульсивные звуки.

В доме мисс Фолей открылась и тут же захлопнулась дверь. Легкие шаги простучали по улице. Дождь пошел сильнее. Молния выкинула в небе дикое танцевальное коленце, на миг высветила и навек сокрыла серую землю.

¹Джаггернаут — Владыка Мира, один из титулов Вишну.

Дождь приникал к окнам в доме Джима, дождь выливал стекла в доме Вилли, и там, и там было много тихих разговоров и даже несколько восклицаний.

В девять пятнадцать Джим в плаще и резиновых сапогах выбрался в воскресную непогоду. С полминуты он стоял, разглядывая крышу (там и намек не осталось ни на какую улитку), потом принялся гипнотизировать дверь Вилли. Дверь покладисто отворилась, и на пороге возник Вилли. Вслед ему долетел голос Чарльза Хеллоуэя: «Может, мне с вами пойти?» Вилли только головой помотал.

Ребята сосредоточенно шагали к полицейскому участку. Опять придется объясняться с мисс Фолей, извиняться, но ведь пока они еще только идут, засунув руки поглубже в карманы и перебирая в памяти жуткие субботние головоломки. Первым нарушил молчание Джим:

— Знаешь, когда мы после крыши спать пошли, мне похороны приснились. На Главной улице...

— А может, это парад был?

— Ха! Точно. Тыща людей, все в черном и гроб тащат, футов сорок длиной!

— Вот это да!

— Верно говорю. Я еще подумал: «Это что же такое помереть должно, чтобы такой гробище понадобился?» Ну и подошел заглянуть. Ты только не смейся, ладно?

— Не улыбнись даже, честно.

— Там лежала такая сморщенная штуковина, ну, вроде черносливины. Как будто чья-то шкура, как с диплодока, что ли.

— Шар!

Джим остановился как вкопанный.

— Эй! Ты тоже видел? Но ведь шары не умирают?

Вилли молчал.

— Зачем их хоронить-то? Их же не хоронят?

— Джим, это я...

— Знаешь, он был как бегемот, только слудый.

— Джим, прошлой ночью...

— А вокруг черные плюмажи, барабаны черным затянуты и по ним — черными колотушками — бум! бум! Я сдуру начал утром маме рассказывать, только начал ведь, а тут уже и слезы, и крики, и опять слезы. Вот женщинам нравится рыдать, правда? А потом ни с того ни с сего обозвала меня «преступным сыном»! А чего мы такого сделали, а, Вилли?

— Кто-то чуть было не прокатился на карусели.

Но Джим, похоже, не слушал. Он шел сквозь дождь и думал о своем.

— По-моему, с меня хватит уже всей этой чертовщины.

— *По-твоему?* И это — после всего? Ну что ж, Джим, хватит так хватит. Только вот что я тебе скажу. Ведьма на шаре, Джим! Этой ночью я один...

Но уже некогда было рассказывать. Не осталось времени поведать о том, как он сражался с шаром, как одолел его, как шар повлекся умирать в пустынные края, унося с собой слепую Ведьму. Не было времени, потому что сквозь дождь ветер донес до них печальный звук.

Они как раз проходили через пустырь с большущим дубом посередине. Вот оттуда, из теней возле ствола, и слышалось им...

— Джим! Там плачет кто-то!

— Да вряд ли! — Джим явно хотел идти дальше.

— Там девочка. Маленькая!

— Спятил? Чего это маленькую девочку потянет в дождь плакать под дубом? Пошли.

— Джим! Да ты что, не слышишь?

— Ничего я не слышу! Идем.

Но тут плач стал громче, он печальной птицей легко скользил сквозь дождь по мертвой траве, и Джиму волей-неволей пришлось повернуть за Вилли. А тот уже шагал к дубу.

— Джим, я, пожалуй, знаю этот голос!

— Вилли, не ходи туда!

Джим остановился, а Вилли продолжал брести, поскальзываясь на мокрой траве, пока не вошел в сырую тень. Насыщенный водой воздух, неотделимый от серого низкого неба, путался в ветвях и струйками стекал вниз, по стволу и вет-

кам; и там, в глубине, действительно притулилась маленькая девочка. Спрятав лицо в ладошках, она рыдала так, словно город внезапно провалился сквозь землю, все люди перемерли в одночасье, а сама она потерялась в дремучем лесу.

Подошел Джим, встал у края теней и тихо спросил:

— Это кто?

— Сам не знаю, — отвечал Вилли, сдерживая уже созревшую догадку, от которой самому впору зареветь.

— Не Дженни Холдридж, а?

— Нет.

— И не Джейн Франклин?

— Да нет же, нет. — Губы Вилли потеряли чувствительность, как от заморозки у зубного врача. Одеревеневший язык едва шевелился: — Нет. Н-нет.

Малышка продолжала плакать, хотя уже чувствовала, что не одна под деревом, просто остановиться не могла. И головы пока не поднимала.

— ...Я... я... помогите мне, — донеслось сквозь всхлипывания. — Никто мне не поможет... я... я... не такая...

Наконец, собравшись с силами, она подавила очередной всхлип и подняла лицо с совершенно опухшими и заплаканными от слез глазами. Она разглядела ребят, и это потрясло ее.

— Джим! Вилли! О боже, это вы!

Она схватила Джима за руку. Он шархнул назад, бормоча:

— Нет! Ты что? Не знаю я тебя, отпусти!

— Вилли! — запричитала девчушка растерянно. — Ну хоть ты-то помоги! Джим, не уходи! Не бросайте меня здесь!

Слезы снова ручьем хлынули у нее из глаз.

— Нет! — пронзительно взвизгнул Джим, вырвал руку, упал, вскочил на ноги, замахнулся даже невесть на кого, не удержался, затрясся весь и прошептал, заикаясь: — Ой, Вилли, пойдём отсюда, ну пожалуйста, пойдём, а?

Девочка под деревом испуганно отшатнулась; широко распахнутые глаза умоляюще и недоуменно перебежали с лица на лицо, потом она застонала, обхватила себя за плечи

и принялась раскачиваться, упрятав лицо на грудь. Она не плакала больше. Нет, она напевала что-то в такт своим наклонам, и видно было, что она так и будет мурлыкать себе под нос, одна, под деревом, среди серого дождя, и никто не подпоет ей, никто ее не остановит...

— ...Кто-то должен мне помочь... кто-то должен ей помочь, — она причитала, как по мертвому, — кто захочет ей помочь... никто не может... никто не поможет... ладно, не мне, но ей помогите... ужасно...

— Она нас знает, — обреченно произнес Вилли, наклонившись к девочке и повернув голову к Джиму. — Я не могу ее бросить!

— Да врет она все! — яростно выпалил Джим. — Врет! Не знает она нас! Я же ее в глаза не видел!

— Нет ее, нет, верни ее, верни назад, — приговаривала девочка, раскачиваясь с закрытыми глазами.

— Кого? — участливо спросил Вилли, присев рядом с ней на корточки. Он даже тихонько тронул ее за руку. Она сразу вцепилась в него, тут же поняла свою ошибку, потому что он дернулся, выпустила его руку и снова разревелась.

Теперь Вилли терпеливо ждал, а Джим подсказывал и ерзал поодаль и все звал его идти, канючил, как маленький, что ему это не нравится, что они должны идти, должны идти...

— О-о-о, — тянула девочка, — она потерялась. Она убежала в то место и не вернулась больше. Найдите ее, найдите, пожалуйста, пожалуйста...

Весь дрожа, Вилли заставил себя погладить девочку по мокрой щеке.

— Ну, не вешай нос, — прошептал он, — все будет о'кей. Я помогу тебе.

Девочка открыла глаза и замолчала.

— Я — Вилли Хеллоуэй, слышишь? Ты сиди тут, а мы через десять минут вернемся. Идет? Только не уходи никуда.

Она покорно закивала.

— Значит, сидишь здесь и ждешь нас, так?

Она снова молча кивнула. Вилли выпрямился. Это простое движение почему-то испугало девочку, и она вздрогну-

ла. Вилли помедтил, глядя на нее сверху вниз, и тихо произнес:

— Я знаю, кто вы. Но мне надо проверить.

Знакомые серые глаза глянули на него в упор. По длинным черным волосам и бледным щекам стекали капли дождя.

— Кто поверит? — едва слышно пролепетала она.

— Я, — коротко ответил Вилли.

Девочка откинулась спиной к дереву, сложила на коленях дрожащие руки и застыла, бледная, тоненькая, очень маленькая, очень потерянная.

— Я теперь пойду, ладно? — спросил Вилли.

Она кивнула, и тогда он зашагал прочь.

На краю пустыря Джим сучил ногами от нетерпения. Он слушал Вилли, истерично поскуливая, всякие междометия так и сыпались из него.

— Да быть того не может!

— Я тебе говорю. Она и есть, — доказывал Вилли. — Глаза. Сам же говорил, по ним видно. Вспомни, как было с мистером Кутером и тем противным мальчишкой. А потом, есть еще один способ удостовериться. Пошли.

Он протащил Джима через весь город и остановился возле дома, где жила мисс Фолей. Оба задрали голову и посмотрели на слепые в утреннем сумраке окна. Потом поднялись по ступеням и позвонили: раз, два и три раза.

Тишина. Медленно, со скрипом приоткрылась входная дверь.

— Мисс Фолей? — тихонько позвал Джим.

Из глубины дома доносился едва слышный, монотонный шорох дождя, стучавшего по оконным стеклам.

— Мисс Фолей?..

Они стояли посреди холла, перед текучим занавесом, и до звона в ушах вслушивались в кряхтенье балок на чердаке старого дома.

— Мисс Фолей!

Только мыши, уютно устроившиеся под полом, шебуршат в ответ.

— В магазин пошла, — заявил Джим.

— Нет, — покачал головой Вилли. — Мы знаем, где она.

— Мисс Фолей! Я знаю, что вы тут! — заорал вдруг Джим и яростно рванулся сквозь занавес. — Выходите, ну!

Вилли терпеливо ждал, пока он обыщет весь дом, а когда Джим, нога за ногу, притащился назад и сел на ступеньку, оба явственно услышали музыку, льющуюся через входную дверь вместе с запахом дождя и мокрой старой травы.

В далеких лугах каллиопа хрипела задом наперед «Похоронный марш» Шопена. Джим распахнул дверь и стоял в звуках музыки, как стоят под водопадом.

— Это же карусель! Они починили ее!

Вилли спокойно кивнул.

— Она, должно быть, услышала музыку и вышла еще на рассвете. И что-то опять не заладилось. Может, установили ее неправильно, а может, так и задумано, чтобы на ней все время такие несчастья случались. Как с торговцем громоотводами. Он же спятил после этого. Может, Карнавалу по нраву такие проделки, ему от них *удовольствие*. А может, они специально за ней охотились. Например, чтобы про нас выведать. Может, они хотели даже подослать ее к нам, чтобы она им помогла погубить нас. Откуда я знаю? Вдруг она испугалась, и тогда ей просто дали *больше*, чем она хотела или просила...

— Я не понимаю...

Здесь, на пороге пустого дома, под холодным дождем, самое время было подумать о несчастной мисс Фолей; сначала ее напугали Зеркальным лабиринтом, потом заманили одну на карусель. Наверное, она кричала, когда с ней делали то, что сделали. Ее крутили круг за кругом, год, и еще год, много лет, слишком много, куда больше, чем ей хотелось. Они стерли с нее все, оставили только маленькую, напуганную, чужую даже самой себе девочку и крутили, крутили, пока все ее годы не сторели дотла, и тогда карусель остановилась, как колесо рулетки. Да только ничего не выигралось, пусто, «зеро»; наоборот, проигралось все, и некуда идти, и не расскажешь никому, и ничего не поделаешь... остается только плакать под деревом одной, под утренним осенним дождем.

Так думал Вилли. Примерно так же думал и Джим. Во всяком случае, он проговорил вдруг:

— Бедная, бедная...

— Надо помочь ей, Джим. Кто же еще такому поверит? Ты ж понимаешь, если она скажет кому: «Здрасьте, я — мисс Фолей!» Ей же скажут: а ну, вали отсюда. Мисс Фолей уехала, скажут, нету ее. Топай отсюда, девчущка! А может, она даже успела постучаться в добрую дюжину дверей, а, Джим? Представляешь, наверное, просила помочь, пугала людей своими причитаниями, а потом бросилась бежать и вот теперь сидит там, под деревом... Может, полиция уже ищет ее, да что толку? Маленькая девочка, сидит, плачет. Запрут ее подальше, и свихнется она там с горя. Этот Карнавал, Джим, они там знают свое дело. Вытряхнут из тебя все, превратят бог знает во что, и готово! Иди жалуйся, только народ от тебя шарахается и слушать ничего не хочет. Одни мы понимаем, Джим, никто больше. Знаешь, я как будто улитку сырую проглотил! — закончил он неожиданно.

Они еще раз оглянулись на залитые дождем окна гостинной. Здесь мисс Фолей не раз угощала их домашним печеньем с горячим шоколадом, а потом махала рукой из окна. Они вышли, закрыли дверь и помчались к пустырю.

— Надо спрятать ее пока, — предложил Вилли, — а потом как-нибудь поможем ей...

— Да как ей поможешь? — выговорил на бегу Джим. — Мы и себе-то помочь не можем!

— Должно же что-то быть, чем с ними справиться... просто не придумывается пока...

Они остановились.

Стук их сердец заглушало биение какого-то другого, огромного сердца. Взвыли медные трубы, потом — тромбоны, целая стая труб ревела по-слоновьи. Почему-то этот рев вызывал тревогу.

— Карнавал! — выдохнул Джим. — А мы-то и не подумали! Он же может сам прийти, прямо в город! Парад! Или... те похороны, которые мне снились.

— Не похороны это. Но и парадом оно только прикидывается. Это нас ищут, Джим. Или мисс Фолей вернуть хотят. Они же по какой хочешь улице пройдут, Джим. Будут дудеть, барабанить, а сами шпионят. Джим, надо забрать ее оттуда!

Они сорвались с места и бросились по аллее, самым коротким путем, но тут же остановились. В дальнем конце, между ними и пустырем, показался карнавальный оркестр. За оркестром двигались клетки со зверями, а вокруг шли клоуны, уродцы и разные другие, дующие в трубы и колотящие в барабаны. Пришлось прятаться в кусты.

Парад шел мимо минут пять. За это время тучи сдвинулись, небо слегка очистилось и дождь перестал. Рокот барабанов постепенно замирал вдали. Слегка оглушенные, ребята двинулись вперед и скоро были на пустыре.

Под дубом не было никакой маленькой девочки. Они походили вокруг, посмотрели даже наверху, среди ветвей, но позвать по имени так и не смогли. Страшно было. Оставалось только одно: вернуться в город и спрятаться как следует.

Глава 33

Звонил телефон. Мистер Хеллоуэй снял трубку.

— Пап, это Вилли, — зачастил в трубке голос. — Пап, мы не можем идти в участок. Мы, наверное, даже дома сегодня не будем. Скажи маме, и маме Джима тоже, ладно?

— Вилли! Где вы?

— Прячемся. Они ищут нас.

— Да кто, бога ради?!

— Пап, я не хочу тебя впутывать в это дело. Но ты поверь мне, пожалуйста, нам спрятаться надо, хотя бы на день-два, пока они не уйдут. А если мы домой заявимся, они нас выследят, и тогда или тебя, или маму погубят. И у Джима — тоже. Я пойду, пап.

— Подожди, Вилли, не уходи!

— Пока, папа! Пожелай мне удачи!

Щелк.

Мистер Хеллоуэй поглядел на дома, на деревья, на улицы, прислушался к далекой музыке.

— Вилли, — сказал он молчащему аппарату, — удачи, сынок!

Он надел пальто, шляпу и вышел в странный опаловый свет, разлитый в холодном сыром воздухе.

Глава 34

Перед лавкой «Объединенной табачной торговли», блестя мокрыми деревянными перьями, стоял деревянный индеец чероки. Воскресный полдень окатывал его со всех сторон трезвонном колоколов разных церквей, их немало было в городе. Колокола спорили друг с другом, и звон падал с неба почти как недавний дождь. Индеец, как и полагается, не реагировал ни на католические, ни на баптистские призывы. Он даже ухом не повел навстречу еще каким-то звонам. Это билось языческое сердце Карнавала. Яркие барабаны, старческий визг каллиопы, мельтешение уродливых существ ничуть не привлекли по-ястребиному пронзительного взгляда индейца. Зато барабаны и трубы задавили колокольный звон и вызвали к жизни орущую толпу мальчишек и просто зевак, охочих до всяческих зрелищ. Пока звонили колокола, воскресная толпа казалась чопорно-сосредоточенной, но стоило цимбалам и тромбонам заглушить церковный перезвон — толпа расслабилась и превратилась в праздничное скопище.

Тень от деревянного томагавка индейца падала на металлическую решетку. Много лет назад этой решеткой прикрывали нарочно вырытую яму. Целый день решетка позвякивала под ногами десятков людей, входивших в лавку, и на обратном пути аккуратно принимала от них кусочки папиросной бумаги, золотые ободки от сигар, обгоревшие спички, а то и медные пенни.

Сейчас решетка уже не позвякивала, а беспрестанно гудела, сотрясаемая сотнями ног, ходулями, колесами балаганов.

Это в тигрином рычании тромбонов и вулканических взрывах труб шел Карнавал. Но сегодня под решеткой, кроме обычного мусора, притаились два дрожащих человеческих тела. Шел Карнавал. Шел парадом, как огромный павлин, распутивши причудливый хвост; таращились по сторонам внимательные глаза уродцев. Они цепко обшаривали крыши домов, шпили церквей, изучали вывески дантистов и окулистов, примечали пыльные здания складов. Сотни глаз Карнавала пронизывали пространство города и не находили того, чего хотели. Да и не могли найти, оно ведь было у них под ногами и пряталось в темноте.

Под старой решеткой табачной лавки затаились Джим и Вилли. Здесь было тесно, сидеть приходилось уперев колени друг в друга, они даже дышать как следует опасались, но стоически переносили все неудобства. Волосы на их макушках шевелил ветерок от колыхавшихся женских юбок, то и дело чья-нибудь фигура заслоняла кусочек неба, видимый со дна ямы. Перебегали дети.

— Слушай! — шепнул Джим. — Ну и угодили мы, прямо под парад. Давай-ка сматываться!

— Сиди как сидишь, — хриплым шепотом ответил Вилли. — Это же самое видное место. Они никогда не додумаются искать нас здесь.

Трум, трум, турум, турум, тум, тум! — гремел Карнавал. Решетка звякнула, на ней опять кто-то стоял. Вилли взглянул наверх и вздрогнул. Он знал эти подошвы со стертыми медными гвоздиками. «Папа!» — чуть не крикнул он. Джим тоже посмотрел наверх. Человек нервно переступал с ноги на ногу, поворачивался по сторонам, выискивая в толпе то, что было совсем рядом с ним. «Я мог бы дотронуться до него», — подумал Вилли. Чарльз Хеллоуэй, бледный, возбужденный, ничего не почувствовал и через минуту ушел.

Но зато Вилли почувствовал, как душа у него ухнула вниз, в какой-то холодный, дрожащий белый кисель.

Шлеп!

Вилли и Джим вздрогнули. Розовая пластинка жевательной резинки упала возле их ног на кучу старых целлофановых оберток от сигарет. Сверху над решеткой склонилась расстроенная мордашка пятилетнего карапуза.

«Убирайся!» — свирепо подумал Вилли. Но малышу жаль было так просто расставаться с лакомством. Он встал на колени и приник к самой решетке, высматривая свое розовое удовольствие.

Вилли едва сдержался, чтобы не схватить жвачку и не запихнуть в маленький ротик — лишь бы он исчез, скрылся побыстрее.

Барабан наверху раскатился дробным рокотом — и смолк.

Ребята переглянулись. «Парад! — подумали оба. — Он же остановился!» Малыш упрямо пытался просунуть руку сквозь решетку.

Наверху мистер Дарк, Человек-в-Картинках, командовавший парадом, окинул взглядом воздетые к небу разверстые пасти медных геликонов и подал знак. Тотчас стройное шествие распалось. Уродцы разбежались в разные стороны, смешались с толпой, разбрасывая небольшие рекламные афишки и не прекращая шарить глазами по толпе, по фасадам домов.

«Парад кончился, — понял Вилли, — началась охота».

Малыш наверху не собирался сдаваться. Его тень накрыла Вилли.

— Мама! Там!

Глава 35

В баре «Вечерок у Неда», за полквартила от табачной лавки, Чарльз Хеллоуэй второй чашкой кофе приводил в порядок расстроенные бессонной ночью, раздумьями и поисками нервы. Он уже собрался расплатиться, когда его почему-то встревожила наступившая вдруг на улице тишина. В воздухе незримо разлилось беспокойство — это вмиг распавшийся Карнавал смешался с толпой. Сам не зная почему, Чарльз Хеллоуэй убрал бумажник.

— Еще чашечку сделаешь, Нед?

Нед включил кофеварку, и в это время в баре появился новый посетитель. Он прошел от двери и слегка шлепнул по стойке рукой. Чарльз Хеллоуэй взглянул. Рука взглянула на него. На тыльной стороне каждого пальца была сделана искусная татуировка в виде глаза.

— Мама! Тут, внизу! Посмотри!

Мальчик звал маму и тянул ручонку вниз. Мимо шли люди. Некоторые останавливались. Появился Скелет. Больше всего смахивающий на ободранное, давно засохшее дерево, он не столько подошел, сколько сыграл ксилофоном своих костей, переместившись поближе к холодному бумажному сору и теплым, дрожащим мальчишкам.

«Уходи! — с отчаянием думал Вилли. — Уходи же!»

Пухлые детские пальчики тянулись сквозь решетку.

«И ты — уходи!»

Скелет, похоже, послушался и убрался из поля зрения. Но не успел Вилли облегченно вздохнуть, как его место занял Карлик! Он подкатился вперевалочку, позвякивая дурацкими колокольчиками, нашитыми на грязную рубашу, и посверкивая глазами-камешками. Глаза поминутно меняли выражение: то они были блестящими и плоскими гляделками идиота, то вдруг становились глубокими и печальными глазами человека, потерявшего себя. Глаза ни секунды не оставались в покое, они так и шарили по сторонам, высматривая не то свою собственную сгинувшую личность, не то запропавших мальчишек. Казалось, взглядом его управляют двое хозяев, прежний и нынешний, заставляя глаза совершать жуткие прыжки: назад, в прошлое, обратно, в настоящее.

— Ма-ма! — тянул свое ребенок.

Карлик остановился возле него (они были примерно одного роста) и посмотрел на малыша.

Вилли в яме испытал жгучее желание стать плесенью на бетонной стене у него за спиной. Похоже, Джим тоже пы-

тался найти для себя местечко между бетоном и паутиной, покрывавшей его.

— Хватит тут ползать! — Раздраженный женский голос.

Слабо сопротивляющегося малыша уволокли. Поздно. Карлик уже стоял над решеткой и смотрел вниз. В глазах у него мелькали осколки человека по имени Фури, того самого, что давным-давно, в безоблачное, легкое и безопасное время, продавал громоотводы.

Вилли содрогнулся от жалости. «О, мистер Фури, что они сделали с вами! — думал он. — Что это было? Копер? Стальной пресс? Как это было? Вы кричали? Плакали? Они поймали вас, как кузнечика в коробку, и давили, пока не осталось ничего. Ничего не осталось, мистер Фури, ничего, кроме...»

Карлик. Не человек. Механизм. Не глаза. Камеры. Два объектива уставились в темноту. Щелк. Снимок: прутья решетки. А заодно и то, что под ней?

«На что он смотрит? — пытался сообразить Вилли. — На саму решетку или на то, что внизу?»

Миг катастрофы все длился. Жалкое, искореженное существо, в котором от человека оставалась лишь его двуногость, не двигалось. Может быть, все еще фотографировало?

На самом деле глаза-объективы куклы не замечали ни Джима, ни Вилли, ни даже самой решетки. Но все очертания, цвета, размеры фотокамера уродливого черепа зафиксировала надежно. Придет время, изображение проявится, картинка будет исследована, и тогда дикое, ссохшееся, потерянное создание бывшего торговца увидит все. А потом? Мечь? Уничтожение?

Клац-тук-щелк!

Бегут смеющиеся дети. Их текучая радость смыла Карлика, он вспомнил о чем-то и поковылял дальше, выскивая сам не зная что.

Выглянуло солнце. Двое мальчишек в яме едва дышали. Джим, не заметив, крепко вцепился в руку Вилли. Оба со страхом ждали новых, более внимательных глаз.

Пять синих, красных и зеленых глаз убрались со стойки. Чарльз Хеллоуэй, получивший свой третий кофе, повернулся на вертящемся стуле к странному посетителю. Человек-в-Картинках в упор смотрел на библиотечного уборщика. Хеллоуэй благодушно кивнул, но Человек-в-Картинках не ответил, не мигнул даже и продолжал пристально рассматривать соседа. «Экий наглец», — подумал мистер Хеллоуэй, но отвести глаза уже не мог, он просто постарался придать взгляду как можно больше спокойствия.

— Что закажете, мистер? — поинтересовался бармен.

— Ничего. — Мистер Дарк все еще разглядывал отца Вилли. — Я ищу двоих парнишек.

«А то я не ищущ!» — подумал Хеллоуэй и расплатился.

— Спасибо, Нед, — спокойно поблагодарил он и встал.

Уже выходя, он заметил, как татуированный человек протянул руки в сторону бармена, повернув ладони вверх.

— Парнишек ищете? — переспросил Нед. — Как звать, сколько лет?

Дверь за Хеллоуэем закрылась. Мистер Дарк, не слушая болтовню бармена, проводил вышедшего внимательным взглядом.

Сначала Чарльз Хеллоуэй по привычке двинулся в сторону библиотеки, но тут же остановился и сделал движение в сторону здания суда. Нет. Он постоял, ожидая, не направит ли его более точно интуиция, машинально ощупал карман пальто и обнаружил, что забыл курево. Это внесло определенность в его планы, и он зашагал к лавке «Объединенной табачной торговли».

Джим из ямы взглянул в небо.

— Вилли! — зашипел он. — Смотри, твой отец! Он нам поможет.

Вилли молчал.

— Ладно, я сам его позову!

Вилли схватил Джима за шиворот и отчаянно замотал головой.

— Да почему? — едва слышно удивился Джим.

— Потому, — шевельнулись губы Вилли.

Потому... Он взглянул наверх. Отсюда отец казался даже меньше, чем прошлой ночью со стены дома. «Это все равно что позвать еще одного мальчишку, — подумал Вилли. — Зачем он нам? Нам нужен кто-нибудь важный, самый главный!» Вилли приподнялся, заглядывая в окно лавки. Вдруг он ошибся и лицо отца на самом деле выглядит резче, взрослее, мужественнее, чем показалось ему ночью, в призрачном лунном свете? Нет. Все то же. Нервно бегающие отцовские пальцы, неуверенный излом губ. Он даже табак толком купить не может.

— Одну... вот эту... сигару мне за двадцать пять центов.

— Ба! — прогудел мистер Татли. — Да вы никак разбогатели, мистер Хеллоуэй!

Чарльз Хеллоуэй медленно вытаскивал сигару из целлофанового пакетика. Он просто тянул время, ожидая какого-нибудь движения во Вселенной, знака, объяснившего бы ему, что происходит. Почему он пошел этой дорогой? Зачем ему сигара за 25 центов? Кажется, кто-то окликнул его по имени. Он резко повернулся и обежал глазами толпу, яркие пятна клоунов с афишами... никого не увидел и повернулся снова прикурить от вечного синего газового пламени, выглядывающего из янтарной трубки в стене табачной лавки. Затянулся, выпустил струйку дыма, бросил сигарный кончик и взглядом проводил его до металлической решетки. Стоп! Он словно ударился о глаза, блеснувшие из-под земли. Чьи это тени там? Джим! Вилли! Чарльз Хеллоуэй пошатнулся и попытался ухватиться за сигарный дым. Боже! Что они там делают, в колодце под улицей? Он чуть было не наклонился, но вовремя остановил себя и тихо проговорил, почти не размыкая губ:

— Вилли? Джим? Черт побери, что происходит?

В этот момент за сто футов отсюда Человек-в-Картинках резко повернулся и вышел из забегаловки Неда.

— А ну, выбирайтесь! — распорядился Чарльз Хеллоуэй.

Человек-в-Картинках, сам толпа посреди толпы, постоял мгновение и направился к табачной лавке.

— Пап! Мы не можем. Ради бога, не смотри на нас!

Человек-в-Картинках был футах в восьмидесяти.

— Мальчики, — растерянно произнес Чарльз Хеллоуэй, — полиция...

— Мистер Хеллоуэй, — прервал его Джим, — не смотрите, а то нам конец. Человек-в-Картинках...

— Кто?!

— Ну, мужчина такой, в татуировке весь.

Перед глазами Хеллоуэя возникли зрячие пальцы на стойке.

— Пап, ты лучше смотри вон на часы, а мы пока расскажем тебе...

Мистер Хеллоуэй как мог небрежной выпрямился... и в этот миг из-за угла появился Человек-в-Картинках. Он тут же остановился, изучая Чарльза Хеллоуэя, разглядывавшего уличные часы со странным усердием.

— Сэр, — звучно произнес Человек-в-Картинках.

— Одиннадцать пятнадцать, — бормотал Чарльз Хеллоуэй, не выпуская сигары изо рта и рассматривая свои наручные часы. — Так и есть, отстают на минуту.

— Сэр, — повторил Человек-в-Картинках.

Джим ухватился за Вилли, Вилли вцепился в Джима, когда на решетке рядом с истертыми подошвами отца Вилли появились крепкие чужие каблуки.

— Сэр, — снова повторил человек по имени Дарк, цепко всматриваясь в черты лица Чарльза Хеллоуэя, сравнивая их с другими, — «Объединенное шоу Кугера и Дарка» избрало двух местных школьников — двух, сэр! — нашими почетными гостями.

— А при чем здесь... — начал Чарльз Хеллоуэй, изо всех сил стараясь не глядеть под ноги.

— Эти двое, — подкованные каблуки лягнули о решетку, — эти двое смогут прокатиться на всех аттракционах, побывать на всех представлениях, пожмут руки всем нашим артистам и вернуться домой с кучей волшебных подарков...

— Кто же эти счастливицы? — прервал его мистер Хеллоуэй.

— Мы выбрали их по фотографиям, сделанным вчера у входа на Карнавал. Помогите нам определить их, сэр, и вы разделите с ними удачу. Вот они!

«Он увидел нас! — панически подумал Вилли. — О боже!»

Человек-в-Картинках выставил вперед руки ладонями наружу. Отец Вилли пошатнулся. С правой ладони на него смотрел мастерски вытатуированный ярко-синей краской портрет собственного сына. На левой ладони, как живое, улыбалось лицо Джима.

— Вы знаете их? — От внимательного взгляда Человека-в-Картинках не укрылась растерянность мистера Хеллоуэя. И немудрено. У старика перехватило горло и глаза разъехались в стороны, словно его огрели дубиной по голове. — Их имена?

«Молчи, папа!» — мысленно закричал Вилли.

— Я, собственно, не... — начал отец Вилли.

— Вы знаете их. — Протянутые вперед, требующие имен руки Человека-в-Картинках слегка подрагивали, и вместе с ними вздрагивали и страдальчески морщились лицо Вилли на правой ладони, лицо Джима на левой ладони, лицо Вилли в яме под улищей, лицо Джима внизу под решеткой.

— Сэр, вы же не хотите, чтобы мы не нашли наших героев?

— Нет, но...

— «Но»? — удивился мистер Дарк и подался вперед. Его собственные глаза и глаза всех тварей, бродивших по прериям его тела, вцепились в пожилого человека, стиснули со всех сторон, завораживали тысячами взглядов. Мистер Дарк придвинул ладони еще ближе. — Вы сказали «но»?

Мистер Хеллоуэй крепче прикусил сигару.

— Пожалуй, я припоминаю...

— Что?

— Один из них похож...

— На кого?

«Папа, неужели ты не видишь, как он заинтересовался?» — думал Вилли.

— Мистер, — удивился Чарльз Хеллоуэй, — да чего вы так разнервничались из-за каких-то мальчишек?

— Я? Разнервничался? — Улыбка мистера Дарка исчезла. Похоже, он слегка опешил. — Сэр, я забочусь о своем деле, а для вас это всего лишь нервы?

Отец Вилли смотрел, как перекатываются бугры мускулов под легким костюмом его собеседника. Наверняка все кобры и африканские гадюки, которыми расписан этот молодец, шипят и скручиваются в клубки от злости.

— Один из этих сорванцов, — подчеркнуто медленно протянул мистер Хеллоуэй, — напоминает мне Милтона Блумквиста.

Мистер Дарк стремительно сжал пальцы. Голову Джима сдавила тупая боль.

— А второй, — почти ласково продолжал отец Вилли, — второй похож на Эвери Джонсона.

«Ну, папа, — внутренне возликовал Вилли, — ты — гигант!» И тут же чуть не застонал от неожиданно обрушившейся боли. Это мистер Дарк сжал вторую ладонь.

— По-моему, они оба, — невозмутимо закончил мистер Хеллоуэй, — уехали на прошлой неделе в Милуоки.

— Вы лжете, — холодно произнес мистер Дарк.

Отец Вилли искренне возмутился:

— Чтоб я да испортил победителям веселье?!

— Мы знаем имена мальчиков, — с расстановкой произнес мистер Дарк, — мы узнали их десять минут назад. Просто хотели удостовериться еще раз.

— И... кто же они, по-вашему? — недоверчиво спросил отец Вилли.

— Джим, — уронил мистер Дарк. — Вилли.

Джим скорчился в темноте. Вилли втянул голову в плечи. Отцовское лицо оставалось глубоким омутом, в котором без всплеска утонули два имени.

— Джим, значит? Вилли? Да их тут туча, Джимов и Вилли, в таком городе, как наш, уж наверняка пара сотен наберется.

«Кто же нас выдал? — лихорадочно думал Вилли. — Кто рассказал? Мисс Фолей? Но ведь ее нет, она ушла, и дом с льдистой занавеской пуст. А та девочка, рыдавшая под деревом и так похожая на мисс Фолей? — спросил он себя. — Ее ведь тоже нет. Может быть, парад подобрал ее? Она так долго плакала, она так боялась... А если они пообещали, что музыка, кони, трубы, весь этот шальной карнавальный мир помогут ей, сделают взрослой, вырастят, покругив вперед, поднимут, утешат, прекратят этот ужас и вернут все как было? Да за это она скажет им все на свете. Что наобещал, что наврал ей Карнавал, когда они нашли ее под деревом?»

— Имена как имена, — гнул свою линию мистер Хеллоуэй. — А с фамилиями как?

Мистер Дарк не знал фамилий. Его космос, населенный чудовищами, вибрировал и исходил потом, обволакивался дурным запахом подмышек, шипел и ругался на мускулистых крепких ногах.

— Сдается мне, теперь вы лжете, — удовлетворенно, с незнакомой дотоле радостью выдохнул мистер Хеллоуэй. — Как это вы не знаете фамилий? И с чего бы это вам, карнавальному чужаку, лгать мне посреди улицы в моем собственном, хоть и не бог весть каком, городе?

Человек-в-Картинках сжал кулаки. Отец Вилли, слегка побледнев, смотрел, как шевелятся суставы, загоня ногти в изображения двух мальчишеских лиц, упрятанных в эту прочную, очень прочную тюрьму из сильной, живой плоти.

Внизу две тени молча метались почти в агонии. Человек-в-Картинках смахнул с лица напряженное выражение. Теперь он выглядел совершенно безмятежным. Только яркая капля выкатилась из правого кулака, и такая же капнула из левого. Обе пропали меж прутьев старой решетки на тротуаре.

Вилли перевел дух. Что-то сползло у него по щеке. Он провел ладонью — на ней остался красный след. Вилли посмотрел на Джима. Похоже, его тоже отпустило, он лежал расслабившись и смотрел вверх.

Отец Вилли заметил кровь, сочившуюся из сжатых кулаков Человека-в-Картинках, но не подал виду, а, глядя ему прямо в лицо, выговорил:

— Извините, приятель, больше ничем помочь не могу.

Мистер Дарк повернулся на каблуках. Стальные набойки высекли искры из прутьев решетки.

Из-за угла, размахивая в воздухе руками и яркими цыганскими юбками, появилась Предсказательница Удачи, она же — Пыльная Ведьма. Сегодня ее незрячие глаза скрывали темно-синие стекла очков.

«Надо же, уцелела! — подумал Вилли. — Ее ведь уволокло тогда, должно было об землю зашибить, а вот не зашибло. Теперь она взбесилась и не отстанет от меня!»

Его отец тоже увидел Ведьму и почувствовал, как кровь у него в жилах загустела и потекла медленнее.

Толпа приветливо расступалась и добродушно обсуждала яркие лохмотья этого удивительного существа. Многие с улыбками прислушивались к ее прибауткам, чтобы запомнить и потом пересказать в компании. Ведьма двигалась уверенно, ощупывая город вокруг чуткими пальцами. При этом она непрерывно не то пела, не то бормотала:

— Все как есть наворожу. И про жен, и про мужей, про девиц и про парней. Про удачу и про жизнь, все мне ведомо, кажись. Приходи на представленье, погадаю в воскресенье. Девнице скажу, на кого он похож. А тебе расскажу про всю ее ложь. Узнаешь его намерений цвет, увидишь ее души букет. Далеко не уходи, в шатер заходи, меня там найди.

Дети сразу пугались ее, а их родители — с развитым чувством юмора, конечно, — их родители веселились, глядя на забавную старуху и слушая ее бормотание. Тем временем древняя ворожея, с ног до головы покрытая пылью множества живших на земле племен, все сплетала и разбирала меж пальцев микроскопическую паутину, пылинки, мушинные крылышки, микробов и бактерий, слюдяные чешуйки, корпускулы солнечного света, преломленные уже явленными, а еще больше — неявленными человеческими страстями.

Ребята изо всех сил вжались в стенки своего убежища. Дребезжащий голос явственно доносился сверху.

— Слепа-то я слепа. Но уж что вижу, то вижу. А вижу я человека в соломенной шляпе — это осенью-то! И еще вижу — и к чему бы это? — вот мистер Дарк стоит — привет, мистер Дарк! — а с ним *старик*...

«Не такой уж он и старый!» — крикнул про себя Вилли. Тень Ведьмы серым лягушачьим пятном накрыла яму. Теперь Вилли видны были все трое.

Мистера Хеллоуэя сотрясала внутренняя дрожь. У него возникло ощущение длинных острых ножей, по очереди вонзающихся в живот.

— О, это не простой старик, — вновь забормотала Ведьма и вдруг замолчала. — А еще...

Шерсть у нее на носу ошетижилась. Она по-птичьи завертела головой, пробуя воздух, быстро пережевывая его серыми губами.

Человек-в-Картинках поторопил ее:

— Ну!

— Подожди! — выдохнула цыганка и ногтями принялась скоблить незримый забор перед собой.

Вилли почувствовал, что еще секунда — и он не выдержит: заскулит и затыкает от ужаса, как маленький щенок.

Пальцы Ведьмы медленно поползли вниз. Они чутко прощупывали каждую полоску спектра, взвешивали каждый лучик света. Вот-вот указательный палец вонзится в решетку на тротуаре, означая роковое «там!».

«Папа! — взмолился Вилли. — Ну сделай что-нибудь!»

Человек-в-Картинках терпеливо ждал. Как только на сцене появилась его лучшая ищейка, он успокоился и теперь посматривал на нее с гордостью, чуть ли не с любовью.

— Вот... — Пальцы Ведьмы отчаянно вибрировали.

— Вот! — громко провозгласил мистер Хеллоуэй.

Ведьма подскочила от неожиданности.

— Вот поистине замечательная сигара! — голосил отец Вилли, картинно обернувшись к дверям лавки.

— Потише, любезный, — с досадой произнес Человек-в-Картинках.

Мальчишки внизу подняли головы.

— Вот... — тянула свое Ведьма, пытаясь не упустить едва пойманное ощущение.

— Только жаль — погасла! — вещал на всю улицу Чарльз Хеллоуэй. — Ну да ничего, дело поправимое. Сейчас прикурим.

Он снова сунул кончик сигары в синее пламя.

— Вы не могли бы помолчать немного? — обратился к нему мистер Дарк.

— Сами-то курите? — участливо поинтересовался мистер Хеллоуэй.

Ведьма, вконец расстроенная его неожиданным словоизвержением, опустила руку, ушибленную громкими словами, и стерла с нее пот; так протирают антенну радиоприемника, чтобы избавиться от лишних помех. Затем она снова простерла руку вперед, трепетными ноздрями чутко пробуя эфемерные токи воздуха.

— Превосходно!

Из сигары мистера Хеллоуэя изверглось целое облако дыма. Дивные густые клубы окутали гадалку. Она закашлялась.

— Дурачина! — гаркнул, не сдержавшись, Человек-в-Картинках. Но не понять было, мужчину или женщину он имеет в виду.

— Отличная сигара! — продолжал восхищаться мистер Хеллоуэй. — Пожалуй, угощу-ка я и вас тоже!

С этими словами он сотворил еще одну синюю тучу, почти совсем скрывшую Пыльную Ведьму.

Она громко и обиженно чихнула раз-другой, забормотала сердито себе под нос и заковыляла прочь.

Человек-в-Картинках схватил было отца за руку, но понял, что зашел слишком далеко, признал свое нелепое поражение и отправился вслед за цыганкой. В спину ему прозвучал доброжелательный голос отца Вилли:

— Всего вам *доброго*, сэр!

«Вот это лишнее, папа», — подумал Вилли.

Человек-в-Картинках вернулся.

— Ваше имя, сэр? — напрямик спросил он.

«Не говори, не надо!» — напрягся Вилли.

Его отец поколебался немного, вынул сигару изо рта, стряхнул пепел и ответил:

— Хеллоуэй. Библиотечный работник, к вашим услугам. Заглядывайте, если придется, — добавил он, подмигнув.

— Не сомневайтесь, Хеллоуэй, обязательно загляну!

Ведьма, пританцовывая, поджидала мистера Дарка на углу.

Мистер Хеллоуэй послунывил палец, определил направление ветра и послал в ее сторону очередное грозовое облако. Ведьма затопотала на месте, повернулась и исчезла за углом. Человек-в-Картинках сурово взглянул на старика, повернулся и удалился широкими шагами, сжимая в кулаках ребячьи лица.

Из-под решетки не доносилось ни звука. «Как бы они там не померли от страха», — с беспокойством подумал Чарльз Хеллоуэй. А Вилли внизу, с мокрыми от слез глазами, думал совсем другое: «Господи! Как же я раньше не замечал? Он же у меня высокий, выше Дарка ростом!» Чарльз Хеллоуэй все еще старался не смотреть на решетку. От дверей табачной лавки уводили за угол редкие алые кляксы. Они накапали из стиснутых кулаков мистера Дарка. Отец Вилли с удивлением оглядел и себя тоже и не мог не заметить то новое — наполовину отчаяние, наполовину спокойная ясность, — что появилось в нем за последние четверть часа, появилось и совершило невозможное. Вряд ли он смог бы ответить, почему назвал мистеру Дарку свое имя, но чувствовал, что поступил так, как надо.

Теперь он обращался к циферблату уличных часов с длинной речью:

— Что-то происходит, братцы. Что-то надвигается. Хорошо бы вам куда-нибудь деться до конца дня. Нам нужно выиграть время. Тут важно решить, с чего начать. Вроде бы

ни один писанный закон пока не нарушен, но я чувствую, уже с месяц как чувствую: бедой запахло. У меня внутри что-то подрагивает все время. Прячьтесь, ребята, прячьтесь. Я скажу вашим матерям, что у вас появилась работа на Карнавале, до темноты можете не появляться. А вечером, часам к семи, приходите ко мне в библиотеку. Я знаю, кажется, с чего начать. Надо просмотреть отчеты полиции по карнавалам за предыдущие годы, полистать подшивки газет, покопаться в некоторых старинных книгах. Все может пригодиться. Глядишь, с божьей помощью к вечеру у нас появится какой-нибудь план. До тех пор не тревожьтесь ни о чем. Господь с вами, мальчики!

Вилли посмотрел. Тщедушная фигурка отца, ставшего вдруг высоким и сильным, неторопливо удалялась. Еще раньше его чудесная сигара выпала у него из пальцев — а он даже не заметил, — скользнула сквозь решетку, на мгновение осветив подземелье градом искр, и теперь лежала на дне ямы, гипнотизируя Джима и Вилли единственным багровым глазом. Ребята ослепили ее и выбросили вон.

Глава 36

На юг по Главной улице пробирался через толпу Карлик. Внезапно он остановился. Пленка была проявлена, и сознание наконец получило возможность просмотреть отснятые кадры. Карлик замычал, развернулся и через лес ног заковылял разыскивать хозяина. Он скоро нашел его и заставил пригнуться низко-низко. Мистер Дарк внимательно выслушал сообщение и бросился бежать, даже не оглянувшись на оставшегося позади удачливого старателя.

Возле индейца чероки Человек-в-Картинках пал на колени и, вцепившись в прутья стальной решетки, попытался разглядеть дно ямы. Там открылись ему обрывки старых газет, фантики от леденцов, окурки и розовая полоска жевательной резинки, совершенно целая. Мистер Дарк испустил короткий яростный вопль.

— Что-нибудь потеряли, сэр? — поинтересовался из-за стойки мистер Татли.

Человек-в-Картинках, все еще не отпуская решетку, утвердительно кивнул.

— Не беда, — успокоил его мистер Татли. — Раз в месяц я обязательно провожу инспекцию. Сколько у вас там: четвертак, полдоллара?

Банг!

Человек-в-Картинках вздрогнул и посмотрел наверх. В окошечке кассы, высоко в небесах, выскочил маленький огненно-красный флажок: «НЕ ПРОДАЕТСЯ».

Глава 37

Городские часы пробили семь. Эхо курантов пошло гулять по темным залам библиотеки. Хрупкий осенний лист прошуршал по оконному стеклу или это просто перевернулась страница книги?

В одном из закоулков, склонившись в травяном свете лампы, сидел Чарльз Хеллоуэй. Руки его, чуть подрагивая, перебирали страницы, ставили на место одни книги, снимали другие. Изредка он подходил к окну и, вглядываясь в осенние сумерки, наблюдал за улицей, потом опять возвращался к столу, перелистывал страницы, делал выписки, закладки, бормоча себе под нос. От слабых звуков его голоса под потолком библиотеки порхали смутные отголоски.

— Так... теперь посмотрим здесь...

— ...здесь! — подтверждали темные переходы.

— О, вот это нам пригодится...

— ...годится! — вздыхали темные залы.

— И вот это тоже!

— ...тоже, — шуршали пылинки в темноте. Пожалуй, это был самый длинный день в его жизни. Он бродил среди диковинных толп, выслеживал рассыпавшихся по городу карнавальным шпионов. Он не стал портить матерям Вилли и Джима спокойного воскресенья и сказал лишь самое не-

обходимое, и опять бродил по улицам, держась подальше от глухих алей, сталкивался тенями с Карликом, кивал встреченным Крушителям и Пожирателям Огня и дважды с трудом сдержал панику, проходя мимо решетки возле табачной лавки. Он чувствовал, что в яме никого нет, и надеялся, что ребята, благодарение богу, нашли надежное местечко. Вместе с толпой горожан он посетил Карнавал, но не зашел ни в один балаган, не прокатился ни на одном аттракционе. Уже в сумерки, перед заходом солнца, исследовал Зеркальный лабиринт и понял достаточно, чтобы удержаться на берегу и не кануть в холодные глубины.

Промокший под вечерним дождем, промерзший до костей, он дал толпе возможность нести себя и, прежде чем ночь успела схватить его, причалил к берегу библиотеки. Здесь он достал самые нужные книги и разложил на столах, как огромные литературные часы. Теперь они отсчитывали для него свое время.

Он ходил от стола к столу, поглядывая искоса на пожелтевшие страницы, словно на коллекцию диковинных бабочек, расправивших крылья над деревянными столешницами.

Здесь лежала книга, раскрытая на портрете князя тьмы. Рядом — серия гравюр «Искушение св. Антония», слева — алхимические рисунки Джованни Баттисты Брачелли, изобретавшие гомункулов, рожденных в ретортах. Место «без пяти полдень» занимал «Фауст», на двух пополудни лежала «Оккультная иконография», на шести утра, как раз там, где сейчас трудились его пальцы, расположилась «История цирков, карнавалов, театров теней и марионеток», во множестве населенная шутами, менестрелями, магами, клоунами на ходулях и куклами на веревочках. Сверх того присутствовали «Справочник по воздушному царству (Летающие твари за всю историю Земли)», «девять» находилось «Во власти демонов», выше помещались «Египетские снадобья», еще выше — «Мытарства на воздушях», придавленные «Зеркальными чарами», а уж совсем ближе к полуночи стояли под парами «Поезда и локомотивы», упирившиеся в «Мистерии сновидений», «Между полуночью и рассветом», «Шабашаи

ведьм» и «Договоры с демонами». Все было на своих местах, и весь циферблат заполнен. Не хватало лишь стрелок, поэтому Хеллоуэй не мог сказать, который час отзвонили куранты его собственной жизни или жизни двоих ребят, затерянных где-то среди ни о чем не подозревающего города.

Чем же он располагал в итоге?

В три часа ночи появился поезд. На луку раскинул сети Зеркальный лабиринт, в город вошел воскресный парад, которым командовал рослый мужчина, разрисованный вдоль и поперек. Дальше было несколько капель крови, двое перепуганных мальчишек в яме и, наконец, он сам, сидящий в этой кладбищенской тишине над частями мудреной головоломки.

Ребята говорили правду. Это доказывало явное ощущение страха, стусившееся в воздухе во время их странной беседы сквозь решетку. А уж он, Хеллоуэй, в своей жизни повидал достаточно страшного, чтобы распознать его сразу при встрече. Почему в молчании разрисованного незнакомца ему послышались все ругательства и проклятия, сколько их есть на свете? Что почудилось Хеллоуэю в фигуре дряхлого старика, мелькнувшей сквозь щель в пологе шатра под вывеской «Мистер Электрико»? Почему на его теле плясали зеленые электрические ящерицы? Как сложить все это вместе, как совместить с тем, что говорят книги? Он взял в руки «Физиогномику. Тайны характера, определяемые по лицу», полистал. Автор уверял его, что Джим и Вилли — просто-таки воплощение ангельской чистоты, идеал Мужчины, Женщины или Невинного Младенца, гармония Цвета, Пропорций и Расположения Звезд. И вот они глядят из-под решетки на весь этот шагающий и грохочущий ужас... А там... Чарльз Хеллоуэй перевернул несколько страниц. Так, значит, Расписному Чуду присущи Раздражительность, Жестокость, Алчность — об этом говорят лобные шишки, а также Похоть и Ложь — это уже следует из линии губ, и в не меньшей степени — Хитрость, Наглость, Суета и Предательство, о чем с неопровержимостью должны свидетельствовать зубы мистера Дарка.

Нет. Книга захлопнулась. Если судить по лицам, балаганные уроды не намного хуже тех, кто на его долгой памяти открывал и закрывал двери библиотеки. Но в одном он уверен совершенно. В этом убедили его две строки Шекспира. Их надо было поместить в центре книжного циферблата, ибо именно они наиболее точно выражали суть его мрачного предчувствия.

Колет пальцы.
Так всегда
Надвигается беда¹.

Так смутно — и так огромно.

С этим предчувствием не хотелось жить. Но Хеллоуэй был твердо убежден: если ему не удастся изжить наступающий ужас сегодня ночью, он останется с ним на всю оставшуюся жизнь. И он все поглядывал в окно, все поджидал: Джим, Вилли, вы идете? Придете ли вы сюда?

Ожидание выбелило его плоть до цвета костей.

Глава 38

Здание библиотеки поднималось из сугробов времени, нападавших от лавины книг всех веков и народов — ее с трудом сдерживал порядок полок и разделителей.

Семь пятнадцать... семь тридцать... семь сорок пять воскресного вечера.

Город был занят Карнавалом. Мимо Джима и Вилли, затаившихся в кустах под стеной библиотеки, то и дело шли люди, заставляя ребят зарываться носами в палые листья.

— Полундра!

Оба снова вжались в землю. Кто-то пересекал улицу: может, какой-то парнишка, а может, Карлик, может, подросток с сознанием Карлика, а может, просто сдуло несколько листьев с дерева и бросило по подмерзшему после дождя

¹ «Макбет», акт IV, сцена I.

тротуару. Ладно. Было и ушло. Джим сел, а Вилли все еще лежал, прижавшись к доброй, безопасной земле.

— Ты чего? Идти ведь надо.

— Библиотека, — словно нехотя отозвался Вилли. — Я даже ее теперь боюсь.

«Этим книжкам, поселившимся здесь, — думал он, — сотни лет от роду. У них шелушится кожа от старости, они расселись на полках, как стая грифов, крыло к крылу. Только ступи в темные переходы — сразу миллион золотых корешков так и вылупятся на тебя. Библиотека старая, и Карнавал старый, и отец старый...»

— Я знаю, — вслух произнес он, — отец там. Но отец ли он? А что, если они уже побывали здесь, изменили его, переделали, наобещали с три короба, чего и дать не могут, а он-то думает — у них есть, и мы войдем сейчас, а потом, лет через пятьдесят, кто-нибудь возьмет книжку, откроет, а оттуда на пол вывалимся, как сухие бабочкины крылья, мы с тобой, а? Как сожмут нас, как засунут между страницами, никто и не узнает, куда мы подевались...

Для Джима это было уже чересчур. Надо было немедленно действовать — и вот он уже колотит в библиотечную дверь. Еще миг — и Вилли присоединился к нему. Куда уютно, лишь бы убежать от уличной ночи, хоть в такую же ночь, но в тепло, под крышу, за дверь. Если уж выбирать, пусть лучше пахнет книгами... сил больше нет вдыхать запах мокрых прелых листьев... Вот уже отворилась дверь, и на пороге — отец со своей призрачного цвета шевелюрой. Они на цыпочках прошли пустынными коридорами, и Вилли вдруг испытал безумное желание свистнуть, как бывало иногда на кладбище после захода солнца. Отец расспрашивал, почему они припозднились, а ребята старательно припоминали все места, где прятались днем. Они побывали в старых гаражах, отсиживались в амбарах, пробовали скрываться даже на деревьях, но в конце концов все это им надоело. Они вылезли из какой-то очередной норы и заявили прямо к шерифу. Полчаса, проведенные в участке, были прекрасны своей полной безопасностью, а потом Вилли пришла в го-

лову мысль побродить по церквям, что они и сделали, облизав все церкви в городе, от подвалов до колоколен. Неизвестно, насколько безопасны были церкви на самом деле, но некое чувство защищенности там возникало. А потом надоело и это. Скука и предвечерняя тоска чуть было не погнали их на Карнавал, но тут, весьма кстати, солнце село, и настала пора двигаться к библиотеке. Весь день она представлялась им дружественным фортом, крепостью на захваченных врагом землях, и только в самом конце они испугались: а не сдалась ли и эта цитадель арабам?

— И вот мы здесь, — шепло прошептал Джим и замолчал. — А что это я все шепчу? — подумал он вслух. — Привык за этот день. Вот чертовщина!

Он рассмеялся и тут же испуганно оборвал себя. Из глубины библиотеки словно бы прошелестели легкие шаги. Но это всего лишь вернулись отголоски его собственного смеха, отраженные стеллажами, и кошкой прокрались по переходам.

Кончилось тем, что все вновь перешли на шепот.

Лесные чащи, мрачные пещеры, темные церкви, полусвещенные библиотеки одинаково приглушают голоса, гасят пыл, вынуждают говорить вполголоса из страха перед призрачными отголосками, продолжающими жить и после вашего ухода.

Теперь они были уже в той комнате, где Чарльз Хеллоуэй разложил свои фолианты. Здесь все переглянулись, каждый поразился бледности другого, но говорить об этом не стали.

— А теперь давайте-ка все с самого начала, — потребовал отец Вилли, придвигая ребятам кресла.

Он внимательно выслушал рассказ о торговце громоотводами, о приближавшейся, по его словам, грозе, о ночном поезде, о том, как странно разворачивался на лугу Карнавал; потом в полуденном свете открылся проселок и по нему на луг брели сотни христиан — только львов не хватало, чтобы закусить ими; вместо львов был лабиринт, где само Время блуждало взад-вперед; дальше — неисправная карусель, перерыв на ужин, мистер Кутер, племянник с грешными гла-

зами, потому что на самом деле он был мужчина и жил так долго, что и рад бы умереть, да не знает как...

Ребята остановились перевести дух, а потом опять — мисс Фолей, снова Карнавал, дикий разбег карусели, мумия мистера Кугера, мертвей мертвого, но вскоре ожившая под электрическими разрядами, — все это и была буря, только без дождя и грома, а потом — парад, яма, накрытая решеткой, нудная игра в прятки, и рассказ закончился abordажем библиотечных дверей.

Отец Вилли долго сидел, слепо уставившись на что-то прямо перед собой, потом его губы шевельнулись раз-другой, и он произнес:

— Джим, Вилли, я вам верю.

Ребята просто-таки осели в креслах.

— Что, всему этому?

— Всему этому.

Вилли потер глаза.

— Знаешь, — сообщил он Джиму, — я, кажется, разревусь сейчас.

— Да погоди ты! — прикрикнул на него Джим. — Нашел время!

— Верно. Времени у нас мало, — промолвил Чарльз Хеллоуэй.

Он встал, набил трубку и в поисках спичек опустошил карманы, в результате чего на столе перед ним оказались: старая губная гармошка, перочинный нож, сломанная зажигалка, записная книжка — он давно уже предназначил ее для записи мудрых мыслей, но все руки не доходили. Перебрав весь этот жалкий мусор, он покачал головой и наконец обнаружил измочаленный спичечный коробок, зажег трубку и принялся расхаживать по комнате.

— Вот мы толкуем тут о совершенно особенном Карнавале: откуда он взялся, да почему, да зачем он здесь? Вроде бы никто и никогда такого не видел, а уж в нашем городишке — тем более. Однако не угодно ли вам посмотреть вот сюда?

Он постучал пальцем по сильно пожелтевшей газетной рекламе с числом в правом верхнем углу: 12 октября 1888 го-

да. Реклама гласила: «Дж. К. Кугер и Г. М. Дарк представляют: театр-пандемониум, сопутствующие выступления, международный противоестественный музей!»

— Дж. К., Г. М., — вспомнил Джим. — На вчерашних афишах эти же инициалы. Но ведь не могут они быть теми же самыми?

— Не могут? Как сказать... — Отец Вилли потер виски. — Я, когда вот это увидел, тоже весь мурашками пошел.

Он положил на стол еще одну старую газету.

— Вот. Тысяча восемьсот шестидесятый год. И еще есть тысяча восемьсот сорок шестой. Та же реклама, те же фамилии. Дарк и Кугер, Кугер и Дарк, они появляются и исчезают примерно каждые тридцать-сорок лет. Люди успевают все забыть. Где их носило все эти годы? Похоже, они путешествовали. Только довольно странно: они появляются всегда в октябре: октябрь тысяча восемьсот сорок шестого, октябрь тысяча восемьсот шестидесятого, тысяча восемьсот восемьдесят восьмого, тысяча девятьсот десятого и, наконец, нынешний октябрь... — Голос Хеллоуэя зазвучал глуше. — Бойтесь людей осени...

— Чего?

— Один старый религиозный трактат. Пастор Ньюгейт, кажется. Я его в детстве читал. Как же там дальше? — Он попытался вспомнить. Облизал губы. Наморщил лоб. Вспомнил. — «Для некоторых людей осень приходит рано и остается на всю жизнь. Для них сентябрь сменяется октябрем, следом приходит ноябрь, но потом, вместо Рождества Христова, вместо Вифлеемской Звезды и радости, вместо декабря, вдруг возвращается все тот же сентябрь, за ним приходит старый октябрь, и снова падают листья; так оно и идет сквозь века: ни зимы, ни весны, ни летнего возрождения. Для подобных людей падение естественно, они не знают другой поры. Откуда приходят они? Из праха. Куда держат путь? К могиле. Кровь ли течет у них в жилах? Нет, то — ночной ветер. Стучит ли мысль в их головах? Нет, то — червь. Кто глаголет их устами? Жаба. Кто смотрит их глазами? Змея. Кто слушает их ушами? Черная бездна. Они взбаламучивают

осенней бурей человеческие души, они грызут устои причины, они толкают грешников к могиле. Они неистовствуют и во взрывах ярости суетливы, они крадутся, выслеживают, заманивают, от них луна угрюмеем ликом и замутняются чистые текущие воды. Таковы люди осени. Остерегайся их на своем пути».

Чарльз Хеллоуэй замолчал, и оба мальчика разом выдохнули.

— Люди осени, — повторил Джим. — Это они! Точно!

— А мы тогда кто? — сглотнул от волнения Вилли. — Мы, значит, люди лета?

— Ну, я бы так прямо не сказал, — покачал головой Хеллоуэй. — Сейчас-то вы, конечно, ближе к лету, чем я. Может быть, когда-то и я таким был, но только очень давно. Большинство у нас серединка на половинку. Августовским полднем мы защищаемся от ноябрьских заморозков, мы живем благодаря запасам тепла, скопленным Четвертого июля, но бывает, и мы становимся людьми осени.

— Ну не ты же, папа!

— Не вы же, мистер Хеллоуэй!

Он быстро повернулся к ним и успел заметить, как они бледны, как напряжены их позы с неподвижно лежащими на коленях руками.

— Слова, слова... Не надо меня убеждать, я говорю то, что есть. Как ты думаешь, Вилли, знаешь ли ты своего отца на самом деле? И достаточно ли я знаю тебя, если случится нам вместе выйти против тех?

— Я не понял, — протянул Джим. — Так вы — кто?

— Черт побери! Да знаем мы, кто он! — взорвался Вилли.

— Ой ли? — скептически произнес седой мужчина. — Давай посмотрим. Чарльз Вильям Хеллоуэй. Ничего особенного, кроме того, что мне пятьдесят четыре, а это всегда не совсем обычно, особенно для тех, к кому эти пятьдесят четыре относятся. Родился в местечке под названием Сладкий Ключ. Жил в Чикаго. Выжил в Нью-Йорке. Маялся в Детройте, сменил кучу мест, здесь появился довольно поздно, а до этого переходил из библиотеки в би-

библиотеку по всей стране, потому что любил одиночество, любил сравнивать с книгами то, что встречал на дорогах. Как-то раз, посреди всей этой беготни, твоя мать, Вилли, остановила меня одним взглядом, и вот с тех пор я здесь. По-прежнему любимое время для меня — ночь в библиотечном зале. Навсегда ли я бросил якорь? Может, да, а может, и нет. Зачем я оказался здесь? Похоже, затем, чтобы помочь вам.

Он помедлил и долго смотрел на симпатичные, открытые мальчишеские лица.

— Да, — произнес он наконец. — Слишком долго в игре. Я помогу вам.

Глава 39

Ночной холодный ветер яростно тряс бельмастые окна библиотеки. Вилли, давно уже молчавший, вдруг сказал:

— Пап... ты всегда помогаешь...

— Спасибо, сынок, только это неправда. — Чарльз Хеллоуэй тщательно изучал свою совершенно пустую ладонь. — Дурак я, — признался он неожиданно, — всегда норовил заглянуть поверх твоей головы — что там у тебя впереди. Нет бы на тебя посмотреть, на то, что сейчас есть. Но этак и каждый ведь дурак — вот мне уже и легче. Как оно бывает: ты вкалываешь всю жизнь, карабкаешься, прыгаешь за борт, сводишь концы с концами, прилепляешь пластырь, гладишь по щеке, целуешь в лобик, смеешься, плачешь, словом, весь при деле, и так до тех пор, пока не оказываешься вдруг наилучшим дураком на свете. Ну тогда, понятно, орешь: «Помогите!» — и очень здорово, если тебе ответит кто-нибудь. Я просто вижу эти небольшие городишки, раскиданные по всей стране, захолустные заповедники для дураков. И вот однажды появляется Карнавал. Ему достаточно тряхнуть любое дерево, и посыплется просто дождь из болванов, из таких, знаешь, индивидуумов, которым кажется (а может, и на самом деле так), что на их «помогите» некому ответить. Вот

такие дураки-индивидуалисты и составляют урожай, который убирает Карнавал по осени.

— Черт возьми! — в сердцах произнес Вилли. — Но тогда ведь бороться с ними — безнадежное дело!

— Не скажи. Мы-то — вот они, сидим и думаем, какая разница между летом и осенью. Это уже хорошо. Значит, есть выход, значит, вы не останетесь дураками, значит, грех, зло, неправда, что бы этими словами ни называли, к вам не пристанут. У этого Дарка с его дружками не все козыри на руках. После нашего разговора я это точно знаю. Да, я его боюсь, но — ведь и он меня побаивается. Тут мы квиты. Вопрос: как нам этим воспользоваться?

— Как?

— Начнем сначала. Возьмем историю. Если бы люди всегда стремились только к плохому, их бы просто не было. А ведь мы уже не плаваем вместе со всякими барракудами, и не бродим стадами по прериям, и не ищем у соседки-гориллы блох под мышкой. Мы ухитрились в свое время отказаться от клыков хищников и принялись жевать травку. Всего за несколько поколений мы уравнили философию охоты с философией земледелия. Тут нам пришло в голову измерить свой рост, и выяснилось, что мы — повыше животных, но пониже ангелов. Потрясающая идея! Чтобы она не пропала, мы записали ее тысячу раз на бумаге, а вокруг понастроили домов наподобие того, в котором мы сидим. И теперь мы водим хороводы вокруг этих святилищ, пережевываем нашу сладкую идею и пытаемся сообразить: с чего же все началось, когда же пришло это решение — быть непохожими на всех остальных? Наверное, как-то ночью, примерно сотню тысяч лет назад, один из тогдашних косматых джентльменов проснулся у костра, посмотрел на свою сильно волосатую леди с младенцем и... заплакал. Ему подумалось, что придет время и эти теплые и близкие станут холодными и далекими, уйдут навсегда. Этой ночью он все трогал женщину, проверяя, не умерла ли она уже, и детей, которые ведь тоже умрут когда-нибудь. А на следующее утро он обращался с ними уже чуточку поласковее, ведь они того

заслуживали. В их крови, да и в его тоже, таилось семя но-чи, пройдет время, и оно сокрушит жизнь, разрушит тело и отправит его в ничто. Тот джентльмен уже понимал, как и мы понимаем: век наш короток, а у вечности нет конца. Как только это знание поселяется в тебе, следом тут же приходят жалость и милосердие, и тогда мы стремимся оделить других любовью. Так кто же мы есть в итоге? Мы — знающие, только тяжесть знания велика, и неизвестно, плакать надо от этого или смеяться. Кстати, звери не делают ни того ни другого. А мы смеемся или плачем — смотря по сезону. А Карнавал наблюдает и приходит лишь тогда, когда мы созрели.

Чарльз Хеллоуэй замолчал. Мальчишки смотрели на него так пристально, что ему стало неловко.

— Мистер Хеллоуэй! — тихонько крикнул Джим. — Это же грандиозно! Ну а дальше, дальше-то что?

— Да, папа, — выговорил пораженный Вилли, — я и не знал, что ты можешь *так* говорить!

— Э-э, послушал бы ты меня как-нибудь вечером, попозже, — усмехнулся отец, — сплошные разговоры. Да в любой из прожитых дней я мог бы рассказать тебе куда больше! Черт! А где же я был? Похоже, все готовился... готовился любить.

Вилли как-то вдруг пригорюнился, да и Джима насторожило последнее слово. Чарльз Хеллоуэй заметил это и замолчал. «Как объяснить им, — думал он, — чтобы поняли? Сказать, что любовь — причина всего, цемент жизни? Или попытаться объяснить, что он чувствует, оказавшись в этом диком мире, волчком несущемся вкруг огромного косматого солнца, падающего вместе с ним через черное пространство в пространства еще более обширные, то ли навстречу, то ли прочь от Нечто. Может быть, сказать так: волей-неволей мы участвуем в гонке и летим со скоростью миллион миль в час. А вокруг — ночь. Но у нас есть против нее средство. Начнем с малого. Почему любишь мальчишку, запустившего в небеса мартовского змея? Потому что помнишь подергивание живой бечевки в собственных ладонях. Почему лю-

бишь девочку, склонившуюся над родником? Потому что даже в вагоне экспресса не забываешь вкус холодной воды в забытый июльский полдень. Почему плачешь над незнакомцем, умершим на дороге? Потому что он похож на друзей, которых не видел сорок лет. Почему смеешься, когда один клоун лупит другого пирогом? Потому что вспоминаешь вкус крема в детстве, вкус жизни. Почему любишь женщину, жену свою? Ее нос дышит воздухом мира, который я знаю, и я люблю ее нос. Ее уши слышат музыку, которую я напеваю полночи напролет, конечно, я люблю ее уши. Ее глаза радуются приходу весны в родном краю, как же не любить мне эти глаза? Ее плоть знает жару, холод, горе, и я знаю огонь, снег и боль. Мы с ней — один опыт жизни, мы срослись миллионами ощущений. Отруби одно, убавишь чувство жизни, два — уполовинишь саму жизнь. Мы любим то, что знаем, мы любим нас самих. Любовь — вот общее начало, вот причина, объединяющая рот, глаза, уши, сердца, души и плоть... Разве скажешь им все это?»

— Смотрите, — все-таки попробовал он, — вот два человека едут в одном вагоне: солдат и фермер. Один все время толкует о войне, другой — о хлебе, и каждый вгоняет соседа в сон. Но если один вдруг вспомнит о марафонском беге, а другой в своей жизни пробежал хотя бы милю, они прекрасно проболтают всю ночь и расстанутся друзьями. У всех мужчин есть одна общая тема — это женщины, об этом они могут толковать от восхода до заката, и дальше... О черт!

Чарльз Хеллоуэй замолчал и, кажется, покраснел. Цель вырисовывалась впереди, но вот как до нее добраться? Он в сомнении пожевал губами.

«Не останавливайся, папа, — думал Вилли. — Пока ты говоришь, здесь замечательно. Ты нас спасаешь, только продолжай...»

Мужчина почувствовал взгляд мальчика и понял его. Повернувшись, он встретил такой же взгляд Джима, встал и медленно начал обходить стол. Он касался то одной картинки, то другой, трогал Звезду Соломона, полумесяц, древний символ солнца...

— Я не помню, говорил я, что значит быть хорошим? Бог мой, я не знаю. Если при тебе на улице стреляют в чужака, ты едва ли кинешься на помощь. Но если за час до этого успел поговорить с ним минут десять, если узнал хоть чуть-чуть о нем и о его семье, то, скорее всего, ты попытаешься помешать убийце. Потому что знаешь наверняка — это хорошо. А узнать надо стараться. Если не хочешь знать, отказываешься знать — это плохо. Без знания нет действия, без знания от твоих действий толку не будет. Думаете, я свихнулся? Вы ведь уверены, что всего и дел-то — пойти и перестрелять их всех к чертовой бабушке. Ты ведь уже пробовал стрелять, Вилли. Так не пойдет. Мы должны постараться узнать о них как можно больше, а главное — разузнать об их хозяине. Мы не сможем быть хорошими и действовать правильно, пока не будем знать, что в этой истории правильно. Поэтому мы тут теряем время. Сегодня воскресенье. Представление закончится не поздно, и народ разойдется по домам. А после этого... после этого нам надо ждать осенних людей. У нас в распоряжении часа два, не больше.

Джим стоял у окна, словно видел через весь город и черные шатры, и каллиопу, играющую сама по себе, только оттого, что мир, вращаясь, трется об ночь.

— Разве Карнавал — это плохо? — спросил он.

— Ты еще спрашиваешь! — рассердился Вилли.

— Стоп, стоп! — остановил его отец. — Вопрос хорош. Часть этого представления просто замечательная. Но есть старая хорошая пословица: за все рано или поздно приходится платить. А здесь ты отдаешь им кое-что задаром, а взамен — пустые обещания.

— Откуда они взялись? — угрюмо спросил Джим. — Кто они?

Вилли с отцом тоже подошли к окну. Чарльз Хеллоуэй заговорил, словно обращаясь к темным шатрам на дальнем лугу:

— Некогда, ну скажем, до Колумба, по Европе, позвякивая колокольчиками на лодыжках, с лютней за спиной

бродил человек. А может, это было еще на миллион лет раньше, просто тогда он был в обезьяньей шкуре и выглядел как самая настоящая обезьяна. Желанней всего на свете были для него несчастья и боль окружающих. Он собирал их и целый день пережевывал, как мятную жвачку. Это давало ему силы, доставляло удовольствие. Наверное, после него его сын усовершенствовал капканы отца, ловушки для человеков, костоломки, средства для головной боли, способы мучения плоти и ограбления души. На дальних болотах из всяческих отбросов он вывел мошку, от которой не спрячешься, москитов, которые достают тебя летними ночами. Вот так, по человечку оттуда, отсюда, и собралась стая людей-псов, для которых нет ничего слаще твоей тревоги, которые с радостью помогут твоему горю. Они караулят твои ночные страхи, вожделенно подслушивают твои угрызения совести и нечистые сны. Ночные кошмары — их хлеб насущный. Они намазывают его болью и уплетают за обе щеки. Они были всегда. С бичами из носорожьей кожи они надзирали за строительством пирамид, поливая их для крепости потом, кровью и жизнями других людей. Они пронеслись по Европе на белых оскаленных конях Моровой Язвы. Они, удовольствия ради, нашептывали Цезарю мысль о том, что и он смертен, а потом, на мартовской распродаже, пускали кинжалы за полцены. То они шуты при дворе императора, то — инквизиторы в застенке, то — цыгане на большой дороге жизни. Чем больше людей становилось на земле, тем быстрее росло их поголовье. А заодно совершенствовались способы причинения боли ближнему своему. Вот загудел первый паровоз, а они уже тут как тут, цепляют к нему вагон, больше всего похожий на средневековую гробницу или колесницу, в которую впрягали людей...

— И что, все эти годы они — одни и те же? — напряженным голосом спросил Джим. — Вы думаете, мистер Кугер и мистер Дарк родились... лет двести назад?

— По-моему, это ты говорил, что, прокатившись на карусели, нетрудно сбросить год-другой, верно?

— Так это что же, они могут жить *вечно*? — холодея от ужаса, спросил Вилли.

— И вечно вредить людям? — Джим никак не мог откаться от какой-то своей мысли. — Но почему все — вред и зло?

— Отвечу, — спокойно отозвался Хеллоуэй-старший. — Чтобы двигаться, Карнавалу нужно какое-то топливо, так? Женщины, к примеру, добывают энергию из болтовни, а болтовня их — сплошной обмен головными болями, легкими укусами, артритными суставами, всякими совершенными глупостями, их последствиями и результатами. Многие мужчины не лучше — если их челюсти не загрузить жевательной резинкой из политики и женщин, с ними, чего доброго, кондрашка случится. А сколько удовольствия доставляют им похороны? Прибавить сюда хихиканье над некрологами за завтраком, сложить все кошачьи потасовки, в которых одни норовят содрать шкуру с других, вывернуть ее наизнанку да еще доказывать после, что так оно и было. Еще не забыть приплюсовать работу шарлатанов-врачей, кромсающих людей вкривь и вкось, а после сшивающих грязной ниткой, умножить на убойную мощь динамитной фабрики, и тогда, пожалуй, получим черную силу одного только такого Карнавала. Они гребут лопатой в свои топки все наши низости и подлости. Все боли, горести и скорби человеческие летят туда же. Мы и то не отказываемся подсолить наши жизни чужими грехами, Карнавал — тем более, только в миллион раз сильнее. Все страхи и боли мира — вот что вращает карусели. Сырой ужас, агония вины, вопли от настоящих или воображаемых ран — все перегорает в его топках и с пыхтением влечет дальше. — Чарльз Хеллоуэй перевел дух. — Как я узнал об этом? Да никак! Просто чувствую. Я слышал их музыку, слышал ваш рассказ. Наверное, я всегда знал об их существовании и только ждал ночного поезда на заброшенной ветке, чтобы посмотреть и кивнуть. Мои кости знают о нем правду. Они говорят мне. Я говорю вам.

Глава 40

— А могут они, — начал Джим, — это... души покупать?

— Зачем же платить за то, что можно получить даром? — усмехнулся мистер Хеллоуэй. — Многие даже рады возможности отдать все за ничего. Мы ведь такой фарс устроили с нашими бессмертными душами! Правда, похоже, ты попал в точку. За всем этим делом чувствуется когтистая лапа дьявола. Он хоть не ест их, но и жить без них не может. Вот что всегда интересовало меня в старых мифах. Я все думал: ну зачем Мефистофелю душа Фауста? Что он с нею делать-то будет? Сейчас я вам изложу мою собственную теорию на этот счет. Лучший подарок для этих тварей — чадный огонь, горящий в душе человека, мучимого совестью за старые грехи. От мертвой души никакого проку нет. А вот живая, неистовая, сбрызнутая собственным проклятием — вот это для них лакомый кусок. Откуда мне это известно? А я наблюдаю. Карнавал — тот же человек, но намного яснее. Вот живут мужчина и женщина. Нет бы им разойтись в разные стороны или поубивать друг друга, а они наоборот — всю жизнь едят один другого поедом, таскают за волосы, царапаются. Почему? Да потому, что мучения и ненависть одного — наркотик для другого. Так и Карнавал чует уязвленную самость за много миль и мчится вприпрыжку погреть руки на этих углях. Он мигом распознает подростков, неспособных стать мужчинами, ноющих, как огромный больной зуб мудрости. Он чувствует, как вдруг начинает мельчать мужчина средних лет (вроде меня). Его августовский полдень давно прошел, а он все тараторит без пользы. Мы разжигаем в своих помыслах страсть, зависть, похоть, окисляем их в наших душах, и все это срывается с наших глаз, с наших губ, с наших рук, как с антенн, работающих, уж не знаю, на длинных или на коротких волнах. Но хозяева балаганных уродов знают, они давно научились принимать эти сигналы и не преминут урвать здесь свое. Карнавал не спешит, он знает, что на любом перекрестке найдет желающих подкормить его пинтой похотливой страсти или четвертой лютой ненависти. Вот

чем жив Карнавал: ядом грехов, творимых нами по отношению друг к другу, ферментами наших ужасных помыслов! — Чарльз Хеллоуэй фыркнул.

— Господи! — воскликнул он. — Сколько же я наговорил за последние десять минут!

— Вы много говорили, — подтвердил Джим.

— На чем языке, хотел бы я знать? — воскликнул мистер Хеллоуэй. Ему вдруг показалось, что толку от его речей столько же, сколько и обычно, когда он долгими ночами проповедовал свои идеи пустым залам, и только короткое эхо отвечало ему. Он написал множество книг на воздушных страницах светлых комнат, в просторных зданиях разных библиотек — где они? Он уже сомневался, не устроил ли он фейерверк из цветистых звучных фраз, годящихся лишь на то, чтобы поразить двух подростков без всякой для них пользы. Пустое упражнение в риторике.

Интересно, сколько из сказанного дошло до них? Одна фраза из трех? Две из восьми? Видимо, последние слова он произнес вслух, потому что Вилли неожиданно ответил:

— Три из тысячи.

Чарльз Хеллоуэй не очень весело рассмеялся и вздохнул. Джиму важно было выяснить что-то свое.

— Этот Карнавал... это что? Смерть?

Старик снова раскурил трубку, выпустил дым и внимательно изучил его.

— Нет, это не сама Смерть, но использовать ее как попытку он может. Смерти-то ведь нет, никогда не было и никогда не будет. Просто мы так часто изображали ее, столько лет пытались ее постичь, что в конце концов убедили себя в ее несомненной реальности да еще наделили чертами живого и жадного существа. А ведь она — не больше чем остановившиеся часы, конец пути, темнота. Ничто. Но Карнавал прекрасно знает, что именно это Ничто пугает нас куда больше, чем Нечто. С Нечто еще можно бороться, а вот как бороться с Ничто? Куда бить? Есть ли у Ничто хоть что-нибудь: тело, душа, мозг? Нет, конечно. Так что Карнавал пугает нас погрешностью и собирает, когда мы в ужасе летим вверх тор-

машками. Он показывает нам Нечто, которое, по нашему мнению, ведет к Ничто. Например, этот лабиринт там, на лугу. Обычное грубоватое нечто, вполне достаточное, чтобы вышибить вашу душу из седла. Простой хулиганский удар ниже пояса: показать, как твои девяносто лет тают в зазеркальной глади, и вот ты уже готов, заморожен и недвижим, а каллиопа наигрывает славную мелодию, больше всего похожую на стог сена, из которого пытаются давить вино, или на летнюю ночь на берегу озера, но только под барабаны и литавры. Экая непритязательность! Меня просто восхищает прямота их подхода. Всего и дел-то: разобрать старика на части зеркалами, превратить осколки в головоломку, а единственным ключом к ней владеет Карнавал. А ключ этот — просто-напросто вальс из «Прекрасного Огайо» или «Веселой вдовы», сыгранный наоборот, да карусель. Одного только не говорят они людям, катающимся под их музыку...

— Чего? — не утерпел Джим.

— А того, что если ты в одном обличье стал несчастным грешником, то и в любом другом им останешься. Изменить рост и пропорции — не значит изменить человека. Допустим, Джим, завтра ты станешь двадцатилетним, но думать-то будешь как мальчишка, и этого не подделаешь! Они могут превратить меня в десятилетнего постреленка, да только мой пятидесятилетний разум все равно заставит меня вести себя по-взрослому, поступать так, как не поступил бы ни один мальчишка. Да и соединить разорванное время им не по силам.

— Это как? — спросил Джим.

— Допустим, я стал молодым. Но ведь все мои друзья и знакомые остались прежними, не так ли? Мне никогда уже не быть с ними вместе. Их интересы и заботы меня уже не взволнуют, ведь у них впереди — болезни и смерть, а у меня — еще одна жизнь. Куда деваться человеку на вид этак лет двадцати, а на самом деле прожившему Мафусаилов век? Такой шок — не пустяк. Карнавал об этом помалкивает. И что же в итоге? Скорее всего, безумие. С одной стороны, новое тело, новое окружение, с другой — остав-

ленная жена, друзья, которые будут умирать у тебя на глазах, как и все прочие нормальные люди. Господи, одного этого довольно, чтобы заполучить удар! Но зато сколько страха, сколько мучений перепадет Карнавалу на завтрак. И тогда вы приходите и проситесь обратно. Карнавал слушает и кивает. Конечно, обещают они, если будете себя прилично вести, то в ближайшее время получите обратно ваши три десятка или сколько вам там причитается. На одном только этом обещании карнавальный поезд способен обогнуть земной шар, а группа-то растет, в нее вливаются все новые жаждущие вернуть свое достоинство и за это ожидание прислуживающие Карнавалу, производящие уголь для его топки.

Вилли пробормотал что-то.

— Что ты говоришь, сынок?

— Мисс Фолей. — Голос Вилли дрогнул. — Бедная! Они ведь теперь заполучили ее, прямо как ты сказал. Она добилась своего, но это ее так напугало, она так плакала, пап, прямо обрыдалась вся... А теперь, спорить могу, они пообещали вернуть ей ее пятьдесят лет, но что они сделают с ней за это? Что они делают с ней вот прямо сейчас?

— Да поможет ей Бог! — Отец Вилли опустил тяжелую ладонь на страницы старой книги. — Наверное, она теперь с уродами. Кто они, как вы думаете? Да просто грешники. Они так долго странствуют с Карнавалом в надежде на освобождение, что стали похожи на свои грехи. Я видел в балагане Самого Тучного Человека. Ну и кто он? Вернее, кем был раньше? Просто обжора-сладоэстражник. Карнавалу не откажешь в собственном черном юморе, теперь этот несчастный — узник своей собственной, трещащей по швам плоти. А вот — Скелет. Не обрекал ли он своих близких не только на физическое, но и на духовное истощение? Или ваш приятель Карлик. Вроде бы его вины не видно. Всегда в пути, никогда не ввязываясь в потасовку, опережая грозу и продавая громоотводы... но грозу-то он оставлял встречать другим. И вот бесплатные аттракционы Карнавала скомкали его до размеров большого тряпичного мяча, сшитого из всякой дребедени, запутавшегося в себе самом. А Пыльная Вель-

ма? Может, она из тех, что всегда живут завтрашним днем, не обращая внимания на сегодняшний? Это и мне знакомо. И вот она все накручивает свое наказание, видя на раскинутых картах одни только дурные восходы да горестные закаты. Впрочем, тебе виднее, Вилли. Ты ведь с ней накоротке знаком. Ну, кто там еще? Крушитель? Мальчик-овца? Пожиратель Огня? Сиамские близнецы? Великий боже! Кем они были? Может быть, двойняшками, погрязшими во взаимном нарциссизме? Мы никогда не узнаем, а они никогда не расскажут. Мы можем только гадать и, конечно, будем ошибаться. Пустое занятие. В сторону его! Давайте-ка решать, куда нам двигаться отсюда.

Чарльз Хеллоуэй расстелил на столе карту города и обвел карандашом место расположения Карнавала.

— Подкрадываться не будем: во-первых, не сумеем, а во-вторых, не наши это методы. А с чем в атаку пойдем?

— С серебряными пулями! — выпалил Вилли.

— Черт возьми! Они же не вампиры! — фыркнул Джим.

— А может быть, святой воды в церкви взять?

— Чушь! — Джим отверг и это предложение. — Это только в кино бывает. Или нет, мистер Хеллоуэй?

— Это было бы слишком просто, мальчики.

— Ладно. — Глаза у Вилли яростно сверкнули. — Тогда возьмем пару галлонов керосина.

— Ты что? — испуганно воскликнул Джим. — Это не по закону!

— Это ты-то про закон вспомнил?

— Ну и что? Я!

Оба разом замолчали.

Шорох.

Легкий сквозняк пронесся по комнате.

— Дверь! — прошептал Джим. — Кто-то ее открыл!

Дальний щелчок. Снова легкое дуновение шевельнуло волосы и стихло.

— А теперь — закрыли!

Тишина. Только огромное здание библиотеки с темными лабиринтами переходов и молчаливыми книгами.

— В доме кто-то есть!

Ребята привстали. Внутри у них что-то попискивало, совершенно непонятно что. Чарльз Хеллоуэй помедлил, прислушиваясь, и негромко приказал:

— Спрячьтесь.

— Мы тебя не бросим!

— Я сказал: спрячьтесь!

Мальчишки канули в темноту. Чарльз Хеллоуэй глубоко вздохнул раз-другой, заставил себя сесть, пододвинул поближе старые подшивки газет. Ему оставалось только ждать, ждать и снова ждать.

Глава 41

Тень скользила среди теней. Чарльз Хеллоуэй почувствовал, как душа его погружается в какую-то зыбкую глубину.

Тень и ее обладатель потратили немало времени на поиски комнаты, в окна которой горел свет. Тень двигалась осторожно, словно оберегая хозяина от лишнего шума. И когда она отыскала наконец эту дверь, выяснилось, что сопровождает ее не одно лицо, даже не сто, а тысяча лиц при одном теле.

— Меня зовут Дарк, — произнес глубокий голос.

Чарльз Хеллоуэй, не поднимая головы, с трудом выдохнул.

— Более известный как Человек-в-Картинках, — продолжил голос. — Где мальчики?

— Мальчики? — Мистер Хеллоуэй наконец повернулся и оглядел мужчину у двери.

Человек-в-Картинках внимательным носом втянул тончайшую желтую пыльцу, облетевшую со страниц фолиантов. Отец Вилли только теперь заметил, что книги так и лежат, раскрытые на нужных местах. Он дернулся, сдержал себя и начал закрывать том за томом, стараясь не придерживаться никакой системы. Человек-в-Картинках наблюдал за ним, как будто ничуть не интересуясь происходящим.

— Ребят нет дома. Ни того ни другого. Они могут упустить прекрасную возможность. Интересно, куда же они запропастились? — Чарльз Хеллоуэй расставлял книги по местам. — Знай они, что вы тут с бесплатными билетами, небось запрыгали бы от радости.

— Вы полагаете? — Улыбка мистера Дарка мелькнула и растаяла, как остаток леденца. Он тихо и значительно произнес: — Я могу убить вас.

Чарльз Хеллоуэй кивнул, не прекращая своего занятия.

— Вы слышали, что я сказал? — вдруг заорал Человек в Картинках.

— Слышал, слышал, — спокойно ответил Чарльз Хеллоуэй, взвешивая на ладони тяжелый том, словно он был его приговором. — Но вы не станете убивать меня сейчас. Вы слишком самоуверенны. Это, наверное, оттого, что вы слишком давно содержите свое заведение.

— Стало быть, прочли две-три газетки и решили, что все знаете?

— Не все, конечно, но вполне достаточно, чтобы испугаться.

— Испугаться стоило бы куда сильнее, — угрожающе заявила толпа, скрытая под черной тканью костюма. — У меня там, снаружи, есть один специалист... все решат, что случился простой сердечный приступ.

У мистера Хеллоуэя кровь метнулась от сердца к вискам, а потом заставила вздрогнуть запястья. «Ведьма», — подумал он и, видимо, непроизвольно шевельнул губами.

— Верно, Ведьма, — кивнул мистер Дарк.

Его собеседник продолжал расставлять книги по полкам, одну из них все время прижимая к груди.

— Эй, что вы там прижимаете? — Мистер Дарк прищурился. — А, Библия! Очаровательно! Как это по-детски наивно и свежо.

— Вы читали ее, мистер Дарк?

— Представьте, читал. Скажу даже больше. Каждую главу этой книги, каждый стих вы можете прочесть на мне, сэр! — Мистер Дарк замолчал, закуривая, выпустил струю дыма

сначала в сторону таблички «Не курить», а потом в сторону Чарльза Хеллоуэя. — Вы всерьез полагаете, что эта книжка может повредить мне? Значит, ваши доспехи — это наивность? Что ж, давайте посмотрим.

Прежде чем мистер Хеллоуэй успел двинуться, Человек-в-Картинках подскочил к нему и взял Библию. Он держал ее крепко, обеими руками.

— Ну что? Удивлены? Могу даже почитать вам. — Дым от сигареты мистера Дарка завихрялся над шелестящими страницами. — А вы, конечно, ожидали, что я рассыплюсь прямо перед вами? К вашему несчастью, это все — легенды. Жизнь, это очаровательное скопище самых разных понятий, продолжается, как видите. Она движет сама себя и сама себя оберегает, а смысл ей придает неистовость. А я — не последний в легионе необузданных.

Мистер Дарк, не глядя, швырнул Библию в мусорную корзину.

— Мне кажется, ваше сердце забилося чуточку веселее? — иронично обратился он к мистеру Хеллоуэю. — Конечно, остротой слуха я не сравнюсь с моей Цыганкой, но и мои уши кое-чего стоят. Как интересно бегают у вас глаза! И все куда-то мне за плечо. На что они намекают? Ах, на то, что мальчишки где-то здесь, в переходах этой богадельни. Прекрасно. По правде, я не хочу, чтобы они удрали. Едва ли кто-нибудь поверит их болтовне, а даже если и так — разве это плохая реклама моему заведению? Люди приходят в возбуждение, у них потеют руки и ноги, они украдкой пробираются за город, облизываются, они только и ждут приглашения познакомиться с лучшими из наших аттракционов. Помните, и вы были среди них? Сколько вам лет?

Чарльз Хеллоуэй плотно сжал губы.

— Пятьдесят? — с удовольствием прикидывал мистер Дарк. — Пятьдесят один? — Голос его журчал, как весенний ручей. — Пятьдесят два? Помолодеть хотите?

— Нет!

— Ну зачем же кричать? — Мистер Дарк пересек комнату, пробежал пальцами по корешкам книг на полке, словно

годы пересчитывал. — А ведь молодым быть совсем неплохо. Подумайте, снова сорок — ну не прелесть ли? Сорок ровно на десять приятнее, чем пятьдесят, а тридцать приятнее на целых двадцать.

— Я не хочу вас слушать! — Чарльз Хеллоуэй зажмурился.

Мистер Дарк посмотрел на него, склонив голову набок.

— Вот странно: чтобы не слышать меня, вы закрыли глаза. Заткнуть уши было бы надежнее.

Чарльз Хеллоуэй прижал ладони к ушам, но и сквозь них проникал ненавистный голос.

— Вот что я предлагаю, — вещал мистер Дарк, попыхивая сигаретой, — если вы поможете мне в течение пятнадцати секунд — дарю вам ваше сорокалетие. Десять секунд — и можете снова праздновать тридцатипятилетие. Очень неплохой возраст. Сравнить с вами сейчас — почти юноша. Ну же, решайтесь. Давайте так: я начну считать по своим часам, по секундной стрелке. Как только решитесь, просто махнете рукой, а я вам тут же отмотаю, ну скажем, лет тридцать, идет? Как говорят специалисты по рекламе: выгодное дельце! Да вы только подумайте! Начать все сначала, когда все вокруг, а главное — внутри, новое, славное, милое. И столько еще предстоит сделать, о стольком можно подумать и столько всего попробовать. Давайте! Ваш последний шанс! Начали. Один, два, три, четыре...

Чарльз Хеллоуэй отпрянул к стене, согнулся, изо всех сил сжал зубы, лишь бы не слышать проклятого счета.

— Вы теряете время, старина, — не переставая считать, говорил мистер Дарк. — Пять. Вы все теряете. Шесть. Семь. Считайте, почти потеряли. Восемь. Просто расточитель какой-то! Девять. Десять. Да вы дурак, Хеллоуэй! Одиннадцать. Двенадцать. Почти совсем поздно. Тринадцать, четырнадцать. Все потеряно! Пятнадцать! Навсегда! — Мистер Дарк опустил руку с часами.

Чарльз Хеллоуэй отвернулся, выдохнул и прижался лицом к книжным корешкам, к старой уютной коже, хранящей запах древности и засохших цветов.

Мистер Дарк уже стоял у выхода.

— Оставайтесь здесь, — резко приказал он. — Послушайте свое сердце. Я пошлю кого-нибудь остановить его. Но сначала — мальчишки.

Толпа бессонных созданий, сплошь покрывавшая рослое тело, верхом на мистере Дарке, крадучись, отправилась на охоту. Мистер Дарк позвал, и вся орава вторила ему:

— Мальчики! Где вы там? Отзовитесь.

Чарльз Хеллоуэй прыгнул к двери, но комната перед его глазами стала мягко поворачиваться, и он едва успел рухнуть в кресло с одной только мыслью, стучащей в висках: «Сердце! Сердце мое, послушай! Куда же ты рвешься? О боже! Оно хочет на свободу!» Он откинулся на спинку и затих.

Человек-в-Картинках мягко, по-кошачьи, продвигался в лабиринтах, окруженный молчаливо замершими на полках, застывшими в ожидании книгами.

— Мальчики! Вы меня слышите?

Молчание.

— Мальчики!

Глава 42

Где-то среди миллионов книг, за двумя десятками поворотов направо, за тремя десятками поворотов налево, после запертых дверей, левее полупустых полок, может, в литературном закопченном диккенсовском Лондоне, может, в Москве Достоевского, а то и вовсе в полях, раскинувшихся позади русской столицы, то ли под сенью атласов, то ли за баррикадами «Географий» стояли, но, может быть, и лежали, покрываясь холодным потом, двое ребят.

Где-то невидимый в темноте Джим думал: «Он приближается!»

Где-то невидимый в темноте Вилли думал: «Он приближается!»

— Мальчики...

Мистер Дарк шел в попоне из своих приятелей, он нес с собой каллиграфических рептилий, светивших самим се-

бе в ночи его плоти. Вместе с ним двигался тираннозавр, сообщавший его бедрам тяжелую плавность древней боевой машины. Мистер Дарк шагал, как громовый ящер, в окружении мерзких каракулей плетоядных тварей, окрашенных жертвенной кровью овец, растерзанных, разметанных непреодолимым движением Джаггернаутовой колесницы о двух ногах. Руки мистера Дарка, словно вознесенные изображенными на них птеродактилем и косою, помавали под мраморными сводами, создавая видимость полета. Вокруг древних могучих символов попорченной судьбы, судьбы расстрелянной, зарубленной судьбы роилась обычная толпа прихлебателей, прижатых к каждой мышце, к каждому суставу, рассевавшихся по лопаткам, пляющихся из-под густой шерсти на груди, висящих вниз головой под мышками и орущих неслышно, как летучие мыши. Ноги, тело, заостренный профиль мистера Дарка звучали в движении подобно черной приливной волне, накатывающейся на мрачный берег.

— Мальчики...

Терпеливый, мягкий голос, лучший друг всем озябшим, испуганным, затаившимся среди книг. Ступает тихо, крадется, шагает на цыпочках, пробирается, несется, стоит неподвижно среди египетских памятников зверинолицым богам, тронул мертвые истории Черной Африки, помедлил в Азии, прогулялся к землям помоложе...

— Мальчики! Вы же меня слышите. Вот тут написано: «Соблюдайте тишину», поэтому я только шепну вам: ведь один из вас не хотел бы отказаться от наших предложений? Так?

«Это он про Джима», — подумал Вилли. «Это он про меня, — подумал Джим. — Нет, я не хочу! Не надо! Не сейчас!»

— Ну, выходите, — промурлыкал мистер Дарк. — Я обещаю вам награду. Кто бы из вас ни вышел первым, он получит все!

Стук-перестук!

«Мое сердце!» — подумал Джим.

«Чье это сердце? Мое или Джима?» — подумал Вилли.

— Я вас слышу. — Губы мистера Дарка дрогнули. — Вот сейчас — ближе. Вилли? Джим? Джим — это ведь тот, который пошустрее? Ну, выходи, мальчик!

«Не надо!» — подумал Вилли.

«Я ничего не знаю!» — в панике подумал Джим.

— Так. Джим, значит... — Мистер Дарк постоял и двинулся в новом направлении. — Ну-ка, Джим, покажи мне, где сидит твой приятель? — Он добавил, понизив голос: — Мы постараемся, чтобы он не болтал. Раз у него голова не варит, можешь и за него прокатиться, верно, Джим? — Мистер Дарк стал похож на воркующего голубя. — Так. Ближе. Я уже слышу, как у тебя сердце трепыхается.

«Молчи!» — приказал Вилли своей груди.

«Молчи! — прикрикнул Джим, задерживая дыхание. — Подожди стучать!»

— Так... интересно... не в этом ли алькове стоят ваши постельки? — Мистер Дарк предоставил силе притяжения разных полок управлять выбором направления. — Ты здесь, Джим? Или... дальше?

Он натолкнулся на библиотечную тележку с книгами, и она бесшумно на своем резиновом ходу укатилась в темноту. Издали послышался глухой удар — это тележка дошла до стены и опрокинулась, вывалив содержимое, словно кучу мертвых черных ворон.

— Я смотрю, здорово вы наловчились в прятки играть, — проговорил мистер Дарк. — Но есть кое-кто и пошустрее вас. Слышали сегодня каллиопу на лугу? Вилли, а ты не знаешь, кто у нас сегодня был на карусели? Вот то-то и оно! А где сегодня твоя мама, Вилли?

Молчание.

— Она решила покататься сегодня вечером, Вилли. Мы, конечно, посадили ее на карусель и... оставили там. Ты слышишь, Вилли? Круг за кругом, год за годом!

«Папа! — с тоской подумал Вилли. — Где ты?»

В дальней комнате Чарльз Хеллоуэй сидел и прижимал рукой свое вырывающееся сердце. Он прислушивался к долетающему из темных коридоров голосу Человека-в-Кар-

тинках и думал: «Ему ни за что их не найти. Не станут же они его слушать. Он уйдет ни с чем!»

— Вот так мы и катали твою маму, Вилли, — тихонько приговаривал мистер Дарк, — круг за кругом, и как ты думаешь, *в какую сторону?* — Мистер Дарк пошарил рукой в темном воздухе между стеллажами. — Да, круг за кругом... А когда мы ее выпустили — ты слушаешь меня, мальчик? — так вот, когда мы ее выпустили и дали заглянуть в Зеркальный лабиринт... ты не слышал, как она закричала? Она была похожа на драную кошку, старая-престарая. Только мы ее и видели. Ух, как она припустила от того, что поглядело на нее из зеркал! Она примчится в город и, конечно, бросится к твоей матери, Джим. Но когда твоя мама, Джим, откроет дверь и увидит существо лет этак двухсот, косматое, умоляющее застрелить ее из милости, ее затошнит, твою маму, Джим, не так ли? И она прогонит страшную старуху прочь, отправит нищенствовать на улицах, и никто никогда не поверит этому мешку костей, что он когда-то был красоткой-розочкой и приходился тебе родней, Вилли. Можно было бы, конечно, найти ее, мы-то знаем, кто она такая, и попробовать вернуть все как было, правда, Вилли? Правда, Вилли? Правда, Вилли?

Голос темного человека зашипел и смолк.

В библиотеке кто-то тихо-тихо всхлипывал.

Человек-в-Картинках с удовольствием выдохнул из промозглых легких ядовитый воздух.

— Ага! Так-ссс... Где-то здесь, — пробормотал он. — Ну и под какой же буквой они расположены? Под «М» — «мальчишки»? Или под «П» — «приключения»? А может, под «И» — «испуганные»? Или просто «Д» и «Н», что будет означать «Джим Найтшед», и «В» и «Х» — для «Вилли Хеллоуэя»? Где же мне взять почитать эти две замечательные человеческие книжки?

Неожиданно он ударил правой ногой по книжной полке. Часть книг выпала. Человек-в-Картинках наступил на освободившееся место и освободил ступеньку для левой ноги. Потом его правая нога пробила дырку в третьей полке. Он поднимался по стеллажам, как по лестнице. Четвертая

полка, пятая, шестая... Он ощупывал и сбрасывал книги, цеплялся за поперечины, перелистывал ночь, отыскивая эти две закладки в одной большой книге.

Его правая рука, увенчанная тарангулом, сбросила «Каталог гобеленов», и он канул в бездну. Казалось, прошел целый век, прежде чем «Гобелены» грянулись об пол и разлетелись на части, мелькнув золотом, серебром и небесно-голубыми узорами.

Пока он отдувался и ворчал, его левая рука добралась до девятой полки и ощутила пустоту. Книг не было.

— Мальчики! Вы там, на Эвересте?

Молчание. Только тихие, судорожные всхлипы стали поближе.

— Холодно? Еще холоднее? Совсем лед?

Глаза Человека-в-Картинках оказались вровень с одиннадцатой полкой. Окаменевшей статуей здесь лежал Джим Найтшед. До его лица было не больше трех дюймов. Полкой выше, с глазами, полными слез, лежал Вильям Хеллоуэй.

— Славно, — произнес мистер Дарк.

Он протянул руку и потрогал голову Вилли.

— Привет, — сказал мистер Дарк.

Глава 43

Вилли показалось, что над ним взошла жуткая луна. Это поднялась ладонь Человека-в-Картинках. С нее прямо на Вилли уставилось его собственное лицо. В такой же собственный портрет всматривался Джим. Рука с нарисованным Вилли сгребла настоящего Вилли. Рука с нарисованным Джимом сгребла настоящего Джима. Человек-в-Картинках напрягся, извернулся и спрыгнул вниз. Мальчишки, лягаясь и крича, рухнули вместе с ним. Они приземлились на ноги, но не устояли бы, не поддержи их за шиворот мощные руки.

— Джим! — произнес мистер Дарк. — Вилли! Что вы там делали? Неужели — читали?

— Папа!

— Мистер Хеллоуэй!

Из темноты выступил отец Вилли. Человек-в-Картинках заботливо переложил ребят под мышку и, поглядывая с любопытством, двинулся на мистера Хеллоуэя. Отец Вилли успел ударить только один раз. В следующий миг мистер Дарк поймал его руку и стиснул ее. Чарльз Хеллоуэй застонал и упал на одно колено. Мистер Дарк сдавил сильнее и одновременно прижал обоих ребят. Они уже едва дышали. У Вилли перед глазами метались огненные мухи. Отец Вилли застонал громче.

— Будьте вы прокляты!

— Но-но! — тихо проговорил Хозяин Карнавала. — Я и так проклят.

— ...прокляты!

— Старина, не в словах ведь дело, — сказал мистер Дарк. — Мысль! Действие! Быстрая мысль и быстрое действие — вот залог победы. Пока!

Он еще сильнее напряг мускулы. Мальчишки услышали, как захрустели пальцы мистера Хеллоуэя. Он вскрикнул и упал, потеряв сознание.

Человек-в-Картинках легко, как в танце, огибал углы стеллажей. Мальчишки, зажатые у него под мышкой, бились головой и ногами о книги. Стиснутый до полной неподвижности Вилли смотрел на пролетающие мимо полки, стены, двери и тупо думал, что от мистера Дарка пахнет, как от старой каллиопы.

Внезапно их отпустили. Они не успели перевести дух, а их уже больно ухватили за волосы и развернули к окну.

— Мальчики, вы читали Диккенса? — азартно зашептал мистер Дарк. — Критики ругают его за «случайные совпадения», но мы-то с вами знаем, что он прав. Вся жизнь — сплошные случайные совпадения. Взгляните сюда!

Ребята все еще пытались вывернуться из железной хватки ископаемых ящеров и оскалившихся обезьян. Вилли взглянул в окно. Он не знал, плакать ему от радости или от нового отчаяния. По улице от церкви шли обе их мамы. Ни с какой не с карусели! Никакая не старая! Надо же, все последние пять минут до нее было не больше двухсот ярдов!

— Мам! — крикнул Вилли сквозь ладонь, зажавшую ему рот.

— Мам! — передразнил мистер Дарк. — Мам, спаси меня!

«Нет, — подумал Вилли, — беги, мама, спасайся сама!»

Но обе мамы, вполне довольные воскресной службой, просто шли себе по улице.

— Мама!.. — снова выкрикнул Вилли, но через потную лапу прорвалось лишь какое-то жалкое бляение.

Мама Вилли на той стороне улицы, нет, за тысячу миль отсюда, вдруг замедлила шаги.

«Не могла же она услышать, — подумал Вилли, — и все-таки...»

Она посмотрела в сторону библиотеки.

— Замечательно, — пробормотал мистер Дарк, — чудесно, превосходно!

«Здесь мы, — отчаянно думал Вилли. — Ну, увидь нас, мам! А потом беги, звони в полицию!»

— Почему бы ей не посмотреть сюда? — тихонько спросил мистер Дарк. — Она бы увидела прекрасную портретную группу в окне. И прибежала бы сюда. А мы бы ее впустили.

Вилли чуть не подавился рванувшимся из него «нет!». Мамины глаза скользнули от входной двери по окнам первого этажа.

— Сюда, — подсказал мистер Дарк, — на второй этаж, пожалуйста. Весьма подходящий случай, обидно было бы упускать его.

Женщины стояли на тротуаре. Мама Джима что-то говорила соседке.

«Пожалуйста, — умолял Вилли, — нет, не надо!»

Женщины повернулись, и вскоре их уже поглотили улицы вечернего города. Вилли почувствовал разочарование Человека-в-Картинках.

— Н-да, — проговорил тот. — Не самое удачное из «случайных совпадений». Никто ничего не приобрел, но никто и не потерял. Жаль, конечно, ну ладно!

Волоча ребят за собой, он спустился к входной двери и открыл ее. Кто-то ждал их в сумерках. Легкая, как у ящерицы, лапка стремительно коснулась подбородка Вилли.

— Хеллоуэй! — прошелестел голос Пыльной Ведьмы. Будто хамелеон лизнул Джима в нос.

— Найтшед! — утвердительно произнес тот же голос. Позади переступали с ноги на ногу два зловещих силуэта:

Скелет и Карлик.

Это был замечательный случай. Ребята уже готовы были заорать во все горло, но Человек-в-Картинках опередил их, запечатав рты ладонями. Потом он кивнул старухе. Ведьма по-птичьи выступила вперед. Защитые игуаньи веки, длинный крючковатый нос с заросшими шерстью ноздрями и непрестанно шевелящиеся пальцы вплотную надвинулись на мальчишек. Они оторопело вытаращились на Ведьму. Не сразу дошел до них смысл слов, которые бормотал иссохший рот.

— Стрекозиная Игла, штопай рты им, пусть молчат! — Острый ноготь ее большого пальца быстро замелькал возле лиц мальчишек, покалывая им то верхние, то нижние губы. И вот они уже крепко-накрепко сшиты невидимой нитью.

— Стрекозиная Игла, штопай уши, чтоб оглохли!

Холодный песок хлынул в уши Вилли, но сквозь навалившуюся тишину он продолжал слышать противный шелестящий голос. Мох вырос в ушах Джима, накрепко запечатав их.

— Стрекозиная Игла, ты зашей-ка им глаза! Нечего по сторонам глядеть!

Вилли показалось, что старухины пальцы, раскаленные добела, повернули его глазные яблоки внутрь, в темноту, а за ними с лязгом, словно железные ставни, захлопнулись веки. Невидимое игольчатое насекомое продолжало сновать где-то снаружи, и пыльный голос продолжал зашивать их ощущения, навек отгораживая от всего мира.

— Стрекозиная Игла! Шей ровней! Тьму зашей, пылью набей, сном нагрузи, узелки крепко-накрепко свяжи, влей молчание в кровь. Быть по сему, быть по сему!

Ведьма опустила руки и отступила на шаг. Мальчишки стояли молча, в полной неподвижности. Человек-в-Картинках отпустил их и тоже сделал шаг назад. Ведьма тщательно обнюхала свою работу, в последний раз пробежалась пальцами по двум статуям и удовлетворенно затихла.

Карлик маялся у ног ребят, слегка постукивая по коленкам, окликая по именам.

Человек-в-Картинках кивнул через плечо:

— Часы уборщика. Пойди останови их.

Ведьма, подпрыгивая от удовольствия, отправилась разыскивать очередную жертву. Мистер Дарк скомандовал:

— Раз, два, левой, правой!

Ребята ровным механическим шагом спустились по ступеням. Карлик шел рядом с Джимом, Скелет — рядом с Вилли.

Человек-в-Картинках, невозмутимый, как смерть, шаггал следом.

Глава 44

Рука Чарльза Хеллоуэя лежала где-то поблизости и таяла на огне нестерпимой боли. Он открыл глаза, и тут по комнате пронесся порыв ветра. Кто-то опять открыл входную дверь. Вскоре послышался женский голос. Что-то напевая, он приближался.

— Старик, старик, старик?..

На месте левой руки лежал распухший окровавленный кусок плоти. Пульсирующая боль не давала сосредоточиться, высасывала силы, подавляла волю. Он попытался было сесть, но боль снова опрокинула его.

— Старик?..

«Да какой я тебе старик! — с яростным ожесточением подумал он. — Пятьдесят четыре — это еще не старость!»

Она вошла и остановилась у двери. Пальцы-мотыльки порхают, плетут незримые нити, читают по Бройлю заголовки на корешках, а ноздри настороженно исследуют воздух.

Чарльз Хеллоуэй, извиваясь как червяк, полз к ближайшему стеллажу. Он должен, обязан забраться туда, где книги смогут защитить его. Их можно сталкивать сверху на голову любому непрошеному визитеру.

— Старик, я слышу, как ты хрипишь...

Он сам притягивал ее, шипя от боли при каждом движении.

— Старик, я чувю твою рану...

Если бы он только мог выбросить в окно эту злосчастную руку вместе с болью, и пусть себе лежит там, созывая к себе всех ведьм на свете. Он представил себе, как Ведьма тянет из окна руки к огненному биению, лежащему на асфальте. Но нет, рука здесь, она излучает боль, направляя эту странную оборванную Цыганку.

— Да будь ты проклята! — закричал он. — На, получай! Вот он я!

Ведьма обрадованно заторопилась вперед, черные тряпки взвихрились вокруг нее, словно на огородном пугале. Но Чарльз Хеллоуэй даже не смотрел на свою новую обидчицу. В нем боролись отчаяние и стремление во что бы то ни стало найти выход. Борьба эта занимала все его существо полностью, только глаза, пока не участвовавшие во внутренней схватке, могли смотреть из-под полуопущенных век.

Рядом послышался шелестящий, какой-то пыльный шепот:

— Очень просто... остановить сердце...

«Почему бы и нет?» — смутно подумал он.

— Медленнее, — пробормотала она.

«Да», — машинально откликнулся он.

— Медленно, очень медленно...

Сердце его, до этого мчавшееся галопом, теперь перебивало ритм, и это было неудобно как-то, но вскоре на смену неприятным ощущениям пришли странная легкость и спокойствие.

— Еще медленнее, — предлагала она.

«Я ведь устал, ты слышишь, сердце?» — подумалось ему.

Да, сердце слышало. Оно постепенно разжималось, как разжимается стиснутый кулак. Сначала расслабляется один палец...

— Хорошо остановить все, хорошо забыть обо всем, — шептала она.

«А что, разве плохо?» — думал он.

— Еще медленнее, совсем медленно, — приказывала она. Сердце стало давать перебой.

А потом вдруг, вопреки собственному стремлению к покою, к избавлению от боли, он открыл глаза. Просто чтобы еще раз посмотреть вокруг напоследок... Он увидел Ведьму. Он увидел пальцы, усердно работающие в воздухе, а еще он непостижимым образом увидел свое лицо, свое тело, сердце, слабеющее на глазах, а в нем — свою душу. С каким-то отрешенным любопытством он изучал странное создание, стоявшее рядом. Считал стежки, которыми были перехвачены ее веки, подсчитывал количество глубоких морщин-трещин на шее — такая же шея у ящерицы Хэла, попадающейся в Аризоне; на огромных ушах — как у небольшого слона; на иссохшем глинистом лбу. Ему, пожалуй, еще не приходилось вот так изучать другого человека. «А ведь это похоже на головоломку, — пришла отстраненная мысль. — Собери ее, и узнаешь самый главный секрет жизни». Решение было тут, рядом, оно крылось в самом объекте его внимания, и все могло проясниться в один миг, вот сейчас, нет, чуть погодя, еще чуть погодя. «Погляди-ка на эти скорпионьи пальцы, — приглашал он сам себя, — послушай, как она причитает, как перебирает воздух. Воздух! Вот именно! Она обманывает воздух, надувает его! Да ведь это же сплошное надувательство! Просто щекотно — и все!»

— Медленнее, — прошептала она, словно собираясь заснуть.

«Медленнее» — надо же! А его послушное, доверчивое сердце принимает все за чистую монету. Принимает всерьез этот щекотливый обман!

Чарльз Хеллоуэй слабо хихикнул. И тут же удивился: «Чего это я хихикаю, да еще в такой момент?»

Ведьма дернулась, словно тоненькие провода, которые она разбирала в воздухе перед собой, закоротило и ее слегка трянуло током.

Чарльз Хеллоуэй не заметил этого, она ведь то и дело отшатывается и наклоняется поближе. Вот опять подалась вперед...

Действительно, Ведьма, перехватив инициативу, снова сунулась к нему и принялась еще быстрее сучить пальца-

ми в нескольких дюймах от его груди. Это выглядело так, словно она пытается зачаровать маятник старинных часов.

— Медленнее! — кричала она.

Из глубины его существа поднялась и расцвела на губах какая-то дурацкая улыбка.

— Совсем медленно!

В поведении Ведьмы появилось что-то новое, какая-то лихорадочная поспешность, какое-то беспокойство, прорывающееся гневными нотками в голосе. Вот умора! Так даже смешнее.

Чарльз Хеллоуэй не обратил внимания, когда и как в нем, без каких-либо усилий, без желания оказать сопротивление, возникла ровная, спокойная уверенность: все это не имеет никакого значения. Жизнь сейчас, в конце, казалась ему не более чем шуткой. Здесь, в дальней комнате окружной библиотеки, куда его жизнь как раз влезла целиком, без остатка, он впервые заметил, какой бессмысленно растянутой она у него была, как она базальтовой глыбой нависала над ним все эти годы, а в итоге — вот, вся здесь, куда только девалось ее недавнее величие. Смех, да и только! За несколько минут до смерти Чарльз Хеллоуэй спокойно размышлял о сотнях личин своего тщеславия, раскладывал по полочкам десятки разновидностей своего самомнения. Вся комната представлялась ему заставленной и завешанной игрушками всей его жизни. Но самой смешной была среди них Пыльная Ведьма, обыкновенная жалкая старуха в лохмотьях, увлеченно щекотавшая воздух. О, она его просто щекочет!

Чарльз Хеллоуэй открыл рот и издал совершенно неожиданный, в том числе и для себя самого, смешок.

Ведьма отпрынула и замерла. Но Хеллоуэй не видел ее. Он был слишком занят. Он выпускал из себя смех. Вот он открыл каналы пальцев, и в кончиках их заплясали веселые иголочки, вот задрожало горло, пропуская смеховую энергию к глазам — они прищурились, и дальше — дальше не удержать! Свистящая шрапнель первого взрыва хохота разлетелась во все стороны.

— Вы! — выкрикнул он, неизвестно к кому обращаясь. — Смешно-то как! Эй, вы!

— Нет, вовсе не смешно, — запротестовала Ведьма.

— Кончай щекотку! — едва выговорил он.

— Нет! — Ведьма затряслась от злости. — Спи! Стихни! Совсем замолчи!

— Ну перестань! — орал он, вовсе не слушая ее. — Щекотно же! Прекрати! Ой, не могу, ха, ха! Ой, остановись!

— Вот! Вот именно! — взвизгнула Ведьма. — Сердце, остановись!

Но, похоже, ее собственное сердце находилось сейчас в большей опасности, чем сердце Хеллоуэя, корчившегося явно от смеха. Ведьма замерла и с беспокойством обнюхала свои ставшие вдруг непослушными пальцы.

— О боже мой! — уже рычал от смеха Хеллоуэй. Огромные слезы выступили у него из-под век. — Ха! Ха! Ребра отпустило! Продолжай, сердце мое, продолжай!

— Сердце, стой! — шипела Ведьма.

— Господи! — Он широко открыл глаза, перевел дух и отворил внутри себя новые источники воды и мыла, смывая весь налипший внутри мусор, моя все дочиста, окатывая, отскребывая и снова окатывая. — Кукла! — вдруг дошло до него. — Смотри! У тебя ключик сзади торчит! Кто же тебя заводил-то?

И он зашелся в очередном приступе хохота.

Этот неожиданный хохот словно огнем опалил женщину, обжег руки, заставив отдернуть их и спрятать под лохмотьями, она невольно подалась назад, сделала попытку устоять, но не смогла. Смех хлестал ее по лицу, дюйм за дюймом выталкивая из комнаты, и она начала отступать шаг за шагом, натываясь на стеллажи, пытаясь ухватиться за книги на полках, но они выскользывали у нее под руками, срывались со своих мест и рушились на нее водопадом. Мрачные истории били ее по лбу, прекрасные теории, не выдержавшие проверки временем, сыпались ей на голову. Вся в синяках и ссадинах, подгоняемая, словно ударами бича, его смехом, заполнившим отделанные мрамором своды, звеневшим

в переходах, она не выдержала, завертелась волчком, полосула ногтями воздух и бросилась бежать, совершенно забыв о двух-трех ступеньках перед выходом. С них она и скатилась кубарем. Оглушенная падением, Ведьма не сразу справилась с входной дверью, а та еще напоследок хорошенько поддала ей под зад, заставив пересчитать своими костями еще и ступени парадного входа.

Ее испуганные причитания и дробный грохот падения чуть не прикончили Чарльза Хеллоуэя. Новый приступ хохота грозил разорвать ему диафрагму.

— Боже мой, господи, прекрати, пожалуйста! — уже заикаясь от смеха, взмолился он.

И все кончилось.

Некоторое время он еще конвульсивно хихикал, слабо посмеивался, а потом долго и удовлетворенно только дышал, давая отдых измученным легким, тряся счастливо-усталой головой, прислушиваясь, как уходит боль из-под ребер и, как ни странно, из покалеченной руки. Он бессильно припал к стеллажам, прижался лбом к какой-то хорошо знакомой книге, и слезы, освобожденные пережитым весельем, потекли по его щекам. Только тут до него дошло, что он один. Ведьма ушла!

«Но почему? — удивился он. — Что я такого сделал?»

С последним горловым смешком он встал. Что же случилось? О боже, надо разобраться. Только сначала дойти до аптеки и аспирином хоть ненадолго унять все-таки сильно болевшую руку, а потом уже подумать. «За последние пять минут, — сказал он себе, — ты что-то выиграл, разве нет? Ну! Чем вызвана твоя победа? Думай! Это обязательно надо понять!»

Улыбаясь нелепой левой руке, удобно пристроившейся раненым зверьком на сгибе локтя правой, он заторопился по темным коридорам, открыл дверь и вышел в город.

Часть III

ИСХОД

Глава 45

Небольшое шествие в молчании двигалось по городу. Позади остались огромный вертящийся леденец возле дверей парикмахерской Крозетти, темные витрины магазинов, пустынные улицы — люди уже разошлись по домам. Кончилась вечерняя служба, кончалось последнее представление на Карнавале.

Ноги Вилли, оказавшиеся где-то далеко внизу, размеренно постукивали по тротуару. «Раз, два, — думал он. — Раз, два. Налево. Кто-то говорит: направо. Похоже на стрекозиный шорох. Раз, два».

Интересно, Джим тоже здесь? Вилли скосил глаза. Вот он, рядом. А это что за малыш пристроился сзади? Свихнувшийся Карлик, ясно... Да еще Скелет. А что это за толпа валит за ними? А-а, Человек-в-Картинках...

Вилли кивнул своим собственным мыслям и вдруг заскулил так высоко и жалобно, что все окрестные собаки должны были его услышать. Вот они, в арьергарде, целых три пугуки, и толку от них никакого.

Конечно, бродячие псы не могли упустить такой случай и с полным знанием дела принимали участие в импровизированном параде. Когда они забегали вперед, хвосты у них становились похожими на флажки в руках правофланговых, направляющих большие, настоящие парады.

«Полайте! — попросил собак Вилли. — Полайте, как в кино! Позовите полицию!» Но собаки только вежливо

улыбались и неторопливой рысцой сопровождали идущих. «Счастливым случай, где же ты? — думал Вилли. — Хотя какой...» О! Мистер Татли! Вилли и видел, и в то же время как будто не видел знакомого хозяина табачной лавки, за-таскивающего своего деревянного индейца в магазин. Зна-чит, закрывать собрался.

— Головы — направо! — тихонько скомандовал Чело-век-в-Картинках.

Джим повернул голову. Вилли повернул голову. Мистер Татли приветливо улыбнулся.

— Улыбнитесь! — шепотом приказал мистер Дарк.

Ребята улыбнулись.

— Привет! — Мистер Татли помахал рукой.

— Поздоровайтесь! — шепнул кто-то за спиной Вилли.

— Привет! — произнес Джим.

— Привет, — повторил Вилли.

Собаки вежливо полаяли.

— Бесплатные аттракционы, — буркнул сзади мистер Дарк.

— Бесплатная карусель, — сообщил Вилли мистеру Та-тли.

— На Карнавале, — безжизненно звякнул голос Джима. Улыбки теперь не нужны, их можно снять.

— Приятно повеселиться! — пожелал мистер Татли.

Собаки залаяли немного бодрее.

— А как же, сейчас повеселитесь, — пробормотал мистер Дарк. — Вот толпа через полчаса схлынет, тогда и начнем. Сначала Джима прокатим. Ты как, не передумал, Джим?

Заточенный внутри себя, Вилли пытался думать: «Не на-до, Джим. Не слушай его!»

— Мы тебя с собой возьмем, Джим. Если мистер Ку-гер не поправится, а он, надо сказать, довольно плох пока, правда, мы еще разок попробуем, — но если он не встанет, придется тебе занять его место, Джим. Ты как насчет пар-тнерства, а? Конечно, мы тебя подрастим лет до двадца-ти — двадцати пяти, да? И будет: «Дарк и Найтшед, Найт-шед и Дарк» — вполне подходяще для нас с тобой и для

нашего представления. Турне, гастролы за океан! Как ты на это смотришь, Джим?

Зачарованный Ведьмой, Джим молча шагал рядом.

«Не слушай ты!» — скулил про себя его лучший друг, которому вроде и слышать-то ничего не полагалось.

— Ну а что с Вилли будем делать? — размышлял вслух мистер Дарк. — Может, покрутить его назад, а? Сделаем из него грудного младенца, отдадим Карлику, пусть таскает, — предложил он. — Как тебе эта мысль, Вилли? Лет пятьдесят побудешь младенцем, ни тебе сказать, ни тебе возразить. По-моему, в самый раз для Вилли. Этакая игрушка, маленький, мокренький приятель для нашего Карлика!

Вилли должен был бы закричать, но он продолжал механически шагать и молчал. Зато собаки взвыли от ужаса и бросились врассыпную, словно их побили камнями.

Из-за угла показался человек. Полицейский.

— Кто это? — быстро спросил мистер Дарк.

— Мистер Колб, — равнодушно ответил Джим.

— Мистер Колб, — эхом повторил Вилли.

— Стрекозиная Игла! — скомандовал мистер Дарк. — За дело!

Вилли вздрогнул от боли в ушах. Плотная тьма залила глаза. Жидкая резина залепила рот. Он чувствовал покалывание, зудение, что-то сновало по лицу, и он быстро немел, глух и слеп.

— Поздоровайтесь с мистером Колбом!

— Здравствуйте, — послушно произнес Джим.

— ...мистер Колб, — добавил Вилли.

— Привет, ребята. Добрый вечер, джентльмены.

— Поворот направо! — раздалась новая команда.

Они повернули и теперь уходили прочь от теплых огней, от доброго города, от безопасных улиц, уходили в луга, маленький парад без труб и барабанов.

Глава 46

Парад, в котором не осталось никакого порядка, растянулся чуть ли не на милю. Впереди вышагивали Джим и Вилли. Рядом с ними шли их новые друзья, то и дело поминавшие какую-то Стрекозину Иглу.

Сзади, отстав на полмили, брела старая Цыганка. Чувствовала она себя неважно. Пыль за ней взметалась маленькими вихрями и укладывалась на дорогу таинственными символами. Отстав от нее еще на милю, торопился библиотечный уборщик. Иногда, вспоминая о победной первой стычке, он по-юношески размашисто шагал вперед, но, вспомнив о возрасте, сбавлял темп и глотал таблетки, прижимая к груди левую руку.

Мистер Дарк остановился на обочине, словно командующий на смотре. Он прислушивался к внутреннему голосу, производящему переключку разношерстного воинства. Что-то было не так. Мистер Дарк неуверенно оглянулся по сторонам, но внутренний голос уже молчал.

На границах Карнавала им повстречалась толпа людей. Джим, сопровождаемый Скелетом и Карликом, все так же механически вошел в человеческую реку, лишь слегка удивившись ее внутренней разреженности. Со всех сторон до слуха Вилли доносились всплески смеха. Он шел словно под ливнем из голосов и обрывков музыки. В небе плавно двигалась вереница светлячков — это Чертово колесо огромным фейерверком вздымалось над ними.

Потом они пробирались через ледяные моря Зеркального лабиринта. В холодных гранях вспыхивали и погружались на дно тысячи очень похожих на них мальчишек, опутанных паучьими сетями чар.

«Это все мой «я», — думал Джим.

«Они не помогут мне, — думал Вилли. — Сколько бы меня здесь ни собралось, они мне не помощники».

Куча мальчишек смешалась с кучей картинок успешного раздеться мистера Дарка. Пришлось проталкиваться сквозь

изображения изображений, пока возле выхода из лабиринта их не окружили восковые фигуры.

— Сидеть! — скомандовал мистер Дарк. — Оставайтесь тут.

К восковым фигурам убитых, обезглавленных, удушенных мужчин и женщин прибавились две маленькие фигурки, неподвижные, как египетские кошки, смотрящие прямо перед собой.

Мимо проходили последние посетители. Они, посмеиваясь, разглядывали восковые фигуры, обсуждая их между собой. Никто из них не обращал внимания на тонкую струйку слюны, блестящую в углу рта одного из «восковых мальчуганов», никто не замечал поблескивающих глаз второго, даже влажная бороздка у него на щеке не привлекла никого из поздних зевак.

Ведьма добрела до шатров и спотыкалась о колышки и веревки на дальней границе Карнавала.

— Леди и джентльмены!

Их еще оставалось сотни две, задержавшихся воскресных гуляк, и все они, как единое тело, повернулись на голос.

Человек-в-Картинках, весь гадючья, саблезубая, сладострастная, стервятниковая обезьяна, оранжево-розовый, желто-зеленый, взобрался на помост.

— Последнее бесплатное воскресное представление! Подходите, подходите все!

Толпа повалила к сцене. Там, рядом с мистером Дарком, уже стояли Скелет и Карлик.

— Невероятно опасный, самый рискованный, всемирно известный номер с пулей! — выкрикивал мистер Дарк.

Толпа одобритительно загудела.

— Ружья, с вашего позволения!

Скелет широким жестом распахнул шкаф. За дверцами тускло и грозно блеснул металл ружейных стволов.

Ведьма, поспешно семенившая к помосту, словно вросла в землю, когда мистер Дарк провозгласил:

— А вот и наша беззаветно храбрая, бросающая вызов смерти мадемуазель Таро, Ловящая Пули!

Ведьма затрясла головой, затопотала и заскулила, но мистер Дарк уже протянул руку, подхватил ее за шкуру и вознес на помост, не обращая внимания на слабое сопротивление. Он выдержал эффектную паузу и обратился к собравшимся:

— А теперь я попрошу подняться на сцену добровольца, который произведет роковой выстрел!

Толпа зашумела, и мистер Дарк, воспользовавшись этим, быстро спросил:

— Ты остановила часы?

— Нет, — прохныкала Ведьма.

— Как — нет?! — шепотом заорал мистер Дарк. Он испепелил Ведьму бешеным взглядом, повернулся к толпе и, легко коснувшись винтовок в стойке, повторил: — Добровольцы, пожалуйста!

— Остановите представление! — ломая руки, тихонько вскрикнула Ведьма.

— И не подумаю, будь ты трижды проклята, дура старая! — прошипел мистер Дарк. Он незаметно ущипнул картинку у себя на запястье, изображавшую слепую черную цыганку.

Ведьма взметнула руки, прижала их к груди и застонала сквозь зубы.

— Милости прошу! — выдохнула она едва слышно.

Толпа молчала. Мистер Дарк, словно с сожалением, разве руками.

— Ну что ж, раз не находится добровольцев, — он поскреб разрисованное запястье, и Ведьма затряслась как осинный лист, — придется отменить представление.

— Есть! Есть доброволец!

Толпа ахнула и повернулась на голос.

Мистер Дарк пошатнулся, как от удара, и напряженно спросил:

— Где?

— Здесь!

Из дальних рядов поднялась рука, и люди тут же расступились, освобождая проход. Теперь ничто не мешало мисте-

ру Дарку разглядеть стоявшего поодаль мужчину. Это был Чарльз Хеллоуэй, штатский, отчасти — муж, отчасти — ночной бродяга, несомненно — отец и уборщик из окружной библиотеки.

Глава 47

Одобрительный шум в толпе прекратился. Чарльз Хеллоуэй не трогался с места. Дорога перед ним до самого помоста была свободна. Он не смотрел на лица уродцев на сцене, не видел людей, уставившихся на него, глаза его неотрывно уперлись в Зеркальный лабиринт, в пустоту, манящую миллионами отраженных отражений, перевернутых дважды, трижды, уходящих все дальше в сверкающее Ничто.

Не осталось ли на серебряной амальгаме тени двоих ребяч? Не помнят ли холодные плоскости их отражений? Что-то ощущали едва трепещущие кончики его ресниц, что-то там, за зеркальными стенами... Теплый воск среди холодного... ожидание предстоящего ужаса, ожидание пути в никуда...

«Нет, — остановил себя Чарльз Хеллоуэй, — не думай о них. Потом. Сначала разберись с этими».

— Иду! — крикнул он.

— Точно! Задай им, папаша! — посоветовал кто-то.

— Обязательно задам, — отозвался мистер Хеллоуэй и пошел сквозь толпу.

Ведьма завороченно повернулась на звук знакомого голоса. За стеклами темных очков дернулись защитные веки, сияясь разглядеть ночного добровольца.

Мистер Дарк, вызвав переполох среди населявших его народов, наклонился вперед и оскалил зубы в приветственной гримасе. Настойчивая мысль огненным колесом бешено вертелась у него в глазах: «Что? Что? Что это значит?»

А пожилой уборщик, тоже с приклеенной улыбкой на губах, шагал вперед. Перед ним, как море перед Моисеем,

расступалась толпа и смыкалась позади. Шел он уверенно, но все еще не знал, что же ему, собственно, делать, и вообще, почему он здесь?

Такова была мизансцена ко времени первой ступеньки. Ведьму затрясло. Мистер Дарк ударил ее взглядом и протянул руку, собираясь поддержать под правый локоть поднимающегося на помост пятидесятичетырехлетнего мужчину. Но тот только покачал головой, отказываясь от помощи.

Взойдя на помост, Чарльз Хеллоуэй обернулся и помахал собравшимся. Ему ответили взрывом аплодисментов.

— Но ваша левая рука, сэр, — демонстрируя участие, проговорил мистер Дарк, — вы же не сможете стрелять...

— Я вполне управлюсь и одной рукой, — слегка побледнев, заявил мистер Хеллоуэй.

— Ура! — завопил какой-то юный шалопай внизу.

— Правильно, Чарли, дай им! — одобрил мужской голос издали.

В толпе послышался смех, потом отдельные хлопки, с каждой секундой становившиеся все дружнее. Мистер Дарк вспыхнул и поднял руки, словно преграждая дорогу звукам, весенним дождем освежавшим людей.

— Хорошо, хорошо! — прокричал он и добавил значительно тише: — Посмотрим, что из этого получится.

Человек-в-Картинках выхватил из стойки самую тяжелую винтовку и бросил через весь помост. Толпа разом выдохнула.

Чарльз Хеллоуэй повернулся, подставил правую ладонь, и винтовка шлепнулась ему в руку. Он справился.

Публика зашумела, кое-где раздался свист. Ясно было, что грязную игру мистера Дарка заметили и не одобряют. Счет рос не в его пользу.

Отец Вилли улыбнулся и поднял винтовку над головой. Толпа приветственно взревела.

Подставив грудь под накатывающуюся волну аплодисментов, Чарльз Хеллоуэй еще раз попытался проник-

нуть взглядом сквозь лабиринт. Он не мог видеть, но зато с уверенностью чувствовал замерших среди других иллюзий, почти превращенных в восковое подобие самих себя Вилли и Джима. Взглянул и тут же посмотрел на мистера Дарка (пожалуй, тот проиграл еще одно очко, ибо не был готов к его взгляду), а потом — на незрячую ночную Гадалку. Бочком-бочком она все отступала подальше, но дрожащие ноги принесли ее прямо к кроваво-красному глазу большой мишени на заднике помоста.

— Мальчик! — неожиданно крикнул Чарльз Хеллоуэй.

Мистер Дарк вздрогнул.

— Мне в помощь нужен парнишка-доброволец, — объяснил мистер Хеллоуэй. — Один кто-нибудь, — обратился он к собравшимся.

Несколько ребят в толпе задвигались.

— Мальчик! — снова в голос крикнул Чарльз Хеллоуэй. — Погодите, у меня тут сын где-то был. Думаю, он не откажется. Вилли!

Ведьма замахала руками. Ей надо было понять, почему этот пятидесятичетырехлетний мужчина так нагло распоряжается на их территории. Мистер Дарк аж завертелся на месте, словно подброшенный ударом еще не выпущенной пули.

— Вилли! — снова крикнул отец.

Посреди воскового музея сидел недвижимый Вилли.

— Вилли! Сынок! Иди сюда!

Люди в толпе завертели головами. Но никто не отзывался. Мистер Дарк уже вернул самообладание и теперь поглядывал на противника сочувственно-заинтересованно. Видимо, он ждал чего-то, как, впрочем, и отец Вилли.

— Вилли! — снова воззвал Чарльз Хеллоуэй. — Иди же, помоги своему старику! — В голосе отца звучал благодушный упрек.

Вилли сидел не шевелясь среди восковых экспонатов музея.

Мистер Дарк ухмыльнулся.

— Вилли! Ты что, не слышишь меня, что ли?

Ухмылка мистера Дарка стала еще шире.

— Вилли, шельмец! Да ответь же своему старику!

Мистер Дарк словно получил удар под дых. Последний голос принадлежал какому-то мужчине из толпы. Вокруг засмеялись.

— Вилли! — пронзительно выкрикнула дородная матрона у края помоста.

— Вилли! — вторил ей басом джентльмен в котелке.

— Йо-хоо! — йодлем взвыл бородастый джентльмен неподалеку.

— Вилли! — дискантом завершал какой-то малец.

По толпе, нарастая, гуляли волны хохота. Разноголосые крики угрожали слиться в единый мощный призыв.

— Вилл! Вилли! Вильям!!!

Тень мелькнула в льдистых зеркальных стенах. Ведьма покрылась крупными каплями холодного пота. Толпа разом смолкла. Чарльз Хеллоуэй поперхнулся именем собственного сына.

У выхода из лабиринта, больше всего похожий на ожившую восковую фигуру, стоял Вилли.

— Вилли! — тихонько позвал отец.

Ведьма испустила жалобный стон. Вилли, незряче подняв лицо, деревянным шагом двинулся через толпу. Отец протянул сыну ружейный ствол, и, ухватившись за него, паренек влез на помост.

— Вот моя левая рука! — объявил Чарльз Хеллоуэй.

Вилли никак не реагировал на дружные, напористые аплодисменты, которыми люди встретили его появление. Мистер Дарк, казалось, и ухом не повел, но Чарльз Хеллоуэй видел, как суетились его глаза, они, словно скорострельные пушки, вели беглый огонь по мальчику и старику на краю помоста, но то ли порох отсырел, то ли снаряды и вовсе оказались холостыми, толку от его пальбы не было никакого. Что-то не клеилось у него в последние минуты, он уже не был уверен в том, что хорошо помнит сюжет представления. Не знал сценария и Чарльз Хеллоуэй, не знал, но прекрасно чувствовал. Именно эту пьесу писал

он долгими библиотечными ночами, запоминал сюжетные ходы, рвал в клочки написанное, забывал и снова вспоминал. Он был уверен в режиссерских способностях своего «я», он играл по слуху, по наитию, по душе и сердцу! И вот...

Он улыбнулся Ведьме, и блеск его зубов больно отозвался в незрячих глазах. Она заслонила рукой защитные веки за темными очками.

— Подходите поближе! — Чарльз Хеллоуэй сделал приглашающий жест.

Толпа придвинулась. Помост стал островом, люди — морем вокруг.

— Посмотрите на мишень!

Ведьма попыталась растечься по собственным лохмотьям. Человек-в-Картинках тревожно обернулся налево, напрасно ища поддержки у Скелета, еще сильнее похудевшего за несколько последних минут; посмотрел направо — Карлик с довольным видом полного идиота пускал пузыри.

— Пулю, пожалуйста, — вполне миролюбиво попросил Чарльз Хеллоуэй.

Кишащие полчища тварей на живом полотне и не подумали его услышать, соответственно не услышал и мистер Дарк.

— Пулю, с вашего позволения, — повторил Чарльз Хеллоуэй. — У вашей Цыганки блоха на бородавке, попробую ее сшибить.

Вилли стоял неподвижно.

Мистер Дарк явно колебался.

Снаружи волнующееся море голов расцветало улыбка-ми — здесь, там, десяток, два, сотни белозубых бликов, — словно лунные отсветы на волнах прилива.

Человек-в-Картинках медленно достал пулю и протянул... мальчику. Вилли не заметил длинной волнистой ручки. Пулю взял его отец.

— Пометьте своими инициалами, — машинально произнес мистер Дарк обязательную фразу.

— Ну зачем же! Есть и кое-что получше! — усмехнулся Чарльз Хеллоуэй.

Он вложил пулю в равнодушную руку сына и достал перочинный нож. Взял пулю, пометил и вернул мистеру Дарку.

«Что? Что? Что происходит? — сонно думал Вилли. — Я знаю, что происходит. Я не знаю. Что? Что? Что?»

Мистер Дарк внимательно рассмотрел нацарапанный на пуле полумесяц, не увидел в этой луне ничего особенного, зарядил ружье и снова грубо бросил старику. И снова Чарльз Хеллоуэй ловко поймал оружие.

— Готов, Вилли?

Неподвижное лицо едва заметно наклонилось.

Чарльз Хеллоуэй мельком взглянул в сторону лабиринта. «Как ты там, Джим? Держись, паренек!»

Мистер Дарк повернулся. Он собирался отойти, успокоить свою пыльную подругу, но замер, остановленный резким звуком открываемого затвора. Отец Вилли достал из ствола пулю и продемонстрировал ее собравшимся. Она выглядела как настоящая, но Чарльз Хеллоуэй помнил давно прочитанное им где-то описание этого трюка. Пуля делалась из твердого, раскрашенного под свинец воска. При выстреле воск мгновенно испарялся, из ствола вылетал лишь дым да горячий пар, а перед тем Человек-в-Картинках незаметно сует своей напарнице настоящую пулю. Ее не так уж трудно подменить, заряжая ружье. Ведьма подскакивает от выстрела, а потом показывает настоящую пулю, зажатую в желтых крысиных зубах. Фанфары! Аплодисменты!

Человек-в-Картинках оглянулся. Чарльз Хеллоуэй держал в руках восковую пулю, явно принимая ее за настоящую, и озабоченно приговаривал:

— Давай-ка пометим ее получше, сынок...

Вилли держал пулю в бесчувственной руке, а старик перочинным ножом старательно наносил на чистую пулю все тот же загадочный лунный серп. Потом он лихо заслал ее в патронник.

— Готово? — раздраженно спросил мистер Дарк и взглянул на Ведьму. Она заколебалась, но в конце концов слабо кивнула.

— Готово! — отозвался Чарльз Хеллоуэй.

Вокруг стояли безмолвно шатры, сдержанно дышала толпа людей, беспокойно шевелились уродцы. Ведьма замерла на грани истерики, где-то неподалеку неподвижной мумией восседал Джим, которого еще предстояло найти, в соседнем шатре электрические сполохи поддерживали видимость жизни в древнем старце, карусель застыла в ожидании конца представления и того момента, когда разойдется наконец надоевшая толпа и Карнавал разберется по-своему с дерзкими мальчишками и старым библиотечным уборщиком, попавшимися в ловушку, уже пойманными, просто надо подождать, пока их оставят наедине с Карнавалом.

— Вилли, — беззаботно болтал Чарльз Хеллоуэй, поднимая вдруг потяжелевшее ружье, — давай свое плечо, мы его как подпорку используем. Прихвати-ка за ствол, так надежнее будет. — Мальчик послушно поднял руку. — Вот так, сынок. Отлично. Когда скажу: «Приготовились», — удержи дыхание. Слышишь меня?

Рука Вилли слабо дрогнула в ответ. Он спал. Он видел сны. Этот сон был кошмаром. Во сне он услышал крик отца.

— Леди и джентльмены!

Человек-в-Картинках вонзил ногти в собственную ладонь, в мальчишеское лицо, спрятанное в кулаке. Вилли скрутила судорога. Ружье упало. Чарльз Хеллоуэй и внимания не обратил.

— Леди и джентльмены! У меня левая — не того, вот сынок ее заменит. Сейчас мы с ним исполним перед вами самый рискованный, самый опасный, уникальный трюк с пулей!

Аплодисменты. Хохот.

Пятидесятичетырехлетний библиотечный уборщик гордо поднял ружье, словно это была привычная швабра, и снова водрузил на вздрагивающее плечо сына.

— Эй, Вилли, слышишь, сынок, давай врежем им за нас!

Да, Вилли слышал. Судорога стала отпускать его. Мистер Дарк еще сильнее сжал кулак. Вилли снова затрясло.

— Прямо в яблочко врежем им, верно, сынок! Не подкачай, поднатужься! — скоморошничал отец.

Толпа смеялась.

А Вилли и впрямь успокоился. Ствол ружья у него на плече замер. Суставы на стиснутой руке мистера Дарка побелели, но мальчик оставался неподвижным. Волны смеха омывали его замершую фигурку. Отец не давал смеху погаснуть.

— Покажи-ка даме свои зубы, Вилли!

Вилли оскалился в сторону мишени.

Ведьма побледнела, как мучной куль.

Чарльз Хеллоуэй тоже ослабилась, старательно обнажив все свои оставшиеся зубы.

Ледяной озноб прокатился по телу Ведьмы.

— Гляди-ка, парень! — послышался голос из толпы. — У нее аж поджилки трясутся. Напугал так напугал! Во изображает!

«Вижу я», — с досадой подумал Чарльз Хеллоуэй. Его левая рука безвольно висела вдоль тела, палец правой застыл на спусковом крючке винтовки. Ствол неподвижно лежит на плече Вилли, дуло устремлено в мишень, прямо в лицо Пыльной Ведьме; и вот настает последний миг. В патроннике восковая пуля. Господи! Да что может сделать кусочек воска? Испариться на лету? Глупость какая! Зачем они здесь, что они могут сделать? «Прекрати немедленно, — приказал он сам себе. — Все. Тихо. Никаких сомнений!» Он буквально чувствовал слова, теснившиеся во рту. Ведьма тоже слышала их.

Прежде чем последний теплый смешок замер в толпе, Чарльз Хеллоуэй прошептал беззвучно, одними губами: *«Я пометил пулю не лунным знаком. Это — моя улыбка. Моя улыбка — вот настоящая пуля в стволе!»* Он не стал повторять и лишь помедлил, ожидая, пока до Ведьмы дойдет смысл его слов. И за миг до того, как слова эти прочел по губам

Человек-в-Картинках, Чарльз Хеллоуэй негромко и отрывисто приказал сыну: «Приготовились!»

Вилли перестал дышать. Неподалеку у затерянного среди восковых истуканов Джима слюна перестала течь из уголков губ. У мертво-живой куклы, привязанной ремнями к «электрическому стулу», едва слышно зудел в зубах синий электрический огонек. Картинки мистера Дарка вспотели от ужаса, когда их хозяин судорожно стиснул собственную ладонь. Поздно! Вилли даже не шелохнулся, даже не вздрогнул, ствол винтовки на его плече не двинулся. Отец хладнокровно скомандовал: «Пли!»

И грянул выстрел.

Глава 48

Один-единственный выстрел!

Ведьма судорожно вздохнула. Джим вздохнул среди восковых кукол. Вилли вздохнул во сне. Чарльз Хеллоуэй сделал глубокий вдох. Чуть не захлебнулся воздухом мистера Дарк. Со вскрипом втянули воздух уродцы. Перевела дух толпа людей перед помостом.

Ведьма вскрикнула. Джим в музее выдохнул. Вилли на сцене взвизгнул, просыпаясь.

Человек-в-Картинках заревел, выпуская воздух из легких; он взмахнул руками, призывая события замереть, застыть. Но Ведьма падала. Ее тело сухо стукнулось о край помоста и рухнуло в пыль.

Чарльз Хеллоуэй медленно, с неохотой, выдыхал теплый, обжитый в груди воздух. Дымящаяся винтовка зажата в правой руке, глаз — на линии прицела, но на том конце — только красная мишень и никакой Цыганки.

На краю помоста застыл мистер Дарк. Он впился глазами в толпу и пытался разобрать отдельные выкрики.

— Обморок!

— Да нет, поскользнулась просто.

— Застрелили!

Чарльз Хеллоуэй подошел и встал рядом с Человеком-в-Картинках. Он тоже посмотрел вниз. Многое можно было прочесть в его взгляде: и удивление, и отчаяние, и радостное удовлетворение.

Старуху подняли и уложили на помост. Полуоткрытый рот Ведьмы, казалось, выражал удовольствие.

Чарльз Хеллоуэй знал: она мертва. Еще мгновение, и это поймут все. Он внимательно наблюдал за рукой мистера Дарка. Вниз, еще ниже, коснуться, проверить, ощутить трепет жизни. Мистер Дарк взял Ведьму за руки. Кукла. Марионетка. Он пытался заставить ее двигаться, но безжизненное тело не слушалось его. Тогда он призвал на помощь Скелета и Карлика, они трясли и двигали тело, норовя придать ему видимость жизни, а толпа потихоньку пятилась от помоста все дальше.

— ...Мертвая!

— Раны не видно!

— Может, это шок у нее?

«Да какой там шок! — думал Чарльз Хеллоуэй. — Боже мой, неужели это убило ее? Наверное, виновата другая пуля. Может, она случайно проглотила настоящую? Моя улыбка? О Иисусе!»

— Все о'кей! — воскликнул мистер Дарк. — Представление окончено! Все в порядке! Так и задумано! — Он не глядел на мертвую женщину, не глядел на толпу, не глядел даже на Вилли, моргавшего, как сова днем, только что выбравшегося из одного кошмара и готового провалиться в следующий. Мистер Дарк кричал: — Все по домам! Представление окончено! Эй, там, гасите свет!

Карнавальные огни замигали и начали гаснуть. Толпа принялась разворачиваться, как огромная карусель, двинулась, густея под еще горевшими фонарями, словно надеясь отогреться, прежде чем шагнуть в ветреную ночь. Но огни продолжали гаснуть.

— Скорее! — торопил мистер Дарк.

— Прыгай! — шепнул отец Вилли.

Вилли соскочил с помоста и поспешил за отцом, все еще сжимавшим в руке винтовку, убившую Ведьму улыбкой.

Они были уже у входа в лабиринт. Слышно было, как зади, на помосте, топчется и сопит мистер Дарк.

— Карнавал закрывается. Всем — домой! Конец! Закрыто!

— Джим там, внутри?

— Джим? Внутри? — Вилли с трудом понимал происходящее. — Да! Да, внутри!

Посреди музея восковых фигур, по-прежнему неподвижный, сидел Джим.

— Джим!

Голос, звавший его, протолкался через лабиринт.

Джим шевельнулся. Джим мигнул, вздохнул, встал и неуклюже заковылял к заднему выходу.

— Джим! Подожди там! Я приду за тобой!

— Нет, папа, нет! — Вилли вцепился в отца.

Они стояли у первой зеркальной стены. Боль снова немилосердно терзала левую руку Чарльза Хеллоуэя, поднималась к локтю, выше, еще немного, и ударит в сердце.

— Не надо, папа, не входи!

Вилли держал отца за правую руку.

Помост позади был пуст. Мистер Дарк покинул его. Ночь смыкалась вокруг Вилли с отцом, огни гасли один за другим, ночь густела, наливалась силой, ухмылялась, выталкивала людей прочь, срывая последних посетителей, как запоздалые листья с деревьев, гнала по дороге...

Перед глазами Чарльза Хеллоуэя перекатывались зеркальные валы, это был вызов, брошенный ему ужасом. Надо было принять его, шагнуть в зеркальное море, проплыть по холодным волнам, прошагать по зеркальным пустыням, прекратить, остановить распадение человеческого «я» в бесконечно отраженных поворотах. Чарльз Хеллоуэй знал, что ждет его. Закроешь глаза — заблудишься, откроешь — познаешь отчаяние, примешь на плечи невыносимое бремя, которое вряд ли унесешь дальше двенадцатого поворота. И все же он отвел руки сына.

— Там Джим, Вилли, — только и сказал он. — Эй, Джим, подожди! Я иду!

Отец Вилли шагнул в лабиринт.

Впереди дробился и вспыхивал серебряный свет, опускались плиты темноты, сверкали стены, отполированные, отчищенные, промытые миллионами отражений, прикосновениями душ, волнами агоний, самолюбований или страха, без конца бившимися о ровные грани и острые углы.

— Джим!

Чарльз Хеллоуэй побежал. Вилли — за ним.

Гасли огни. Их отражения меняли цвет. То вспыхивала синяя искра, то сиреневая змейка струилась по зеркалам, отражения мигали, став тысячами свечей, угасающих под ледяным ветром.

Между Чарльзом Хеллоуэем и Джимом встало призрачное войско — легион седовласых, седобородых мужчин с болезненно искаженными ртами.

«Они! Все они — это я!» — думал Чарльз Хеллоуэй.

«Папа! — думал Вилли у него за спиной. — Ну что же ты! Не бойся. Все они — только мой папа!»

Да нет, не все. Вилли решительно не нравился вид этих угрюмых стариков. Посмотрите на их глаза! И так старые, отражения дряхлели с каждым шагом, они дико размахивали руками в такт жестам отца, отгонявшего видения в зеркалах.

— Папа! Это же только ты!

Нет. Их там было больше.

И вот погасли все огни. Два человека, большой и маленький, замерли, невольно съежившись, в напряженно дышащей тишине.

Глава 49

Рука шебуршилась, как крот под землей. Рука Вилли потрошила карманы, хватая, определяя, выбрасывая. Он знал, что легионы стариков в темноте двинулись со стен, прыгают, теснят, давят и в конце концов уничтожат отца

оружием своей сущности. За эти секунды, что летят, летят и уносятся навсегда, если не поторопиться, может произойти невеста что! Эти воины Будущего наступают, а с ними — все предстоящие тревоги, настоящие, подлинные отражения, с железной логикой доказывающие: да, вот таким станет отец Вилли завтра, таким — послезавтра, и дальше, дальше, дальше... Это стадо затопчет отца! Ищи! Быстро ищи! Ну, у кого карманов больше, чем у волшебника? Конечно, у мальчишки! У кого в карманах больше, чем в мешке у волшебника? Конечно, у мальчишки! Вот он!

Вилли выудил наконец спичечный коробок и зажег спичку.

— Сюда, папа!

«Стой!» — приказала спичка.

Батальоны в древних маскарадных костюмах справа застыли на полушаге, роты слева со скрипом выпрямились, бросая зловецкие взгляды на непрошеное пламя, мечтая только о порыве сквозняка, чтобы снова рвануться в атаку под прикрытием тьмы, добраться до этого старого, ну вот же — совсем старого, а вот — еще старше, добраться до этого ужасающе старого старика и убить его же собственной неотвратимой судьбой.

— Нет! — произнес Чарльз Хеллоуэй. «Нет», — задвигался миллион мертвых губ.

Вилли выставил горящую спичку вперед. Навстречу из зеркал какие-то высохшие полуобезьяны протянули бутонны желтого огня. Каждая грань метала дротики света. Они незримо вонзались, внедрялись в плоть, кололи сердце, душу, рассекали нервы и гнали, гнали дерзкого мальчишку вперед, к гибели.

Старик рухнул на колени, собрание его двойников, постаревших на неделю, на месяц, год, пятьдесят, девяносто лет, повторило движение. Зеркала уже не отражали, они высасывали кровь, обгладывали кости и вот-вот готовы были сдуть в ничто прах его скелета, разбросать тончайшим слоем мотыльковую пыль.

— Нет! — Чарльз Хеллоуэй выбил спичку из рук сына.

— Папа!

В обрушившейся тьме со всех сторон двинулась орда старцев.

— Папа! Нам же надо *видеть!*

Вилли зажег вторую, последнюю спичку.

В ее неровном свете он увидел, как отец оседает на пол, закрыв руками лицо. Отражения приседали, приспособлялись, занимали удобное положение, готовясь, как только исчезнет свет, продолжить наступление. Вилли схватил отца за плечо и встряхнул.

— Папа! — закричал он. — Ты не думай, мне и в голову никогда не приходило, что ты — старый! Папа, папочка! — В голосе слышались близкие рыдания. — Я люблю тебя!

Чарльз Хеллоуэй открыл глаза. Перед ним метались по стенам те, кто был похож на него. Он увидел сына и слезы, дрожащие у него на ресницах, и вдруг, заслоня отражения, поплыли образы недавнего прошлого: библиотека, Пыльная Ведьма, его победа, ее поражение, сухо треснул выстрел, загудела взволнованная толпа.

Еще мгновение он смотрел на своих зеркальных обидчиков, на Вилли, а потом... тихий звук сорвался с его губ, звук чуть погромче вырвался из горла. И вот он уже обрушил на лабиринт, на все его проклятые времена, свой единственный громогласный ответ. Он широко раскрыл рот и издал ЗВУК. Если бы Ведьма могла ожить, она узнала бы его, узнала и умерла снова.

Глава 50

Джим Найтшед с разбегу остановился где-то на карнавальных задворках.

Где-то среди черных шатров сбился с ноги Человек-в-Картинках. Карлик застыл, Скелет обернулся через плечо. Все услышали... нет, не тот звук, который издал Чарльз Хеллоуэй, другой, ужасный и длительный звук заставил замереть всех. Зеркала! Сначала одно, за ним — дру-

гое, третье, дальше, дальше, как костяшки стоящего домино, взрывались изнутри сетью трещин, слепли и падали звеня. Целую минуту изображения сворачивались, извивались, перелистывались, как страницы огромной книги, пока не разлетелись метеорным роем.

Человек-в-Картинках вслушивался в стеклянные перезвоны, чувствуя, как сеть трещин покрывает и его глазные яблоки и они, того и гляди, начнут выпадать осколками. Это Чарльз Хеллоуэй, словно мальчик-хорист, спел на клиросе сатанинской церкви прекрасную, высокую партию мягкого добродушного смеха и тем потряс зеркала до основания, а потом и само стекло заставил разлететься вдребезги. Тысячи зеркал вместе с древними отражениями Чарльза Хеллоуэя кусками льда падали на землю и становились осенней слякотью под ногами. Все это наделал тот самый звук, не удержавшийся в легких пожилого человека. Все это смогло случиться из-за того, что Чарльз Хеллоуэй наконец-то принял и Карнавал, и окрестные холмы, и Джима с Вилли, а прежде всего — самого себя и самую жизнь, а приняв, выразил свое согласие со всем на свете тем самым звуком.

Как только звук разбил зеркальную магию, призраки покинули стеклянные грани. Чарльз Хеллоуэй даже вскрикнул, неожиданно ощутив себя свободным. Он отнял руки от лица. Чистый звездный свет омыл его глаза. Мертвяки-отражения ушли, опали, погребенные простыми осколками стекла под ногами.

— Огни! Огни! — выкрикивал далекий теплый голос.

Человек-в-Картинках метнулся и исчез среди шатров. Последний посетитель давно покинул Карнавал.

— Папа! Что ты делаешь? — Спичка обожгла пальцы Вилли, и он выронил ее. Но теперь и слабого звездного света хватало, чтобы увидеть, как настойчиво разгребает отец горы зеркального мусора, прокладывая дорогу к выходу.

— Джим?

Задняя дверь лабиринта распахнута. Блики далеких фонарей слабо озаряют восковых убийц и висельников, но Джима среди них нет.

— Джим!

Они стояли у раскрытой двери и тщетно всматривались в тени между шатрами. Последний электрический фонарь на карнавальном земле потух.

— Теперь нам никогда не найти его, — проговорил Вилли.

— Найдем, — пообещал отец в темноте.

«Где?» — подумал было Вилли, но тут же насторожился и прислушался. Так и есть! Карусель запыхтела, каллиопа начала пережевывать музыку. «Вот, — мелькнуло в голове Вилли, — если где и искать Джима, так возле карусели. Старина Джим! У него же еще бесплатный билет в кармане. Ну, Джим, ну, проклятый старый... Не надо! — остановил он себя. — Не проклинай его. Он уже и так проклят или вот-вот схлопочет. Ну как тут найдешь его! Ни спичек, ни фонарей. И нас ведь всего двое против всех этих... да еще на их собственной территории!»

— Как... — начал он, но отец остановил его.

Чарльз Хеллоуэй благоговейно произнес лишь одно слово:

— Там.

Вилли шагнул к посветлевшему дверному проему.

Ура! Господи, луна поднимается над холмами!

— Полиция?..

— Некогда. Тут минуты решают. Нам о троих людях надо думать.

— Да не люди они, а уроды!

— Люди, Вилли. Перво-наперво Джим, потом — Кугер с его «электрическим стулом», ну а третий — мистер Дарк со своим паноптикумом. Спасти первого, прикончить, к дяволу, двух других, тогда и остальные уроды дорогу найдут. Ты готов, Вилли?

Вилли огляделся по сторонам, поднял глаза.

— Слава богу, луна!

Крепко взявшись за руки, отец и сын вышли за дверь. Навстречу приветственно взметнулся ветер, взвихрил волосы на головах и пошел хлопать парусиной шатров, словно над лугом взлетал огромный воздушный змей.

Глава 51

Тени обдавали их запахом аммиака, лунный свет — запахом чистого речного льда.

Впереди сипела, стучала и свиристела каллиопа. Вилли никак не мог разобрать, правильную музыку она играет или вывернутую.

— Куда теперь? — прошептал отец.

— Вон туда! — махнул рукой Вилли.

В сотне ярдов позади шатров разорвал темноту каскад синих искр.

«Мистер Электрико! — догадался Вилли. — Они пытаются поднять его. Хотят притащить на карусель, чтобы уж либо оживить, либо окончательно угробить. А если они и вправду оживят его, вот он рассвирепееет! И Человек-в-Картинках тоже. И все на нас с папой. Ладно. Джим-то где? И какой он? На чьей стороне? Да на нашей, конечно же! — попытался он уверить себя. Но тут же подумал: — А сколько живет дружба? До каких пор будем мы составлять одно приятное, круглое, теплое целое?»

Вилли взглянул налево. Там, полускрытый полотнищами шатра, стоял и чего-то ждал Карлик.

— Посмотри, папа! — тихонько вскрикнул Вилли. — А вон там — Скелет!

Действительно, напоминая давно засохшее дерево, неподвижно торчал высокий тощий человек.

— Интересно, почему уроды даже не пробуют остановить нас?

— Потому что боятся.

— Кого? Нас?!

Отец Вилли, пригнувшись, словно заправский разведчик, выглядывал из-за угла фургона.

— Им уже прилично досталось. И они прекрасно видели, что стало с Вельмой. Другого объяснения у меня нет. Посмотри на них.

Уроды мало чем отличались от подпорок шатров. Много их виднелось в разных местах луга. Прячась в тени, все они чего-то ждали. Чего?

Вилли попытался сглотнуть пересохшим горлом. Может, они не прячутся вовсе, может, просто собрались смазывать? Или драться? Скоро мистер Дарк ка-ак свистнет, а они все ка-ак набросятся... а пока просто время не пришло. Опять же, мистер Дарк занят. Вот освободится и свистнет. Ну и что тогда делать? А почему — тогда? Надо попробовать так сделать, чтобы он вообще не свистнул.

Ноги Вилли умело скользили по траве. Отец крался впереди. Уроды провожали их остекленевшими под луной глазами.

Голос каллиопы изменился. Теперь он звучал даже мелодично, и звуки печальным ручейком струились между шатров.

«Так! Вперед играет! — отметил про себя Вилли. — А раньше, значит, *назад* играл. Интересно, куда еще расти мистеру Дарку?» И вдруг до него дошло.

— Джим! — заорал Вилли.

— Тихо! — одернул его отец.

Но имя уже было сказано. Оно само рванулось из Вилли, как только он услышал заманчивые, привлекающие звуки. Джим где-то там, поблизости, затаился и гадает, покачиваясь в такт: каково это, стать шестнадцатилетним? А восемнадцатилетним? О, а вот еще лучше — двадцатилетним? Могучий вихрь Времени прикинулся летним ветерком и наигрывает веселенький мотивчик, обещая все-все на свете. Даже Вилли чуть заметно пританцовывает под музыку, вырастающую персиковым деревцем со спелыми плодами.

«Ну уж нет!»

Вилли категорически отверг все соблазны и заставил ноги перейти на другой ритм, шагать под собственный мотив и держать, держать его, горлом, легкими, костями черепа гася гнусавые звуки каллиопы.

— Посмотри, — тихо сказал отец.

Впереди между шатрами двигалось диковинное шествие. В знакомом «электрическом стуле», как султан в паланкине, ехала усохшая ископаемая фигура. Стул равно-

мерно покачивался на плечах пятен темноты разных форм и размеров.

Тихий голос отца вспугнул их. Шествие разом подскокило и бросилось наутек.

— Мистер Электрико! — узнал Вилли. — Это его на карусель тащат! — Маленький парад скрылся за углом шатра. — Вокруг, за ними! — увлекая за собой отца, крикнул Вилли.

Калииопа расплывалась медовыми сотами звуков. Она выманивала, вытаскивала, притягивала Джима, где бы тот ни скрывался.

А для мистера Электрико музыка, значит, пойдет задом наперед, и карусель завертится наоборот, сдирая старую кожу, возвращая годы.

Вилли споткнулся и пропахал бы носом землю, не поддержи его отец под локоть. В тот же миг из-за шатров донесся целый хор звуков: лай, вой, причитания, плач. Звуки испускали искаленные глотки уродов.

— Джим! Они Джима заполучили!

— Вряд ли, — пробормотал Чарльз Хеллоуэй и добавил непонятно: — Может, это мы их заполучили.

Обогнув очередной шатер, они попали в маленькую пыльную бурю. Вилли зажмурился и зажал нос ладонью. Пыли было много. От нее исходил запах древних пряностей, сторевших кленовых листьев. В воздухе было синё от пыли.

Чарльз Хеллоуэй чихнул. Какие-то смутно видимые фигуры шарахнулись прочь от предмета странных очертаний, лежащего на поддороге между шатрами и каруселью. При ближайшем рассмотрении это оказался опрокинутый «электрический стул» с торчащими во все стороны ремнями, подставками и зажимами.

— А где же мистер Электрико? — растерянно проговорил Вилли. — То есть... мистер Кугер?

— Да вот это он, наверное, и есть, — ответил отец.

— Что — это?

Но ответ действительно был здесь, вокруг Вилли. Он взвихривался над дорогой, носился в воздухе осенним ладаном, щекотал в носу запахом древнего тимьяна.

«Вот так, — подумал Чарльз Хеллоуэй, — оживить или утробить». Он представлял, как суетились они еще несколько минут назад, волоча древний пыльный мешок с костями на «электрическом стуле» без проводов, как пытались выходить сухую мумию, сохранить жизнь в кучке истлевшего праха, хлопьев ржавчины и давно прогоревших углей. В них не осталось ни единой искры, и никакому ветру не под силу раздуть в этом пепле огонек жизни. Но они пытались, и не единожды, только каждый раз в панике оставляли эту затею, потому что любой толчок грозил превратить древнего Кугера в кучу сопревших опилок. Уж лучше бы оставить его прислоненным к надежной жесткой спинке «электрического стула», оставить чудо-экспонатом для публики, но они должны были попытаться еще раз, когда пала темнота, когда убралось наконец людское стадо, когда всех перепугала убийственная улыбка и так нужен прежний Кугер — высокий, рыжий, неистовый. Но эта попытка оказалась роковой. С минуту назад последние легчайшие узы распались, последний засов, удерживавший жизнь за дверью тела, отскочил, и тот, кто был Основателем, сбросил последние скрепы и вознесся клубами пыли и вихрем осенних листьев. Мистер Кугер, обмолоченный в последний урожай, затанцевал легчайшим прахом над лугами. Древнее зерно в силосной башне тела взметнулось мучной пылью и исчезло; было — и прошло.

— Нет, нет, нет, нет, — монотонно бормотал кто-то рядом. Чарльз Хеллоуэй тронул сына за руку. Оказывается, это Вилли бормотал монотонное «нет». Мысли его текли параллельно мыслям отца, он тоже видел все стадии: суету над останками, пыльный фонтан и удобренные травы во круг... Теперь в лунном свете остался нелепый перевернутый стул, а уроды, тащившие мистера Кугера на последний костер, разбежались и попрятались в тени.

«Не от нас ли они разбежались? — подумал Вилли. — Что-то ведь заставило их бросить стул. Или — кто-то?»

Кто-то! Вилли вытаращил глаза.

Перед ним, чуть поодаль, пустая карусель, поскрипывая, совершала свой обычный путь через Время. Неторопливо. Вперед.

А между ней и брошенным «электрическим стулом» стоял... уродец? Нет...

— Джим!

Отец ударил сына под локоть, и Вилли заткнулся.

«Или... но это же Джим?! — подумал он. — А где же тогда мистер Дарк? Наверное, где-то неподалеку. Кто еще мог запустить карусель? Кто еще мог притащить сюда всех: и Джима, и нас с отцом?»

Джим отвернулся от перевернутого стула и медленно двинулся дальше, к своему бесплатному аттракциону.

Перед ним лежала его всегдашняя цель. Бывало, он, как флюгер, поворачивался то в одну сторону, то в другую, колебался, завидев новые дали, порывался в каком-нибудь показавшемся симпатичным направлении, но вот сейчас наконец определился окончательно, вытянулся и завибрировал в силовом потоке музыкальных ветров. Он все еще пребывал в полусне. И он не смотрел по сторонам.

— Иди догони его, Вилли, — подтолкнул отец.

Вилли пошел. Джим был уже возле карусели. Поднял правую руку. Медные шесты, как спицы колеса, проплывали мимо, улетали в будущее. Они проникали в тело, подхватывали, тянули, как сироп, захватывали кости и разжеванной тянучкой тащили за собой. Отблеск надраенной меди лег на скулы Джима, стальной блеск мелькнул и остался в глазах. Джим подошел вплотную. Медные спицы постукивали его по ногтям протянутой руки, вызывая какой-то свой мотивчик.

— Джим!

Спицы мелькали мимо, сливаясь в медный рассвет в ночи. Музыка рванулась звонким фонтаном звуков.

— Иииииии!

Джим подхватил музыкальный вопль.

— Иииииии!

— Джим!

Вилли бежал и кричал на бегу.

Джим хлопнул ладонью по шесту, шест вырвался. Но не бежал следующий, и ладонь Джима словно припаялась к нему. Сначала — запястье, потом — плечо, и наконец все еще не проснувшееся тело Джима оторвало от земли.

Вилли был уже рядом. Он успел схватить Джима за ногу, но не сумел удержать, и Джим поехал в плачущей ночи по огромному вечному кругу. Не потеряв инерции, Вилли бежал за ним.

— Джим, слезай! Джим, не бросай меня тут!

Центробежная сила отбросила тело Джима, он летел, держась за шест, под каким-то невымыслимым углом к плоскости круга, откинув в сторону другую руку, маленькую, белую, отдельную ладонь, не принадлежащую карусели, помнящую старую дружбу.

— Джим, прыгай!

Вилли, как вратарь за мячом, прыгнул за этой рукой... и промахнулся. Он споткнулся, удержался на ногах, но потерял скорость и сразу безнадежно отстал. Джим уехал в свой первый круг один. Вилли остановился, ожидая следующего появления... кого? Кто вернется к нему?

— Джим! Джим!

Джим проснулся! Через полкруга лицо его ожило, теперь им попеременно владели то декабрь, то июль. Он судорожно вцепился в шест и ехал, отчаянно поскуливая. Он хотел ехать дальше. Он ни за что не хотел ехать дальше. Он соглашался. Он отказывался. Он страстно желал и дальше купаться в ветровой реке, в блеске металла, в плавной тряске коней, колотящих копытами воздух. Глаза горят, кончик языка прикушен.

— Джим, прыгай! Папа, останови ее!

Чарльз Хеллоуэй взглянул на пульт управления каруселью. До него было футов пятьдесят.

— Джим, слезай, ты мне нужен. Джим, вернись!

Далеко, на другой стороне карусели, Джим сражался со своими руками, с шестами, конями, завывающим ветром, наступающей ночью и звездным круговоротом. Он выпускал

шест и тут же хватался за него. А правая рука откинута наружу, просит у Вилли хоть унцию силы.

— Джим!

Джим едет по кругу. Там внизу, на темном полустанке, откуда унесся навсегда его поезд, он видит Вилли, Вильяма Хеллоуэя, давнего приятеля, юного друга, и чем дальше уносит его бег карусели, тем моложе будет казаться друг Вилли, тем труднее будет припомнить его черты... Но пока еще — вон он, друг, младший друг, бежит за поездом, догоняет, просит сойти, требует... чего он хочет?

— Джим! Ты помнишь меня?

Вилли отчаянно бросился вперед и достал-таки пальцы Джима, схватил ладонь.

Зябко-белое лицо Джима смотрит вниз. Вилли поймал темп и бежит вровень с внешним кругом карусели. Где же отец?

Почему он не выключает ее? Рука у Джима теплая, знакомая, хорошая рука.

— Джим, ну пожалуйста!

Все дальше по кругу. Джим несет его. Вилли волочится следом.

— Пожалуйста!

Вилли попытался остановиться. Тело Джима дернулось. Рука, схваченная Вилли, рука, пойманная Джимом, прошла сквозь июльский жар. Рука Джима, уходящего в старшие времена, жила отдельно, она знала что-то свое, о чем сам Джим мог едва догадываться. Пятнадцатилетняя рука четырнадцатилетнего подростка. А лицо? Отразится ли на нем один оборот? Чье оно? Пятнадцатилетнего, шестнадцатилетнего юноши?

Вилли тянул к себе. Джим тянул к себе. Вилли упал на край дощатого круга. Оба уезжали в ночь! Теперь весь Вилли, полностью, ехал с другом Джимом.

— Джим! Папа!

«Ну и что? Раз уж не сумел стащить Джима, почему бы не поехать дальше вместе? Остаться вдвоем и пуститься в путь рука об руку». Что-то начало происходить в теле

Вилли. В нем поднимались неведомые соки, застилали глаза, отдавались в ушах, покалывали электрическими иголками спину...

Джим закричал. И Вилли закричал тоже.

Их странствие длилось уже полгода, уже полкрута они путешествовали вдвоем, прежде чем Вилли решился, ухватив Джима покрепче, прыгнуть, отмахнуться от многообещающих взрослых лет, сигануть вниз, рвануть за собой Джима. Но Джим не мог отпустить шест, не мог отказаться от своей бесплатной поездки.

— Вилли! — впервые подал голос Джим, раздираемый между другом и крутом, одна рука — здесь, другая — там. Он не понимал, одежду с него сдирают или тело. Глаза у Джима стали алебастровыми, как у статуи. А карусель неслась! Джим дико вскрикнул, сорвался, нелепо перевернулся в воздухе и рухнул на землю.

Чарльз Хеллоуэй дернул рубильник. Пустая карусель останавливалась. Кони притормаживали бег, так и не добравшись до какой-то далекой летней ночи.

Чарльз Хеллоуэй опустилсѧ на колени вместе с Вилли возле неподвижного тела Джима, потрогал пульс, приложил ухо к груди. Невидящими глазами Джим уставился на звезды.

— О боже! — закричал Вилли. — Он что, мертвый?

Глава 52

— Мертвый?.. — Отец Вилли коснулся лица, груди Джима. — Нет, я не думаю...

Где-то неподалеку тоненький голос позвал на помощь. Они подняли головы. К ним опрометью бежал мальчишка. Он то и дело оглядывался через плечо, спотыкался о растяжки шатров и задевал плечами билетные будки.

— Помогите! — истошно верещал он. — Помогите, он меня поймает! Я не хочу! Мама! — Малец подбежал и вцепился в Чарльза Хеллоуэя. — Помогите, я потерялся. Возьмите меня домой, а то этот дядька в картинках поймает меня!

— Мистер Дарк! — выдохнул Вилли.

— Ага, он, он! — тараторил мальчишка. — Он за мной бежал.

— Вилли. — Отец встал. — Позаботься о Джиме. Попробуй искусственное дыхание. Ну, пойдем, малыш.

Мальчонка тут же рванулся прочь. Чарльз Хеллоуэй шел за ним и внимательно разглядывал тщедушное тельце, неправильной формы голову и отключенный зад. Они отошли от карусели футов на двадцать, и Чарльз Хеллоуэй спросил:

— Послушай, дружок, как тебя зовут?

— Да некогда же! — истерично выкрикнул мальчишка. — Джд меня зовут. Идем быстрее.

Чарльз Хеллоуэй остановился.

— Послушай-ка, Джд, — сказал он. Теперь мальчишка тоже остановился и нетерпеливо повернулся к нему. — А скажи-ка, сколько тебе лет?

— Девять мне, девять! Пойдем, мы же не успеем!

— Девять лет! — мечтательно повторил Чарльз Хеллоуэй. — Отличная пора, Джд. Я никогда не был таким молодым.

— Чтоб мне провалиться... — начал мальчишка.

— Вполне возможно, — подхватил Чарльз Хеллоуэй и протянул руку. Парнишка отшатнулся. — Похоже, ты боишься только одного человека, Джд. Меня.

— Чегой-то мне вас бояться? Кончайте вы. Почему?..

— Потому что иногда зло оказывается безоружно перед добром. Потому что иногда даже наигранные трюки не удаются. Не так-то просто столкнуть человека в яму. И «разделий и властвуй» сегодня не пройдет, Джд. Куда ты думал отвести меня? В львиную клетку? Придумал еще какой-нибудь аттракцион вроде зеркал или Ведьмы? А знаешь что, Джд? Давайка попросту засучим твой правый рукав, а?

Мальчишка сверкнул глазами и отскочил, но Чарльз Хеллоуэй прыгнул за ним и схватил за шиворот. Вместо того чтобы возиться с рукавом, он просто сдернул с паренька рубашку через голову.

— Ну вот, Джед, так я и думал, — тихо произнес он.

— Ты... ты...

— Да, да, Джед, я. Но главное — это ты, Джед.

Все тело мальчишки покрывала татуировка. Змеи, скорпионы, прожорливые акулы теснились на груди, обвиняли талию, корчились на спине маленького, холодного, дрожащего тела.

— Здорово нарисовано, Джед, — одобрил Чарльз Хеллоуэй.

— Ты!

Мальчишка размахнулся и ударил.

Чарльз Хеллоуэй даже не стал уворачиваться. Он принял удар, а потом сгреб мальчишку и крепко зажал под мышкой. Малец забился, задергался и отчаянно заверещал: «Нет!»

— Теперь только «да», Джед, — приговаривал Чарльз Хеллоуэй, действуя одной правой рукой. Левая его не слушалась. — Зря дергаешься, я тебя не выпущу. Идея была хорошая: сначала разделаться со мной, потом добраться и до Вилли... А когда явится полиция, ты вроде бы и ни при чем: какой спрос с мальчика? Карнавал? А что — Карнавал? Твой он, что ли?

— Ничего ты мне не сделаешь! — завизжал мальчишка.

— Может быть, и нет, но я попробую, — ласково пообещал Чарльз Хеллоуэй, покрепче прихватывая своего пленника.

— Караул! Убивают! — заорал и заплакал парень.

— Да что ты, Джед, или мистер Дарк, или как тебя там еще, — укоризненно произнес Чарльз Хеллоуэй. — Я и не думаю тебя убивать. По-моему, это ты собираешься себя прикончить. Ты же не можешь находиться долго рядом с такими людьми, как я. Да еще так близко!

— Отпусти, злодей! — застонал мальчишка, извиваясь в руках мужчины.

— Злодей? — Отец Вилли рассмеялся. Судя по рывкам Джеда, звуки простого смеха доставляли ему не больше удовольствия, чем рой рассерженных пчел. — Злодей, гово-

ришь? — Руки мужчины еще крепче прихватили маленькое тело. — И это ты говоришь, Джед? Уж чья бы корова мычала! Со стороны оно, может, так и выглядит. Злу добро всегда кажется злом. Но я буду делать только добро. Я буду держать тебя долго, держать и смотреть, что сделает с тобой добро. Я буду делать тебе добро, Джед, мистер Дарк, мистер Хозяин Карнавала, паршивый мальчишка, буду делать до тех пор, пока ты не скажешь мне, что страюсь с Джимом. Лучше тебе разбудить его, лучше вернуть его к жизни. Ну!

— Я не могу, не могу... — ломкий голос уходит в тело, как в колодец, глубже, глуше, — не могу...

— Не хочешь?

— ...не могу.

— О'кей, приятель. Тогда вот так и вот так...

Со стороны их можно было принять за отца с сыном, встретившихся после долгой разлуки. Мужчина поднял раненую руку и потрогал синяк на скуле, оставшийся после удара мальчишки, потрогал и улыбнулся. Толпа картинок на теле мальчика бросилась врассыпную. Глаза маленькой бестии с ужасом впились в раздвинутые улыбкой губы мужчины. Это была та самая улыбка, которая недавно поразила насмерть Пыльную Ведьму.

Мужчина крепко прижимал к себе мальчишку и думал: «У Зла есть только одна сила, та, которой наделяем его мы. От меня ты ничего не получишь. Наоборот, я заберу у тебя все. И тогда тебе останется только погибнуть».

В глазах мальчика метались огни, словно отражения близко горящей спички. Но из глубины поднимался страх, и пламя в глазах тускнело, выцветало, гасло и наконец погасло совсем. И тогда вся толпа, весь конклав чудищ рухнули и придавили маленькое тело к земле.

Наверное, их падение должно было сопровождаться грохотом, как от горного обвала, но на самом деле в воздухе разнесся всего лишь шелест, как будто японский бумажный фонарик уронили в пыль.

Глава 53

Чарльз Хеллоуэй долго не мог отдышаться. Трепетные тени заполнили полотняные аллеи. Среди теней угадывались уродливые фигуры. Их так долго вскармливали их собственными грехами и страхами, что теперь и они не сразу смогли прийти в себя; держась за шесты и веревки, многие постанывали и поскуливали от неуверенности. Скелет решил выбраться из надежной тени поближе к свету. Карлик, еще не догадываясь, а только подозревая о своем прежнем обличье, боком, как краб, подобрался к карусели и теперь таранился на Вилли, склонившегося над Джимом, и его отца, почти в той же позе застывшего в изнеможении над другим детским телом. Тем временем карусель дотянула последний оборот и встала, как паром, уткнувшийся в заросший травой берег.

Карнавал превратился в огромный темный камин. В разных уголках тлели угли настороженных взглядов его обитателей. Все они тянулись к одному месту.

Там лежал под луной разрисованный мальчик по имени Дарк.

Там лежали поверженные драконы, разрушенные башни, сраженные чудовища мрачных древних эр: птеродактили уткнулись в землю, как сбитые самолеты, страшные раки выброшены на берег отливом жизни. Изображения двигались, меняли очертания, дрожали по мере того, как холодела маленькая плоть. Циклопий глаз на пупке подмигивал сам себе, шипастый трицератопс ослеп и впал в буйство, картинки, все вместе и каждая в отдельности, прижившиеся на теле большого мистера Дарка, теперь соохлись и стали напоминать микроскопическую вышивку, этакий расшитый платочек, наброшенный на костлявые плечи.

Из темноты выступали новые уроды. Лица их напоминали цветом несвежую постель — арену их поражений в битве за собственные души. Тени медленно перемещались по кругу, образуя хоровод вокруг мистера Хеллоуэя и неподвижного тела на земле.

Вилли размеренно поднимал и опускал руки Джима и совершенно не обращал внимания на собравшихся вокруг зрителей. Они, впрочем, не докучали ему. Казалось, многие из них стояли, полностью поглощенные своим собственным дыхательным процессом. Искаженные рты со всхлипами втягивали ночь, откусывали от нее большие куски и заглатывали, словно долгие годы прожили на голодном пайке.

Чарльз Хеллоуэй следил за метаморфозами картинной галереи, сосредоточенной на небольшом пространстве лежащего у его ног тела. Оно остывало на глазах. Смерть вышибала подпорки из-под крошечных кошмарных композиций, каллиграфические надписи искажались, скрученные жгутами пресмыкающиеся разворачивались поникшими знаменами проигранной войны, и вот они уже бледнеют, растворяются, исчезают, одно за другим покидают маленькое тело.

Уроды вокруг беспокойно зашевелились. Казалось, лунный свет впервые дал им возможность оглядеться. Одни потирали запястья, не понимая, куда делись наручники, другие ощупывали шеи, пытаясь обнаружить привычное ярмо, так долго пригибавшее их к земле. Все недоуменно моргали, не смея поверить увиденному: возле застывшей карусели лежал клубок бед, средоточие их несчастий. Они пока не осмеливались подойти, наклониться, потрогать этот холодный лоб и только взирали в оцепенении, как бледнеют их гротескные портреты, как тает экстракт их жадности, злобы, язвящей вины, слепых убеждений, как распадаются ловушки картинок по мере того, как тает этот невеликий сугробик грязноватого снега. Вот поблек Скелет, за ним потекло и испарилось изображение уродливого Карлика, вот и Пьющий Лаву освободился от осенней плоти, а за ним меняется цвет Черного Палача из Лондонских Доков, взлетел и растворился Человек-Монгольфьер, похудел и стал невидимкой Толстяк, вспорхнула и исчезла в воздухе целая группа, а смерть все протирала и протирала дочиста грифельную доску тела.

И вот уже перед Чарльзом Хеллоуэем лежал просто маленький мертвый человек: чистая, без единого пятнышка, кожа, пустые глаза, устремленные на звезды.

— Ах-xxx! — хором вздохнули странные люди, столпившиеся в тени вокруг.

А потом... Может, старая калиопа вякнула в последний раз, может, гром, ночующий в облаках, повернулся во сне на другой бок — все вокруг пришло в движение. Уродов охватила паника. Свобода бросила их в разные стороны, как камни из пращи. Не стало своего шатра, не стало грозного хозяина, не стало самого темного закона, сбивавшего их в кучу. Они разбегались.

Должно быть, на бегу они цеплялись за веревки и выдерживали колья растяжек, и теперь само небо, колыхнувшись, начало беспорядочно свертывать и комкать вздыхающие шатры. Веревки взвивались с шипением, гневно хлестали по траве. Как темный испанский веер, сложился шатер-зверинец. Вокруг качались и падали шатры поменьше. Обнажился и зашатался бронтозаврий костяк главного балагана уродов. Мгновение он помедлил в нерешительности, плавно взмахнул кожистыми, как у птеродактиля, крыльями, и Ниагарой хлынул вниз. Три сотни пеньковых змей взвились в воздух. Черные шести с треском подломились. Они стали выпадать, как гнилые зубы из огромной челюсти; пыльные полотнища хлопотливо забились, пытаясь взлететь и опадая, умирая от самой обычной силы тяжести, задыхаясь под собственным весом.

Огромный вздох исторг наружу жаркие испарения чужих земель, взметнул в воздух тучи конфетти из тех времен, когда еще не было венецианских каналов, над лугом огромными питонами зазмеились густые струи леденцовых запахов. Балаган падал, тоскуя и жалуясь; натиск падения одолел наконец три центральные опоры, и они сломались, как будто три пушки выпалили одна за другой.

Шквал, пронесшийся над лугом, заставил вскипеть безумную калиопу. Под ее пронзительное сипение всплеснули

руками изображения уродов на вымпелах и знаменах, потом древки качнулись и уронили полотнища на землю.

Возле карусели остался стоять лишь Скелет. Вот он сложился пополам, нагнулся и поднял фарфоровое тело, бывшее некогда мистером Дарком. Выпрямился, постоял и зашагал прочь, в поля. Вилли смотрел, как тощий человек со своим грузом поднялся на взгорок и скрылся вослед стинувшему карнавальному племени.

Вилли нахмурился. Кугер, Дарк, Скелет, Карлик — куда же вы все? Не убегайте, вернитесь! Мисс Фолей, где вы? Мистер Крозетти, все кончилось, можно передохнуть. Здесь уже не страшно, вернитесь!

Нет. Они бегут и, видно, будут бежать вечно, пытаясь обогнать самих себя. И ветер ворошит траву, сдувая все следы.

Вилли снова повернулся к Джиму, снова давил ему на грудь, давил и отпускал, давил и отпускал, потом, дрожа, коснулся щеки друга.

— Джим?

Но Джим оставался холоден, как вскопанная земля.

Глава 54

Только отголосок тепла хранило тело, только легкий отенок цвета оживлял кожу щек. Вилли взял Джима за руку — пульса не было, приложил ухо к груди — тихо, совсем тихо.

— Он умер!

Чарльз Хеллоуэй подошел, опустился на колени и тоже потрогал неподвижную грудь Джима.

— Кажется, нет, — неуверенно произнес он. — Не совсем...

— Совсем!

Слезы хлынули из глаз Вилли. Отец не дал начаться истерике и как следует встряхнул сына.

— Прекрати! — крикнул он. — Хочешь его спасти?

— Поздно, папа. Ой, папа!

— Заткнись и слушай!

Долго сдерживаемые рыдания прорвались наружу. Отец коротко размахнулся и ударил сына по щеке, раз и еще раз. После третьего раза слезы удалось на время остановить.

— Пойми, Вилли, — отец свирепо ткнул в него пальцем, — всем этим проклятым даркам твои слезы — бальзам на душу. Господи Иисусе, чем больше ты реवेशь, тем больше соли слизнут они с твоего подбородка. Ну, рыдай, а они будут сосать твои охи и ахи, как коты валерьянку. Вставай! Встань, кому говорю! Прыгай! Скачи, вопи, ори, пой, Вилли, а главное — смейся! Ты должен хохотать, должен, и все!

— Я не могу!

— Кому нужно твое «не могу»? Ты должен. Больше у нас нет ничего. Я знаю, так уже было в библиотеке. Ведьма удрала. Боже мой, ты бы видел, как она улепетывала! Я убил ее улыбкой, понимаешь, Вилли, одной-единственной улыбкой. Людям осени не выстоять против нее. В улыбке — солнце, оно ненавистно им. Не воспринимай их всерьез, Вилли!

— Но...

— Никаких «но», черт возьми! Ты видел зеркала. Вспомни, они показали меня дряхлой развалиной, показали, как я обращаюсь в труху. Это же простой шантаж. То же самое они сделали с мисс Фолей, и у них получилось. Она ушла с ними в *никуда*, ушла с этими дураками, восхотевшими всего! Всего! Бедные проклятые дураки! Это же надо придумать — порезаться об *ничто*. Ну, чисто дурной пес, бросивший кость ради отражения кости в пруду. Вилли, ты же видел: бам! бам! Ни одного зеркала не осталось. Они рассыпались, как льдины на солнце. У меня ничего не было: ни ножа, ни ружья, даже рогатки не нашлось, только язык, только зубы, только легкие, и я разнес эти паршивые зеркала одним презрением! Бросил на землю десять миллионов испуганных дураков, дал возможность *настоящему* человеку встать на ноги. Теперь поднимайся ты, Вилли!

— Но Джим... — начал Вилли.

— Он и здесь и там. С Джимом всегда так, ты же знаешь. Он не мог пропустить ни одного искушения и вот теперь зашел слишком далеко, может, совсем ушел. Но ты же помнишь, он боролся, он же руку тянул, хотел прыгнуть. Ну так мы закончим за него. Вперед!

Вилли шевельнулся. Дернул плечом.

— Беги!

Вилли шмыгнул носом. Отец шлепнул его по щеке, и слезы разлетелись мелкими звездочками.

— Прыгай! Скачи! Ори!

Отец подтолкнул Вилли, сделал пируэт, лихорадочно пошарил в карманах и достал что-то блестящее. Губная гармошка! Дунул.

Вилли остановился, опустил руки и уставился на Джима. И тут же схлопотал от отца по уху.

— Хватит плятиться! Двигай!

Вилли сделал шажок. Отец выдул из гармошки смешной аккорд, дернул Вилли за локоть, подбросил его руки.

— Пой!

— Что петь?

— Боже мой, мальчик, пой хоть что-нибудь! — Гармошка фальшиво изобразила «Вниз по реке».

— Папа! — Вилли едва двигался и мотал головой от свинцовой усталости во всем теле. — Папа! Глупо же!

— Точно! Куда уж глупей! Нам только этого и надо, дурачина-простофиля! И гармошка дурацкая. И мотивчик тоже, я тебе скажу.

Отец выкрикивал и подскакивал, как танцующий журавль. Нет, этого пока мало. Но, кажется, он уже переломил настрой.

— Давай, Вилли! Чем громче, тем смешнее. Ишь чего захотели — слезы лакать! Не вздумай дать им ухватиться за твой плач, они из него себе улыбок нашьют. Будь я проклят, если смерти удастся пощеголять в моей печали! Ну же, Вилли, оставь их голодными. Отпусти на волю свои руки-ноги. Дуй!

Он схватил Вилли за хохол на макушке и дернул.

— Ничего... смешного...

— Наоборот. Все смешно. Ты только на себя погляди! А я? — Чарльз Хеллоуэй корчил жуткие рожи, таращил глаза, тянул себя за уши, скакал, как влюбленный шимпанзе, из вальса срывался в чечетку, выл на луну и тормозил, тормозил Вилли.

— А смешнее смерти вообще ничего нет, разрази ее гром! Видали мы ее в белых тапочках. А ну, давай «Вниз по реке». Как там? «Трам-пам, далеко!» Ну, Вилли, и голосок у тебя! Прямо отошавшее девчоночье сопрано. Жаворонок накрылся медным тазом и чирикает. Давай скачи!

Вилли хихикнул, прошелся петушком, присел пару раз. К щекам прилила кровь. В горле что-то дергалось, как будто лимонов наелся. Он уже ощущал, как грудь распирает предчувствие смеха.

Отец извлек из гармошки какое-то подобие мотива.

— «Там, где все старики...» — затянул Вилли.

— «Остаются навсегда...» — подхватил отец. Шарк, стук, прыг, скок.

Ну и где Джим? Да не до него сейчас. Забыли. Отец пощекотал Вилли под ребрами.

— «Там девицы молодые...»

— «Будут петь «ду-да-да!» — грянул Вилли. — «Ду-да-да», — поймал он мотив.

В горле щекотало. В груди надувался шар.

— «А проселочек у речки...»

— «Миль пяти в длину всего!» — Мужчина с мальчиком изобразили менуэт.

Это случилось на следующем танцевальном коленце. Шар внутри у Вилли стремительно разрастался. Вот он уже выпирает из горла, вот раздвинул губы в улыбке.

— Ты чего это? — Отец лязгнул зубами. Вилли фыркнул.

— Кажись, не в той тональности спел, — сконфуженно произнес отец.

Шар в груди Вилли взорвался. Он захохотал.

— Папа!

Он подпрыгнул. Схватил отца за руку и забегал по кругу, крикая и кудахча. Ладони били по коленям, пыль летела столбом.

— «Сюзанна!»

— «Ты не плачь обо мне!»

— «Я пришел из Алабамы...»

— «И банджо мое...»

— «При мне!» — хором выкрикнули они. Гармошка хрюкнула и выдала истошный фальшивый визг.

Чарльз Хеллоуэй, не обращая на это внимания, требовал от нее какую-то плясовую собственного изобретения, изгибался, подпрыгивал и никак не попадал ладонью по своей пятке.

Они кружились, сталкивались, бодались и дышали все запаленнее: ха! ха!

— О боже мой, ха! Вилли, сил нет! Ха-ха!

Они хохотали как безумные, и вдруг посреди хохота кто-то чихнул. Отец и сын повернулись. Вгляделись.

Кто это там лежит в лунном свете? Джим, что ли? Найтшед? Это он чихает? И щеки порозовели?

Да ладно! Отец сгреб и закружил Вилли, попискивая гармошкой. Они прошлись в дикой самбе раз, другой, перепрыгнули через Джима, попавшегося на дороге.

— «Ктой-то там на кухне с Диной?» — горланили они.

— «Я-то знаю, что за гусь!»

Джим провел языком по губам. Никто этого даже не заметил. А если и заметил, то не подал виду. Джим открыл глаза. Первое, что он увидел, были два идиота, скакавшие в пыли. Джим помотал головой: не может быть. Он шел через годы, вернулся бог весть откуда, а ему даже «эй!» никто не сказал. Дергаются как припадочные. Обидные слезы защипали глаза, но еще прежде слез из горла проскользнул смехок, за ним — другой. Джим расхохотался. Нет, ну они точно ополоумели, этот Вилли со своим стариком. Скачут как гориллы, пыль столбом, и морды у обоих при этом загадочные. Они вились вокруг Джима, хлопали себя по коленкам и с оттопыренными ушами трясли над ним головами. И они

смеялись. Все время смеялись. Волны их веселья омывали Джима с головы до ног, и казалось, смех не иссякнет, даже если рухнут небеса или разверзнется земля.

Глядя на друга, Вилли скакал как сумасшедший и с восторгом думал: «Он не помнит! Не помнит, что был мертвый, а мы не скажем ему, никогда-никогда не скажем! Ду-да-да! Ду-да-да!»

Ни Вилли, ни отец не крикнули: «Привет, Джим! Давай с нами!» — нет, они просто протянули руки, словно он случайно, ну, например, споткнувшись, выпал из их круга, и дернули его обратно. И Джим взлетел. А когда опустился на землю среди них, то уже плясал с ними вместе.

Теперь, крепко сжимая горячую руку Джима, Вилли точно знал: они дурачились не зря. Это их вопли, прыжки и нелепые рожи вливали в Джима живую кровь. Они приняли его, как повитуха принимает новорожденного, встряхнули, похлопали по спинке, и Джим задышал.

Отец пригнулся, Вилли с ходу перемахнул через него и тут же пригнулся сам. Чехарда сразу пошла замечательно, в хорошем темпе, и вот уже Вилли и отец стоят, пригнувшись друг за другом, и ждут прыжка Джима. Джим прыгнул раз, другой... но одолел только половину спины Чарльза Хеллоуэя, и они всей кучей, с совиным уханьем и ослиным гоготом, покатались в траву. Все трое чувствовали себя словно в Первый День Творения, когда Радость еще не покинула Сад Господень.

Охая, они уселись на траве, похлопывая друг друга по плечам, разобрались с ногами — где чьи? — и обменялись счастливыми взглядами, немножко пьяные от пережитого веселья. А потом, насмотревшись на соседа, наулыбавшись, посмотрели на луг.

Поверх слоновых могил рухнувших шатров лежали перекрещенные шесты. Ветер шевелил складки, как лепестки огромной черной розы.

Мир вокруг спал, и только они, троица уличных котов, довольно жмурились на луну.

— Что это было? — сильным от недавнего смеха голосом выговорил наконец Джим.

— Э-э, чего только не было! — воскликнул Чарльз Хеллоуэй.

Все трое снова рассмеялись, но вдруг Вилли схватил Джима за руку и заплакал.

— Эй, — тихонько сказал Джим и снова повторил нежно: — Эй, ну...

— Джим, ох, Джим, — уже не сдерживался Вилли, — Джим, мы с тобой всю жизнь друзьями будем...

— Это уж точно, — тихо и серьезно подтвердил Джим.

— Ладно, все в порядке, — сказал Чарльз Хеллоуэй. — Теперь можно и поплакать. Из лесу выбрались, это главное. Дома еще насмеемся.

Вилли отпустил Джима и теперь стоял, с гордостью глядя на отца.

— Ой, папа, ты же такое сделал!..

— Не я один. Мы вместе сделали.

— Без тебя бы ничего не вышло. Значит, я просто не знал тебя, но зато теперь-то уж точно знаю.

— Ну да?

— Ей-богу!

Каждому из них казалось, что голову другого окружает влажное, мерцающее сияние.

— Годится! — согласился отец и протянул руку.

Вилли схватил ее и потряс. Получилось смешно, и недавние слезы как-то сами собой высохли. Теперь они смотрели на следы, уходящие по росе в холмы.

— Папа, они вернуться? Как ты думаешь?

— И да и нет. — Отец убрал в карман губную гармошку. — Они не вернуться. Будут другие, похожие. Не обязательно Карнавал, одному богу известно, под какой личиной они явятся в следующий раз. Может, уже на восходе, может, ближе к полудню или в крайнем случае на закате, но они придут.

— Нет! — невольно воскликнул Вилли.

— Да, сынок. Теперь уж всю жизнь придется быть начеку. Все только начинается.

Они неторопливо обогнули карусель.

— А как же мы их узнаем? — допытывался Вилли. — На кого они будут похожи?

— Может быть, они уже здесь, — тихо ответил отец.

Оба друга быстро огляделись. Но поблизости была только карусель да они сами. Тогда Вилли поднес руки к лицу и внимательно осмотрел их, перевел взгляд на Джима и снова — на отца.

Чарльз Хеллоуэй кивнул. Только один раз. Потом взялся за медный шест и легко вскочил на карусель. Вилли встал рядом с ним. И Джим тоже.

Джим потрепал гриву черного жеребца, Вилли погладил коня по шее. Огромный круг плавно накренился на волнах ночи.

«Только три кружочка вперед, — подумал Вилли. — Ну, поехали!»

«Четыре круга вперед, приятель, — подумал Джим. — Поживее!»

«Всего десять кругов назад, — подумал Чарльз Хеллоуэй. — Господи!»

Каждый из них по глазам понял мысли другого.

«Неужели так легко?» — подумал Вилли.

«Всего-то разочек», — подумал Джим.

«Только начни, — думал Чарльз Хеллоуэй, — и уже не остановишься. Еще круг, и еще один. А после начнешь друзьям предлагать прокатиться, и другим тоже...»

Все трое одновременно вздрогнули от одной и той же мысли: «...и вот ты уже катаешь хозяина карусели... и уродов, владельца маленького кусочка вечности в темном бродячем цирке...»

«Да, — сказали они глазами, — может быть, они уже здесь».

Чарльз Хеллоуэй покопался в инструментальном ящике и вытянул небольшую кувалду. Тщательно примерившись, он разбил основные шестерни, потом вместе с ребятами обо-

шел карусель и поработал над распределительным щитом, пока он не разлетелся вдребезги.

— Может, и ни к чему, — задумчиво проговорил он. — Уродов нет, а без них, без их энергии она и работать не будет, но все-таки...

И он еще раз трахнул кувалдой в центр механизма, после чего отшвырнул ее прочь.

— Должно быть, за полночь уже.

Часы на здании мэрии, часы на баптистской церкви, часы на католических церквях дружно пробили полночь. Ветер принес облачко семян Времени.

— Кто последний до семафора, тот — старая тетка! — Мальчишки рванулись, как пули из пистолета.

Лишь мгновение помедлил старик. Смутная боль шевельнулась в груди. «Ну и что будет, если я побегу? — думал он. — Умру? Эка важность! А вот то, что *перед* смертью, — это важно по-настоящему. Мы славно поработали сегодня, такую работу даже смерть не испортит. Ребята вон как дунули... почему бы и мне... не последовать?»

Так он и сделал.

Господи! Как здорово вспарывать росное одеяло на потемневшей траве. Мальчишки неслись, как пони в упряжке. Может, когда-нибудь придет такое время, что кто-то добежит до цели первым, а кто-то — вторым, а то и вовсе не добежит. Когда-нибудь... только не сейчас. Эта первая минута нового дня не годилась для такого. На бегу не было времени разглядывать лица — кто старше, кто моложе. Это был уже другой, новый день октября, и в этом году он оказался куда лучше прочих, хотя час назад и мысли такой ни у кого не возникло бы. Луна в компании со звездами в великом кружении уходила к неизбежному рассвету. Потом она исчезнет, и от слез этой ночи не останется ни следа. Вилли бежал, смеялся и пел, Джим деловито проводил пресс-конференцию сам с собой, и так они мчались к городу по стерне, и город, где им еще сколько-то лет жить напротив друг друга, надвигался все быстрее.

А сзади трусил пожилой мужчина со своими то добродушными, то печальными мыслями.

Наверное, мальчишки невольно притормаживали, а может, наоборот, Чарльз Хеллоуэй наддал. Ни они, ни он не могли бы сказать, как оно было на самом деле. Но главное не в этом. Главное, мужчина был у семафора одновременно с ребятами.

Вилли хлопнул ладонью по столбу, и Джим хлопнул ладонью по столбу, но в тот же самый момент и по тому же самому столбу семафора хлопнула рука Чарльза Хеллоуэя.

Тройной победный клич зазвенел на ветру.

Чуть позже, под бдительным присмотром луны, трое оставили позади луга и вошли в город.

СОДЕРЖАНИЕ

ВИНО ИЗ ОДУВАНЧИКОВ	5
ЛЕТО, ПРОЩАЙ	245
НАДВИГАЕТСЯ БЕДА	349

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Литературно-художественное издание

ОТЦЫ-ОСНОВАТЕЛИ

Рэй Брэдбери

ВИНО ИЗ ОДУВАНЧИКОВ

Ответственный редактор *Г. Батанов*
Художественный редактор *А. Сауков*
Технический редактор *Л. Зотова*
Компьютерная верстка *И. Кондратюк*
Корректор *М. Фирстова*

Разработка серии *А. Саукова*
Иллюстрация на переплете *А. Дубовика*

ООО «Издательство «Эксмо»

123308, Москва, ул. Зорге, д. 1. Тел.: 8 (495) 411-68-86.

Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

Өндіруші: «ЭКСМО» АҚБ Баспасы, 123308, Мәскеу, Ресей, Зорге көшесі, 1 үй.

Тел.: 8 (495) 411-68-86.

Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

Taуар белгісі: «Эксмо»

Интернет-магазин : www.book24.ru

Интернет-магазин : www.book24.kz

Интернет-дүкен : www.book24.kz

Импортер в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».

Қазақстан Республикасындағы импорттаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС.

Дистрибьютор и представитель по приему претензий на продукцию,

в Республике Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы»

Қазақстан Республикасында дистрибьютор және өнім бойынша арыз-талаптарды

қабылдаушының өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС,

Алматы қ., Домбровский көш., 3-а», литер Б, офис 1.

Тел.: 8 (727) 251-59-90/91/92; E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz

Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.

Сертификация туралы ақпарат сайты: www.eksmo.ru/certification

Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ

о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Эксмо»

www.eksmo.ru/certification

Өндірген мемлекет: Ресей. Сертификация қарастырылмаған

Подписано в печать 25.04.2019. Формат 84×108^{1/32}
Гарнитура «Newton». Печать офсетная. Усл. печ. л. 30,24.

Доп. тираж 2000 экз. Заказ 6693.

Отпечатано с электронных носителей издательства.

ОАО "Тверской полиграфический комбинат". 170024, г. Тверь, пр-т Ленина, 5.

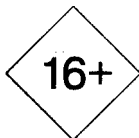
Телефон: (4822) 44-52-03, 44-50-34, Телефон/факс: (4822)44-42-15

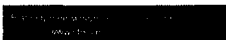
Home page - www.tverpk.ru Электронная почта (E-mail) - sales@tverpk.ru

ISBN 978-5-699-98103-8



9 785699 981038 >





ЛитРес:
с 2010 г.



Оптовая торговля книгами «Эксмо»:
ООО «ТД «Эксмо». 123308, г. Москва, ул. Зорге, д. 1, многоканальный тел.: 411-50-74.
E-mail: reception@eksmo-sale.ru

По вопросам приобретения книг «Эксмо» зарубежными оптовыми покупателями обращаться в отдел зарубежных продаж ТД «Эксмо»
E-mail: International@eksmo-sale.ru

International Sales: International wholesale customers should contact Foreign Sales Department of Trading House «Eksmo» for their orders.
International@eksmo-sale.ru

По вопросам заказа книг корпоративным клиентам, в том числе в специальном оформлении, обращаться по тел.: +7 (495) 411-68-59, доб. 2261.
E-mail: Ivanova.ey@eksmo.ru

Оптовая торговля бумажно-беловыми и канцелярскими товарами для школы и офиса «Канц-Эксмо»:
Компания «Канц-Эксмо»: 142702, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное-2, Белокаменная ш., д. 1, в/я 5. Тел./факс +7 (495) 745-28-87 (многоканальный).
e-mail: kanc@eksmo-sale.ru, сайт: www.kanc-eksmo.ru

В Санкт-Петербурге: в магазине «Парк Культуры и Чтения БУКВОЕД», Невский пр-т, д. 46.
Тел.: +7(812)601-0-601, www.bookvoed.ru

Полный ассортимент книг издательства «Эксмо» для оптовых покупателей:
Москва. ООО «Торговый Дом «Эксмо». Адрес: 123308, г. Москва, ул. Зорге, д. 1.

Телефон: +7 (495) 411-50-74. E-mail: reception@eksmo-sale.ru

Нижегород. Филиал «Торгового Дома «Эксмо» в Нижнем Новгороде. Адрес: 603094, г. Нижний Новгород, ул. Карпинского, д. 29, бизнес-парк «Грин Плаза».
Телефон: +7 (831) 216-15-91 (92, 93, 94). E-mail: reception@eksmonn.ru

Санкт-Петербург. Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в г. Санкт-Петербурге. Адрес: 192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 84, лит. «Е». Телефон: +7 (812) 365-46-03 / 04. E-mail: server@szko.ru

Екатеринбург. Филиал ООО «Издательство Эксмо» в г. Екатеринбург. Адрес: 620024, г. Екатеринбург, ул. Новинская, д. 2ш. Телефон: +7 (343) 272-72-01 (02/03/04/05/06/08).

E-mail: petrova.ea@ekat.eksmo.ru

Самара. Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в г. Самара.

Адрес: 443052, г. Самара, пр-т Кирова, д. 75/1, лит. «Е».

Телефон: +7(846)207-55-50. E-mail: RDC-samara@mail.ru

Ростов-на-Дону. Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в г. Ростове-на-Дону. Адрес: 344023, г. Ростов-на-Дону, ул. Страны Советов, д. 44 А. Телефон: +7(863) 303-62-10. E-mail: info@rnd.eksmo.ru

Центр оптово-розничных продаж Cash&Carry в г. Ростове-на-Дону. Адрес: 344023,

г. Ростов-на-Дону, ул. Страны Советов, д. 44 В. Телефон: (863) 303-62-10.

Режим работы: с 9-00 до 19-00. E-mail: rostov.mag@rnd.eksmo.ru

Новосибирск. Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в г. Новосибирск. Адрес: 630015, г. Новосибирск, Комбинатский пер., д. 3. Телефон: +7(383) 289-91-42. E-mail: eksmo-nsk@yandex.ru

Хабаровск. Обособленное подразделение в г. Хабаровск. Адрес: 680000, г. Хабаровск, пер. Дзержинского, д. 24, литера Б, офис 1. Телефон: +7(4212) 910-120. E-mail: eksmo-khv@mail.ru

Тюмень. Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в г. Тюмени.

Центр оптово-розничных продаж Cash&Carry в г. Тюмени.

Адрес: 625022, г. Тюмень, ул. Алебашевская, д. 9А (ТЦ Перестройка+).

Телефон: +7 (3452) 21-53-96/ 97/ 98. E-mail: eksmo-tumen@mail.ru

Краснодар. ООО «Издательство «Эксмо» Обособленное подразделение в г. Краснодаре

Центр оптово-розничных продаж Cash&Carry в г. Краснодаре

Адрес: 350018, г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 7, лит. «Г». Телефон: (861) 234-43-01(02).

Республика Беларусь. ООО «ЭКМО АСТ Си энд Си». Центр оптово-розничных продаж

Cash&Carry в г. Минске. Адрес: 220014, Республика Беларусь, г. Минск,

пр-т Жукова, д. 44, пом. 1-17, ТЦ «Outlet». Телефон: +375 17 251-40-23; +375 44 581-81-92.

Режим работы: с 10-00 до 22-00. E-mail: exhmoast@yandex.by

Казахстан. РДЦ Алматы. Адрес: 050039, г. Алматы, ул. Домбровского, д. 3 «А».

Телефон: +7 (727) 251-59-90 (91, 92). E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz

Интернет-магазин: www.book24.kz

Украина. ООО «Форс Украина». Адрес: 04073 г. Киев, ул. Вербова, д. 17а.

Телефон: +38 (044) 290-99-44. E-mail: sales@forsukraine.com

Полный ассортимент продукции Издательства «Эксмо» можно приобрести в книжных магазинах «Читай-город» и заказать в интернет-магазине www.chitalai-gorod.ru.
Телефон единой справочной службы 8 (800) 444 8 444. Звонок по России бесплатный.

Интернет-магазин ООО «Издательство «Эксмо»

www.book24.ru

Розничная продажа книг с доставкой по всему миру.
Тел.: +7 (495) 745-89-14. E-mail: imarket@eksmo-sale.ru

EKSMO.RU

НОВИНИ ИЗДАТЕЛЬСТВА





В
Б

ОТЦЫ
ОСНОВАТЕЛИ

Весь
БРЭДБЕРИ

ВИНО ИЗ
ОДУВАНЧИКОВ



ISBN 978-5-699-98103-8



9 785699 981038 >

